

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

**ПРЕДШЕСТВЕННИКИ НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА**

Серия основана академиком

**А.И.ГЕРЦЕН**  
**О СОЦИАЛИЗМЕ**  
**ИЗБРАННОЕ**

Вступительная статья В. П. В О Л Г И Н А

MCMLXXIV

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» Москва

==3

Настоящей книгой возобновляется издание серии «Предшественники научного социализма». В этом томе содержатся важнейшие произведения А. И. Герцена, характеризующие его социалистические убеждения. Материалы, вошедшие в том, были в свое время отобраны академиком В. П. Волгиным. Как и ко всем предшествующим томам серии, В. П. Волгиным написана и для этого тома вступительная статья — «Социализм Герцена».

Материалы сборника печатаются по академическому изданию сочинений Герцена! А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах. М. i 1954—1966. Орфография, как и транскрипция имен и географических названий приняты, как правило, в соответствии с современными канонами русского литературного языка. Заголовки отрывков, а также отдельные фразы и слова, даваемые редакцией, включены в квадратные скобки. В случае купюр, делаемых редакцией, дается многоточие, тоже взятое в квадратные скобки, с целью отличить его от многоточия, даваемого самим Герценом.

Комментарии к тексту, за редкими исключениями, воспроизводятся по вышеназванному тридцатитомнику. Подстрочные примечания, за исключением особо оговоренных, принадлежат редакции.

Издание подготовлено Сектором истории общественной мысли Института всеобщей истории АН СССР.

==4

Редакционная коллегия серии «Предшественники научного социализма»: В. М. ДАЛИН, В. А. ДУНАЕВСКИЙ, Е. М. ЖУКОВ, А. Р. ИОАННИСЯН, А. И. КЛИБАНОВ, Г. С. КУЧЕРЕНКО, А. З. МАНФРЕД, М. И. МИХАИЛОВ, М. В. НЕЧКИНА, Ответственный редактор тома З. В. СМЕРНОВА

Г о N6-7-74 © Издательство „Наука“, 1974 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

В. П. Волгин. Социализм Герцена ..... 5

А. И. ГЕРЦЕН. О СОЦИАЛИЗМЕ. ИЗБРАННОЕ.

**[Из дневников] . . . . .**

[I] 1844. 24 марта .....

ПН 1843. 4 ноября .....

[III] 1843. 18 февраля .....

[IV] 1844. 3 декабря .....

**Письма из Франции и Италии [Отрывки] . . 88**

[Письмо первое] .....

[Письмо одиннадцатое] . . . . .

[Письмо одиннадцатое (Немецкий вариант)]

**С того берега [Отрывки] .....**

После грозы . . . . .

LVII год республики, единой и нераздельной

VixeruntI .....

Consolatio . . . . .

Эпилог 1849 .....

**Россия ..... 208**

**Русский народ и социализм. Письмо к Ж. Мишле 264**

**Крещеная собственность . . . . .**

**Старый мир и Россия. Письма к В. Линтону 348**

Письмо первое . . . . .

Письмо второе . . . . .

Письмо третье .....

**Русское крепостничество . . . . .**

Статья первая .....

Статья вторая . . . . .

Заключительная статья .....

**Революция в России .....**

**Русские немцы и немецкие русские . . . . . 454**

I. Правительствующие немцы . . . . .

II. Доктринерствующие немцы- . . . . .

III. Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait

**Россия и Польша [Отрывки] .....** 518

[Отрывок I] ..... 518

[Отрывок II] ..... 519

**Искапаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ . . . . . 521**

**Молодая и старая Россия .....** 529

**Письмо к Э. Кине .....** 540

**Письма к будущему другу [Отрывки] .... 544**

Письмо пятое ..... 544

**Письма к путешественнику [Отрывки] ... 555**

Письмо третье ..... 555

Письмо четвертое . . . . . 565

**К концу года .....** 576

**Порядок торжествует [Отрывок] .....** 604

**К старому товарищу .....** 607

Письмо первое . . . . . 607

Письмо второе . . . . . 616

Третье письмо ..... 624

Письмо четвертое . . . . . 632

==5

## СОЦИАЛИЗМ ГЕРЦЕНА

В. П. ВОЛГИН

## I

Западноевропейская социалистическая литература к тридцатым и сороковым годам XIX в. имела уже достаточно широкое распространение в передовых кругах русской интеллигенции. Свидетельства о ее распространении и влиянии весьма многочисленны. Яркую характеристику значения этой литературы для идейного роста передовых людей сороковых годов находим мы в одном из поздних произведений великого русского сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина — «За рубежом» (1880—1881).

«С представлением о Франции и Париже, — писал в этой книге Салтыков-Щедрин, — для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание». «Я примкнул, — пишет далее Салтыков-Щедрин, — к тому кругу молодежи, который инстинктивно прилепился к Франции, разумеется, не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занд. Мы не могли без сладостного трепета помы-

==6

слить о «великих принципах 1789 года» и обо всем, что оттуда проистекало». Французская литература «зажигала сердца и волновала умы; не было безвестного уголка в Европе, куда бы она не проникла с своим светочем, всюду распространяя пропаганду идеалов будущего в самой общедоступной форме»<sup>1</sup>.

Всеевропейское значение французской литературы этого времени, в частности и в особенности литературы социалистической, правильно отмечено Салтыковым-Щедриным. Французская социалистическая литература отвечала общественным настроениям и потребностям переживавшегося тогда европейскими странами великого социального перелома — крушения устаревших и разлагающихся крепостнических устоев старого феодального порядка, интенсивного роста и быстрого распространения отношений капиталистических. В России начало этого социального перелома может быть отмечено уже в XVIII в. К концу этого столетия в народном хозяйстве России сказывались явные признаки кризиса феодальной системы. Феодальные общественные отношения определенно становились оковами, тормозящими развитие производительных сил. Между производительными силами и производственными отношениями назревал конфликт, в первые десятилетия XIX в. все более обострявшийся.

В начале XIX в. мелкое товарное производство было уже широко распространено в Рос-

==7

сии. Росло городское ремесло, развивались мелкие крестьянские промыслы, весьма распространенным явлением была капиталистическая мануфактура. Разложение феодальных отношений, дифференциация крестьянства открывали путь для прогресса капиталистической промышленности. Тридцатые и сороковые годы отмечены ростом машинного промышленного производства, хлопчатобумажной промышленности, металлургии, началом железнодорожного строительства.

Смена феодальной общественной формации формацией капиталистической лежит в основе всех происходивших в это время изменений в общественных отношениях, всех сдвигов в социальных и политических идеях. На этой почве возникают и развиваются ростки прогрессивной и революционно-демократической идеологии. Среди носителей этой новой идеологии мы видим очень мало представителей возникающей буржуазии, весьма отсталой в своем культурном развитии. Лишь в очень малой степени проникала новая идеология в среду крестьянства, неоднократно выражавшего протест против существующего порядка вспышками восстаний, но неспособного еще осветить свои стихийные революционные порывы светом революционной мысли. Либеральные и демократические идеи возникают прежде всего в той части дворянства, которая способна была понять все пагубное значение для хозяйственного развития страны устаревших крепостнических отношений и господствующего в стране прогнившего

==8

насквозь абсолютистско-бюрократического порядка.

Именно этой общественной среде было больше, чем какой-либо другой, доступно знакомство с западноевропейской, в частности, с французской литературой, — этим важнейшим каналом, по которому проникали в Россию идеи революции и социализма. Так определился отмеченный Лениным дворянский характер первого периода революционного движения: «. - Мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен»<sup>2</sup>.

Первые проповедники идей социализма в России знакомились с социализмом и коммунизмом по произведениям Сен-Симона, Фурье, Леру и других французских утопистов; лишь позже стали появляться попытки более или менее самостоятельных рассуждений на социальные темы. Сначала в этих попытках сильно сказывается влияние социальных и литературных традиций той страны, на почве которой возникли их иностранные прототипы. Лишь позже, проникаясь влияниями специфических русских условий, русский социализм как бы отмежевывается от социализма «импортного», стремится установить связи с национальными традициями в форме народнического социализма. В развитии социальных идей Герцена эти черты развития русского социализма выразились весьма ярко.

2 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 261.

==9

Влияние западноевропейской социальной мысли сказывается в русской литературе задолго до начала литературной деятельности Герцена. Совершенно бесспорно воздействие социальной философии Мабли на формирование Радищева. Как известно, социальной философии Мабли были присущи не только черты осуждения, не только отрицательная характеристика строя, основанного на частной собственности, не только пропаганда идей социального равенства; Мабли был явно склонен к идеализации коммунистических порядков, существовавших, по его мнению, в первоначальных человеческих обществах. Следов этой концепции «первобытного коммунизма» мы в «Путешествии из Петербурга в Москву» не находим. Не находим мы также у Радищева и сколько-нибудь отчетливой формулировки принципов общности. Но пропаганда социального равенства, критика отрицательных последствий неравномерного распределения частной собственности— вообще тенденции уравнительного характера, свойственные Мабли, несомненно содействовали выработке Радищевым собственного уравнительного мирозерцания.

Еще более отчетливо — и бесспорно под теми же или близкими литературными влияниями французских социальных мыслителей XVIII в.—складывалась аграрная программа наиболее радикального из деятелей декабристского движения—П. И. Пестеля. Подобно передовым французским просветителям, например Гельвецию, Дидро, Пестель объявляет основной

## ==10

целью государства всеобщее благосостояние, наибольшее благоденствие наибольшего числа людей. Выгоды одного, утверждал Пестель, должны уступать перед выгодами целого.

Исходя из этого принципа, Пестель высказывался против «аристократии наследства и денег». Для установления правильного равновесия в имуществах и процветания государства Пестель предлагал произвести раздел земли каждой волости на землю общественную и землю частную. Общественная земля предназначается для производства предметов необходимости, она принадлежит волости в целом и ежегодно распределяется между всеми ее гражданами, но не на правах собственности, а на правах временного владения. Граждане не могут ее ни продать, ни закладывать. При распределении ежегодных наделов принимается во внимание, есть ли у данного землепашца частная земля и занимается ли он исключительно хлебопашеством. Частная земля находится во владении государства или частных лиц на правах собственности и предназначена для роста изобилия владельцев<sup>3</sup>. Как мы видим, проект

3 Для Герцена, как и для всех его современников, единственным источником сведений об аграрной программе Пестеля была книга Н. И. Тургенева «Россия и русские», в которой мемуарист, рассказывая о своих спорах с Пестелем в 1824 г., ошибочно характеризовал его планы «обобществления земельной собственности» как русский вариант утопических теорий Роберта Оуэна и Фурье («La Russie et les Russes», t. 1. Paris, 1847, p. 129—130). Подробнее

## ==11

Пестеля, наиболее радикальный из аграрных планов декабристов, в строгом смысле слова нельзя считать даже последовательно уравнительным. Видеть в Пестеле социалиста, вопреки мнению Герцена, называющего его «социалистом прежде самого социализма», нет никаких оснований.

Многие из декабристов были весьма начитаны в политической и социальной литературе Запада. Многие из них знали произведения Сен-Симона и Оуэна. Но влияние идей этих мыслителей на мирозерцание декабристов не было настолько глубоким, чтобы можно было говорить о наличии в их среде какой-либо группы последователей и пропагандистов социализма. По-видимому, такая группа образовалась впервые в России среди студентов Московского университета в тридцатых годах, и первыми проповедниками идей социализма у нас надо считать Герцена, Огарева и их ближайших товарищей. Во всяком случае, об этой группе у нас имеются вполне точные и авторитетные сведения, исходящие в первую очередь от самих ее участников.

Герцен впервые познакомился с французской социалистической литературой начала XIX в. еще до своей ссылки, до 1834 г. Уже в одном из первых произведений Герцена, «О месте че-

об этом см. в комментариях Ю. Г. Оксмана к письму И. П. Огарева к декабристу С. Г. Волконскому от 8 июля 1861 г. («Литературное наследство», т. 63, стр. 102—106).

## ==12

ловека в природе», мы находим упоминания о сенсимонисте Э. Родриге и о возникновении во Франции новой, более соответствующей духу времени, школы. Ссылаясь при этом на «l'ecole saint-simonienne», Герцен объявляет эту школу «великой», вопреки тем нападкам, которые она на себя навлекает<sup>4</sup>. В сенсимонизме он ценит более всего не социальную и экономическую сторону учения, а философскую и моральную — развитие учения о совершенствовании рода человеческого<sup>5</sup>. Новое упоминание о Сен-Симоне мы находим в 1836 г.<sup>6</sup> Это упоминание как бы брошено мимоходом, тем не менее оно явно свидетельствует о том, как сочувственно относится в это время Герцен к великому утописту, как близки ему в этот период даже религиозные тенденции сенсимонизма. В еще более ясной форме эти социально-религиозные тенденции сказываются в одном произведении 1838 г., где существующее общество уподобляется разрушающемуся Риму, а общественные преобразования — ожидаемому царству Христову, где Герцен, следуя за сенсимонистами, осуждает скептицизм как симптом общественного упадка<sup>7</sup>. Еще больший религиозный пафос чувствуется в драматическом очерке «Вильям Пен», где ко-

4 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. I. IVL, 1954, стр. 13, 25.

5 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XXI. М., 1961, стр. 422.

6 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. I, стр. 465.

7 Там же, стр. 183—195.

## ==13

лонизация англичанами (пуританами) Америки изображается как религиозный акт, вдохновленный мечтами о стране обетованной, основанной, на «незыблемом евангельском равенстве», братстве и любви, освященных христианством.

Рассказывая впоследствии об этом периоде своего развития в «Былом и думах», Герцен сообщает, что в это время в основе его убеждений и убеждений его кружка лежал сенсимонизм<sup>8</sup>. По-видимому, наиболее точное отражение этого герценовского социализма тридцатых годов дает одно из писем Герцена к Огареву. Все люди равны, любите друг друга — таково, писал тогда Герцен, основание христианства. Его первая фаза, мистическая, — католицизм. Вторая фаза, переход к философии, — Лютер. Теперь начинается третья фаза, истинная, человеческая, фаланстерская, — может быть, сенсимонизм<sup>9</sup>.

О дальнейшем развитии социалистических идей Герцена дают представление записи в дневниках первой половины сороковых годов. Не подлежит сомнению, что к середине сороковых годов круг известных Герцену социалистических построений расширяется. В «Записках одного молодого

человека» Герцен упоминает об Оуэне<sup>10</sup>. Дневниковые записи свидетельствуют о том, что он читал «L'Histoire

8 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII. М., 1956, стр. 162.

9 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XXI, стр. 23.

10 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. I, стр. 306.

## ==14

de dix ans» Луи Блана, что ему была известна докладная записка Блюнчли о деятельности коммунистов в Швейцарии, что он живо интересовался движением силезских ткачей. Очень интересна оценка, которую дает Герцен Вейтлингу. Он высоко ставит революционный радикализм вейтлинговской пропаганды, проповедуемую Вейтлингом идею последовательного равенства, решительную «войну», объявляемую им собственности<sup>11</sup>. В дневниковых записях 1844 г. мы находим уже интересное сопоставление сенсимонизма, который, как и раньше, по-видимому, стоит для Герцена на первом месте, с фурьеризмом и коммунизмом. У сенсимонистов и фурьеристов, говорит Герцен, высказаны величайшие пророчества. Однако ни то, ни другое учение не удовлетворяет Герцена полностью («в них чего-то недостает»), В учении Фурье Герцена раздражает какая-то мелочность выводов. Но основные положения он считает весьма глубокими, полнее всего раскрывающими проблему социализма, ведущими гораздо дальше, чем проповедуемые Фурье фаланги и фаланстеры. Знает также в это время Герцен и учеников Фурье, из которых больше всего ценит Виктора Консидерана. Особенное значение он придает критической части построений Консидерана, давшего, по его мнению, уничтожающий анализ понятия собственности.

11 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. II. М., 1954, стр. 313. 314.

## ==15

Следя за появляющейся новой литературой, Герцен особо выделяет произведения Прудона. В декабре 1844 г. мы находим в дневнике весьма положительный отзыв о прудоновском трактате «Что такое собственность». В дальнейшем влияние Прудона на формирование социальных идей Герцена росло. Однако большое влияние оказывали на Герцена в этот период и революционные идеи французских тайных обществ. Он уже понимает важность связи социализма «с массами». Он отмечает успех в массах идей коммунизма, но все же, по-видимому, в близкую осуществимость коммунизма не верит. Пока коммунизм — это, по его мнению, грозная туча, чреватая молниями, грозящими разрушить нелепый общественный строй, «если люди не покаются, видя перед собой суд божий». Критике существующего общественного строя Герцен уделяет в эти годы больше внимания. Интерес представляют его замечания о собственности. Собственность, говорит он, гнусная вещь. Она не только несправедлива, но и безнравственна. Она гнетет человека и развращает его. Человек, копящий собственность, — «капкан, в котором пойман подвижной дух». Недвижимое имущество здесь и награда там — таковы «две цепи, на которых и поднесь водят людей. Но теперь работники принялись потряхивать одну из них, а другая давно заржавела от лицемерных слез пастырей о погибших овцах»<sup>12</sup>.

12 Там же, стр. 375, 376.



## ==16

В этом неожиданном сопоставлении собственности и посмертной награды чувствуется некоторый отход Герцена от той идеализации социального значения христианства, которая была характерна для него в тридцатые годы. Тем не менее и в сороковых годах он зачастую возвращается к исходящей от сенсимонистов концепции обновления общественного порядка как некоего осуществления и уточнения моральных и социальных заповедей христианства.

Христианство, пишет Герцен в августе 1844 г., враждебно собственности и имуществу. Тем не менее дореволюционный старый порядок Герцен считает возможным именовать порядком христианско-самодержавным. Эта связь христианства с самодержавием объясняется тем, что социальная сторона христианства наименее развита. В этом смысле Евангелию еще предстоит войти в жизнь. Оно должно перестроить общество на основах братства. Такое обновление общества неминуемо. Современное положение человечества сходно, по мнению Герцена, с его положением при возникновении христианства. Древний мир к этому моменту явно испытал, как испытывает и современный мир, потребность в возрождении. В умах, как и ныне, носились смутные идеи возникающего нового мира. Эти идеи распространялись через проповедь возникавших на периферии Древнего мира сект, чтобы затем, окрепнув и сочетавшись с традициями греческой философии, лечь в основу нового органического воззрения, содержавшего в себе идеи равенства, общей соб-

## ==17

ственности, аскетизма. Современный социализм и коммунизм, утверждал Герцен, выражают те же настроения и находятся в том же положении.

Так Герцен в сороковые годы развивает и

уточняет мысли о связи между социализмом и ранним христианством, мысли, которые мы находили у него уже в 1833 г. в переписке с Огаревым 13. Существующие сейчас социалистические и коммунистические школы — это, по словам Герцена, *membra disjecta* (разъятые члены) будущей великой формулы. Но Герцен не считает возможным присоединиться ни к одной из этих школ. Значение их состоит в том, что они, в конце концов, как некогда Евангелие, охватят народные массы, что учение Евангелия войдет, наконец, в действительность.

Подводя итоги своим наблюдениям над политической жизнью Западной Европы тридцатых—сороковых годов, Герцен признает необходимость социального переворота очевидной: это понимает даже Гизо. Все, кто видят далее своего носа, понимают нелепость случайного распределения такого важного орудия, как богатство, нелепость гражданского порядка, приносящего в жертву огромное большинство. Естествен интерес к идеям преобразования права собственности, к порядку общности, 13 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XXI, стр. 23. Сопоставление учения Сен-Симона (однако ни в коем случае не Анфантена) с третьей фазой христианства встречается у Герцена неоднократно. См., например, там же, стр. 423—424.

## ==18

к новой организации работ. Естественно, что в качестве противников всех социальных преобразований выступают лишь консерваторы, проникнутые эгоизмом и своекорыстием привилегированных каст.

Необходимого социального переворота Герцен ждет в это время в первую очередь от Франции. Франция, полагает он, уже вступила на эту дорогу со времени Конвента, ей во всяком случае принадлежит инициатива в этом великом деле. Признавая, что славянский мир переживает застой, который поддерживается его связью с православием, отрывом от Запада, Герцен вместе с тем пересказывает в «Дневнике» мнение Самарина, что в отношении социального устройства славян ждет великое будущее, что «плод европейской жизни» созреет именно в славянском мире. Европа совершила свое, придя к отрицанию существующего социального порядка и наметив черты порядка будущего. Славянский мир — почва «симпатического» развития будущего<sup>14</sup>. Таким образом, в социальных воззрениях Герцена, наряду с своеобразными тенденциями к синтезу утопических, главным образом сенсимонистских, построений с пониманием революционного значения «движения работников» в западных странах, мы, возможно, находим уже в 1843 г. зачатки идеи об особой роли славянских народов в социальном перевороте.

14 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 289, 314—315,

## ==19

Вопрос о том, «славяне ли, оплодотворясь Европой, одействотворят идеал ее и приобщат к своей жизни дряхлую Европу, или она нас приобщит к поюневшей жизни своей», — этот вопрос он предпочитает оставить открытым. Во всяком случае высокую роль Европы в этом процессе он считает бесспорной<sup>15</sup>.

С такими не вполне четкими представлениями о грядущих социальных преобразованиях, но в то же время с несомненным революционным отношением к существующим как в России, так и на Западе порядкам, выехал Герцен в Западную Европу - в 1847 г. Уже в первые месяцы пребывания во Франции непосредственные наблюдения над жизнью предреволюционного Парижа значительно расширили и углубили его представления о социальных противоречиях, потрясавших Францию накануне революции 1848 г., об историческом значении социальных систем, вырвавшихся на почве этих противоречий. Эта эволюция социальных взглядов Герцена нашла свое яркое выражение в «Письмах из Франции и Италии». Утопические системы, которыми более всего вдохновлялся Герцен раньше, продолжают интересовать его. Но гораздо больше внимания уделяет он не «религиозным» формам социа-

15 Там же, стр. 336.

лизма (очевидно, сенсимонизм), а его революционным проявлениям (Бабеф).

В коммунизме Бабефа Герцен видит упрек не выполнившей своих обещаний демократической республике Робеспьера и Сен-Жюста, пророчество грядущего социального переворота. Консерваторы казнили социализм в лице Гракха Бабефа. Но на стороне Бабефа был истинный прогресс, и он продолжал жить в новых «индустриально-религиозных»<sup>1</sup> формах, а самое главное, из пепла Бабефа родился французский работник. «... Наследник Бурбонов и мещан — не Генрих V, не Ламартин, а блузник»<sup>16</sup>. Ему, французскому работнику, принадлежит будущее Франции. Это единственное сословие во Франции, которое доработалось до широких политических идей, которое порвало с замкнутым кругом понятий, потому что ему присущ дух активного протеста. Это люди, которых коснулось веяние будущего, для которых социализм стал религией. «В этом юном бойце с заскорузлыми [...] руками», пишет Герцен, буржуазия предчувствует «неясное, но грозное пророчество своей гибели»<sup>17</sup>.

После революции 1830 г. социальный вопрос должен был неминуемо встать вновь, считает Герцен. Положение народа не улучшилось. Симптом нараставших противоречий Герцен видит в лионском восстании 1832 г., характер"

<sup>16</sup> А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. V. М., 1955, стр. 314.

<sup>17</sup> Там же, стр. 313—314.

нейшая особенность которого состоит в том, что оно вспыхнуло не из-за религиозных разномыслии и не из-за политического устройства, а из-за вопросов «работы и возмездия». Этот вопрос, говорит Герцен, с тех пор не сходит с арены. Он тут, как угроза, как угрызение совести<sup>18</sup>.

На этой стадии социализм выступает как страсть, как месть, как буйный протест, как Немезида. Едва рабочие, подавленные вопиющей несправедливостью существующего беспорядка, увидели занимавшую зарю сулившего им освобождение дня, как они перевели социальные учения на иной, более суровый язык, создали из них коммунизм, учение о принудительном отчуждении собственности, учение, возвышающее индивидуум при помощи общества. Герцен отмечает иногда отсутствие достаточной решительности в наступлении рабочего класса на существующий буржуазный порядок. Но социалисту в наши дни, говорит он, нельзя не быть революционером. Время политического эклектизма прошло. Европу ждет или революционный переворот, или гибель. Социализм предполагает республику как этап своего пути. Либо борьба, приводящая к общему обновлению, к смене существующих порядков и законов, либо гибель<sup>19</sup>.

Все предшествующие рассуждения очень близко подводят Герцена к идее пролетарской

<sup>18</sup> Там же, стр. 314. <sup>19</sup> См. там же, стр. 427—428, 178.

## ==22

революции как единственного пути социалистического переворота. Но он, очевидно, не в состоянии полностью освободиться от старой утопической мечты о возможности объединения всех классов под демократическим знаменем общечеловеческого прогресса. Возможно, что оживлению этой мечты в известной мере содействовали впечатления от революционной борьбы в Италии, в стране, где классовые противоречия сказывались гораздо менее резко, чем в предреволюционной Франции.

Утопические формы социализма Герцен считает проявлением детства социалистической мысли, но многое в традициях этого детства сохраняет в его, сознании былое значение не требующей доказательств аксиомы, и он призывает относиться к этому наследию с уважением. Каждое новое учение имеет свои корни в каком-нибудь отошедшем, говорит он. Пусть новое учение отрицает отошедшее, но последнее остается для него необходимой точкой опоры, его почвой. С другой стороны, новое, революционное учение, зарождающееся в среде «рабочников», не внушает ему, очевидно, полной уверенности в торжестве его социального идеала. К концу 1847 г. впечатления от окружающей буржуазной действительности приводят Герцена к глубоко пессимистическому настроению, и надежды на обновляющую роль пролетариата оказываются совершенно бессильны это настроение рассеять. «К осени, — писал он в первом письме с «Via del Corso» (декабрь 1847 г.), — сделалось невыносимо

## ==23

грустно в Париже, я не мог сладить с безобразным нравственным падением, которое меня окружало, я чувствовал, что в мою душу забирается то самоотвержение, тот холод и то «все равно», которое вносится утратами, разрывом с действительностью, презрением к настоящему [ . . . ] Смерть в литературе, смерть в театре, смерть в политике, смерть на трибуне, ходячий мертвец Гизо, с одной стороны, и детский лепет седой оппозиции, с другой; — там где-то внизу раздавались какие-то крики титанов, что-то сильное и страшное, как будто из могучей и здоровой груди, но снаружи—остынувший кратер, превратившийся в грязь и слякоть» 20.

Именно к этому времени относится статья Герцена, включенная им впоследствии в состав «С того берега» под заглавием «Перед грозой». Общество связано в одну нить прогрессом, — писал здесь Герцен. Однако установить эту истину значит лишь определить неизбежность движения, но отнюдь не его цель. Каждое поколение в жизни общества имеет свою цель. Настоящее поколение не знает такой своей цели, ему не за что умирать и не для чего жить.

Мир, в котором мы живем, — умирающий мир. Попытки спасти его, воскресить его к жизни безнадежны. Его надо не лечить, а хоронить, хотя цивилизация, говорит Герцен, и

20 А, И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. V, стр. 245.

## ==24

представляет собой лучший цвет современной жизни. Однако развитие не может на этом остановиться. По-видимому, Герцену представляется иногда, что такие духовные кризисы неизбежны для некоторых поколений: такие периоды, говорит он, страшны для современников. Мысль всегда бывает нетерпелива и опережает медленно тянущуюся жизнь. Отсюда трагическое положение и неизбежные страдания для

мыслящих. Не будучи в состоянии постигнуть закономерности исторического развития, с неизбежностью ведущие к падению старого общественного строя и к установлению строя нового, социалистического, Герцен обрывает подчас свои рассуждения нотой самого крайнего отчаяния в возможности целесообразной борьбы за лучшее будущее. Будущее, говорит он, не принадлежит нам. Где лежит необходимость, чтобы будущее осуществило нашу программу, наши идеалы? Мы связаны не на живот, а на смерть с тонущим кораблем.

«Испуганный Парижем 1847 года,—писал Герцен позже, характеризуя свои настроения, отразившиеся в статье «Перед грозой», — я было раньше раскрыл глаза, но снова увлекся событиями, кипевшими возле меня. Вся Италия «просypалась» на моих глазах!»<sup>21</sup>. Первые вести о февральской революции в Париже пробудили, по словам Герцена, в его душе «новые

21 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. X. М., 1956, стр. 26.

## ==25

силы» и воскресили в нем «старые надежды» на приближающееся торжество дела социального прогресса. Но дальнейший ход событий во Франции очень скоро отрезвил его. Кровавые июньские дни нанесли окончательный удар по его утопическим мечтам о возможностях обновления старой Европы на путях демократии. Оценка, которую он дает представителям буржуазной демократии в этот период, совершенно уничтожающая. Вождей буржуазной демократии он именует «аристократами демократической республики». Он считает их людьми, погрязшими в тине мещанства, их труд и борьбу — безнадежными и бесцельными. Их республика — «неудобоисполнимая мысль», «последняя мечта, поэтический бред старого мира». Этот католико-феодальный мир дал уже все, что он мог дать; он истощился и не способен более к обновлению. Эти люди связаны со старым миром, они не в силах прозреть судьбы будущего. Их идеал в сущности принадлежит прошедшему. Они не понимают, что существующий мир не способен более к обновлению, что он должен умереть, чтобы новое могло жить. Демократы не могут решиться сломать свой старый дом. В февральской революции они разрушали одну феодальную подставку существующего строя за другой, пока из-под полуразрушенных стен перед ними не появился — «не в книгах, не в парламентской болтовне [...] а на самом деле — пролетарий, работник с топором и черными руками, голодный и едва одетый рубищем». Этот работник спросил свою долю, но

## ==26

они «спрятались от брата за штыками осадного положения».

Но окончательно разрушив демократические иллюзии Герцена, июньские дни нанесли также удар и по его надеждам на перестройку старого мира силами пролетариата. «Я ни во что не верю здесь, — писал Герцен несколько месяцев спустя во вступлении к работе «С того берега», характеризуя свое настроение этого периода, — кроме в кучку людей, в небольшое число мыслей да в невозможность остановить движение; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего». «Я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и отчаянному мужеству его друзей»<sup>23</sup>.

Следует подчеркнуть, что Герцен говорит здесь не о гневном пролетария, не о грядущей борьбе, но лишь о его страданиях, о его плаче.

В июньские дни пролетариат еще раз призвал своих братьев к оружию, но пролитая кровь не принесла ему победы. Этот разгул бешенства, мести, злобы вызовет гибель существующего мира<sup>24</sup>, пишет Герцен, но не обеспечивает еще построения мира нового.

«После Июньских дней я видел, что революция побеждена, но верил еще в побежденных». Вскоре «я стал понимать [...], что революция не только побеждена, но что она должна была

22 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. VI. М., 1955, стр. 53.

23 Там же, стр. 12—13.

24 См. там же, стр. 48.

## ==27

быть побежденной». Революция пала не под ударами реакции, которая, притаившись, ожидала своего часа, она погибла «под ударами своих детей»<sup>25</sup>. «Демократическая сторона, — писал Герцен к московским друзьям 27 сентября 1849 г., — или сторона движенья, была побеждена, потому что она была недостойна победы [...] везде боялась быть революционной до конца [...] Пустым людям, как ЛендьюРоллен, Луи Блан... не может удалиться революция [. . . ]»<sup>26</sup>. Необходимо оторваться от «падающего мира»<sup>27</sup>.

Стоит указать, что к числу людей, сумевших в 1848 г. оторваться от старого мира, Герцен причисляет Прудона, Пьера Леру, Конедерана.

Все в Европе бродит, развивает Герцен эти мысли в работе «С того берега», падают вековые стены. Но вместе с кумиром падают лучшие плоды европейской жизни, так трудно выработанные веками. Я не вижу для Западной Европы ни воскресенья, ни помилования, писал Герцен. Если так пойдет дальше, будущее погибнет вместе с дряхлым прошлым. В хилом организме Европы Герцен везде видит перст смерти и лишь изредка слышит пророчество новой жизни. Мы долго старались верить, говорит он, но жизнь быстро потухала, «как по-

25 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. X, стр. 116.

26 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XXIII. М., 1961, стр. 187.

27 Там же, стр. 188.

## ==28

следние свечи в окнах», а рассвет все не приходил. Мы были молоды перед февральской революцией, и мы стары теперь. Старый мир еще сохраняет свою былую силу. Он уже не верит в себя, но отчаянно защищается. А с другой стороны, будущее еще не готово, все шатко, все неопределенно, особенно

важно, что не готовы люди. В период падения римского мира человечество, чтобы продвигаться вперед, отступило в германское варварство, напоминает Герцен, как бы намечая то направление (русский общинный мир), в котором он собирается искать выход из тупика западноевропейского мира<sup>28</sup>.

На этом пессимистическом аккорде, как бы завершающем историю европейской цивилизации, Герцен, с его напряженной творческой активностью, остановиться, однако, не мог, хотя в его произведениях первых лет революции (1849 г.) и звучит иногда призыв отойти в сторону.

Жизнь взяла свое, говорит он, и, вместо отчаяния, я хочу жить. Утрата надежд на близкое осуществление социализма в странах Западной Европы не могла поколебать его убеждения в социалистическом будущем человечества. «Сила социальных идей велика, особенно с тех пор, как их начал понимать истинный враг, враг по праву существующего гражданского по-

28 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. VI, стр. 115—132.

29 См. там же, стр. 132,

## ==29

рядка — пролетарий, работник, которому досталась вся горечь этой формы жизни и которого миновали все ее плоды»<sup>30</sup>. «Массы, задавленные работой, изнуренные голодом, притупленные невежеством, они о чем будут плакать»<sup>31</sup> на похоронах старого мира... «Наша цивилизация—цивилизация меньшинства, она только возможна при большинстве чернорабочих»<sup>32</sup>. Это прошлое при всей своей тяжести обеспечило движение человечества вперед. Аристократия — это более или менее образованная антропофагия, она была нужна для развития человечества, но, когда работник не захочет больше работать для другого, поняв, что сейчас вся выгода его работы достается другим, настанет конец аристократии. В этом основа охватившего мир брожения. Оно непрерывно усиливается, ибо нелепый общественный порядок со всяким шагом вперед лишает средств все большее и большее число людей. Их крик, их восстание неотвратимо. Сейчас беда в том, что работники не сосчитали еще своих сил, а крестьяне отстали в образовании. Когда они протянут друг другу руку, тогда вы распроститесь, обращается Герцен к владеющим классам, с вашей цивилизацией. Что до мещан, то они сыты, их собственность защищена, они и оставили попечение о свободе, о независимости; они хотят сильной власти.

30 Там же, стр. 55.

31 Там же.

32 Там же, стр. 56.

## ==30

При таком соотношении сил нам непростительно думать, что достаточно возвестить римскому миру Евангелие, чтобы сделать из него демократическую и социальную республику. Не следует исходить из предположения, что достаточно доказать истину, как математическую теорему, чтобы ее приняли. Приходится считаться с суеверием масс, с аристократичностью просвещения. Идею эксплуатации человека человеком никто не считает ныне справедливой. В этом смысле старый мир держится на одном лишь насилии. Обновить начала старого мира невозможно. Блестящая эпоха индустрии пережита так же, как и блестящая эпоха аристократии. Спасти старый мир нельзя ни казнями, ни осадным положением. На историческую арену выходят новые христиане и новые варвары, идущие разрушать старое и строить новое. Эти «новые назареи» ближе, чем вы думаете, — они на чердаках и в подвалах. Людям хотелось бы, чтобы смена одного порядка другим произошла исподволь. Это было бы возможно при высоком уровне сознания. Но большинство еще этого уровня не достигло и подчиняется стихийным побуждениям. Переворот исподволь мог бы выразиться в раздроблении собственности, но мелкий буржуа — худший собственник, а сила революционного порыва пролетариата может быть ослаблена мелкими улучшениями".

33 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. VI, стр. 60.

## ==31

Утратив в период, непосредственно следовавший за поражением революции 1848 г., веру в способность передовых стран Западной Европы вести человечество вперед к осуществлению социализма, Герцен не может, однако, отказаться от развитой им выше концепции социального прогресса. Социализм сохраняет для него, как и для его учителей — утопистов тридцатых — сороковых годов, значение общественного порядка, который призван сменить уходящий буржуазный строй. Следует лишь отметить в этой связи, что социалистический строй не представляется ему, как он представлялся большинству утопистов, строем «окончательным», завершающим прогресс человеческого общества. Он считает весьма вероятным, что в круговороте человеческой истории вновь начинается борьба; в ней социализм займет место существующего буржуазного порядка, и эта борьба приведет к замене социализма иным порядком, которого мы сейчас себе не представляем.

Разочаровавшись после революции 1848 г. в возможности успехов социалистического движения на Западе, Герцен намечает другие пути к торжеству социализма. Главный поток истории, говорит он, не может потеряться в песке и глине, он неизбежно найдет себе другое русло; человечество расчистит для него дорогу.

Силы европейских народов истощились. Они дошли до конца своего призвания, говорит он. История, по-видимому, нашла другое русло. В последнем акте мировой трагедии зритель, подавленный гибелью Гамлета, может быть,

## ==32

встретит молодого Фортинбраса<sup>34</sup>. О существовании этого «Фортинбраса» Герцен, как мы уже видели, знал раньше. Еще до поездки за границу он писал о высокой роли, предназначенной в социальном развитии человечества славянским народам, в частности русскому народу. В эпоху реакции после 1848 г. на основе этих положений он строит социальную теорию, которая получила уже у него самого, а затем и у последующих историков русской общественной мысли наименование «русского социализма».



В пессимистических рассуждениях самого пессимистического из произведений Герцена («С того берега») есть, как мы уже видели, немало намеков на те, не предусмотренные западными социалистами пути исторического развития, которые способны, по мнению Герцена, привести социализм к победе после поражения в 1848 г. его западноевропейской формы. В 1849 г. смысл этого предвидения Герцен раскрыл перед европейскими читателями в статье «La Russie» (которую он также включил в одно из изданий «С того берега»), обосновывающей историческую роль России как зачинательницы нового круга цивилизации. Россия уже сейчас, утверждает Герцен, является носителем установлений, резко отличаю-

34 См. А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VI, стр. 69.

### ==33

щих ее от стран Запада и предвещающих ее развитие в направлении к социализму. Основное из этих установлений — русская земельная община. Исследовавший ее Гакстгаузен видел в ней зародыш будущего России, осуществление некоторых положений, выдвинутых социалистическими утопиями. Общинное начало, согласно Герцену, прочно вошло в сознание русского крестьянина. Общинный дух проник во все области народной жизни в России. Он нашел свое выражение и в артельном построении городской промышленности России. Ни установление крепостного права, ни петровские реформы не могли выкорчевать общинного духа русского крестьянина. Существовавшее некогда и в странах Западной Европы общинное начало не выдержало там столкновения с феодальными и римскими тенденциями. В России же это начало сохранилось в полной силе до наших дней.

Естественный полудиккий образ жизни русской деревни более соответствует общественному идеалу, чем образ жизни европейских стран, считает Герцен. То, о чем мечтает Европа, у нас уже осуществлено. Утверждают, что община существовала и в других странах и исчезла с началом цивилизации. Но я не вижу причин, говорит Герцен, почему в России должно произойти то же самое. Россия с ее общинным началом идет навстречу социализму подобно тому, как древние германцы шли навстречу христианству. Русскому крестьянину ближе идея социальной революции, чем революции политической. Мы выходим на истори-

### ==34

ческую арену тогда, когда противообщинная цивилизация гибнет. В своем движении вперед нам следует не отказываться от сохранившихся у нас элементов общности, а развивать их и совершенствовать. Другие народы уже мечтают о покое, Россия выходит на историческую арену, полная юности и деятельности. Разочаровавшись в странах Запада, Герцен возлагает свои надежды именно на нее как на ведущую силу социалистического преобразования. Конечно, такую роль была неспособна сыграть николаевская Россия, и Герцен не мог этого не сознавать. Естественно, что выступление России в такой роли связывается в представлениях Герцена с идеей революционного освобождения от пут ненавистного ему самодержавия.

Ряд мыслей, изложенных Герценом в статье «La Russie», мы найдем почти во всех его произведениях, посвященных социальному вопросу, на протяжении пятидесятих и шестидесятих годов. Очень ярко

сформулированы они в работе 1851 г. «Русский народ и социализм (Письмо к Ж. Мишле)». Европа, говорит Герцен, повторяя положения, уже известные нам из более ранних произведений, «приближается к страшному катаклизму»<sup>35</sup>. Средневековый феодальный мир рушится. Политические и религиозные революции не разрешают возлагаемых на них задач. Они дают лишь временные отсрочки приближающейся грозы. Европа несется в бу-

35 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. VII. М., 1956, стр. 309.

### ==35

дущее через обломки цивилизаций. В Европе нет ни законности, ни правды, ни личной свободы. Над ее развалинами возвышается восточный колосс — Россия. К России неизбежно тяготеют другие славянские народы, повторяет Герцен положение, мимоходом брошенное им в статье «La Russie», ибо их существование может быть спасено от подавления германским миром лишь при условии образования славянской федерации с Россией во главе. Существующее русское правительство не понимает исторических задач русского народа. Основным принципом социальной жизни русского народа, как это признают наиболее дальновидные представители европейской жизни, в том числе и Мишле, является коммунизм. Сила русского народа— в его аграрном законе, в периодическом переделе общественной земли. Русский народ нельзя считать народом угасающим: наоборот, он еще не раскрыл всех своих возможностей. Русскому народу чужда идея личной поземельной собственности, но сейчас он запутан в сетях немецкой бюрократии и помещичьей власти, которым он подчинился, но в законность которых не верит, ибо понимает, что все управление построено не в его пользу, что правительство видит свою задачу в том, чтобы выжать из него побольше труда, рекрут и денег.

Вне общины все представляется русскому народу основанным на насилии и произволе, утверждает Герцен. Нравственность крестьянина полностью основана на присущем ему идеале земельного коммунизма. Именно община спасла русский

### ==36

народ от монгольского варварства, от крепостников-помещиков и от немецкой бюрократии. Она сохранила свою жизненную силу до того исторического периода, когда в Европе возникли идеи социализма. В том, что сельская община не погибла, что «личная собственность не раздробила собственности общинной», истинное счастье для России. Счастье для русского народа, что он остался вне европейской цивилизации, которая подкопала бы его общину и «которая ныне [. . .] дошла в социализме до самоотрицания»<sup>36</sup>.

Герцен считает, что та роль, которую во Франции играет работник, в России выпала на долго мужика. В одном из писем он прямо заявляет, что не верит ни в какую революцию в России, кроме крестьянской<sup>37</sup>. Русское крестьянство, говорит он, уже 'начинает роптать против существующего помещичьего и царского порядка. Но подобно тому как в уже известных нам рассуждениях о западном социализме Герцен, наряду с осознанием специфически революционной роли пролетариата, продолжал верить в возможность единения передовых людей всех классов под общим знаменем социального прогресса, в рисуемых им в письме к Мишле перспективах социального развития России он выдвигает на первый план как стан, враждебный официальной

36 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. VII, стр. 326.

37 См А И Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XXIV. М., 1961, стр. 143.

### ==37

России, «горсть людей» 38, ряды которых непрерывно пополняются из образованной части среднего сословия и из той части дворянства, которая идет навстречу, а иногда («дворянский пролетариат» - ) непосредственно сливается с народом. Этим революционным элементам русского общества, утверждает Герцен, чужда идеализация полусвободы, которая вдохновляет передовых людей Запада, чужда привязанность к завещанному предками. Россия, убежден Герцен, неизбежно совершит революцию, и эта революция не сможет ограничить свои цели заменой царя Николая царями-представителями. Но, сочувствуя такой революции, Герцен считает нужным подчеркнуть, что он к ней отнюдь не призывает. Час революционного действия для России пока еще не настал.

Ряд интересных дополнений к герценовской характеристике общинных порядков в России и их значения для будущего развития как России, так и европейских стран находим мы также в книге «О развитии революционных идей в России», вышедшей в 1851 г. Лишь недавно, говорит Герцен, в России открыли, и то при помощи Европы, какой великой ценностью является в ее наследии сельская община. Можно сказать, что общину начали ценить в России лишь тогда, когда в Европе появился социализм. А между тем 'ее существованию исполнилось уже более

38 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. VII, стр. 329.

39 Там же, стр. 331.

### ==38

тысячи лет. Россия, как и Европа, не сумела разрешить антиномию между личностью и государством, но у нас больше надежд ее разрешить, так как мы только начинаем свой исторический путь. Конечно, признает Герцен, Россия может лишиться того будущего, о котором мы говорим, если она и дальше пойдет по «петербургскому» пути, который, как и путь «московский», может привести ее к варварству и сделать опасностью для цивилизации 40.

По существу, говорит далее Герцен, русский народ признает свои обязанности только в рамках общинной жизни; вне ее он видит только насилие. Мы привыкли к общинам, к разделу земель, к ассоциациям. Социализм нам легче принять, чем западному буржуа, так как право собственности представляется у нас злоупотреблением против общинного порядка. Отсюда увлечение русской интеллигенции сенсимонизмом, Прудоном и фаланстерами Фурье, напоминающими нам о сельской общине и других сходных организациях. Страх царизма перед коммунизмом естествен. Понятно также, что поражение революции в Европе вызвало реакцию и в России. Будущность России тесно связана с будущностью Европы. Но Россия вносит в их единение молодость и естественное стремление к социалистическим учреждениям. Если в Европе одолеет консерватизм, царская власть раздавит в России класс образованных людей. Но рево-

==39

люционная Европа могла бы спастись от царизма и спасти от него Россию<sup>41</sup>.

В приложении к книге «О развитии революционных идей в России» Герцен вновь обращается к истории общины, вновь напоминает выдвинутое им ранее положение о том, что присущая всем славянским народам община пала под немецким влиянием, и рисует своеобразную утопию, пытаясь раскрыть ряд характерных черт ее организации, по его мнению, приближающих ее к социализму.

Община ответственна за всех своих членов и потому автономна, полагает Герцен. Она каждому дает место за своей трапезой. Земля принадлежит общине, а не ее членам. Каждый имеет пожизненное право на такое количество земли, которым владеет каждый другой член общины. Право наследования и завещания на землю не распространяется. По смерти общинника его надел возвращается общине. Каждый достигший совершеннолетия член общины имеет право потребовать себе надел, которого он может быть лишен по приговору общины. Движимое имущество сохраняется за общинником даже в случае выхода его из общины. Верховное руководство делами общины принадлежит крестьянскому сходу, в состав которого входят только держатели наделов и который избирает высших должностных лиц общины — старосту и его помощников; тот же сход имеет право их сместить. Сход распределяет подати между об-

41 См. там же, стр. 256.

==40

щинниками, имеющими наделы. Во всех своих решениях органы общины руководствуются или существующими обычаями или решениями глав семейств. Очень интересно, что, по мнению Герцена, существование права на надел не только предупреждает образование сельского пролетариата, но и улучшает положение фабричных рабочих, содействуя повышению их заработной платы. С другой стороны, принципы коллективизма, свойственные сельской общине, получают в России распространение и в городах. Мы видим в русских городах ассоциации плотников, ямщиков и т. п. Эти ассоциации имеют выборных распорядителей работ и получают за произведенные ими работы общий заработок. Помещики иногда присваивают какую-то часть общинной земли, увеличивая тем самым количество барщинного труда или оброка крестьянина, но подобные злоупотребления вызывают всегда протесты крестьян в очень жестокой форме (убийство, поджоги и т. п.). В управление землей, остающейся в ведении общины, помещики обычно не вмешиваются.

Интересный вариант развиваемой Герценом теории русской общины находим мы в статье «Крещеная собственность» (1853). У нас, пишет Герцен в этой статье, нет ни раздробления полей в частную собственность, ни сельского пролетариата. Характер русского крестьянина определяется коммунизмом его общинного устройства и его деревенским самоуправлением. Коммунизм русской деревни лежит в основе русского социального порядка. Над этой гранит-

## ==41

ной основой возвышается всепоглощающее самовластие.

Несчастье русского крестьянина — угнетающее его крепостное право. Крепостное состояние и пролетариат, подчеркивает по этому поводу Герцен, — два страшных обличителя двух страшных неправд нашего времени. Но русский народ подчинился самовластию, утвердившему крепостное право, не без боя и сохранил свое коммунистическое единство. Это единство, выражающееся в общинном устройстве, спасет народ русский .

Можно ли касаться нашего общинного начала в то время, когда Европа уже оплакивает раздробление своих полей и стремится к общинному устройству? Говорят, что неразвитый, неподвижный коммунизм препятствует развитию личности. Но в России наряду с неподвижной сельской общиной есть подвижные — городская артель, доказывающая сочувствие народа социализму, и военная община казаков, которая как бы дополняет общину сельскую. Уклад русской деревни и республиканский строй прежних казачьих поселений отвечают требованиям современных европейских теоретиков. Само собой разумеется, что ни коммунизм деревень, ни военная община казаков не вполне отвечают нашим стремлениям, продолжает Герцен. Но эти незрелые начинания нужно беречь и содействовать их развитию. Сохранение до настоящего

42 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XII. М., 1957, стр. 98.

## ==42

времени общинных начал — наше счастье. Запад пожертвовал этими началами развитию меньшинства, завершившемуся революцией. Но революция не разрешила вопроса, который является сейчас основным для всего передового человечества, — вопроса об отношении лица к обществу. В развитии европейских обществ можно констатировать два различных пути: одним англичане пришли к «вежливой антропофагии», другим русские пришли к общине. «Мучительная задача» состоит в том, чтобы сохранить «независимость британца без людоедства», в том, чтобы сочетать общинное начало с развитием личности мужика 43. Но для этого нужно прежде всего снять крепостное право, не затронув общинное устройство.

Завершая свою статью, Герцен намечает желательный дальнейший путь развития русского общинного начала: объединение общин в большие группы и соединение групп в едином земском деле. Первые признаки такого развития он отмечает уже в современной ему русской деревне, допуская при этом совершенно непонятную для такого тонкого наблюдателя идеализацию возникающих в ней новых форм управления.

Наиболее обстоятельное для первой половины пятидесятых годов философско-историческое обоснование своих взглядов на судьбы социализма в странах Европы и в России Герцен дал

43 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XII, стр. 112.

## ==43

в работе «La Russie et le vieux monde. Lettres a W. Linton» (1854). Роль теперешней Европы,— вновь повторяет здесь Герцен положения, уже известные нам по другим произведениям начала пятидесятых годов, совершенно окончена. С 1848 г. идет ее разложение, ее общественные и политические порядки обречены на гибель, независимо от того, являются ли они по своему происхождению римскими или христианскими, феодальными или монархическими, парламентскими или республиканскими. Подобно тому как Римская империя преобразовалась в христианскую Европу, нынешняя Европа должна будет распасться, чтобы войти затем в некое новое сочетание. Она уже не может ограничиться поправками старого здания, подобными тем, которые совершила Реформация или революция 1789 г. Государство, основанное на поглощении личности обществом, обречено на полное разложение. Социализм отрицает все то, что еще осталось от старого общества после революции. Социализм—«религия человека, религия земная, безнебесная, общество без правительства, свершение христианства и осуществление революции» 44.

Социализм объявляет человека совершеннолетним. Смогут ли, сомневается Герцен, современные германо-романские народы выполнить требования социализма, изменив отношения человека к человеку и человека к обществу? Мысль о социализме родилась у западных народов, но из этого не следует, что те же западные народы

44 Там же, стр. 168.

## ==44

ее осуществят. У этих народов очень сильны» по мнению Герцена, консервативные элементы, к которым он причисляет как монархистов, так и республиканцев, как христиан, так и деистов, как горожан, так и крестьян. Исключение он готов сделать, как и в более ранних своих произведениях, лишь для одних работников. Только работник может спасти европейский мир, но это будет уже не старый мир, а мир новый, социалистический. Но если работники не смогут осуществить социалистического порядка в Западной Европе, развитие пойдет иным путем, он будет осуществлен в иных странах.

Рядом с европейским миром, говорит Герцен, развился в течение столетий мир стран славянских. Славянский мир не имеет ничего общего ни с Европой, ни с Азией. У славянских Народов нет ни феодального дворянства, ни больших городов, ни римского права. Но зато они сохраняют патриархально-демократические установления, сельскую общину и вече; в их общественной жизни, утверждает Герцен (вероятно, не без влияния Бакунина), сохранились некоторые черты анархизма. Суммируя эти особенности социальной жизни славянских стран, Герцен считает возможным квалифицировать их совокупность как демократический коммунизм. В дальнейшем своем развитии, утверждает он, славянским странам «надо было подвергнуться муштре сильного государства»<sup>45</sup>. Эту задачу

45 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XII, стр. 171.

государственного воспитания русского народа выполнила Москва, приобретшая значение столицы и центра славянского мира. Русский народ для обеспечения своего славянского единства должен был затем пожертвовать своими вольностями, подчинившись петровским преобразованиям, придавшим русскому государству европейский характер. Но крестьяне не приняли преобразований Петра, они остались верными хранителями народности, основанной на коммунизме.

Основная.. борьба в Западной Европе идет сейчас не против священника, не против короля, не против дворянина, а против их наследника— владельца, захватившего в свои руки орудия работы. Порог, над которым написано «социализм», гораздо труднее перешагнуть, чем все предшествовавшие, ибо, преодолевая его, приходится отказываться, повторяет Герцен, от всего привычного, от всего того, что пощадило предшествовавшее развитие общества. Наиболее правдоподобным представляется Герцену, что дело перехода к социализму довершит русский народ, роль которого в данном случае подобна роли варваров в процессе падения античного мира.

Не следует, однако, думать, что возвеличение исторической роли «русского социализма» означает у Герцена принижение роли социалистических идей Запада. В письме к Прудону от конца июля 1855 г. Герцен, по-видимому, умышленно, для устранения возможности такого предположения, подчеркивает, что «без содействия западных социалистических идей славянские народы

никогда не соберутся с силами и не перейдут от патриархального коммунизма к сознательному социализму» 46.

Близкую к этому мысль Герцен повторяет в «Русском крепостничестве», где социальную революцию на Западе он рассматривает как необходимое условие движения вперед русского народа. Но это вовсе не означает, что в среде русского народа должен образоваться пролетариат, как это имело место на Западе. Против сторонников такого взгляда он выступает со всей решительностью 47. Русский народ, утверждает Герцен в этой связи, не имел такого богатого развития, как народы Запада. Но Запад пожертвовал своими крестьянами и ремесленниками для возвышения дворян и среднего сословия, тогда как русский народ сохранил свою общину и равноправное владение землей, препятствующее образованию пролетариата 48.

В рассматриваемый нами период представления Герцена о роли отдельных классов русского общества в борьбе за социализм чрезвычайно неопределенны. Он, как и в более ранних своих произведениях на социальные темы, склонен весьма высоко оценивать социально-политическую роль русского нечиновного дворянства. Эти люди, пишет он, — самые независимые люди в Европе, они дошли в политике до

46 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XXV. М., 1961, стр. 285.

47 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XII, стр. 43—44.

48 См. там же, стр. 46—47.

социализма, в философии — до реализма и отрицания всякой религии. Только чиновная часть дворянства обладает привилегиями и обслуживает царскую администрацию. Герцен готов признать даже, что и царизм, столь ему ненавистный, может при известных условиях служить не только целям реакции, но и задачам прогресса. Он может окаменеть в Петербурге, теряя постепенно свою силу и престиж, и он может переродиться «в демократическое и социальное самовластие»<sup>49</sup>. Следует отметить, что Герцен в связи с этим высказывает роднящую его со славянофилами мысль о будущей славянской федерации и о перенесении ее центра в Константинополь. Таборит, человек, идущий под знаменем общины, говорит он, должен водрузить свое знамя не в Вене, не в Петербурге, не в Варшаве, не в Москве; настоящая столица восточных славян — Константинополь, Рим восточной церкви<sup>50</sup>. Эту мысль о революционном значении захвата Россией Константинополя Герцен высказал еще в 1849 г. в письме к Мадзини. «Когда императорский орел, — писал он, — возвратится на свою древнюю родину, он уже более не появится в России. Взятие Константинополя явилось бы началом новой России, началом славянской федерации, демократической и социальной»<sup>61</sup>.

Эти явно ошибочные суждения стояли в резком противоречии со многими заявлениями Гер-

<sup>49</sup> Там же, стр. 197. <sup>60</sup> См. там же, стр. 199.

<sup>51</sup> Л. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. VI, стр. 238.

цена того же периода. Они не были логически связаны с основными принципами герценовской концепции «русского социализма». Мысль Герцена и в это время в основном оставалась революционной. Но предположение о возможной революционной роли царской власти, не чуждое учителям Герцена в социализме — ранним утопистам (стоит вспомнить обращение Оуэна к королеве Виктории), являлось как бы предвестием возможности того поворота Герцена в сторону идей просвещенного абсолютизма, который он пережил в начале царствования Александра II. Проскальзывавшие в «Старом мире и России» отзвуки панславистских идей и двусмысленная характеристика возможностей царизма немало содействовали в свое время подозрительному отношению Маркса к публицистической деятельности Герцена.

#### IV

Мы уже говорили о неясностях и противоречиях в представлениях Герцена о том пути, по которому русскому народу предстоит идти вперед, к торжеству социалистических идей, содержащихся в зародыше в характерных для него демократических общинных порядках. Интересные рассуждения на эту тему находим мы в статье «Революция в России», появившейся в «Колоколе» в 1857 г. и отражающей мирнореформаторские настроения Герцена в первые годы царствования Александра II. Эпиграфом к статье является выдержка из речи нового



царя: «Господа, лучше, чтоб эти перемены сделались сверху—нежели снизу»<sup>52</sup>. В соответствии с этим эпитафией Герцен ставит в статье вопрос о возможности и о преимуществах насильственного и мирного путей общественного преобразования. «Мы так привыкли видеть с 1789,— говорит он, — что все перевороты делаются взрывами, восстаниями, что каждая уступка вырывается силой, что каждый шаг вперед берется с боя,—что невольно ищем, когда речь идет о перевороте, площадь, баррикады, кровь, топор палача. Без сомнения, восстание, открытая борьба — одно из самых могущественных средств революций, но отнюдь не единственное»<sup>53</sup>. Пути насильственных переворотов, по которому шла Франция, Герцен противопоставляет английский—мирный—путь развития, как более для него привлекательный. Мы «от души предпочитаем путь мирного, человеческого развития пути развития кровавого»<sup>54</sup>. Мы еще увидим ниже, что Герцену отнюдь не чуждо понимание того, что политическая революция и социализм составляют две различные ступени в развитии человеческого общества. Однако в рассматриваемой нами статье обе эти ступени слиты как бы воедино, непосредственно примыкают одна к другой, в силу чего предпочтение мирного пути и надежды на государя-реформа-

52 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIII. М., 1958, стр. 21.

53 Там же.

54 Там же, стр. 22.

тора оказываются относящимися, в изложении Герцена, не только к освобождению России от крепостного права и царского самовластия, но и к дальнейшему развитию «социалистических основ» исконного русского земельного строя.

Переходя к вопросу о том, насколько возможен мирный путь для России, Герцен склонен возлагать преувеличенные надежды на происшедшую смену монарха и возможность для Александра II, удалив николаевскую администрацию, привлечь к управлению людей более культурных, способных понять интересы и стремления народа. Такие люди в России есть — люди зрелые мыслью, готовые отдать свои силы делу народа, независимо от того — вместе с правительством или против него. Основные кадры для такой новой администрации, по мнению Герцена, в России имеются. Он видит их, очевидно, в интеллигентной части дворянства, «пережившей мыслью» уроки западноевропейского развития, но свободной от его традиций. Опираясь на эту среду, монарх мог бы соединить две России, «между которыми прошла петровская бритва»<sup>55</sup>. Мы уверены, заканчивает Герцен свою статью, что деспотизм отжил свое время в России. Царю надо так же отказаться, от петербургского периода, как ; Петр отказался от московского. По поводу подобных либеральных «вывихов» герценовской

55 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIII, стр. 23.

## ==51

мысли В. И. Ленин писал: «...Герцен принадлежал к помещичьей, барской среде. Он покинул Россию в 1847 г., он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная апелляция к «верхам». Отсюда его бесчисленные слащавые письма в «Колоколе» к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения [...]. Однако справедливость требует сказать, что, при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх» 56.

На пути мирного прогресса, который он возвещает, Герцен видит ряд серьезных препятствий: невежество, отсталость, привычку к бесправью, подавляющую бедность народа. Но задача, которую необходимо разрешить России, проще, чем задачи, которые приходится разрешать революции в западных странах. Она будет состоять не в том, чтобы закладывать основы новой жизни, а в том, чтобы снять груз, тяготеющий над стародавним бытом русского народа. Стародавний быт простого народа не будет разрушен революцией: «на нем-то и созиждется будущая Русь!»<sup>57</sup>.

В том же 1857 г. в статье «Еще вариация на старую тему» Герцен сделал попытку суммировать те мысли о западном и русском социализме, 56 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 259.

57 Л. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIII, стр. 29.

## ==52

которые он высказывал уже в более ранних статьях, показать их взаимосвязь и наметить, как вывод из их сопоставления, дальнейшие пути осуществления принципов социализма. Западная Европа, пишет Герцен, выработала идеи, с которыми она в своей реальной жизни не может сладить: ее жизнь не соответствует ее идеям. У России есть свое историческое наследие. Но для того, чтобы вступить во владение этим наследием, она должна овладеть идеями, созданными Западом, ибо они принадлежат всему человечеству. Не следует думать, что идеи, не осуществленные там, где они созданы, не будут осуществлены нигде. Можно представить себе, что забытые массы вырвут из рук монополистов силы, развитые наукой, и сделают из них общее достояние. Можно представить себе также, что собственники, опираясь на правительственную силу и на народное невежество, подавят массы. И в том, и в другом случае идеи социализма останутся жить как великий результат европейской истории и сохранят свою способность обновлять и улучшать человеческий быт везде, где они найдут подходящую почву. Сомнительно, повторяет Герцен в несколько смягченной форме свою старую мысль, чтобы Европа могла найти близкий и хороший выход из того положения, в котором она сейчас находится. С одной стороны, мещанство сосредоточило в своих руках все богатства, всю промышленность, овладело церковью и правительством, машинами, войском, судом, школами. С другой стороны, невежественность масс,

## ==53

незрелость и шаткость революционной партии не позволяют надеяться на близкое падение мещанства и обновление государственного строя без страшнейшей кровавой борьбы.

Что касается России, то она составляет самобытный мир, крепко сидящий на своей собственной земле и расширяющийся во все стороны. Здесь, как и в цитированном выше письме к Мадзини, Герцен склонен, по-видимому, положительно оценить результаты этого расширения. Россия не принадлежит ни к европейскому ни к азиатскому миру, она принадлежит к миру славянскому. России не приходится бороться ни с римским правом, ни с феодализмом, ни с католицизмом. В основе народной жизни лежит коммунистическое владение землей и выборность. Все это находится в подавленном состоянии, но все это жизнеспособно. Эпоха деспотизма, полагает Герцен, пройдет и оставит после себя неразрывно спаянное государственное единство и силы, закаленные в тяжелой и суровой школе. На нашей колеблющейся почве только и есть консервативного, что сельская община, то есть только то, что и следует сохранить. Родовая община составляет почву, на которой может произрасти новая жизнь и которой, как нашего чернозема, нет в Западной Европе. «Вот почему, — восклицает Герцен, — [...] я середь мрачного, раздирающего душу реквиема, середь темной 'ночи, которая падает на усталый, больной Запад, — отворачиваюсь от предсмертного стопа великого бойца, которого уважаю, но которому помочь нельзя, и с упованьем

## ==54

смотрю на наш родной Восток, внутри радуясь, что я русский»<sup>58</sup>. Эпоху, которую переживает Россия, Герцен считает необыкновенно важной. Россию ждет освобождение крестьян, причем этот великий экономический переворот может быть совершен у нас мирным путем.

Для решительного скачка вперед нужны лишь понимание и отвага со стороны ведущих. Герцен, очевидно, на этот раз менее уверен в способности монархов совершить великое преобразование мирным путем. Но, как в статье «Революция в России», он настаивает на возможности такого преобразования как единственного, в сущности, выхода, решительно отрицая надежды на «призрачную революцию», для которой, как он полагает, нет элементов. Задачу людей, осознавших необходимость преобразований, он видит лишь в том, чтобы «будить сознание народа и самого правительства»<sup>59</sup>.

Несколько по-иному ставит Герцен вопрос о предстоящих судьбах русского социализма в статье «Русские немцы и немецкие русские». В западных странах, пишет он, социальный вопрос резко разделяет общество: труд с одной стороны, капитал — с другой, работа с одной стороны, машина — с другой, голод с одной стороны, штыки — с другой. Единственный путь к разрешению этого противоречия — «лом и ружье». «Эта истина нашла свое яркое выра-

58 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XII, стр. 431—432.

59 Там же, стр. 436.

## ==55

жение в двух фразах: «Жить работая или умереть сражаясь!»—кричат работники. «У кого есть меч, у того и хлеб!»,—говорит Бланки<sup>60</sup>. Такая постановка вопроса неизбежно вела к требованию полного устранения существующего порядка. Но старый порядок вовсе не был готов уступить свое место. Рабоческие артели не могли выдержать конкуренции с капитализмом и преследований правительства. В этом всеобщем мраке сияет лишь маленький огонек— лучина, зажженная в избе русского мужика. Наш неграмотный мужик приносит с собой на Запад не только запах дегтя, но и

какое-то допотопное понятие о праве каждого работника на даровую землю. Будущая Русь, утверждает Герцен, может развиваться только на трех началах: право на землю, общинное начало и мирское самоуправление.

Задачи нашей эпохи состоят в том, чтобы, отправляясь от этих начал, сознательно развить заключающиеся в них элементы нового порядка. Ставя перед передовыми людьми эту задачу, Герцен в то же время вновь заявляет о своем отрицательном отношении к кровавой революции. «Мы не верим, — говорит он, — что народы не могут идти вперед иначе, как по колена в крови; мы преклоняемся с благоговением перед мучениками, но от всего сердца желаем, чтоб их не было»<sup>61</sup>.

60 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIV, стр. 179. в1 Там же, стр. 186.

## ==56

Не следует, однако, думать, что Герцен в рассматриваемый нами период считал мирное разрешение социального вопроса полностью обеспеченным существующим соотношением общественных сил. В статье «Россия и Польша» он предсказывает возможность страшных битв, которые потрясут общество, если пролетарии и батраки Запада поймут единство своих стремлений с исконными мечтами русского народа и сомкнутся с ним в борьбе за общие цели.

## V

Обострение революционной ситуации в начале шестидесятых годов, рост крестьянского движения внесли в публицистику Герцена ряд новых революционных мотивов, освободили ее от присущих ей в первые годы после воцарения Александра II либеральных тонов, от надежд на мирные преобразования, осуществляемые царем, понявшим необходимость вывести Россию на новый путь и опирающимся в своей преобразовательной деятельности на просвещенную часть дворянства. В публицистике Герцена все ярче сказываются революционно-демократические тенденции, предчувствие крестьянской революции.

Из многих произведений, свидетельствующих о резком повороте в политических настроениях Герцена, о его разрыве с утопическими мечтаниями о царе-преобразователе, стоит в качестве примера отметить статью «Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ». Она характерна не только разры-

## ==57

вом Герцена с монархическими иллюзиями, но и прямым призывом к революционному действию, с которым он обращается к крестьянину. «О, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и страдалец земли русской, — восклицает Герцен, — до тебя, которого [...] Русь лакеев и швейцаров [...] презирает, которого ливрея зовет черным народом [...]. Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подъячего, боишься их—и совершенно прав; но веришь еще в царя и в архиерея... не верь им. Царь с ними, и они его. Его ты видишь теперь, — ты, отец убитого юноши в Бездне, ты, сын убитого отца в Пензе. Он облыжным освобождением сам взялся раскрыть народу глаза и для ускорения послал во все четыре стороны Руси флигель-адъютантов, пули и розги»<sup>62</sup>. «Крестьяне" не поняли, что освобождение обман,

они поверили слову царскому—царь велел их убивать, как собак; дела кровавые, гнусные совершились»<sup>63</sup>.

Если революционный подъем 1861—1863 гг. отразился, как мы видим, самым решительным образом на представлениях Герцена о путях русской революции, то следует, с другой стороны, отметить и обратное влияние — «русского социализма» Герцена на русскую нелегальную революционную литературу этого периода. Так, в прокламации «К молодому поколению» Шелгунова и Михайлова, появившейся

62 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XV. М., 1958, стр. 135.

63 Там же, стр. 137. ;

## ==58

осенью 1861 г., очень сильно, в духе герценовского учения о «русском социализме», была подчеркнута вера в особые пути социально-экономического развития России и в спасительную роль русской крестьянской общины - .

Следы влияния идей герценовского «русского социализма» чувствуются даже в резко осужденной Герценом прокламации Заичневского «Молодая Россия». В основу будущего общественного порядка революционной России Заичневский совсем в духе пропаганды Герцена кладет земледельческую общину. К земледельческим общинам приписаны все граждане. Все; они получают от общин земельные наделы; хотя они и имеют право отказываться от них, уходя из общины на другую работу, все же их связь с общиной не разрывается, выражаясь в оплате назначаемой общиной подати <sup>65</sup>.

Глубоко сочувствуя попыткам создания революционных организаций в России, приветствуя провозглашаемый ими лозунг «земли и воли», как лозунг уже давно им выдвинутый <sup>66</sup>, Герцен вместе с тем и в этот революционный период резко отмежевывается от попыток перенесения в Россию методов и требований западного революционного социализма. Как образец таких попыток он осуждает уже упомянутую прокламацию «Молодая Россия». «Молодая Россия»

64 См. «Прокламации шестидесятых годов». М.—Л., 1926, стр. 41—58.

65 Там же, стр. 65.

66 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVII. М., 1959, стр. 56.

## ==59

представляется ему «двойной ошибкой». Она, по его мнению, является вариантом западного социализма, перепевом традиций французской революции, которым придана форма призыва к оружию. Он не замечает в ней никакой связи с русскими традициями, с народом. Мысль Запада и его революционный опыт нужны нам, говорит по этому поводу Герцен, но нам не нужна его

революционная фразеология. Совершенно невероятно, заявляет Герцен, «чтоб народ русский восстал во имя социализма Бланки» 67.

Другое дело наши русские традиции, пишет Герцен примерно в это же время в письме к Э. Кине. Мы предвестники нового отношения к земле. Мы пытаемся развить индивидуальную свободу без отказа от права на землю, стремимся ограничить абсолютное право земельной собственности абсолютным правом каждого на земельное владение. Нам, привыкшим к полевым земельным переделам, легче разрешить этот вопрос в социальном смысле. Такое отношение к земле есть для России факт естественный; мы хотим развить его с помощью науки и опыта Запада<sup>68</sup>.

Среди произведений Герцена шестидесятых годов особое значение для понимания его представлений о путях развития «русского социализма» имеет «Письмо к Гарибальди» (1863).

67 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVI. М., 1959, стр. 204.

68 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVIII. М., 1959, стр. 97—98.

==60

«Социальная религия народа русского, — пишет Герцен, — состоит в признании неотъемлемых прав каждого члена общины владеть известным паем земли» 69. Право народа на землю никогда не оспаривалось. Отнять его невозможно, так как крестьянин твердо верит в незыблемость своего права на землю. Для того чтобы найти настоящий путь нашего социального развития, надо исходить, с одной стороны, из самого быта и устройства общины, с другой — из западной социальной науки, не нашедшей себе применения в Европе.

Сельская община — ячейка будущего государственного устройства, основанного на самоуправлении, с избираемой администрацией и выборным судом. На пути развития такого самоуправления было два препятствия: крепостное право и давление государственной власти; одно из этих препятствий пало, необходимо покончить и с другим. Но нельзя ждать таких реформ от самого государства. Дело касается его собственных привилегий, которые дороже ему, чем права дворянства. Правительство способно только обещать реформы, но неспособно их совершить. Оно повернуло в сторону реакции, и этот процесс необходимо во что бы то ни стало остановить. А для того, чтобы узнать, чего хочет народ, к чему он стремится, необходимо созвать Земский собор, всенародный и всеобщий, со всеобщим избирательным пра-

69 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVIII, стр. 23.

==61

вом. Если бы правительство согласилось, — тем лучше, если же нет, — надо его заставить созвать Собор или созвать его помимо правительства<sup>70</sup>. На таком Соборе были бы представлены, с одной

стороны, носители народных традиций и обычаев — старообрядцы, а с другой стороны—носители современной науки: мелкое дворянство, офицеры, студенты, окончившие курс, дети духовного происхождения — сословие, нигде не существующее, кроме России, мелкие чиновники. Дворянство, как замкнутый класс, потеряло всякое значение, ему остается одно—низшим слоем своим распуститься в народ.

Чего же мы хотим? — продолжает Герцен. Мы хотим распространения выборного начала на весь административный и судебный порядок, мы хотим облегчить ликвидацию дворянства, чуждого и вредного, мы хотим уничтожить правительство противонародное и противочеловеческое. Нет воли без земли, но, с другой стороны, мы утверждаем, что «земля не крепка без воли». Свобода без материальной точки опоры

ничего не стоит

7(1 2 мая 1865г. Герцен действительно обратился к Александру II с письмом, свидетельствующим о том, что он все еще не был в состоянии полностью расстаться со своими либеральными иллюзиями конца пятидесятых годов. «Вы сильнее ваших предшественников [...],—писал он.—Вы стали ближе не во имя консервативной идеи, а во имя революционного начала».—А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVIII, стр. 341.

71 Там же, стр. 26.

## ==62

В 1865 г. Герцен опубликовал в «Колоколе» серию статей, в которых он вновь возвращается к теме социализма западного и социализма русского («Письма к путешественнику»). Многие в этих статьях напоминают герценовскую пропаганду начала пятидесятых годов («La Russie», «Русский народ и социализм» и Др.). В основном социальное мировоззрение Герцена осталось тем же, но прошедшие годы — годы исключительно важные для общественно-политического развития России — не могли не внести новые черты в аргументацию Герцена, в его представления об отношении к делу социального прогресса различных общественных сил. Развитие России и западных стран, вновь напоминает Герцен свое старое положение, шло различными путями. Русскому народу было не по плечу западное устройство. В этом одно из величайших его достоинств, и этим объясняются особенности его грядущего развития. Герцен понимает, что силы голода и нищеты толкают французского работника в сторону коммунизма. Но он по-прежнему, как и 20 лет назад, не верит в то, что пиру правящих классов приближается скорый конец. У нас в России прочно стоит только деревенский порядок, все прочее—только временный балаган. В деревне господствует бытовой исконный социализм. Наша задача — сочетать с этим общинным устройством обеспечение прав личности. Этот сырой материал нашего быта, прикрытый царской порфирой и всякой дребеденью, не был нам понятен, пока западные социальные теории не показали

## ==63

нам его значение как частного случая нового экономического устройства. Наш гражданский катехизис — социализм, и если бы даже западный социализм умер, это мало значило бы для нас.

При всем сходстве основных мотивов пропаганды Герцена в шестидесятые и пятидесятые годы некоторых новых оттенков нельзя не отметить<sup>72</sup>. Характеристика судеб западноевропейского социализма далеко не столь мрачна, как она была в годы, непосредственно последовавшие за революцией. Былые, почти апокалиптические тона предвещаний Герцена теперь отсутствуют. Нет былой уверенности в неизбежности катастроф старого мира и, соответственно, в единospасающей роли русского социализма. Герцен еще упоминает о возможной смерти западного социализма, но в весьма условной форме: если бы даже западный социализм умер, это мало значило бы для нас. А с другой стороны, он видит, что старый, дореволюционный социализм западных стран дал ростки, и влияние этих ростков дает себя чувствовать: сенсимонизм, фурьеризм, триады Леру, полемика Прудона, романы Ж. Санд, Сю, Гюго — все это принялось и проросло. Добродушная голова старика Оуэна просвечивает во всех кооперативных начинаниях Англии»<sup>73</sup>.

<sup>72</sup> Об этом же см. Ю. Г. Оксман. Неизвестные строки Герцена о «русском социализме». [—В кн.; Проблемы изучения Герцена. М., 1963, стр. 9—15].

<sup>73</sup> Встрече с Оуэном в 1852 г. Герцен посвятил прочувствованную статью, вошедшую в состав «Былого и дум».

## ==64

Все они пролагают дорогу социальным преобразованиям. Республиканцы 1848 г., говорит Герцен, дали пример всем монархам, как нужно подавлять противников. Но подавление противников не уничтожило идей. Конечно, в общем характере социалистического движения произошли значительные изменения. Герцен прекрасно понимает и отмечает различия между «побегами» социализма в шестидесятые годы и утопиями былого времени. Герцен считает, что утописты сыграли свою роль, поставив основные социальные вопросы, и больше они ничего не дадут. «Страстная, вдохновенная форма, в которой является новое учение [...],—пишет он, — его церковные ризы, его фантазия, не знающая пределов, его фанатизм, не знающий сомнений, его юная нетерпимость [...] все это на месте вначале. Без идеалов, без поэзии люди не оставляют одр свой, чтоб идти за учителем»<sup>74</sup>. Но дальше должна пойти дневная суровая работа с ее трудными путями, с ее компромиссами. Нелепо говорить языком прошедшего времени.

Немало новых нот может быть отмечено и в герценовской характеристике русских отношений. Мы знаем, что в сороковых и в начале пятидесятых годов острие герценовской критики было направлено против царской власти и созданного ею аппарата управления, включая в него и высшее привилегированное дворянство.

<sup>74</sup> А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVIII, стр. 363.

## ==65

Эта «петербургская» организация управления представлялась Герцену чужеродным наростом на здоровом теле русского народа с его исконным и обеспечивающим ему великое будущее общинным порядком. В недрах самого народа Герцен не отмечал сил, которые были бы враждебны его



социальному прогрессу. В 1865 г. его внимание сосредоточено в первую очередь на реакционных настроениях в самом обществе. Не удивительно, пишет он, что штык колет, жандарм доносит, а правительство вешает. Герцена поражают и волнуют не реакционные тенденции, проявляемые правительством, а реакционные настроения Английского клуба, дворянских сходок, профессорских конференций. Уроки общественной реакции освобождают Герцена от его былой веры в то, что дворянство в лице своей наиболее культурной части возглавит движение вперед всего русского общества. Холопство общественных кругов, говорит он, ясно показывает в российском дворянстве потомков Ноздревых, Собакевичей и Фамусовых. Пусть же они не представляют себя Гемпденами и Лафайетами. Русские дворяне, за исключением декабристов, ничего не сделали для народа.

Констатируя факт распространения реакционных настроений в русском обществе, Герцен, однако, оказывается совершенно не в состоянии вскрыть исторические корни этой реакции, проявляющиеся в ней основные классовые взаимоотношения. Россия по-прежнему представляется ему царством крестьянским, сельским; все ис-

## ==66

ходит из села, и все воротится в него. Он по-прежнему весьма наивно выражает недоумение по поводу того ужаса, который вызывают в русском обществе идеи социализма. В Европе социализм угрожал традициям старого быта и потому вызывал отпор, утверждает Герцен, у нас этого быта нет (Герцен, очевидно, имеет в виду буржуазный порядок). Откуда же у нас такая вражда к социализму? Переход к социализму несет у нас ущерб только крупным помещикам. Восставая против социализма, люди, независимо от своего желания, становятся на сторону закоснелого консерватизма. Это и понятно, так как социализм — неизбежный результат всего исторического развития человечества. Социалистический переворот не является чем-то противоположным революции политической, — он ее неизбежный исход. Политическая революция и социализм — «две разных станции одной и той же дороги»<sup>75</sup>. Все политические вопросы упираются в конце концов в вопрос о народном благосостоянии. Беда социализма в том, что он преждевременно бросился в атаку на своего противника. Он был отбит, и это должно его научить лишь тому, чтобы точнее рассчитывать свои силы.

В своих предшествовавших работах, сосредоточивая внимание на тех особенностях русского быта, в которых он видел зародыши социализма, Герцен почти не замечал (или, может

76 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVIII, стр. 361.

## ==67

быть, предпочитал о них умалчивать) растущих в русской экономике зародышей новых, буржуазных отношений, грозящих нанести смертельный удар его надеждам. В середине шестидесятых годов эти тенденции к переходу русской экономики на рельсы того же самого «буржуазного быта», который Герцен считал отличительной особенностью западных стран, становились уже настолько заметными, что начали вызывать у Герцена серьезную тревогу. Исторических причин их возникновения он не понимал, сводя эти причины к ошибочной экономической политике правительства, которому чуждо понимание особого пути хозяйственного развития России — от первобытной общины к социалистическому порядку. У наших противников, говорит Герцен, нет ни ума, ни образования, ни единства цели. Политика правительства бестолкова, от него нечего ждать разума и справедливости, но

одно в ней действительно страшно: она подталкивает крестьян к насильственному разделу общинных земель. Она соблазняет крестьян буржуазной собственностью. «Буржуазная оспа теперь на череду в России»<sup>76</sup>. В борьбе с этими тенденциями Герцен видит теперь первоочередную и основную задачу. «Мы не впадаем в отчаяние и не поступимся нашей верой»<sup>77</sup>, — восклицает он. Россия еще не сокрушилась с того пути, по которому она призвана идти; препятствия на ее пути искусствен-

<sup>76</sup> Там же, стр. 371.

<sup>77</sup> Там же, стр. 368.

## ==68

ные. Концепция, которую развивает здесь Герцен, — об особом пути экономического развития России — получила в семидесятые годы дальнейшую разработку в трудах теоретиков народничества.

Кому суждено вести Россию к предназначенным ей целям? — этот вопрос в рассматриваемой нами статье Герцен предпочитает оставить открытым. В статье «К концу года» (того же 1865 г.) он повторяет сказанное в 1857 г.: «... от души предпочитаем путь мирного человеческого развития [...], но с тем вместе так же искренно предпочитаем самое бурное и необузданное развитие — застою николаевского *statu quo*»<sup>78</sup>.

Несмотря на все пережитое в начале шестидесятых годов, Герцен все же допускал возможность того, что царь произведет коренные изменения сверху, хотя в сущности уже не верил в то, что Александр II окажется таким преобразователем<sup>79</sup>. Но в то же время он приветствует и возможный революционный переворот с Пестелем, или Емельяном Пугачевым, или Анто-

<sup>78</sup> А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVIII, стр. 455.

<sup>79</sup> Отметим, что и в 1866 г. Герцен писал к Александру Н.: «... так трудно мне окончательно расстаться с мыслью, что вы вовлечены другими в тот исторический грех, в ту страшную неправду, которая совершается возле вас». — А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIX. М., 1960, стр. 82. Курсив наш. — В, В.

## ==69

ном Безднинским во главе<sup>80</sup>. Кто бы ни был суженый Руси преобразователь, Герцен призывает встретить его хлебом-солью.

## VI

Оценка исторической роли «русского социализма» претерпевает в произведениях Герцена шестидесятых годов заметные изменения. В пятидесятые годы «русский социализм» представлялся силой универсального значения, определяющей не только судьбы России, но и единственной силой, способной вывести Европу из тяжкого состояния реакции, в которое она была повергнута в результате поражения в 1848 г. «социализма западного». В шестидесятые годы «русский социализм» чаще всего выступает у Герцена (хотя иногда мы и в это время видим отблески старого воззрения) как всего лишь

один из вариантов социалистического движения, как вариант, характерный для России, но отнюдь не вытесняющий с исторической арены другие разновидности социализма, которые, как оказывается, вовсе не обречены на исчезновение и продолжают играть, хотя и в новых формах, свою прогрессивную роль не только в странах Запада, но даже и на родине «русского социализма».

Намеки на такой сдвиг — признание жизнеспособности европейского социализма — мы видим уже в «Письмах к путешественнику».

80 См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVIII, стр. 368.

==70

В статье «К концу года», полемизируя с Э. Кине, Герцен намечает два пути движения к социализму: один для России, другой—для Запада. Для Запада социализм — заходящее солнце, для русского народа — восходящее. Вы, обращаясь Герцен к Кине, пойдете «пролетариатом к социализму, мы социализмом к свободе»<sup>81</sup>.

Пожалуй, самое замечательное в этом ряду заявлений Герцена — его характеристика различных социалистических течений в России шестидесятых годов в статье «Порядок торжествует!» (1866—1867гг.). «Мы русским социализмом, — пишет здесь Герцен, — называем тот социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владения и общинного управления,—и идет вместе с работничьей артелью навстречу той экономической справедливости, к которой стремится социализм вообще и которую подтверждает наука.

Название это тем необходимее, что рядом с нашим учением развивались, с огромным талантом и пониманием, теории чисто западного социализма, и именно в Петербурге»<sup>82</sup>. Это раздвоение Герцен считает совершенно естественным. Между двумя течениями не было, утверждает он, никакого антагонизма.

81 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVIII, стр. 469.

82 Л. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIX, стр. 193.

==71

Первыми представителями петербургского течения в социализме были петрашевцы. За ними следовала «сильная личность» Чернышевского, оригинального социального мыслителя, не принадлежащего ни к какой из старых школ. Чернышевский пытался взять в свои руки управление движением. Он опирался на среду городскую, университетскую. Его сторонниками были исключительно пролетарии, интеллигенты. Большую заслугу Чернышевского, Михайлова и их друзей составляло то, что они впервые в России поставили вопрос об освобождении женщины. Пропаганда Чернышевского провела черту между действительно революционными элементами и средою, прикидывающейся либеральной, а

на самом деле «слегка бюрократической и слегка крепостнической». Идеалом группы Чернышевского была организация мастерских и совокупный труд.

Герцен отмечает далее появление большого числа социалистических кружков в Москве, Петербурге и в других городах, кружков, деятельно занимавшихся пропагандой общих идей социализма. Герцен признает большое историческое значение этого течения в социализме и считает, что его собственная пропаганда и пропаганда Чернышевского взаимно дополняли друг друга.

В условиях наступившей реакции Герцен призывает вести борьбу во имя прежней программы. Не смущаясь тем, что история идет грязными путями, он призывает высоко держать знамя, поднятое прогрессивными силами

==72

России, против знамени, водруженного на Зимнем дворце<sup>83</sup>.

Последний раз Герцен обратился к вопросу о социализме и социалистическом перевороте в письмах «К старому товарищу». Письма были задуманы как полемическое выступление против Бакунина, но получили гораздо более общее значение. Это, несомненно, одно из самых продуманных сочинений Герцена по социальным вопросам.

Первое письмо имеет эпиграф из Бентама: «Одни мотивы, как бы они ни были достаточны, не могут быть действительны без достаточных средств»<sup>84</sup>. Именно вопрос о средствах социального преобразования и составляет основную тему «писем».

Серьезный вопрос современности — один, утверждает Герцен. Это вопрос о социализме. Герцен считает, что в вопросе о целях необходимого социального преобразования не существует разногласий (очевидно, в среде русских революционеров). Но разногласия возникают немедленно, как только встает вопрос о средствах.

Герцен полагает, что прогрессивное меньшинство общества еще не доработалось до полного понимания «грядущего быта» и практических путей к нему. Часть городского населения, <sup>83</sup> См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIX, стр. 193—195, 199.

<sup>84</sup> См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XX, книга вторая. М., 1960, стр. 575.

==73

работники, стремится выйти из существующего положения, но ей противостоит другая и самая многочисленная часть со старым, отсталым мирозерцанием, с предрассудками, связывающими ее с существующим строем. Простым отрицанием этого мирозерцания ничего не достигнешь.

Вспоминая об уроках реформаторской деятельности Петра I и французского Конвента, Герцен отмежевывается от бакунинской формулы: «Die zerstorende Lust ist eine schaffende Lust» («Страсть

разрушения есть творческая страсть»), предупреждая, что поспешность в разрушительной работе опасна, ибо наряду со старым хламом разрушаются обычно и старые сокровища. Исходя из своего идеалистического представления о движущих силах социального переворота, Герцен утверждает, что революция 1848 г. не удалась потому, что восставшие не обладали ясным пониманием своих целей.

Мы ясно видим, продолжает Герцен, что царству капитала пришел конец, как некогда он пришел царству феодальному. Переворот начался в сознании работников, как в XVIII в. он начался в сознании буржуазии. Путем взрыва можно разрушить буржуазный мир, но это не мешает ему возродиться в каких-нибудь новых формах: буржуазный мир не изжил себя, заявляет Герцен в противоречие со взглядами, которые он не высказывал раньше. А вместе с тем, противники буржуазии не имеют еще разработанного плана нового общества, среда, которой предстоит взять на себя задачу

==74

его построения, еще не готова к ее выполнению<sup>85</sup>. Насилием можно лишь расчистить место для постройки нового здания. Все те проекты построения социалистического общества, которые предлагали старые коммунисты — Бабеф и Кабе, представляются Герцену проектами «каторжного равенства» и «коммунистической барщины»<sup>86</sup>.

«Старый порядок вещей крепче признанием его, чем материальной силой [...]» С народным сознанием возможно бороться лишь как с естественным явлением, «изучая его [...] и направляя его же средства—сообразно нашей цели»<sup>87</sup>.

Во втором письме Герцен переходит к вопросу о той силе, которая, очевидно, является, по его мнению, основной движущей силой социализма. И здесь мы встречаемся с интересным фактом. Мысль Герцена, после многолетних поисков такой силы в «исконной сельской общине» и в специфически русском артельном начале, вновь возвращается на Запад, к организации «западного социализма», к Международному товариществу рабочих.

«Международные работничьи съезды», говорит Герцен, становятся судилищами, на которых разбираются все социальные вопросы<sup>88</sup>. Их конечная цель — боевая цель, но они сохраняют спокойствие, сила которого пугает капита-

<sup>85</sup> См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XX, книга вторая, стр. 577.

<sup>86</sup> Там же, стр. 578.

<sup>87</sup> Там же, стр. 579.

<sup>88</sup> Там же, стр. 581.

==75

листов. Было бы несчастьем, если бы они сошли с этой стези, говорит Герцен, вновь подчеркивая, что предпочитает мирные методы борьбы. «Работники, соединяясь между собой, выделяясь в особое «государство в государстве», достигающее своего устройства [...] помимо капиталистов и собственников, [...] составляют первую сеть и первый всход будущего экономического устройства. Международный союз может вырасти в Авентинскую гору а l'interieur — отступая на нее, мир рабочий, сплоченный между собой, покинет мир, пользующийся без работы, на свою доходную непроизводительность ... и он, отлученный, nolens-volens, пойдет на сделки» 89.

Но силы старого общества, предостерегает Герцен, могут схватиться за оружие раньше, чем новые силы смогут построиться. Понимая и оценивая всю опасность такого поворота дел для рабочего движения, Герцен все же, как бы предупреждая возможность неправильных выводов, еще раз повторяет: понимание и обсуждение— наше единственное оружие. Мы стремимся выйти в мир свободы и разума. Всякие попытки свести нас с этого пути приведут к страшнейшим столкновениям и—что еще хуже— почти к неминуемым поражениям. Я не верю в серьезность людей, продолжает Герцен, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Людям нужна неустанная проповедь, равно обращенная к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину. В наше время массы народа с недо-

89 Там же, стр. 582.

==76

верием смотрят на тех, кто призывает их к оружию. Герцен понимает, что его рассуждения вызовут резкое порицание, на этот раз главным образом со стороны приверженцев насильственной революции, в том числе и анархистов бакунинского толка.

«Я нисколько не боюсь, — как бы отвечает он им, — слова «постепенность», опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей [...]. Между конечными выводами и современным состоянием есть практические облегчения, компромиссы, диагонали, пути. Понять, которые из них короче, удобнее, возможнее, — дело практического такта, дело революционной стратегии»90.

Герцен считает нужным предупредить рабочих от вмешательства в дела их организации представителей власти. Союзы рабочих должны становиться «вольным парламентом четвертого состояния» и свободно вырабатывать свою будущую организацию91. С другой стороны, Герцен, подобно Лассалю, на которого он в этом вопросе ссылается, не считает разумным отказываться от государства как от одного из орудий социального преобразования. Из того, что государство преходяще, не следует, что оно уже — прошедшее. Государство — основная политическая форма существующего общества, но она изменяется с обстоятельствами. Уничтоже-

90 А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XX, книга вторая, стр. 583.

91 Там же.

==77

ние государства невозможно, добавляет Герцен, пока в других странах оно сохраняется.

Герцен представляет себе, что старые формы политического устройства с ростом организации работников не смогут выдержать напора и разорвутся. Этот момент разрыва грозит движению известными опасностями. Ломка старых форм может оттолкнуть большинство народа, может поднять против себя все крестьянское население, а мы знаем, прибавляет Герцен, упорную силу и упорную косность крестьян. Интересно, что в связи с этим Герцен считает нужным предостеречь борцов за дело прогресса от чрезмерного увлечения идеей всеобщего избирательного права: «Всеобщая подача голосов, навязанная неприготовленному народу, — говорит он, имея в виду, очевидно, Францию 1848 г., — послужила для него бритвой, которой он чуть не зарезался» 92.

Возвращаясь к вопросу о крестьянстве. Герцен высказывает ряд соображений о различии между крестьянами русскими и крестьянами западными. Русский крестьянин привязан к общине, западный крестьянин привязан к земле собственностью, которая знаменует для него свободу, определяет его значение в обществе, удовлетворение его вековых мечтаний. Трудно убедить его, несмотря на все неудобства дробления земли, отказаться от собственности. Набросав в самых общих чертах характеристику того пути, который должен, по его мнению, при-

92 Там же, стр. 584.

==78

вести работников к социальному преобразованию, и отметив главную опасность, стоящую на этом пути (отношение к перевороту крестьянства), Герцен, обращаясь к своему корреспонденту, еще раз подчеркивает изменение своих взглядов на способы преобразования.

После июньских дней, говорит он, я звал на разрушение не зная даже, к чему оно приведет. С тех пор минуло 20 лет. Это время дало досуг на наблюдение и размышление. И после этого мы стали по-разному смотреть на вопросы. «Ты рвешься вперед по-прежнему с страстью разрушенья, которую принимаешь за творческую страсть... [...] Я не верю в прежние революционные пути [...]»93. Считаю необходимым тщательно изучать ход истории и настроение народа, чтобы идти с ним в ногу и не ставить неосуществимых задач, Герцен, с другой стороны, предостерегает от слепого фатализма, утверждающего, что люди неспособны двигать события, а могут лишь плыть по течению волн; в действительности, говорит Герцен, понимание людей и их личная энергия способны воздействовать на развитие общества: личность создается событиями, но и события осуществляются личностями. Твердо убежденный в преимуществах мирного пути развития Герцен считает, однако, вероятным, что упорное сопротивление консервативной части общества может все же вызвать взрыв. Если это произойдет, в катаклизме по-

93 Л. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XX, книга вторая, стр. 586.

==79

гибнет и капитал, в котором оседлали личность, и творчество разных времен, все культурное наследие человечества.

Ни в одном из своих произведений Герцен не подходил так близко к пониманию великого исторического значения международного рабочего движения, как в письмах «К старому товарищу». Организация «Интернационала» как будто воскресила в его сознании представления о решающей роли рабочих в деле общественного преобразования, сложившиеся еще в сороковые годы, взгляды, померкшие после революции 1848 г. и занимавшие второстепенное место в более поздних произведениях. Полного понимания этой роли мы не находим, конечно, и здесь. Герцену до конца оставалось чуждым научное понимание социалистической революции как революции пролетариата. Взгляды, высказанные им во втором письме «К старому товарищу», напоминают скорее идеи Оуэна периода его наибольшей близости с английским профессиональным движением и в некоторой мере как бы предвещают позднейшие английские и французские течения «аполитического» социализма (гильдейский социализм и т. п.). Упорная защита в письмах «К старому товарищу» идей мирного перехода к социализму привлекла к этому произведению Герцена — несмотря на его попытки отмежеваться от опошляющих понятие постепенности реформистских начинаний — особое внимание и особый интерес со стороны социалистов-оппортунистов последующих десятилетий. Но это не помещало В. И. Ленину

==80

дать высокую оценку последнему произведению Герцена. Отметив в нем столь понравившиеся оппортунистам «буржуазно-демократические» ноты, В. И. Ленин писал: «Но все же таки, разрывая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к Интернационалу, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс, — к тому Интернационалу, который начал „собирать полки“ пролетариата, объединять „мир рабочий“, „покидающий мир пользующихся без работы!“»<sup>94</sup>.

На протяжении всей своей публицистической деятельности Герцен выступал в качестве горячего сторонника и пропагандиста идей социализма. Тем не менее говорить о социалистической системе Герцена не приходится. Целый ряд важнейших вопросов социалистической теории Герцен вовсе не затрагивает ни в одном из своих произведений. Прежде всего приходится сказать, что его указание на неразработанность «понимания грядущего быта» и практических путей к нему относится в первую очередь к его собственному творчеству. С другой стороны, в тех вопросах теории социализма, которых он касался, он часто высказывал мнения, одно другому противоречащие и не всегда продуманные, представляющие слишком поспешную реак-

94 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 257.

==81

цию на явления европейской и русской политической жизни.



в сороковые годы и «русский социализм» пятидесятых годов существенно отличаются друг от друга. В произведениях шестидесятых годов как будто намечаются тенденции к синтезу этих двух построений; наконец, в письмах «К старому товарищу» запечатлены явные признаки нового поворота, завершить который помешала преждевременная смерть мыслителя.

Несмотря на все сказанное, историческое значение социалистической пропаганды Герцена громадно. Его работы первого периода публицистической деятельности — периода «Писем из Франции и Италии» и «С того берега» — можно считать первыми в русской литературе произведениями, отражающими реакцию интеллигенции не только на жестокости николаевского деспотизма, но и на зарождающиеся ростки новых, буржуазных отношений. Они прекрасно служили делу распространения в России западноевропейских социалистических идей и к тому же свидетельствовали о большой самостоятельности социальной мысли Герцена, сумевшего, исходя из учения утопистов и западного революционного движения, подняться на высоту, которой не мог достигнуть никто из социалистов домарксовского времени. Герцен понял и первым разъяснил русскому читателю ту роль, которую призван играть в социалистическом движении рабочий класс, хотя ему и было чуждо истинно научное материалистическое

==82

понимание классовой борьбы пролетариата, ее исторического развития и ее неизбежных результатов. Неудача февральской революции 1848 г. и наступившая после июньских дней реакция потрясли Герцена, но не заставили его отказаться от убеждения в социалистическом будущем человечества. Утратив веру в существование в буржуазных странах сил, способных очистить их от капиталистической скверны и привести к социализму, он вообразил, что нашел эти силы в родной ему России, в исконной русской сельской общине. Это привело мыслителя к созданию особого, «русского» социализма, являющегося попыткой осмыслить, исходя из достижений передовой мысли Западной Европы, социальные чаяния пролетаризирующегося русского крестьянства. Совершенно утопический по своему обоснованию, не чуждый — в силу этого — некоторого реакционного привкуса, «русский социализм» Герцена сыграл, однако, значительную роль в развитии социальных идей в России, послужив одним из исходных пунктов для очень своеобразного течения русской общественной мысли, для так называемого народничества семидесятых—восьмидесятых годов.

Вместе с тем Герцен, со своими поисками научного обоснования социалистического идеала, со своим обращением к международному рабочему движению, отразившимся в письмах «К старому товарищу», выступает, по определению В. И. Ленина, как предшественник русской социал-демократии, предшественник марксизма.

А.И.ГЕРЦЕН

О СОЦИАЛИЗМЕ

ИЗБРАННОЕ

==83

[ИЗ ДНЕВНИКОВ]

[I] 1844. 24 МАРТА.

24. Gfrorer. «Geschichte der christlichen Kirche», I t.

Поразительное сходство современного состояния человечества с предшествующими Христу годами придает удвоенную важность истории развития церкви и времени, предварившего евангельское учение. С одной стороны, древний мир был весь собран в один узел, в один царящий орган, с другой — в самом этом средоточии обличилась ярко необходимость возрождения. Между тем вдали от центра разрабатывались, бродили неустроенные и приходили в органический порядок смутные идеи нового порядка дел, мира возникающего. Окаменелое учение саддукеев, несколько принявшее в себя чуждых начал учения фарисеев, дряхлеет; терапевты и ессениане выступают из иудаического мира в иной, в котором неоплатонизм, александрийская мистика дают совершенно новое направление. Главнейшие истины христианской теодицеи и христианская нравственность проявляются отрывочно в новых учениях. Ессениане учреждаются точно так, как после апостолы, по свидетельству е[вангелиста] Луки. Иосиф говорит, что «у них каждый вступающий в орден приносил свое имущество, которым распорядилось общество, бедных не было — так, как и богатых,

==84

собственность была слитная, братству принадлежащая». Чистота нравов, доведенная до монашеского аскетизма и плоть умерщвления, свидетельствует ясно, что они так же, как Христос, принимают плоть за зло и умерщвлять ее считают святейшим делом. Они отрекаются от кровавых жертв. Наконец, у них, как у мистических неоплатоников, слагается учение о единичной тройственности бога; от основной нравственности берут смирение, веру и любовь, — все веет евангелием, и во всем чего-то недостает, — того властного слова, той конкретики, той молнии, которая единым учением, полным и соответственным выразить, осуществит бродящие и несочлененные части, предсуществующие ему.

Неопределенное чувство этой неполноты выражается упованием мессии. В наше время социализм и коммунизм находятся совершенно в том же положении, они предтечи нового мира общественного, в них рассеянно существуют *membra disjecta* \* будущей великой формулы, но ни в одном опыте нет полного лозунга. Без всякого сомнения, у сенсимонистов и у фурьеристов высказаны величайшие пророчества будущего, но чего-то недостает. У Фурье убийственная прозаичность, жалкие мелочи и подробности, поставленные на колоссальном основании, — счастье, что ученики его задвинули его сочинения своими. У сенсимонистов ученики погубили учителя; Народы будут холодны, пока проповедь пойдет этим путем; но учения эти

разъединенные члены (лат.)

==85

велики тем, что они возбуждают, наконец, истинно народное слово, как евангелие. Доселе с народом можно говорить только через священное писание и, надобно заметить, социальная сторона христианства всего менее развита; евангелие должно взойти в жизнь, оно должно дать ту индивидуальность, которая готова на братство. Коммунизм, конечно, ближе к массам, но доселе он является более как негация, как та громовая туча, которая чревата молниями, разобьющими существующий нелепый общественный быт, если люди не покаются, видя пред собою суд божий. «Искупление, примирение, ТсаХт.'с'севеoiос и оитохатжгсаан.; ixdvccov \*»— слова, произносимые тогда и теперь. Обновление неминуемо. Принесется ли оно вдохновенной личностью одного или вдохновением целых ассоциаций пропагандистов — собственно, все равно; разумеется и то, что пути эти вовсе не противоположны. Христианство не заключается в Христе, а в Христе и апостолах, в апостолах и их учениках, в живой среде их оно развивалось и становилось тем, чем человечеству надобно было.

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. II. М., 1954, стр. 344—345.

[II] 1843. 4 НОЯБРЯ.

[...] Коммунистическое движение в Швейцарии имело представителем своим Вейтлинга', возрождение и приведение всего в первоначальное состояние (греч.)

==86

прежде портного, потом энергического писателя и пропагандиста. Места из его писаний, приведенные комиссией, красноречивы и сильны. Распространение коммунизма шло очень быстро между работниками швейцарскими и германскими. Начала их известны: Eine vollkommene Gesellschaft hat keine Regierung, sondern eine Verwaltung \*— организация работ, равенство in facto, война собственности etc., etc. Много одушевления, слова Вейтлинга иногда поднимаются до апостольской проповеди; прекрасно определяют они свое отношение к либералам. Есть нелепости (например, теория воровства), но есть зато резкая истина [...].

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. II. М., 1954, стр. 313—314.

[III] 1843. 18 ФЕВРАЛЯ.

[...] События покажут форму, плоть и силу реформации. Но общий смысл понятен. Общественное управление собственностями и капиталами, артельное житье, организация работ и возмездий и право собственности, поставленное на иных началах. Не совершенное уничтожение личной собственности, а такая инвестируемая обществом, которая государству дает право общих мер, направлений. Фурьеризм, конечно, \* В совершенном обществе нет правительства, существует только управление (нем.)

==87

всех глубже раскрыл вопрос о социализме, он дал такие основания, такие начала, на которых можно построить более фаланги и фаланстера [...].

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. II. М., 1954, стр. 266—267.

[IV] 1844. 3 ДЕКАБРЯ

Наконец, я достал брошюру Прудона «О собственности» 2. Прекрасное произведение, не только не ниже, но выше того, что говорили и писали о ней. Разумеется, для думавших об этих предметах, для страдавших над подобными социальными вопросами главный тезис его не нов; но развитие превосходно, метко, сильно, остро и проникнуто огнем. Он совершенно отрицает собственность и признает владение индивидуальное, и это не личный взгляд, а вывод логический и строгий, которым он развивает невозможность, преступность, нелепость права собственности и необходимость владения [...].

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. II. М., 1954, стр. 391.

==88

[00.htm - глава02](#)

## **ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ [ОТРЫВКИ]**

[ПИСЬМО ПЕРВОЕ]

Третья оппозиционная партия, существовавшая до революции, была партия социалистов и коммунистов — французский социализм явился вслед за 93 годом как упрек республике политико-демократической С.-Жюста и Робеспьера, как пророчество будущего переворота — его казнили консерваторы в лице Гракха Бабефа. Но он вскоре, во время Империи, возродился не в революционной, а индустриально-религиозной форме, потомок герцогов Сен-Симонов сделался проповедником нового социализма. Пятнадцать лет Реставрации Франция провела в парламентских прениях, в либерализме, в конституционных теориях — о социализме никто не думал, совсем напротив, все твердили Сэя и Мальтуса, это было золотое время представительного правительства, тогда блистали такие ораторы, как Манюэль и Б. Констан, буржуазии — отборная и богатая (ибо цене был выше) — соперничала с возвратившимся дворянством и, сидя на мешках золота, смеялась над почерневшей позолотой их гербов. Революция 1830 вдвинула другие начала, по-видимому, казалось, ничего не переменилось, кроме собственных имен и грамматических поправок в тексте хартии. Таково

[Письмо первое]

==89

свойство сильных народных потрясении, совсем назад воротиться нельзя; после 1830 года французские Камеры утратили интерес, слишком много посредственности вошло в них. Цене 1830 не ввел ничего народного, а позволил всплыть бедной или по крайней мере небогатой буржуазии — сословию плохо образованному и весьма неблагоприятному. Социальные вопросы стояли так близко, так неминуемо, что нельзя было их миновать, — народ очень хорошо понимал, что его положение не улучшилось, нашлись люди, которые стали ему пояснять отчего. Учение С.-Симона и Фурье распространялось — и что, может, важнее их школ, — это то, что вопросы, поднятые ими, что их сомнения в прочности существующего, что их критика перешла в умы, враждебные им, заняла всех.— Восстание в Лионе 1832 3 — носит в себе совершенно новый характер, кровь льется не из религиозного разномыслия, не из политического устройства — из вопроса работы и возмездия. — С тех пор вопрос этот ни на минуту не

сходил с арены, вольно было отворачиваться от него, не знать его (ignorer, как говорят немцы); он был тут, как угроза, как угрызение совести. Работники, вообще пролетарии, несравненно более сочувствовали социальным и коммунистическим теориям, нежели либерализму «Националя». Журналы социалистов имели мало влияния, буржуазная и буржуазнолиберальная журналистика не удостоивала внимания и разбора даже такие сочинения, как Прудонovo «Contradictions de l'economie politique» 4 — самое серьезное и глубокое сочинение

## ==90

последнего десятилетия во Франции. Ни одно отдельное учение не обнимало всего вопроса социального, ни одно само по себе не было сильно, от уступчивых теорий Консидерана до злейшего коммунизма, от логики Прудона до мечтаний Кабе, — но, взятые вместе и дополненные теми стремлениями, которые еще не успели вы" развиться учением, системой, они представляли великий элемент в развитии народном, тем более важный, что вся сознательная и рассуждающая [часть] работников были социалистами.

Из пепла, брошенного умирающим Бабефом, — родился французский работник. Будущность Франции — его, наследник Бурбонов и мещан — не Генрих V, не Ламартин, а блузник, столяр, плотник, каменоделец. Потому что это единственное сословие во Франции, которое доработалось до некоторой ширины политических идей, которое вышло вон из существующего замкнутого круга понятий. Потому что его товарищ по несчастью, бедный земледелец, представляет в противоположность деятельному протесту работников — страдательное, тупое хранение *statu quo*. Парижский работник принял в наружности что-то серьезное, *austere* \*. Это люди, до которых коснулось веяние будущего, это люди, почувствовавшие призвание — и оставившие для него все, это назареи в Риме, социализм у них перешел в религию, работа сделалась священнодействием. Что за мощный

суровое (франц.)

## ==91

народ, который, несмотря на то, что просвещение не для него, что воспитание не для него, несмотря на то, что сгнетен работой и думой о куске хлеба, — силою выстраданной мысли до того обошел буржуази, что она не в состоянии его понимать — что она с страхом и ненавистью предчувствует неясное, но грозное пророчество своей гибели — в этом юном бойце с заскорузлыми от работы руками. При Людвиго-Филиппе теоретический социализм презирали — но где правительство встречало практическое поползновение осуществить социальные учения — там оно разило беспощадно, уверенное, что буржуази ему будет рукоплескать, гонение работника составляло новый брак между королем-мещанином и богатой частью народа. По временам доходил до ушей публики какой-то стон, выходящий из мощной, но задавленной груди, слышался страшный протест — не в журналах, не в Камере, а на лавках подсудимых, в ассизах, его хроника в «*Gazette des Tribunaux*». Судьи-мещане, присяжные-мещане наказывали тюрьмой за стон и гильотиной за голод и отчаяние. Толпы бедняков без хлеба, — взбешенные торговцем ржи, который выстрелил в них и убил одного из них, они бросились в

первую минуту на убийцу и убили его самого. Четыре человека были гильотинированы по этому делу в Бизансе. Это было во время голода 47 года. Правительство из страха кормило тогда бедняков в Париже, в провинциях оно их оставляло в самом беспомощном положении, но и в Париже достаточно было самого легкого подозре-

==92

### Письма из Франции и Италии

ния в коммунизме, чтоб обрушить на работника страшные гонения; полиция выдумывала гнуснейшие обвинения, королевские прокуроры находили мужество поддерживать обвинения, которых ложь они видели явно; присяжные соглашались с ними, для того чтоб проучить «анархистов». Гизо имел дерзость задавленному работой и нуждой работнику сказать с трибуны Законодательного собрания: «Работа, непрерывная работа для вас необходима, это единственная узда, на которой вас можно держать». Вот эти-то гонимые люди сохранили настолько свежести сил, настолько глубокого чувства человеческого достоинства, что взяли за ружье 23 февраля — и явились во всем величии французского народа; лишь только блузник стал во весь рост, все исчезло перед ним, как звезды перед солнцем: и Людвиг-Филипп, и наследственный престол, и Одилон Барро, и Камера, и регентство. — Он — великий народ баррикад, надел на себя корону, он занял Тюльери, а трон отправил сжечь на то место, где стояла Бастилия, он — провозгласил республику и водрузил красное знамя демократии, и все это менее нежели в двое суток, и без всяких приготовлений. — Остальное сделал не он. — Он остановился на первом успехе, он дал спокойно снять с своей головы корону, он спохватился после — но уже было поздно. —

Теперь мы знаем отчасти элементы, которые должны были взойти в революцию 24 февраля. История февральской революции довольно соответственно этим элементам представляет три

[Письмо одиннадцатое]

==93

фазы — ее начала парламентская оппозиция, которая далее реформы идти не хотела, ее совершил парижский народ — провозглашением республики, ее окончили журналисты, воспользовавшиеся общим разгромом и своими либеральными именами, чтобы сесть на трон. Оппозиция и Национальная гвардия с ужасом увидели, что они завоевали больше, нежели хотели. Журналисты стали между народом и мещанами, обоим присягнули, обоим протянули руки и основали свою власть на попытке нелепого примирения. Что они сделали, мы увидим.

[Июнь 1848 г.]

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. V. М., 1955, стр. 313—316.

[ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ]

Бабёф, прежде нежели сложил голову на плаху, сказал Франции, что ее революция только начало, l'avant- coureur\* другого переворота и что этот грядущий переворот дотронется не до форм, а до сущности, до нервной пульпы гражданских обществ. Его не поняли, да и тогда не время было понимать его; развитые силы первым освобождением были еще так велики, что разгул их чуть не разбил всю старую Европу и что двадцать лет непрерывных войн едва могли привести Францию в русло. С на-

предвестница (франц.)

==94

полеоновской эпохи прошли века — безумие Бабёфа, безумие Сен-Симона и Фурье выросли с своей стороны в религию.

[Июнь 1849 г.]

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. V. М., 1955, стр. 185.

[ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ. (НЕМЕЦКИЙ ВАРИАНТ)]

[...] Истинный прогресс был после 1793 года на стороне Бабёфа, этого вздорного Гая Гракха нового мира, а полнейшая реакция — на стороне Наполеона, этого мещанского Карла Великого, который укрепил позорнейшее социальное положение, какое когда-либо существовало.

Общественное развитие невозможно без республиканской формы; всегда, стало быть, сделан большой шаг вперед, когда последняя достигнута. Странно, однако, если после этого останавливаются, так же странно, как упрямо держаться за протестантизм после того, как удалось отделаться от католицизма, или остановиться на власти денег, раз уж избавились от феодального крепостного состояния. Не подумайте, что я хочу здесь бросить неблагодарные упреки реформаторам и революционерам прошедших времен, несколько; нет, я здесь бросаю упрек лишь псевдореволюционерам современности. В 1789 году само слово «республика» уже было неизмеримым прогрессом, республика была благой вестью, которая возвещала челове-

[Письмо одиннадцатое. (Немецкий вариант)]

==95

честву революцию, республика поднималась на сияющем, солнечном горизонте, она являлась, как некогда царство божие христианам, как исполнение всех человеческих чаяний; она была религией, революционной идеей своего времени. Ни царство божие, о котором мечтали апостолы, ни республика, о которой мечтали якобинцы, не могли осуществиться, и фанатическая вера в это осуществление создала их могущество и величие. События лишь тогда велики, когда они совпадают с высочайшими стремлениями своего времени; люди бросают тогда всю свою силу и энергию на завершение дела, их деятельность поглощает их, воодушевляет их, они забывают все, что лежит за пределами увлекшей их сферы. Пусть мы хоть в двадцатый раз читаем о событиях первой революции, снова и снова бьется наше сердце, снова и снова взволнована наша душа, мы находимся во власти этого мрачного, мужественного и деятельного величия. Поэтому в памяти каждого навсегда запечатлеваются имена этих исполинских личностей, эти пластические события, самые слова, произнесенные этими мужами, ответ Мирабо, взятие Бастилии, 10 августа, Дантон, Робеспьер, 21 января и все эти гиганты гражданского и воинского духа. И в то же время мы начинаем забывать близоруких, слабых волей людей, которые отважились 24 февраля пробиться на передний план, львов Временного правительства и Учредительного собрания. Эти люди медленно шли вперед, они пугались последствий, они содрогались от беспокойного предчувствия, они видели, что на

## Письма из Франции и Италии

небе всходило еще нечто другое, но это нечто было им непонятно, и они хотели его задержать, они хотели затормозить колесо истории. Эти малoverные люди не были революционерами по мерилу нашего времени, и они погубили революцию, — как Луи Блан, социалистический дилетант, так и Ламартин, политический

дилетант.

«Весь мир считает Луи Блана ультрасоциалистом, а вы утверждаете, что он лишь дилетант? Социалисты ни в чем не достигают согласия; причина тому просто в том, что социализм никогда точно и ясно не выдвигал своих принципов и не имеет определенных догм; он составлен из дюжины шатких, противоречивых доктрин». Но знаете ли вы, какие учения так хорошо формулируются и разрабатываются в тиши кабинета? Это правила, учения, никогда не осуществляемые, это Платонова республика, Морова Атлантида, христианское царство божие. Впрочем, я ошибаюсь, царство божие было уже гораздо неопределеннее, и развитие христианства представляет для нас прекрасный пример того, какими способами осуществляются социальные превращения. Быть может, организация церкви и католического мира была подготовлена евангелием? Отнюдь нет, евангелие было лишь высокой абстракцией и отрицанием существующего, быть может, еще более высокого порядка; лишь после четырехсотлетней борьбы христианам удалось достигнуть согласия на Никейском соборе. Великие революции никогда не совершаются по заранее и окончательно

[Письмо одиннадцатое. (Немецкий вариант)]

установленной программе. Это осознание того, чего не хотят. Борьба есть истинное рождение общественных обновлений; посредством борьбы и сравнения общие и отвлеченные идеи, неясные стремления превращаются в установления, законы и обычаи. Эмбриогенез всего живущего длителен и запутан, зародыш проходит через различные безобразные и странные состояния, его развитие — не отвлеченная наука, а действительность, развитие семенного ядра и постоянное посредничество противоположностей. Когда социализм был еще беднее содержанием, носил более общий характер и был еще ближе к своей колыбели, он формулировал себя с значительно большей легкостью и предстал в религиозной форме, в которой выступает всякая великая идея в своем младенчестве; у него были тогда свои верующие, свои фанатики, свои внешние приметы — это был сенсимонизм. Затем социализм явился в виде рациональной доктрины, это был его период метафизики и отвлеченной науки; он построил общество а ргіогі, он предпринял социальную алгебру, психологические расчеты, для всего создал рамки, все формулировал и не оставил никаких открытий будущим людям, которым предназначил зачислиться в фантастерий. Вскоре настало время, когда социализм спустился в массы и предстал как страсть, как месть, как буйный протест, как Немезида. Едва рабочие, подавленные вопиющей несправедливостью существующего беспорядка, услышали издали слова сочувствия, едва увидели они занимав-



## Письма из Франции и Италии

шуюся зарю сулившего им освобождение дня, как они перевели социальные учения на иной, более суровый язык, создали из них коммунизм, учение о принудительном отчуждении собственности, учение, возвышающее индивидуум при помощи общества, граничащее с деспотизмом и освобождающее между тем от голода. В наше время никто не говорит о сенсимонизме, о фурьеризме или о коммунизме. Все эти системы и учения, и еще многие другие, склонились перед мощным голосом критики и отрицания, который ничего вперед не осуждал и не систематизировал, который, однако, взывал к уничтожению всего того, что препятствует общественному возрождению, и вскрывал пошлость и лицемерие всего того, что поддерживается Друзьями порядка. Я не хочу отрицать солидарности, поневоле связывающей нас с нашими традициями, нет, конечно, нет, ибо почему человек должен презирать мечты своей юности? Предшествующие формы были слишком детскими, заключали истину лишь в одностороннем восприятии, но учения из-за этого вовсе не были ложными. Одна и та же великая мысль, содержащая целый мир в своем зародыше, пронизывает все социальные доктрины, не исключая даже прогрессивнейшего коммунизма. Этим учениям мы обязаны тем, что начинают сознавать, что нельзя достигнуть спасения мира, разладив старую политическую машину; от них исходит громкий призыв к реабилитации плоти, к прекращению эксплуатации человека человеком, в них впервые получили признание страсти

[Письмо одиннадцатое, (Немецкий вариант)]

человека и была сделана попытка использовать их, а не подавлять. Солидарность, однако, признаваемая мною, не означает, что я ответственен за каждую мысль, каждую фазу, детали, всю организацию каждого рассматриваемого в отдельности учения.

Одни хотят видеть в социализме лишь странные подробности, в которые впали некоторые из первых социалистов, увлеченные и ослепленные красотой идей. Скорее пророки, чем организаторы, они оставались на верном пути в своих неопределенных стремлениях и запутывались в их применении и их последствиях. Этого никто не отрицает. Но сколько бы вы ни повторяли, что историческое развитие есть непрерывная метаморфоза, в которой каждая новая форма более пригодна к содержанию истины, чем предшествующая, — на нас взваливают преувеличения папаши Анфантена, все чрезмерности Фурье и все ошибки икарійцев.

[1850 г.] А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. V. М., 1955, стр. 426—428.

## С ТОГО БЕРЕГА [ОТРЫВКИ]

### ПОСЛЕ ГРОЗЫ\*

Pereal!

Женщины плачут, чтоб облегчить душу; мы не умеем плакать. В замену слез я хочу писать — не для того, чтоб описывать, объяснять кровавые события, а просто чтоб говорить об них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи.

В Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина хранится следующая копия не включённого в прижизненные издания «С того берега» посвящения к главе «После грозы»:  
Dedication [Посвящение]

Мы с вами пострадали вместе страшные, гнусные июньские дни. Я дарю вам первый плач, вырвавшийся из души моей после них. Да, плач, я не стыжусь слез! Помните «Марсельезу» Рашели<sup>5</sup>? Теперь только настало время ее оценить. Весь Париж пел «Марсельезу» — слепые нищие и Гризи, мальчишки и солдаты; «Марсельеза», как сказал один журналист, сделалась «Pater noster» [«Отче наш» (лат.)] после 24 февраля. Она теперь только умолкла — ее звукам нездорово в *etat de siege*б [осадном положении (франц.)] — «Марсельеза» после 24 февраля<sup>7</sup> была кликом радости, победы, силы, угрозы, кликом мощи и торжества.

И вот Рашель спела «Марсельезу». . . Ее песнь испугала; толпа вышла задавленная. Помните?— Это был погребальный звон среди ликований брака; это был упрек, грозное предвещание, стон отчаяния

После грозы

Где тут описывать, собирать сведения, обсуживать! — В ушах еще раздаются выстрелы, топот несущейся кавалерии, тяжелый, густой звук лафетных колес по мертвым улицам; в па-

середь надежды. «Марсельеза» Рашели звала на пир крови, мести. . . там, где сыпали цветы, она бросала можжевеловый. Добрые французы говорили: «Это не светлая «Марсельеза» 48 года, а мрачная, времен террора. . .» Они ошиблись: в 93 году не было такой песни; такая песнь могла сложиться в груди артиста только перед преступлением июньских дней, только после обмана 24 февраля.

Вспомните, как эта женщина, худая, задумчивая, выходила без украшений, в белой блузе, опирая голову на руку; медленно шла она; смотрела мрачно и начинала петь вполголоса. . . мучительная скорбь этих звуков доходила до отчаяния. Она звала на бой... но у нее не было веры — пойдет ли кто-нибудь? .. Это просьба, это угрызение совести. И вдруг из этой слабой груди вырывается вопль, крик, полный ярости, опьянения: «Aux armes, citoyens.. .

Qu'un sang impur abreuve nos sillons, ..»

[К оружию, граждане. . .

Пусть нечистая кровь оросит борозды наших пашен. . .»

(франц.)]

прибавляет она с жестокосердием палача. — Удивленная сама восторгом, которому отдалась, она еще слабее, еще безнадежнее начинает второй куплет. .. и снова призыв на бой, на кровь... На мгновение женщина берет верх, она бросается на колени, кровавый призыв делается молитвой, любовь побеждает, она плачет, она прижимает к груди знамя. .. «Amour sacre de la patrie.. ..» [«Священная любовь к отечеству. . .» (франц.)]. Но уже ей стыдно, она вскочила и бежит вон, махая знаменем — и с кликом «Aux armes. cito-

==102

мяти мелькают отдельные подробности — раненый на носилках держит рукой бок, и несколько капель крови течет по ней; омнибусы, наполненные трупами, пленные с связанными руками, пушки на Place de la Bastille \*, лагерь у Porte St. Denis \*\*, на Елисейских Полях и мрачное ночное «Sentinelle—prenez garde a vous! ..»\*\*\* Какие тут описания, мозг слишком воспален, кровь слишком остра.

Сидеть у себя в комнате сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возле льется кровь, режутся, колют, что возле умирают, — от этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарился, я оправляюсь после июньских дней, как после тяжелой болезни.

А торжественно начались они. Двадцать третьего числа, часа в четыре перед обедом, шел я берегом Сены к Hotel de Ville \*\*\*\* лавки запирались, колонны Национальной гвардии с зловещими лицами шли по розным направле-

еуенс. . .» Толпа ни разу не смела ее воротить.

Статья, которую я вам дарю, — моя «Марсельеза». — Прощайте. Прочтите друзьям эти строки. Будьте не несчастны. Прощайте! Я не смею ни вас назвать, ни сам назваться. — Там, куда вы едете, и плач — преступление, и слушать его — грех. — Прим. А. И. Герцена. Париж, 1848. Августа 1.

\* Да погибнет! (лат.) \* площади Бастилии (франц.).

\* ворот Сен-Дени (франц.)

\*\* «Часовой—берегись!» (франц.)

\*\*\* городской ратуше (франц.)

После грозы

==103

ниям, небо было покрыто тучами, шел дождик. Я остановился на Font Neuf \*, сильная молния сверкнула из-за тучи, удары грома следовали друг за другом, и середь всего этого раздался мерный, протяжный звук набата с колокольни св. Сульпиция, которым еще раз обманутый пролетарий звал своих братии к

оружию. Собор и все здания по берегу 'были необыкновенно освещены несколькими лучами солнца, ярко выходящими из-под тучи; барабан раздавался с разных сторон, артиллерия тянулась с Карусельской площади.

Я слушал гром, набат и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался; я страстно любил Париж в эту минуту; это была последняя дань великому городу — после июньских дней он мне опротивел.

С другой стороны реки на всех переулках и улицах строились баррикады. Я, как теперь, вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни: дети, женщины помогали им. На одну баррикаду, по-видимому, оконченную, взошел молодой политехник, водрузил знамя и запел тихим, печально-торжественным голосом «Марсельезу»; все работавшие запели, и хор этой великой песни, раздававшийся из-за камней баррикад, захватывал душу... набат все раздавался. Между тем по мосту простучала артиллерия, и генерал Бедо осматривал с моста в трубу неприятельскую позицию...

Новом мосту (франц.)

==104

В это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти республику, свободу всей Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умело этого сделать. Собрание не хотело, реакционеры искали мести, крови, искупления за 24 февраля, закормы «Националя» дали им исполнителей 8.

Ну, что вы скажете, любезный князь Радецкий и сиятельный граф Паскевич-Эриванский? Вы не годитесь в помощники Кавеньяку. Меттерних и все члены Третьего отделения собственной канцелярии — дети кротости, *de bons enfants* \* в сравнении с собранием осерчалых лавочников.

Вечером 26 июня мы услышали, после победы «Националя» над Парижем, правильные залпы с небольшими расстановками... Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые... «Ведь это расстреливают», — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. Горе тем, кто прощают такие минуты!

После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина и мир осадного положения; улицы были еще оцеплены, редко, редко где-нибудь встречался экипаж, надменная Национальная гвардия, с свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом; \* Славные ребята (франц.)

==105

ликующие толпы пьяной мобили сходили по бульварам, распевая «Mourir pour la patrie»<sup>9</sup>, мальчишки 16, 17 лет хвастались кровью своих братии, запекшейся на их руках; на них бросали цветы мешчанки, выбегавшие из-за прилавка, чтоб приветствовать победителей. Кавеньяк возил с собой в коляске какого-то изверга, убившего десятки французов. Буржуазии торжествовала. А дома предместья св. Антония еще дымились, стены, разбитые ядрами, обваливались, раскрытая внутренность комнат представляла каменные раны, сломанная мебель тлела, куски разбитых зеркал мерцали... А где же хозяева,

жильцы?—Об них никто и не думал ... местами посыпали песком, но кровь все-таки выступала... К Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварам стояли палатки, лошади глодали береженные деревья Елисейских полей, на Place de la Concorde \* везде было сено, кирасирские латы, седла; в Тюльерийском саду солдаты у решетки варили суп. Париж этого не видал и в 1814 году 10.

Прошло еще несколько дней — и Париж стал принимать обычный вид, толпы празднующихся снова явились на бульварах, нарядные дамы ездили в колясках и кабриолетах смотреть развалины домов и следы отчаянного боя... одни частые патрули и партии арестантов напоминали страшные дни, тогда только стало уясняться прошедшее. У Байрона есть описание ночной битвы; кровавые подробности ее скрыты

Площадь Согласия (франц.)

==106

темнотою; при рассвете, когда битва давно кончена, видны ее остатки, клинок, окровавленная одежда п. Вот этот-то рассвет наставал теперь в душе, он осветил страшное опустошение. Половина надежд, половина верований была убита, мысли отрицания, отчаяния бродили в голове, укоренялись. Предполагать нельзя было, чтоб в душе нашей, прошедшей через столько опытов, испытанной современным скептицизмом, оставалось так много истребляемого.

После таких потрясений живой человек не остается по-старому. Душа его или становится еще религиознее, держится с отчаянным упорством за свои верования, находит в самой безнадежности утешение, и человек вновь зеленеет, обожженный грозой, нося смерть в груди, — или он мужественно и скрепя сердце отдает последние упования, становится еще трезвее и не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий осенний ветер.

Что лучше? Мудрено сказать.

Одно ведет к блаженству безумия.

Другое—к несчастью знания.

Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимает все. Другое ничем не обеспечено, зато многое дает. Я избираю знание, и пусть оно лишит меня последних утешений, я пойду нравственным нищим по белому свету, — но с корнем вон детские надежды, отроческие упования!—Все их под суд неподкупного разума!

Внутри человека есть постоянный революционный трибунал, есть беспощадный Фукуэг

==107

Тинвиль и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпает, гильотина ржавеет, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимает голову, обживается, и вдруг какой-нибудь дикий удар будит

оплошный суд, дремлющего палача, и тогда начинается свирепая расправа—малейшая уступка, пощада, сожаление ведут к прошедшему, оставляют цепи. Выбора нет: или казнить и идти вперед, или миловать и запнуться на полдороге.

Кто не помнит своего логического романа, кто не помнит, как в его душу попала первая мысль сомнения, первая смелость исследования—и как она захватила потом более и более и дотрогивалась до святых достояний души? Это-то и есть страшный суд разума. Казнить верования не так легко, как кажется; трудно расставаться с мыслями, с которыми мы в Ёросли, сжились, которые нас лелеяли, утешали, — пожертвовать ими кажется неблагодарностью. Да, но в этой среде, в которой стоит трибунал, там нет благодарности, там неизвестно святотатство, и если революция, как Сатурн, ест своих детей<sup>12</sup>, то отрицание, как Нерон, убивает свою мать, чтоб отделаться от прошедшего<sup>13</sup>. Люди боятся своей логики и, опрометчиво вызвав перед ее судом церковь и государство, семью и нравственность, добро и зло, — стремятся спасти клочки, отрывки старого. Отказываясь от христианства, берегут бессмертие души, идеализм, провидение. Люди, шедшие вместе, тут расходятся, одни идут направо, другие налево; одни замирают на полдороге, как верстовые столбы, показывая,

## ==108

сколько пройдено, другие бросают последнюю ношу прошедшего и идут бодро вперед. Переходя из старого мира в новый, ничего нельзя взять с собою.

Разум беспощаден, как Конвент, нелицеприятен и строг, он ни на чем не останавливается и требует на лавку подсудимых самое верховное бытие, для доброго короля теологии настает 21 января<sup>14</sup>. Этот процесс, как процесс Людовика XVI,—пробный камень для жирондистов<sup>15</sup>; все слабое, половинчатое или бежит, или лжет, не подает голоса или подает без веры. Между тем люди, произнесшие приговор, думают, что, казнивши короля, нечего больше казнить, что 22 января республика готова и счастлива. Как будто достаточно атеизма, чтоб не иметь религии, как будто достаточно убить Людовика XVI, чтоб не было монархии. Удивительное сходство феноменологии террора и логики. Террор именно начался после казни короля, вслед за ним явились на помосте благородные отроки революции, блестящие, красноречивые, слабые<sup>16</sup>. Жаль их, но спасти невозможно, и головы их пали, а за ними покатила львиная голова Дантона и голова баловня революции, Камиля Демулена<sup>17</sup>. — Ну, теперь, теперь, по крайней мере, кончено? Нет, теперь черед неподкупных палачей<sup>18</sup>, они будут казнены за то, что верили в возможность демократии во Франции, за то, что казнили во имя равенства, да, казнены, как Анахарсис Клоотс, мечтавший о братстве народов, за несколько дней до Наполеоновской эпохи, за несколько лет до Венского конгресса.

После гроаы

## ==109

Не будет миру свободы, пока все религиозное, политическое не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанию. Возмужалая логика ненавидит канонизированные истины, она их расстригает из ангельского чина в людской, она из священных таинств делает явные истины, она ничего не считает неприкосновенным, и, если республика присвоивает себе такие же права, как монархия, — презирает ее, как монархию, — нет, гораздо больше. Монархия не имеет смысла, она держится насилием, а от имени «республика» сильнее бьется сердце; монархия сама по себе религия, у республики нет мистических отговорок, нет божественного права, она с нами стоит на одной почве. Мало ненавидеть корону, надобно перестать уважать и фригийскую шапку; мало не признавать

преступлением оскорбление величества, надобно признавать преступным *salus populi* \*. Пора человеку потребовать к суду: республику, законодательство, представительство, все понятия о гражданине и его отношениях к другим и к государству. Казней будет много; близким, дорогим надобно пожертвовать — мудрено ли жертвовать ненавистным? В том-то и дело, чтоб отдать дорогое, если мы убедимся, что оно не истинно. И в этом наше действительное дело. Мы не призваны собирать плод, но призваны быть палачами прошедшего, казнить, преследовать его, узнавать его во всех одеждах и приносить на жертву будущему. Оно торже-

благо народа (лат.)

## ==110

ствует фактически, погубим его в идее, в убеждении, во имя человеческой мысли. Уступок делать некому — трехцветное знамя уступок слишком замарано 19, оно долго не просохнет от июньской крови. И кого, в самом деле, щадить? Все элементы разрушающейся веси являются во всей жалкой нелепости, во всем отвратительном безумии своем. — Что вы уважаете? Народное правительство, что ли?—Кого вам жаль?— Может быть, Париж?

Три месяца люди, избранные всеобщей подачей голосов, люди выборные всей земли французской ничего не делали— и вдруг стали во весь рост, чтоб показать миру зрелище невиданное — восьмисот человек, действующих, как один злодей, как один изверг<sup>21</sup>. Кровь лилась реками, а они не нашли слова любви, примирения; все великодушное, человеческое покрывалось воплем мести и негодования, голос умирающего Аффра<sup>22</sup> не мог тронуть этого многоголового Калигулу, этого Бурбона, размененного на медные гроши<sup>23</sup>; они прижали к сердцу Национальную гвардию, расстреливавшую безоружных, Сенар благословлял Кавеньяка, и Кавеньяк умильно плакал, исполнив все злодейства, указанные адвокатским пальцем представителей. А грозное меньшинство притаилось. Гора скрылась за облаками, довольная, что ее не расстреляли, не сгноили в подвалах<sup>24</sup>; молча смотрела она, как отбирают оружие у граждан, как декретируют депортацию, как сажают в тюрьму людей за все на свете — за то, что они не стреляли в своих братии. \

## ==111

Убийство в эти страшные дни сделалось обязанностью; человек, не отмочивший себе рук в пролетарской крови, становился подозрителен для мещан... По крайней мере, большинство имело твердость быть злодеем. А эти жалкие друзья народа, риторы, пустые сердца!.. Один мужественный плач, одно великое негодование и раздалось, и то вне Камеры. Мрачное проклятие старца Ламенне останется на голове бездушных каннибалов<sup>25</sup>, и всего ярче выступит на лбу малодушных, которые, произнеся слово «республика», испугались смысла его.

Париж! Как долго это имя горело путеводной звездой народов; кто не любил, кто не поклонялся ему? — но его время миновало, пускай он идет со сцены. В июньские дни он завязал великую борьбу, которую ему не развязать. Париж состарился — и юношеские мечты ему больше не идут; для того, чтоб оживиться, ему нужны сильные потрясения, варфоломеевские ночи, сентябрьские дни<sup>26</sup>. Но июньские ужасы не оживили его; откуда же возьмет дряхлый вампир еще крови, крови праведников, той крови,

которая 27 июня отражала огонь площадок, зажженных ликующими мещанами<sup>27</sup>? Париж любил играть в солдаты, он посадил императором счастливого солдата, он рукоплескал злодействам, называемым победою, он воздвигал статуи, он мещанскую фигуру маленького капрала опять поставил, через пятнадцать лет, на колонну<sup>29</sup>, он с благоговением переносил прах водворителя рабства<sup>30</sup>, он и теперь надеялся найти в солдатах якорь спасения от свободы и равенства, он

==112

позвал дикие орды одичалых африканцев против братии своих, чтоб не делиться с ними, и зарезал их бездушной рукой убийц по ремеслу. Пусть же он несет последствие своих дел, своих ошибок... Париж расстреливал без суда... Что выйдет из этой крови?—кто знает; но что бы ни вышло, довольно, что в этом разгаре бешенства, мести, раздора, возмездия погибнет мир, теснящий нового человека, мешающий ему жить, мешающий водвориться будущему, — и это прекрасно, а потому—да здравствует хаос и разрушение!

Vive la mort! \*

И да водружится будущее!

Париж, 24 июля 1848 г.

LVII, ГОД РЕСПУБЛИКИ, ЕДИНОЙ И НЕРАЗДЕЛЬНОЙ

Ce ripest pas le socialismes, c'esf la re'publiquel \*\*

Речь Ледрю-Роллена в Шале 22 сентября 1848 года "

На днях праздновали первое вандемира пятьдесят седьмого года<sup>32</sup>. В Шале на Елисейских полях собрались все аристократы демократической республики, все алые члены Собрании. К концу обеда Ледрю-Роллен произнес блестящую речь. Речь его, наполненная красных роз для республики и колючих шипов для пра-

Да здравствует смерть! (франц.)

\* Это—не социализм, это—республика! (франц.)

==113

вительства, имела полный успех и заслуживала его. Когда он кончил, раздалось громкое «Vive la Republique democratique!» \* Все встали и стройно, торжественно, без шляп, запели «Марсельезу». Слова Ледрю-Роллена, звуки заветной песни освобождения и бокалы вина, в свою очередь, одушевили все лица; глаза горели, и тем более горели, что не все бродившее в голове являлось на губах. Барабан лагеря Елисейских Полей напоминал, что неприятель близко, что осадное положение и солдатская диктатура продолжаютя.



Большая часть гостей были люди в цвете лет, но уже больше или меньше искусившие свои силы на политической арене. Шумно, горячо говорили они между собою. Сколько энергии, отваги, благородства в характере французов, когда они еще не подавили в себе хорошего начала своей национальности или уже вырвались из мелкой и грязной среды мещанства, которое, как тина, покрывает зеленью своей всю Францию! Что за мужественное, решительное выражение в лицах, что за стремительная готовность подтвердить делом — слово, сейчас идти на бой, стать под пулю, казнить, быть казненным. Я долго смотрел на них, и мало-помалу невыносимая грусть поднялась во мне и налегла на все мысли, мне стало смертельно жаль эту кучку людей — благородных, преданных, умных, даровитых, чуть ли не лучший цвет нового поколе-

\* «Да здравствует (франц.)

§ А. И. Гервсая демократическая республика!»

==114

С того берега

ния... Не думайте, что мне стало их жаль потому, что, может быть, они не доживут до 1-го брюмера или до 1-го нивоза 57-го года, что, может, через неделю они погибнут на баррикадах, пропадут на галерах, в депортации, на гильотине или, по новой моде, их, может перестреляют с связанными руками, загнавши куда-нибудь в угол Карусельской площади или под внешние форты, — все это очень печально, но я не об этом жалел, грусть моя была глубже.

Мне было жаль их откровенное заблуждение, их добросовестную веру в несбыточные вещи, их горячее упование, столько же чистое и столько же призрачное, как рыцарство Дон-Кихота. Мне было жаль их, как врачу бывает жаль людей, не подозревающих страшного недуга в груди своей.— Сколько нравственных страданий готовят себе эти люди — они будут биться, как герои, они будут работать всю жизнь и не успеют. Они отдадут кровь, силы, жизнь и, состарившись, увидят, что из их труда ничего не вышло, что они делали не то, что надобно, и умрут с горьким сомнением в человека, который не виноват; или—еще хуже— впадут в ребячество и будут, как теперь, ждать всякий день огромной перемены, водворения их республики, — принимая предсмертные муки умирающего за страдания, предшествующие родам. Республика — гак, как они ее понимают — отвлеченная и неудобоисполнимая мысль, плод теоретических дум, апофеоза существующего государственного порядка, преобразование того, что есть; их республика—последняя

==115

Мечта, поэтический бред старого мира. В этом бреду есть и пророчество, но пророчество, относящееся к жизни за гробом, к жизни будущего века. Вот чего они — люди прошедшего, несмотря на революционность свою, связанные с старым миром на живот и на смерть,—не могут понять. Они воображают, что этот дряхлый мир может, как Улисс, поюнеть— не замечая того, что осуществление

одной окраины их республики мгновенно убьет его; они не знают, что нет круче противоречия, как между их идеалом и существующим порядком, что одно должно умереть, чтоб другому можно было жить. Они не могут выйти из старых форм, они их принимают за какие-то вечные границы, и оттого их идеал носит только имя и цвет будущего, а в сущности принадлежит миру прошедшему, не отрешается от него.

Зачем они не знают этого?

Роковая ошибка их состоит в том, что увлеченные благородной любовью к ближнему, к свободе, увлеченные нетерпением и негодованием, они бросились освобождать людей прежде, нежели сами освободились; они нашли в себе силу порвать железные, грубые цепи, не замечая того, что стены тюрьмы остались. Они хотят, не меняя стен, дать им иное назначение, как будто план острога может годиться для свободной жизни.

Ветхий мир католико-феодальный дал все видоизменения, к которым он был способен, развился во все стороны до высшей степени изящного и отвратительного, до обличения всей

## ==116

истины, в нем заключенной, и всей лжи; наконец он истощился. Он может еще долго стоять, но обновляться не может, общественная мысль, развивающаяся теперь, такова, что каждый шаг к осуществлению ее будет выход из него. Выход!—Тут-то и остановка! Куда? Что там за его стенами? Страх берет—пустота, ширина, воля... как идти не зная куда; как терять, не видя приобретений!—Если б Колумб так рассуждал, он никогда не снял бы якоря. — Сумасшествие ехать по океану, не зная дороги, — по океану, по которому никто не ездил, плыть в страну, существование которой — вопрос. Этим сумасшествием он открыл новый мир. Конечно, если б народы переезжали из одного готового hotel garni \* в другой, еще лучший, было бы легче, да беда в том, что некому заготовлять новых квартир. В будущем хуже, нежели в океане, — ничего нет, оно будет таким, каким его сделают обстоятельства и люди.

Если вы довольны старым миром, старайтесь его сохранить, он очень хил, и надолго его не станет при таких толчках, как 24 февраля; но если вам невыносимо жить в вечном раздоре убеждений с жизнью, думать одно и делать другое, выходите из-под выбеленных, средневековых сводов на свой страх; отважная дерзость в иных случаях выше всякой мудрости. Я очень знаю, что это не легко; шутка ли расстаться со всем, к чему человек привык со дня рождения, с чем вместе рос и вырос. Люди, о которых мы гово-

меблированных комнат (франц.)

## ==117

рим, готовы на страшные жертвы, — но не на те, которые от них требует новая жизнь. Готовы ли они пожертвовать современной цивилизацией, образом жизни, религией, принятой условной нравственностью? Готовы ли они лишиться всех плодов, выработанных с такими усилиями, — плодов, которыми мы хвастаемся три столетия, которые нам так дороги, лишиться всех удобств и прелестей нашего существования, предпочесть дикую юность — образованной дряхлости, необработанную почву,

непроходимые леса — истощенным полям и расчищенным паркам, сломать свой наследственный замок из одного удовольствия участвовать в закладке нового дома, который построится, без сомнения, гораздо после нас? Это вопрос безумного, скажут многие.—Его делал Христос иными словами.

Либералы долго играли, шутили с идеей революции и дошутились до 24 февраля. Народный ураган поставил их на вершину колокольни и указал им, куда они идут и куда ведут других; посмотревши на пропасть, открывавшуюся перед их глазами, они побледнели; они увидели, что не только то падает, что они считали за предрассудок, но и все остальное, что они считали за вечное и истинное; они до того перепугались, что одни уцепились за падающие стены, а Другие остановились кающимися на полдороге и стали клясться всем прохожим, что они этого не хотели. Вот отчего люди, провозглашавшие республику, сделались палачами свободы<sup>34</sup>, вот отчего либеральные имена, звучавшие в ушах

==118

С того берега

наших лет двадцать, являются ретроградными депутатами, изменниками, инквизиторами. Они хотят свободы, даже республики в известном круге, литературно образованном. За пределами своего умеренного круга они становятся консерваторами. Так рационалистам нравилось объяснять тайны религии, им нравилось раскрывать значение и смысл мифов, они не думали, что из этого выйдет, не думали, что их исследования, начинающиеся со страха господня, окончатся атеизмом, что их критика церковных обрядов приведет к отрицанию религии.

Либералы всех стран, со времени Реставрации, звали народы на низвержение монархически-феодалного устройства во имя равенства, во имя слез несчастного, во имя страданий притесненного, во имя голода неимущего; они радовались, гоня до упаду министров, от которых требовали неудобноисполнимого, они радовались, когда одна феодальная подставка падала за другой, и до того увлеклись наконец, что перешли собственные желания. Они опомнились, когда из-за полуразрушенных стен явился — не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле—'пролетарий, работник с топором и черными руками, голодный и едва одетый рубищем. Этот «несчастный, обделенный брат», о котором столько говорили, которого так жалели, спросил, наконец, где же его доля во всех благах, в чем его свобода, его равенство, его братство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступом улицы

==119

Парижа, покрыли их трупами и спрятались от брата за штыками осадного положения, спасая цивилизацию и порядок!

Они правы, только они непоследовательны. Зачем же они прежде подламывали монархию? Как же они не поняли, что, уничтожая монархический принцип, революция не может остановиться на том, чтоб вытолкать за дверь какую-нибудь династию. Они радовались, как дети, что Людовик-Филипп не успел доехать до С.-Клу, а уже в Hotel de Ville явилось новое правительство <sup>35</sup> и дело пошло своим чередом, в то время как эта легкость переворота должна им была показать несущественность его. Либералы были удовлетворены. Но народ не был удовлетворен, но народ поднял теперь свой голос, он повторял их слова, их обещания, а они как Пётр, троекратно отречлись и от слов и от обещания <sup>36</sup>, как только

увидели, что дело идет не на шутку, — и начали убийства. Так Лютер и Кальвин топили анабаптистов, так протестанты отрекались от Гегеля и гегелисты — от Фейербаха. Таково положение реформаторов вообще, они, собственно, наводят только понтоны, по которым увлеченные ими народы переходят с одного берега на другой. Для них нет среды лучше, как конституционное сумрачное ни то ни се. И в этом-то мире словопрений, раздора, непримиримых противоречий, не изменяя его, хотели эти суетные люди осуществить свои *ria desideria* \* свободы, равенства и братства.

благие пожелания (лат.)

## ==120

Формы европейской гражданственности, ее цивилизация, ее добро и зло разочтены по другой сущности, развились из иных понятий, сложились по иным потребностям. До некоторой степени формы эти, как все живое, были изменяемы, но, как все живое, изменяемы до некоторой степени; организм может воспитываться, отклоняться от назначения, прилаживаться к влияниям до тех пор, пока отклонения не отрицают его особенности, его индивидуальности, то, что составляет его личность; как скоро организм встречает такого рода влияния, делается борьба, и организм побеждает или гибнет. Явление смерти в том и состоит, что составные части организма получают иную цель, они не пропадают, пропадает личность, а они вступают в ряд совсем других отношений, явлений.

Государственные формы Франции и других европейских держав не совместны по внутреннему своему понятию ни с свободой, ни с равенством, ни с братством, всякое осуществление этих идей будет отрицанием современной европейской жизни, ее смертью. Никакая конституция, никакое правительство не в состоянии дать феодально-монархическим государствам истинной свободы и равенства — не разрушая дотла все феодальное и монархическое. Европейская жизнь, христианская и аристократическая, образовала нашу цивилизацию, наши понятия, наш быт; ей необходима христианская и аристократическая среда. Среда эта могла развиваться сообразно с духом времени, с степенью образования, сохраняя свою сущность, в католическом

## ==121

Риме, в кощунствующем Париже, в философствующей Германии; но далее идти нельзя, не переступая границу. В разных частях Европы люди могут быть посвободнее, поравнее, нигде не могут они быть свободны и равны—пока существует эта гражданская форма, пока существует эта цивилизация. Это знали все умные консерваторы и оттого поддерживали всеми силами старое устройство. Неужели вы думаете, что Меттерних и Гизо не видели несправедливости общественного порядка, их окружавшего?—но они видели, что эти несправедливости так глубоко вплетены во весь организм, что стоит коснуться до них—все здание рухнет; понявши это, они стали стражами *status quo*. А либералы разнуздали демократию да и хотят воротиться к прежнему порядку. Кто же правее?

В сущности, само собою разумеется, все неправы — и Гизо, и Меттернихи, и Кавеньяки, все они делали действительные злодеяния из-за мнимой цели, они теснили, губили, лили кровь для того, чтоб задержать смерть. Ни Меттерних с своим умом, ни Кавеньяк с своими солдатами, ни республиканцы с своим непониманием не могут в самом деле остановить поток, течение которого так сильно

обозначилось, только вместо облегчения они усыпают людям путь толченым стеклом. Идущие народы пройдут, хуже, труднее, изрежут себе ноги, но все-таки пройдут; сила социальных идей велика, особенно с тех пор, как их начал понимать истинный враг, враг по праву существующего гражданского порядка — пролетарий, работник,

## ==122

которому досталась вся горечь этой формы жизни и которого миновали все ее плоды. Нам еще жаль старый порядок вещей, кому же и пожалеть его, как не нам? Он только для нас и был хорош, мы воспитаны им, мы его любимые дети, мы сознаем, что ему надобно умереть, но не можем ему отказать в слезе. Ну, а массы, задавленные работой, изнуренные голодом, притупленные невежеством, они о чем будут плакать на его похоронах? .. Они были эти не приглашенные на пир жизни, о которых говорит Мальтус 37, их подавленность была необходимым условием нашей жизни.

Все наше образование, наше литературное и научное развитие, наша любовь изящного, наши занятия предполагают среду, постоянно расчищаемую другими, приготовляемую другими; надобен чей-то труд для того, чтоб нам доставить досуг, необходимый для нашего психического развития, тот досуг, ту деятельную праздность, которая способствует мыслителю сосредоточиваться, поэту мечтать, эпикурейцу наслаждаться, которая способствует пышному, капризному, поэтическому, богатому развитию наших аристократических индивидуальностей.

Кто не знает, какую свежесть духу придает беззаботное довольство; бедность, вырабатывающаяся до Жильбера, — исключение, бедность страшно искажает душу человека—не меньше богатства. Забота об одних материальных нуждах подавляет способности. А разве довольство может быть доступно всем при современной гражданской форме? Наша цивилизация—ци-

## ==123

вилизация меньшинства, она только возможна при большинстве чернорабочих. Я не моралист и не сентиментальный человек; мне кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни в прошедшем оправдана. Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтоб сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина. Природа безжалостна; точно как известное дерево, она мать и мачеха вместе; она ничего не имеет против того, что две трети ее произведений идут на питание одной трети, лишь бы они развивались. Когда не могут все хорошо жить, пусть живут несколько, пусть живет один — на счет других, лишь бы кому-нибудь было хорошо и широко. Только с этой точки зрения и можно понять аристократию. Аристократия—вообще более или менее образованная антропофагия; каннибал, который ест своего невольника, помещик, который берет страшный процент с земли, фабрикант, который богатеет на счет своего работника, составляют только видоизменения одного и того же людоедства. Я, впрочем, готов защищать и самую грубую антропофагию; если один человек себя рассматривает как блюдо, а другой хочет его съесть — пусть ест; они стоят того — один, чтоб быть людоедом, другой, чтоб быть кушанием.

Пока развитое меньшинство, поглощая жизнь поколений, едва догадывалось, отчего ему так ловко жить; пока большинство, работая день и ночь, не совсем догадывалось, что вся выгода

работы — для других, и те и другие считали это естественным порядком, мир антропофагии мог держаться. Люди часто принимают предрассудок, привычку за истину, — и тогда она их не теснит; но когда они однажды поняли, что их истина — вздор, дело кончено, тогда только силою можно заставить делать то, что человек считает нелепым. Учредите постные дни без веры? Ни под каким видом; человеку сделается так же невыносимо есть постное, как верующему есть скоромное.

Работник не хочет больше работать для другого — вот вам и конец антропофагии, вот предел аристократии. Все дело остановилось теперь за тем, что работники не сосчитали своих сил, что крестьяне отстали в образовании; когда они протянут друг другу руку, — тогда вы распроситесь с вашим досугом, с вашей роскошью, с вашей цивилизацией, тогда окончится поглощение большинства на выработку светлой и роскошной жизни меньшинству. В идее теперь уже кончена эксплуатация человека человеком. Кончена потому, что никто не считает это отношение справедливым!

Как же этот мир устоит против социального переворота? во имя чего будет он себя отстаивать? — религия его ослабла, монархический принцип потерял авторитет; он поддерживается страхом и насилием; демократический принцип — рак, съедающий его изнутри.

Духота, тягость, усталость, отвращение от жизни — распространяются вместе с судорожными попытками куда-нибудь выйти. Всем на

свете стало душно жить — это великий признак.

Где эта тихая, созерцательная, кабинетная жизнь в сфере знания и искусств, в которой жили германцы; где этот вихрь веселья, остроты, либерализма, нарядов, песен, в котором кружился Париж? Все это — прошедшее, воспоминание. Последнее усилие спасти старый мир обновлением из его собственных начал не удалось.

Все мельчает и вянет на истощенной почве — нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, — нету силы воли; мир этот пережил эпоху своей славы, время Шиллера и Гёте прошло так же, как время Рафаэля и Буонарроти, как время Вольтера и Руссо, как время Мирабо и Дантона; блестящая эпоха индустрии проходит, она пережита так, как блестящая эпоха аристократии; все нищают, не обогащая никого; кредиту нет; все перебиваются с дня на день, образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, все живут как лавочники, нравы мелкой буржуазии сделались общими; никто не берет оседлости; все на время, наемно, шатко. Это то тяжелое время, которое давило людей в третьем столетии, когда самые пороки древнего Рима утратились, когда императоры стали вялы, легионы мирны. Тоска мучила людей энергических и беспокойных до того, что они толпами бежали куда-нибудь в фиваидские степи, кидая на площадь мешки золота и расставаясь навек и с родиной и с прежними богами. — Это время настает для нас, тоска наша растет!

==126

Кайтесь, господа, кайтесь! Суд миру вашему пришел. Не спасти вам его ни осадным положением, ни республикой, ни казнями, ни благотворениями<sup>38</sup>, ни даже разделением полей. Может быть, судьба его не была бы так печальна, если б его не защищали с таким усердием и упорством, с такой безнадежной ограниченностью. Никакое перемирие не поможет теперь во Франции; враждебные партии не могут ни объясниться, ни понять друг друга, у них разные логики, два разума. Когда вопросы становятся так, нет выхода — кроме борьбы, один из двух должен остаться на месте — монархия или социализм.

Подумайте, у кого больше шансов? Я предлагаю пари за социализм. «Мудрено себе представить!»— Мудрено было и христианству восторжествовать над Римом. Я часто воображаю, как Тацит или Плиний умно рассуждали с своими приятелями об этой нелепой секте назареев, об этих Пьер Леру, пришедших из Иудеи с энергической и полубезумной речью, о тогдашнем Прудоне, явившемся в самый Рим проповедовать конец Рима. Гордо и мощно стояла империя в противоположность этим бедным пропагандистам — а не устояла однако.

Или вы не видите новых христиан, идущих строить, новых варваров, идущих разрушать? — Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землею, внутри гор. Когда настанет их час — Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм,

==127

переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете. Ведь это они умирают от голода, от холода, они ропщут над нашей головой и под нашими ногами, на чердаках и в подвалах, в то время как мы с вами premier \*

Шампанским вафли запивая <sup>39</sup>, толкуем о социализме. Я знаю, что это не новость, что оно и прежде было так, но прежде они не догадывались, что это очень глупо.

— Но неужели будущая форма жизни вместо прогресса должна водвориться ночью варварства, должна купиться утратами? — Не знаю, но думаю, что образованному меньшинству, если оно доживет до этого разгрома и не закалится в свежих, новых понятиях, жить будет хуже. Многие возмущаются против этого, я нахожу это утешительным, для меня в этих утратах доказательство, что каждая историческая фаза имеет полную действительность, свою индивидуальность, что каждая — достигнутая цель, а не средство; оттого у каждой свое благо, свое хорошее, лично принадлежащее ей и которое с нею гибнет. Что вы думаете, римские патриции много выиграли в образе жизни, перешедши в христианство? или аристократы до революции разве не лучше жили, нежели мы с вами живем?

в бельэтаже (франц.)

— Все это так, но мысль о крутом и насильственном перевороте имеет в себе что-то отталкивающее для многих. Люди, видящие, что перемена необходима, желали бы, чтоб она сделалась исподволь. Сама природа, говорят они, по мере того как она складывалась и становилась богаче, развитее, перестала прибегать к тем страшным катаклизмам, о которых свидетельствует кора земного шара, наполненная костями целых населений, погибнувших в ее перевороты; тем более стройная, покойная метаморфоза свойственна той степени развития природы, в которой она достигла сознания.

— Она достигла его несколькими головами, малым числом избранных, остальные достигают еще и оттого покорены *Naturgewalt'am\**, инстинктам, темным влечениям, страстям. Для того, чтоб мысль, ясная и разумная для вас, была мыслию другого, — недостаточно, чтоб она была истинна, — для этого нужно, чтоб его мозг был развит так же, как ваш, чтоб он был освобожден от предания. Как вы уговорите работника терпеть голод и нужду, пока исподволь переменится гражданское устройство? Как вы убедите собственника, ростовщика, хозяина разжать руку, которой он держится за свои монополии и права? Трудно представить себе такое самоотвержение. Что можно было сделать — сделано; развитие среднего сословия, конституционный порядок дел — не что иное, как промежуточная форма, связующая мир феодально-

— силам природы (нем.)

монархический с социально-республиканским. Буржуазия именно представляет это полуосвобождение, эту дерзкую нападку на прошедшее с желанием унаследовать его власть. Она работала для себя — и была права. Человек серьезно делает что-нибудь только тогда, когда делает для себя. Не могла же буржуазия себя принимать за уродливое промежуточное звено, она принимала себя за цель; но так как ее нравственный принцип был меньше и беднее прошлого, а развитие идет быстрее и быстрее, то и нечему дивиться, что мир буржуазии истощился так скоро, и не имеет в себе более возможности обновления. Наконец, подумайте, в чем может быть этот переворот исподволь — в раздроблении собственности, вроде того, что было сделано в первую революцию? — Результат этого будет тот, что всем на свете будет мерзко; мелкий собственник — худший буржуа из всех; все силы, таящиеся теперь в многострадательной, но мощной груди пролетария, иссякнут; правда, он не будет умирать с голода, да на том и остановится, ограниченный своим клочком земли или своей каморкой в рабочих казармах. Такова перспектива мирного, органического переворота. Если это будет, тогда главный поток истории найдет себе другое русло, он не потеряется в песке и глине, как Рейн, человечество не пойдет узким и грязным проселком, — ему надобно широкую дорогу. Для того, чтоб расчистить ее, оно ничего не пожалеет.

В природе консерватизм так же силен, как революционный элемент. Природа позволяет жить



старому и ненужному, пока можно; но она не пожалела мамонтов и мастодонтов для того, чтоб уладить земной шар. Переворот, их погубивший, не был направлен против них; если б они могли как-нибудь спастись, они бы уцелели и потом спокойно и мирно выродились бы, окруженные средой, им не свойственной. Мамонты, которых кости и кожу находят в сибирских льдах, вероятно, спаслись от геологического переворота; это Комнены, Палеологи в феодальном мире<sup>40</sup>. Природа ничего не имеет против этого, так же, как история. Мы ей подкладываем сентиментальную личность и наши страсти, мы забываем наш метафорический язык и принимаем образ выражения за самое дело. Не замечая нелепости, мы вносим маленькие правила нашего домашнего хозяйства во всемирную экономию, для которой жизнь поколений, народов, целых планет не имеет никакой важности в отношении к общему развитию. В противоположность нам, субъективным, любящим одно личное, для природы гибель частного — исполнение той же необходимости, той же игры жизни, как возникновение его; она не жалеет об нем потому, что из ее широких объятий ничего не может утратиться, как ни изменяйся.

1 октября 1848 года. Champs Elysees

==131

VIXERUNT! \*

Смертию смерть поправь (Заутреня перед Светлым воскресением)

Двадцатое ноября 1848 года<sup>41</sup>, в Париже, погода была ужасная, суровый ветер с преждевременным снегом и инеем в первый раз после лета напоминал о приближении зимы. Зимы ждут здесь как общественного несчастья, неимущие приготавливаются дрогнуть в нетопленных мансардах, без теплой одежды, без достаточной пищи; смертность увеличивается в эти два месяца изморози, гололедицы и сырости; лихорадки изнуряют и лишают силы рабочих людей.

В этот день совсем не рассветало, мокрый снег, тая, падал непрерывно в туманном воздухе, ветер рвал шляпы и с ожесточением тормозил сотни трехцветных флагов, привязанных к высоким шестам около площади Согласия. Густыми массами стояли на ней войска и народная стража, в воротах тюльерийского сада был разбит какой-то намет с христианским крестом наверху; от сада до обелиска площадь, оцепленная солдатами, была пуста. Линейные полки, мобиль, уланы, драгуны, артиллерия наполняли все улицы, идущие к площади. Незнавшему нельзя было догадаться, что тут готовилось. .. Не снова ли царская казнь... не объявление ли, что отечество в опасности? .. Нет, это было 21 января не для короля, а для народа, \* Отжили! (лат.)

==132

для революции... это были похороны 24 февраля.

Часу в девятом утра нестройная кучка пожилых людей стала пробираться через мост; печально плелись они, поднявши воротники пальто и выскывая нетвердой ногой, где посуше ступить. Перед ними шли двое вожатых. Один, закутанный в африканский кабан, едва выказывал жесткие, суровые черты средневекового кондотьера; в его исхудалом и болезненном лице не примешивалось ничего

человеческого, смягчающего к чертам хищной птицы; от хилой фигуры его веяло бедой и несчастьем<sup>42</sup>. Другой толстый, разодетый, с кудрявыми седыми волосами, шел в одном фраке, с видом изученной, оскорбительной небрежности; на его лице, некогда красивом, осталось одно выражение сладострастно-сознательного довольства почетом, своим местом <sup>43</sup>.

Никакое приветствие не встретило их, одни покорные ружья брякнули на караул. В то же время, с противоположной стороны, от Мадлены, двигалась другая кучка людей, еще более странных, в средневековом наряде, в митрах и ризах; окруженные кадильницами, с четками и молитвенниками, они казались давно умершими и забытыми тенями феодальных веков.

Зачем шли те и другие?

Одни шли провозглашать под охраною ста тысячи штыков народную волю, уложение, составленное под выстрелами, обсуженное в осадном положении — во имя свободы, равенства и братства; другие шли благословить этот плод фило-

==133

софии и революции во имя отца и сына и святого духа!

Народ не пришел даже взглянуть на эту пародию. Он грустными толпами гулял около общего гроба всех падших за него братии, около Июльской колонны<sup>44</sup>. Мелкие лавочники, разносчики, сидельцы, дворники близлежащих домов, трактирные слуги да наша братья — иностранные туристы — составляли кайму за шпалерами войск и вооруженных буржуа. Но и эти зрители смотрели с удивлением на чтение, которого слышать было невозможно, на маскарадные платья судей — красные, черные, с мехом и без меха, на снег, который хлестал в глаза, на боевой порядок войск, которому придавали что-то грозное выстрелы с эспланады Инвалидного дома. Солдаты и пальба невольно напоминали июньские дни, сердце сжималось. Лица у всех были озабочены, будто все имели сознание своей неправоты — одни оттого, что совершают преступление, другие оттого, что участвуют в нем, допустив его. При малейшем шорохе, шуме тысячи голов оборачивались, ожидая вслед за тем свист пули, крик восстания, мерный звук набата. Бьюга продолжалась. Войска, промокшие до костей, роптали; наконец, ударил барабан, масса шевельнулась, и началась бесконечная дефиляция под бедные звуки «*Mourir pour la patrie*»<sup>45</sup>, которыми заменили великую «Марсельезу».

Около этого времени молодой человек, с которым мы уже знакомы<sup>46</sup>, продрался сквозь толпу к человеку средних лет и сказал ему с знаками истинной радости:

==134

С того берега

— Вот неожиданное счастье, я не знал, что вы здесь.

— Ах, здравствуйте! — отвечал тот, дружески протягивая ему обе руки. — Давно ли вы приехали?

— На днях.

— Откуда?

— Из Италии.

— Ну что, плохо?

— Лучше не говорить... скверно.

— То-то, мой милый мечтатель и идеалист, — я знал, что вы не устоите против февральского искушения и приготовите себе этим много страданий; страдания всегда достигают уровня надежд... Вы всё жаловались на застой, на дремоту в Европе. С этой стороны, кажется, нельзя ее упрекнуть теперь?

— Не смейтесь! Есть обстоятельства, над которыми смеяться нехорошо, какой бы скептицизм ни был в душе. Слез недостает подчас, время ли трунить? Мне, я признаюсь вам, страшно обернуться, страшно вспомнить; году еще нет, как мы с вами расстались, а точно век прошел. Видеть исполняющимися все лучшие упования, все задушевные надежды, видеть возможность их осуществления — и пасть так глубоко, так низко! все утратить—и не в бою, не в борьбе с врагом, а от собственного бессилья, неумения—это страшно. Мне стыдно встречаться с каким-нибудь легитимистом; они смеются в глаза, и я чувствую, что они правы. Какая школа—не развития, а притупления всех способностей. Я ужасно рад, что столкнулся

## ==135

с вами, у меня, наконец, просто сделалась необходимость вас видеть; я с вами заочно ссорился и мирился, написал как-то вам предлинное письмо и теперь душевно рад, что изодрал его, — оно было полно дерзких надежд, я думал вас побить ими, а теперь мне хотелось бы, чтоб вы окончательно уверили меня, что этот мир гибнет, что ему выхода нет, что ему назначено заглохнуть, порастить травой. Теперь вы меня не огорчите, да, впрочем, я и не ждал облегчения от встречи с вами; от ваших слов мне становится всякий раз тяжелее, а не легче... да я этого-то и хочу... убедите меня, и я завтра еду в Марсель и отправляюсь с первым пароходом в Америку или в Египет, лишь бы вон из Европы. Я устал, я изнемогаю здесь, я чувствую болезнь в груди, в мозгу, я сойду с ума, если останусь.

— Жало нервных болезней упорнее идеализма. Я вас застаю после всех событий, случившихся в последнее время, таким, как оставил. Вы лучше хотите страдать, нежели понимать. Идеалисты большие баловни и большие трусы; я уж извинялся за это выражение — вы знаете, что тут речь не о личной храбрости, ее почти слишком много. Идеалисты трусы перед истиной, вы ее отталкиваете, вы боитесь фактов, не идущих под ваши теории. Вы думаете, что, помимо вами открытых путей, нет миру спасения; вы хотите, чтоб за вашу преданность мир плясал по вашей дудке, и, как только замечаете, что у него свой шаг и свой такт, вы сердитесь, вы в отчаянии, вы даже не имеете любопытства посмотреть на его собственную пляску.

## ==136

— Называйте как хотите, трусостью или глупостью, — но действительно, у меня нет любопытства видеть этот макабрский танец, у меня нет пристрастия римлян к страшным зрелищам, может, оттого, что я не понимаю всех тонкостей искусства умирать.

— Достоинство любопытства меряется достоинством зрелища. Публика Колизея состояла из той же праздной толпы, которая теснилась на аутодафе, на казнях, сегодня пришла сюда, чтоб чем-нибудь занять внутреннюю пустоту, завтра пойдет с тем же усердием смотреть, как будут вешать кого-нибудь из нынешних героев. Есть другое, более почтенное любопытство, корни его в более здоровой почве, оно ведет к знанию, к изучению, оно мучится об неоткрытой части света, подвергается заразе, чтоб узнать ее свойство.

— Словом, которое имеет в виду пользу, но какая же польза смотреть на умирающего, зная, что время помощи прошло? Это просто поэзия любопытства.

— Для меня это поэтическое любопытство, как вы называете его, чрезвычайно человечественно — я уважаю Плиния, остающегося досматривать грозное извержение Везувия в своей лодке, забывающего явную опасность. Удалиться было благоразумнее и во всяком случае покойнее.

— Я понимаю намек; но сравнение ваше не совсем идет; при гибели Помпеи нечего было делать человеку, смотреть или идти прочь зависело от него. Я хочу уйти не от опасности, а от

## ==137

того, что не могу остаться дольше; подвергаться опасности гораздо легче, чем кажется издали; но видеть гибель сложа руки, знать, что не принесешь никакой пользы, понимать, чем можно бы помочь, и не иметь возможности передать, указать, растолковать; быть праздным свидетелем, как люди, пораженные каким-то повальным безумием, мнутся, крутятся, губят друг друга, как ломится целая цивилизация, целый мир, вызывая хаос и разрушение, — это выше сил человека. С Везувием нечего делать, но в мире истории человек дома, тут он не только зритель, но и деятель, тут он имеет голос, и, если, не может принять участия, он должен протестовать хоть своим отсутствием.

— Человек, конечно, дома в истории, — но из ваших слов можно подумать, что он гость в природе; как будто между природой и историей каменная стена. Я думаю, он там и тут дома, но ни там, ни тут не самовластный хозяин. Человек оттого не оскорбляется непокорностью природы, что ее самобытность очевидна для него; мы верим в ее действительность, независимую от нас; а в действительность истории, особенно современной, не верим; в истории человеку кажется воля вольная делать что хочет. Все это горькие следы дуализма, от которого так долго двоилось у нас в глазах и мы колебались между двумя оптическими обманами; дуализм утратил свою грубость, но и теперь незаметно остается в нашей душе. Наш язык, наши первые понятия, сделавшиеся естественными от привычки, от повторений, мешают видеть истину. Если б мы не

## ==138

знали с пятилетнего возраста, что история и природа совершенно розное, нам было бы легко понимать, что развитие природы незаметно переходит в развитие человечества; что это две главы одного романа, две фазы одного процесса, очень далекие на окраинах и чрезвычайно близкие в середине. Нас не удивило бы тогда, что доля всего совершающегося в истории покорена физиологии, темным влечениям. Разумеется, законы исторического развития не противоположны законам логики, но они не совпадают в своих путях с путями мысли, так как ничто в природе не совпадает с отвлеченными нормами, которые троит чистый разум. Зная это, устремились бы на изучение, на открытие этих физиологических

влияний. Делаем ли мы это? Занимался ли кто-нибудь серьезно физиологией общественной жизни, историей как действительно объективной наукой? —никто, ни консерваторы, ни радикалы, ни философы, ни историки.

— Однако действовали много; может, потому, что нам так же естественно делать историю, как пчеле мед, что это не плод размышлений, а внутренняя потребность духа человеческого.

— Вы хотите сказать — инстинкт. Вы правы, он вел, он и теперь ведет массы. Но мы не в том положении, мы утратили дикую меткость инстинкта, мы настолько рефлектеры, что заглушили в себе естественные влечения, которыми история пробивается к дальнейшему. Мы вообще городские жители, равно лишенные физического и нравственного такта, — земледелец,

==139

моряк знает вперед погоду, а мы нет. У нас осталось от инстинкта одно беспокойное желание действовать — и это прекрасно. Сознательного действия, т. е. такого, которое бы вполне удовлетворяло, не может еще быть, мы действуем ошупью. Мы все пробуем втеснять свои мысли, свои желания — среде, нас окружающей, и эти опыты, постоянно неудачные, служат для нашего воспитания. Вы досадуете, что народы не исполняют мысль, дорогую вам, ясную для вас, что они не умеют спастись оружием, которое вы им даете, — и перестать страдать; но почему вы думаете, что народ именно должен исполнять вашу мысль, а не свою, именно в это время, а не в другое? уверены ли вы, что средство, вами придуманное, не имеет неудобств; уверены ли вы, что он — понимает его; -уверены ли вы, что нет другого средства, что нет целей шире? — Вы можете угадать народную мысль, это будет удача, но скорей вы ошибетесь. Вы и массы принадлежите двум разным образованиям, между вами века, больше, нежели океаны, которые теперь переплывают так легко. Массы полны тайных влечений, полны страстных порывов, у них мысль не разъединилась с фантазией, у них она не остается по-нашему теорией, она у них тотчас переходит в действие, им оттого и трудно привить мысль, что она не шутка для них. Оттого они иногда обгоняют самых смелых мыслителей, увлекают их поневоле, покидают середь дороги тех, которым поклонялись вчера, и отстают от других вопреки очевидности; они дети, они женщины, они капризны, бурны,

==140

непостоянны. Вместо того, чтоб изучить эту самобытную физиологию рода человеческого, сродниться, понять ее пути, ее законы, мы принимаемся критиковать, учить, приходить в негодование, сердиться, как будто народы или природа отвечают за что-нибудь, как будто им есть дело, нравится ли нам или не нравится их жизнь, которая влечет их поневоле к неясным целям и безответным действиям! До сих пор это дидактическое, жреческое отношение имело свое оправдание, но теперь оно становится смешно и ведет нас к битой роли — разочарованных. Вы обижены тем, что делается в Европе, вас возмущает эта свирепая, тупая и победоносная реакция; и меня также, но вы, верные романтизму, — сердитесь, хотите

бежать для того только, чтоб не видеть истины. Я согласен, что пора выходить из нашей искусственной, условной жизни, но не бегством в Америку. Что вы там найдете? Северные Штаты—последнее, опрятное издание того же феодально-христианского текста да еще в грубом английском переводе; год тому назад отъезд ваш не имел бы ничего удивительного — обстоятельства тащились томно, вяло. А как же ехать в пущий разгар перелома, когда все в Европе бродит, работает, когда падают вековые стены, кумир валится за кумиром, когда в Вене научились строить баррикады 47...

— А в Париже научились их ломать ядрами. Когда вместе с кумирами (которые, впрочем, восстанавливаются на другой день) падают навсегда лучшие плоды европейской жизни, так

## ==141

трудно выработанные, выращенные веками. Я вижу суд, я вижу казнь, смерть; но я не вижу ни воскресения, ни помилования. Эта часть света кончила свое, силы ее истощились; народы, живущие в этой полосе, дожили до конца своего призвания, они начинают тупеть, отставать. История, по-видимому, нашла другое русло; я иду туда; вы мне сами доказывали в прошлом году что-то подобное, — помните, на пароходе, когда мы плыли из Генуи в Чивитту. — Помню, это было перед грозой. Только тогда вы возражали мне, а теперь согласились через край. Вы не жизнь, не мыслию дошли до вашего нового взгляда, оттого вместо спокойного характера он имеет у вас характер судорожный; вы дошли до него *par dépit\**, от минутного отчаяния, которым вы наивно и без намерения прикрыли прежние надежды. Если б этот взгляд не был в вас капризом будирующего любовника, а просто трезвым знанием того, что делается, вы иначе выражались бы, иначе смотрели бы; вы оставили бы личную *gaspine\**, вы забыли бы себя, тронутые и исполненные ужаса при виде трагической судьбы, совершающейся перед вашими глазами; но идеалисты скупы на то, чтоб отдаваться; они так же упорно себялюбивы, как монахи, которые переносят всякие лишения, не выпуская из виду себя, свою личность, награду. Чего вы боитесь оставаться здесь? Разве вы уходите из театра

с досады (франц.)

\* злобу (франц.)

## ==142

при начале пятого действия каждой трагедии, боясь расстроить нервы? .. Судьба Эдипа не облегчится тем, что вы оставите партер, он все так же погибнет. Оставаться до последней сцены лучше, иногда зритель, задавленный несчастьем Гамлета, встретит молодого Фортинбраса, полного жизни и надежд<sup>48</sup>. Самое зрелище смерти торжественно — в нем лежит великое поучение... Туча, висевшая над Европой, не позволявшая никому свободно дышать, разразилась, молния за молнией, удар за ударом, земля трясется, а вы хотите бежать оттого, что Радецкий взял Милан<sup>49</sup>, а Кавеньяк—Париж. Вот что значит не признавать объективность истории; я ненавижу смирение, но в этих случаях смирение показывает пониманье, тут место покорности перед историей, признания ее. Сверх того, она лучше идет, нежели можно было ожидать. За что же вы сердитесь? Мы приготовлялись захапнуть, увянуть в нездоровой и

утомительной среде медленного старчества, а у Европы вместо маразма открылся тифус; она рушится, разваливается, тает, забывается... забывается до того, что в ее борьбах обе стороны бредят и не понимают больше ни себя, ни врага. Пятое действие трагедии началось 24 февраля; грусть, трепетное состояние духа совершенно естественно, ни один серьезный человек не глумится при таких событиях, но это далеко от отчаяния и от вашего взгляда. Вы воображаете, что вы отчаиваетесь оттого, что вы революционер, и ошибаетесь: вы отчаиваетесь оттого, что вы консерватор.

==143

— Очень благодарен; по-вашему, я стою на одной доске с Радецким и Виндишгрецом.

— Нет, вы гораздо хуже. Какой же консерватор Радецкий? Он все ломает, он чуть не подорвал порохом миланский собор. Неужели вы серьезно полагаете, что это консерватизм, когда дикие кроаты берут приступом австрийские города и не оставляют там камня на камне? Ни они, ни их генералы не знают, что делают, но только они не хранят. Вы всё судите по знаменам: эти за императора—консерваторы, эти за республику — революционеры. Нынче монархическое начало и консерватизм дерутся с обеих сторон. Самый вредный консерватизм тот, который со стороны республики, тот, который проповедуете вы.

— Однако не мешало бы сказать, что я стремлюсь сохранить, в чем именно вы находите мой революционный консерватизм.

— Скажите, ведь вам досадно, что конституция, которую сегодня провозглашают, так глупа?

— Разумеется.

— Вас сердит, что движение в Германии ушло сквозь франкфуртскую воронку и исчезло<sup>60</sup>, что Карл-Альберт не отстаивал независимость Италии<sup>51</sup>, что Пий IX оказывается как-то из рук вон плох<sup>52</sup>?

—Что же из этого? Я не хочу и защищаться.

— Это-то и есть консерватизм. Если б ваши желания исполнились, вышло бы торжественное оправдание старого мира. Все было бы оправдано—кроме революции.

==144

— Стало быть, нам остается радоваться, что австрийцы победили Ломбардию?

— Зачем же радоваться? Ни радоваться, ни удивляться; Ломбардия не могла освободиться демонстрациями в Милане и помощью Карла Альберта.

— Хорошо нам здесь рассуждать об этом *sub specie aeternitatis* 53 ... Впрочем, я умею отделять человека от его диалектики; я уверен, что вы забыли бы все ваши теории перед грудями трупов, перед ограбленными городами, оскорбленными женщинами, перед дикими солдатами в белых мундирах 54.

— Вы вместо ответа делаете воззвание к состраданию, которое всегда удается. Сердце есть у всех, кроме [как] у нравственных уродов. Судьбой Милана так же легко тронуть, как судьбою герцогини Ламбаль55, человеку естественно сострадать; вы не верьте Лукрецию, что нет больше наслаждения, как смотреть с берега на тонущий корабль, — это клевета поэта56. Случайные жертвы, падающие от дикой силы, возмущают все нравственное существо наше. Я не видал Радецкого в Милане, но видел чуму в Александрии, я знаю, как эти роковые бичи унижают, оскорбляют человека, но на этом плаче останавливаться — бедно, слабо. Рядом с негодованием в душе является непреодолимое желание противодействия, борьбы, исследования, изыскания средств, причин. Чувствительностию не разрешишь этих вопросов. Доктора рассуждают о труднобольном не так, как безутешные родственники; они могут

==145

в душе плакать, принимать участие, но для борьбы с болезнью надобно понимать, а не слезы. Наконец, как бы врач ни любил больного, он не должен теряться, он не должен удивляться приближению смерти, неотразимость которой он понял. Впрочем, если вы жалеете только людей, погибших при этом страшном брожении и разгроме, вы правы; к бесчувственности надобно воспитаться; люди, не имеющие никакого сострадания к ближнему, — военачальники, министры, судьи, палачи — всю жизнь своей отучали себя от всего человеческого; если б им не удалось это, они остановились бы на полдороге. Ваша скорбь вполне оправдана, и я не имею для вас утешений — разве одни количественные: вспомните, что все случившееся, от восстания в Палерме57 до взятия Вены58, не стоило Европе трети людей, погибших под Эйлау59, например. Наши понятия так еще сбиты, что мы не умеем считать падших, если они пали в рядах, куда их привела не охота драться, не убеждение, а гражданская чума, называемая рекрутством. Павшие за баррикадами знали по крайней мере, за что падают; ну, а те, если б могли слышать, чем началось речное свидание двух императоров60, им пришлось бы краснеть за свою храбрость. «Из чего мы с вами деремся? — спросил Наполеон, — это одно недоразумение!» — «В самом деле, не из чего», — отвечал Александр, и они поцеловались. Десятки тысяч воинов, с удивительной отвагой, перебили бездну других и сами легли костями из-за недоразумения. Как бы то

==146



ни было, мало ли, много ли погибло людей, повторяю, их жаль, очень жаль. Но мне кажется, что вы печалитесь не об одних людях, вы еще что-то оплакиваете!

— Очень многое. Я оплакиваю революцию 24 февраля, так величественно начавшуюся и так скромно погибшую. Республика была возможна, я ее видел, я дышал ее воздухом; республика была не мечта, а быль, и что же из нее сделалось? Мне ее жаль так, как жаль Италию, проснувшуюся для того, чтоб на другой день быть побежденной, так, как жаль Германию, которая встала во весь рост для того, чтоб упасть к ногам своих тридцати помещиков. Мне жаль, что человечество опять отодвинулось на целое поколение, что движение опять заморожено, остановлено.

— Что касается до движения собственно, его не уймешь. Девиз нашего времени, больше нежели когда-нибудь, *semper in motu*\*... видите, как я был прав, упрекая вас в консерватизме, он у вас доходит до противоречий. Не вы ли мне рассказывали, год тому назад, о страшном нравственном падении образованных сословий во Франции и вдруг поверили, что за ночь из них сделались республиканцы, оттого что народ прогнал в три шеи упрямого старика<sup>1</sup> и на место упорного квакера<sup>2</sup>, окруженного мелкими дипломатами, позволил сесть бесхарактерному теофилантропу<sup>3</sup>, окруженному мелкими журналистами.

вечно в движении (лат.)

==147

— Теперь легко быть проницательным.

— И тогда было не трудно; 26 февраля определило весь характер 24-го<sup>4</sup>. Все не-консерваторы поняли, что эта республика — игра слов, — Бланки и Прудон, Распаль и Пьер Ле-Ру. Тут не дар пророчества нужен, а навык добросовестного изучения, привычка наблюдать; вот оттого-то я и рекомендую укреплять, изоцрять ум естественными науками. Натуралист привыкает не вносить до поры до времени ничего своего, следит, выжидает; он не проронит ни одного признака, ни одной перемены, он ищет истину бескорыстно, не подкладывая ни любви своей, ни своей ненависти. Заметьте, что самый проницательный публицист первой революции был коновал<sup>5</sup> и что химик 27 февраля печатал в своем журнале<sup>6</sup>, который сожгли студенты в *Quartier Latin*\*, то, что теперь все увидели, но чего уже поправить нельзя. Непростительно было ждать что-нибудь от политического сюрприза 24 февраля— кроме брожения; оно и началось с этого дня, и это великий результат его; отрицать брожения нельзя, оно влечет Францию и всю Европу от потрясения К потрясению. Того ли вы хотели, того ли ждали? Нет, вы ждали, что благоразумная республика удержится на золотушных ножках ламартиновской елейности, обернутых бюллетенями Ледрю-Роллена<sup>7</sup>. Это было бы всемирное несчастье, такая республика была бы са-

Латинском квартале (франц.)

==148

мым тяжелым тормозом, который задержал бы все колеса истории. Республика Временного правительства, основанная на старых монархических началах, была бы вреднее всякой монархии. Она явилась не как нелепость насилия, а как вольное соглашение, не как историческое несчастье, а как нечто рациональное, справедливое, с своим тупым большинством голосов и с своей ложью на знамени. Слово «республика» имело ту нравственную силу, которой нет больше ни у одного трона; обманывая своим именем, она ставила подпорки для поддержки падающего государственного устройства. Реакция спасла движение, реакция сбросила маски и этим спасла революцию. Люди, которые годы остались бы в опьянении от ламартинового лауданума, протрезвели от трехмесячного осадного положения<sup>68</sup>; они знают теперь, что значит усмирять возмущения по понятиям этой республики. Вещи, которые были понятны для нескольких человек, сделались доступны всем: все знают, что не Кавеньяк виноват в том, что делалось, что винить палача глупо, что он больше гадок, нежели виноват. Реакция сама подрубила ноги последним кумирам, за которыми, как за престолом в алтаре, прятался старый порядок. Народ не верит теперь в республику и превосходно делает, пора перестать верить в какую б то ни было единую, спасающую церковь. Религия республики была на месте в 93 г., и тогда она была колоссальна, велика, тогда она произвела этот величавый ряд гигантов, которыми замыкается длинная эра полити-

==149

ческих переворотов. Формальная республика показала себя после июньских дней. Теперь начинают понимать несовместимость братства и равенства с этими капканами, называемыми асизами; свободы и этих бойн под именем военно-судных комиссий; теперь никто не верит в подтасованных присяжных, которые решают в жмурки судьбу людей, без апелляции; в гражданское устройство, защищающее только собственность, ссылающее людей в виде меры общественного спасения, содержащее хоть сто человек постоянного войска, которые, не спрашивая причины, готовы спустить курок по первой команде. Вот польза реакции. Сомнения бродят, занимают умы, заставляют задумываться; а не легко было дойти до них, особенно французам, которые чрезвычайно туги на понимание нового, несмотря на всю остроту свою. То же в Германии; Берлину, Вене удалось сначала, они было обрадовались своим диетам, своим хартиям, о которых скромно вздыхали тридцать пять лет. Теперь, испытав реакцию и зная по опыту, что такое диеты и камеры, они не удовлетворятся никакой хартией, ни данной, ни взятой, они сделались для немцев то, что для человека игрушка, о которой он мечтал ребенком. Европа догадалась, благодаря реакции, что представительная система — хитро придуманное средство перегонять в слова и бесконечные споры общественные потребности и энергическую готовность действовать. Вместо того, чтоб радоваться этому, вы негодуете. Вы негодуете за то, что Национальное собрание, со-

ставленное из реакционеров, облеченное нелепой властью, под влиянием трусости, вотировало нелепость; а по-моему, это великое доказательство, что ни этих вселенских соборов для законодательства, ни представителей вроде первосвященников — вовсе не нужно, что умной конституции теперь вотировать невозможно. Не смешно ли писать уложение для грядущих поколений, когда у дряхлого мира едва есть время на то, чтоб распорядиться будущим и продиктовать как-нибудь духовное завещание? Вы оттого Нте рукоплещете всем этим неудачам, что вы консерватор, что вы, сознательно или нет, принадлежите к этому миру. В прошлом году, сердясь, негодуя на него, вы не выходили из него; за это он обманул вас 24 февраля; вы поверили, что он может спастись домашними средствами, агитацией, реформами, что он может обновиться, оставаясь при старом; вы верили, что он может исправиться, и теперь верите. Сделайся уличный бунт, провозгласи французы Ледрю-Роллена президентом, вы опять взойдете в восторг. Пока вы молоды, это простительно, но оставаться в этом направлении надолго я не советую, вы сделаетесь смешны. У вас натура живая, восприимчивая — переступите последний забор, отрясите последнюю пыль с сапогов ваших и убедитесь, что маленькие революции, маленькие перемены, маленькие республики недостаточны, круг действия их слишком ограничен, они теряют всякий интерес. Не надобно им поддаваться, все они заражены консерватизмом. Я отдаю им

справедливость, разумеется, они имеют свою хорошую сторону; в Риме при Пии IX стало лучше жить, нежели при пьяном и злом Григории XVI.; республика 26 февраля в некоторых отношениях дает более удобную форму для новых идей, нежели монархия, 'но все эти паллиативные средства столько же вредны, сколько полезны, они минутным облегчением заставляют забыть болезнь. А потом, как взглядишься в эти улучшения, как посмотришь, с каким кислым, недовольным лицом делаются они, как всякую уступку представляют благодеянием, дают нехотя, оскорбляя, — так, право, охота пройдет слишком дорого ценить их услугу. Я не умею выбирать между рабствами так, как между религиями; у меня вкус притупился, я не в состоянии различать тонкостей, которое рабство хуже, которое лучше, которая религия ближе к спасению, которая дальше, что притеснительнее: честная республика или честная монархия, революционный консерватизм Радецкого или консервативная революционность Кавеньяка, что пошлее: квакеры или иезуиты, что хуже: розги или краподина. С обеих сторон рабство, с одной — хитрое, прикрытое именем свободы и, следовательно, опасное; с другой — дикое, животное и, следовательно, бросающееся в глаза. По счастью, они друг в друге не узнают родственных черт и готовы

ежеминутно вступить в бой; пусть борются, пусть составляют коалиции, пусть грызут друг друга и тащат в могилу. Кто бы из них ни восторжествовал, ложь или насилие, на

==152

первый случай это победа не для нас, а впрочем, и не для них; все, что победители успеют, — это ловко попировать денек, другой.

— А нам оставаться по-прежнему зрителями, вечными зрителями, жалкими присяжными, которых приговор не исполняется; понятными, в свидетельстве которых не нуждаются. Я удивляюсь вам и не знаю, должен ли завидовать или нет. С таким деятельным умом у вас столько—как бы это сказать?— столько воздержности.

— Что делать? Я себя не хочу насиловать, искренность и независимость — мои кумиры, мне не хочется стать ни под то, ни под другое знамя; оба стана так хорошо стоят на дороге к кладбищу, что помощь моя им не нужна. Такие положения бывали и прежде. Какое участие могли принимать христиане в римских борьбах за претендентов на императорство? Их называли трусами, они улыбались и делали свое дело, молились и проповедовали.

— Проповедовали потому, что были сильны верою, имели единство учения; где у нас евангелие, новая жизнь, к которой мы зовем, добрая весть, о которой мы призваны свидетельствовать миру?

— Проповедуйте весть о смерти, указывайте людям каждую новую рану на груди старого мира, каждый успех разрушения; указывайте хилость его начинаний, мелкость его домогательств, указывайте, что ему нельзя выздороветь, что у него нет ни опоры, ни веры в себя, что его никто не любит в самом деле, что он

==153

держится на недоразумениях; указывайте, что каждая его победа—ему же удар; проповедуйте смерть как добрую весть приближающегося искупления.

— Уж не лучше ли молиться? .. Кому проповедовать, когда с обеих сторон падают ряды жертв? Это один парижский архиерей не знал, что во время сражения ни у кого нет уха<sup>69</sup>. Погодимте еще немного; когда борьба кончится, тогда начнемте проповедовать о смерти, никто не будет мешать на обширном кладбище, на котором лягут рядом все бойцы; кому же лучше и слушать апотеозу смерти, как не мертвым? Если дела пойдут, как теперь, зрелище будет оригинальное; будущее, водворяемое погибнет

вместе с дряхлым, отходящим; недоношенная демократия замрет, терзая холодную и исхудалую грудь умирающей монархии.

— Будущее, которое гибнет, не будущее. Демократия — по преимуществу настоящее; это борьба, отрицание иерархии, общественной неправды, развившейся в прошедшем; очистительный огонь, который сожжет отжившие формы и, разумеется, потухнет, когда сожигаемое кончится. Демократия не может ничего создать, это не ее дело, она будет нелепостью после смерти последнего врага; демократы только знают (говоря словами Кромвеля), чего не хотят; чего они хотят, они не знают.

— За знанием чего мы не хотим, таится предчувствие чего хотим; на этом основана мысль, которая до того часто повторялась, что совестно на нее ссылаться, — мысль о том, что каждое

==154

разрушение — своего рода создание. Человек не может довольствоваться одним разрушением, это противно его творческой натуре. Для того, чтоб он проповедовал смерть, ему нужна вера в возрождение. Христианам легко было возвещать кончину древнего мира, у них похороны совпадали с крестинами.

— У нас не одно предчувствие, но есть и нечто побольше; только мы не так легко удовлетворяемся, как христиане; у них один критериум и был — вера. Для них, конечно, было большое облегчение в незыблемой уверенности, что церковь восторжествует, что мир примет крещение; им и в голову не приходило, что крещеный ребенок выйдет не совсем по желанию духовных родителей. Христианство осталось благочестивым упованием; теперь, накануне смерти, как в первом столетии, оно утешается небом, раем; без неба оно пропало. Водворение мысли о новой жизни несравненно труднее в наше время, у нас нет неба, нет «веси божией», наша весь человеческая и должна осуществиться на той почве, на которой существует все действительное, — на земле. Тут нельзя сослаться ни на искушение дьявола, ни на помощь божию, ни на жизнь за гробом. Демократия, впрочем, и не идет так далеко, она сама еще стоит на христианском берегу, в ней бездна аскетического романтизма, либерального идеализма; в ней страшная мощь разрушения, но как примется создавать, она теряется в ученических опытах, в политических этюдах. Конечно, разрушение создает, оно расчищает

==155

место, и это уж создание; оно отстраняет целый ряд лжи, и это уж истина. Но действительного творчества в демократии нет — и потому-то она не будущее. Будущее вне политики, будущее носится над хаосом всех политических и социальных стремлений и возьмет из них нитки в свою новую ткань, из

которой выйдут саван прошедшему и пеленки новорожденному. Социализм соответствует назарейскому учению в Римской империи.

— Если припомнить, что вы сейчас сказали о христианстве, и продолжить сравнение, то будущность социализма незавидная, он останется вечным упованием.

— И по дороге разовьет блестящий период истории под своим благословением. Евангелие не осуществилось, да это и не нужно было; а осуществились средние века, века восстановления, века революции, но христианство проникло во все эти явления, участвовало во всем, указывало, напутствовало. Исполнение социализма представляет также неожиданное сочетание отвлеченного учения с существующими фактами. Жизнь осуществляет только ту сторону мысли, которая находит себе почву, да и почва при том не остается страдательным носителем, а дает свои соки, вносит свои элементы. Новое, возникающее из борьбы утопий и консерватизма, входит в жизнь не так, как его ожидала та или другая сторона; оно является переработанным, иным, составленным из воспоминаний и надежд, из существующего и водворяемого, из преданий и возникновений, из верований и

==156

знании, из отживших римлян и неживших германцев, соединяемых одной церковью, чуждой обоим. Идеалы, теоретические построения никогда не осуществляются так, как они носятся в нашем уме.

— Как и для чего они приходят в голову после этого? Это какая-то ирония.

— А отчего вам хочется, чтоб в уме человека все было в обрез? что за прозаическое сведение всего на крайне нужное, на необходимо полезное, на неминуемо прилагаемое? Вспомните старика Лира, который, когда одна из дочерей уменьшала его штат и уверяла, что ему про нужду достанет, сказал ей: «Про нужду—может быть, но знаешь ли ты, когда человек сводится только на то, что ему нужно, он делается зверем»<sup>70</sup>. Фантазия и мысль человека несравненно свободнее, нежели полагают; целые миры поэзии, лиризма, мышления, независимые до некоторой степени от окружающих обстоятельств, дремлют в душе каждого. Их будит толчок, и они просыпаются с своими видениями, решениями, теориями; мысль, опираясь на фактическое данное, стремится к их всеобщим нормам, старается ускользнуть от случайных и временных определений в логические сферы,—но от них до сфер практических очень далеко.

— Слушая ваши слова, я думал теперь, отчего у вас так много нелицеприятной справедливости, — и нашел причину: вы не ринуты в поток, вы не вовлечены в этот круговорот; посторонний всегда лучше разбирает семейные дела, нежели члены семейства. Но если б вы,

==157

как многие, как Барбес, как Мадзини, работали всю жизнь, потому что внутри вашей души раздавался голос, который требовал этой деятельности, которого перекричать не было у вас возможности, потому что он поднимался из глубины оскорбленного сердца, обливающегося кровью при виде притеснения, замирающего при виде насилия; если б этот голос был не только в уме и сознании, но в крови, в нервах,

и вы, следуя ему, попали бы в действительное столкновение с властью, долю жизни были бы в цепях, скитались бы изгнанником, и вдруг для вас наступила бы заря того дня, который вы ожидали полжизни, — вы бы, как Мадзини, на итальянском языке, при громе рукоплесканий, говорили бы в Милане на площади, открыто, слова независимости и братства, не боясь белого мундира и желтых усов. Если б вы, после десятилетнего заключения, как Барбес, были принесены ликующей толпой на площадь того города, где вам один товарищ палача читал приговор, а другой его товарищ вас миловал пожизненными цепями<sup>71</sup>; и вы бы после всего этого увидели осуществленную вашу мысль и слышали бы двухсоттысячную толпу, которая приветствует мученика криком: «Vive la République!»\*, и вслед за тем вам пришлось бы увидеть Радецкого в Милане, Кавеньяка в Париже и опять сделаться скитальцем, колодником; представьте к тому, что вы не имели бы утешения отнести все это на счет материальной, грубой

«Да здравствует республика!» (франц.)

==158

силы, а напротив, видели бы народ, изменяющий самому себе, видели бы те же толпы, избирающие теперь, кому дать в руки нож против себя, — вы не стали бы тогда умеренно и основательно рассуждать, насколько мысль обязательна и где пределы воли. Нет, вы проклинали бы эти людские стада, любовь превратилась бы в ненависть или, хуже, в презрение. Вы, может, пошли бы в монастырь со всем атеизмом вашим.

— Это было бы доказательством, что и я слаб, подтверждением того, что все люди слабы, что мысль не только не обязательна для мира, но даже для самого человека. Но, простите, я никак не могу вам позволить свести разговор наш на личности. Замечу одно: да, я зритель, только это и не роль, и не натура моя, это мое положение; я понял его, это мое счастье; когда-нибудь поговорим обо мне, теперь мне не хочется отвлекаться. — Вы говорите, что я проклинал бы народ; может быть, но это было бы очень глупо. Народы, массы — это стихии, океаниды; их путь—путь природы, они, ее ближайшие преемники, влекутся темным инстинктом, безотчетными страстями, упорно хранят то, до чего достигли, хотя бы оно было дурно; ринутые в движение, они неотразимо увлекают с собою или давят все, что попало на дороге, хотя бы оно было хорошо. Они идут, как известный индийский кумир, все встречные бросаются под его колесницу<sup>72</sup>, и первые раздавленные бывают усерднейшие поклонники идола. Народы обвинять нелепо, они правы, потому

==159

что всегда сообразны обстоятельствам своей былой жизни; на них нет ответственности ни за добро, ни за зло, они факты, как урожай и неурожай, как дуб и колос. Ответственность скорее на меньшинстве, которое представляет собою сознannую мысль своего времени, хотя и оно не виновато; вообще юридическая точка зрения не годится нигде, кроме в суде, и именно потому все суды в мире никуда не годятся. Понимать и обвинять — это почти так же нелепо, как не понимать и казнить. Виновато ли меньшинство, что все историческое развитие, вся цивилизация предшествующих веков была для него, что ум развит у него на счет крови и мозга других, что оно вследствие этого далеко ушло вперед от одичалого, неразвитого, задавленного тяжким трудом народа? Тут не вина, тут трагическая, роковая сторона истории; ни богатый не отвечает за богатство, найденное им в колыбели, ни бедный за бедность, они оба оскорблены несправедливостью, фатализмом. Если мы и имеем некоторое право требовать, чтоб страждущий, худой от голода и горя, притесненный и оскорбляемый народ отпустил нам наше неправоe стяжение, наше превосходство, наше развитие, потому что мы в нем неповинны, потому что мы работаем над тем, чтоб сознательно поправить бессознательный грех, то откуда возьмем мы силу проклинать, презирать народ, который остался Каспаром Гаузером<sup>73</sup> для того, чтоб мы с вами читали Данта, слушали Бетховена? Презирать за то, что он не понимает нас, пользующихся монополюю понимания, — это безобразная, гнус-

==160

пая жестокость. Вспомните, как было дело: образованное меньшинство, долго наслаждаясь в своем исключительном положении, в своем аристократическом, литературном, художественном, правительственном круге, наконец почувствовало угрызение совести, оно вспомнило забытых братии, мысль о несправедливости общественного устройства, мысль о равенстве, как электрическая искра, облетела лучшие умы прошлого века. Книжно, теоретически поняли люди несправедливость и книжно хотели ее поправить, это позднее раскаяние меньшинства назвали либерализмом. Они, добросовестно желая вознаградить народ за тысячелетние унижения, провозгласили его самодержавным, требовали, чтоб каждый поселянин вдруг сделался политическим человеком, понял запутанные вопросы полусвободного и полурабского законодательства, оставил свою работу, т. е. кусок хлеба, и, новый Цинциннат, шел бы заниматься общественными делами. О хлебе насущном—либерализм серьезно не думал, он слишком романтик, чтоб печься о таких грубых потребностях. Либерализму легче было выдумать народ, нежели его изучить. Он налгал на него из любви не меньше того, что на него налгали другие из ненависти. Либералы сочинили свой народ а priori, построили его по воспоминаниям, из прочтенного, одели его в римскую тогу и в пастушеский наряд. О действительном народе мало думали; он жил, работал, страдал возле, около, и если его кто-нибудь знал, то это его враги — попы и легитимисты. Судьба его оставалась по-старому, зато



народ вымышленный сделался кумиром в новой политической религии — елей, которым мазали чело царей, перешел на загорелое чело, покрытое морщинами и горьким потом. Не освободивши ни его рук, ни его ума, либерализм посадил народ на трон и, кланяясь ему в пояс, старался в то же время оставить власть себе. Народ поступил, как один из его представителей, Санчо Панса, — он отказался от мнимого престола или, лучше сказать, и не садился на него<sup>74</sup>. Мы начинаем понимать ложное с обеих сторон, это значит, что мы выходим на дорогу; будемте указывать ее всем, но зачем же, обертываясь назад, мы будем ругаться? Я не токмо не виню народ, но не виню и либералов; они большею частию любили народ по-своему, они много жертвовали для своей идеи, это всегда почтенно, — но они были на ложном пути. Их можно сравнить с прежними натуралистами, которые начинали и оканчивали изучение природы в гербарии, в музее; все, что они знали о жизни, был труп, мертвая форма, след жизни. Честь и слава тем, которые догадались взять котомку и идти в горы, плыть за моря ловить природу и жизнь на самом деле. Но зачем же их славой, их успехами задвигать труды их предшественников? Либералы были вечные жители больших городов и маленьких кружков, люди журналов, книг, клубов, они вовсе не знали народа, они его глубокомысленно изучали по историческим источникам, по памятникам — а не по деревне, не по рынку. Больше или меньше все мы грешны в этом, отсюда недоразумения, обманутые на-

дежды, досада, наконец отчаяние. Если б вы были знакомы с внутренней жизнью Франции, вы не удивлялись бы, что народ хочет вотировать за Бонапарта; вы знали бы, что народ французский не имеет ни малейшего понятия о свободе, о республике, но имеет бездну национальной гордости; он любит Бонапартов и терпеть не может Бурбонов. Бурбоны для него напоминают корвею \*, Бастилию, дворян; Бонапарты — рассказы стариков, песни Беранже, победы и, наконец, воспоминания о том, как сосед, такой же крестьянин, возвращался генералом, полковником, с Почетным Легионом на груди... и сын соседа торопится подать голос за племянника <sup>75</sup>.

— Конечно, так. Одно странно, отчего же они забыли деспотизм Наполеона, его конскрипции, тиранство префектов, если у них так хороша память?

— Это очень просто, для народа деспотизм не может составить характеристики империи. Для него до сих пор все правительства были деспотизмом. Он, например, узнал республику, провозглашенную для удовольствия «Реформы», для пользы «Националя», — по 45-сантимному налогу<sup>76</sup>, по депортациям, по тому, что бедным работникам не выдают пассивов в Париж<sup>77</sup>. Народ вообще плохой филолог, слово «республика» его не тешит, ему от него не легче. Слова «империя», «Наполеон» его электризуют, далее он не идет.

барщину, от corvee (франц.)

— Если на все смотреть таким образом, то я сам начинаю думать, что не только перестанешь сердиться и что-нибудь делать, но перестанешь иметь даже желание что-нибудь делать.

— По-моему, я говорил вам, понимать—это уж действовать, осуществлять. Вы думаете, что, когда поймешь окружающее, пройдет желание действовать, — это значило бы, что вы хотели делать не то, что надобно. Ищите в таком случае другой работы; не найдете внешней, найдете внутреннюю. Странен человек, который ничего не делает, имея дело; но ведь странен и тот, который, не имея дела, делает. Труд вовсе не клубок на нитке, который дают котенку, чтоб его занимать, он определяется не одним желанием, но и требованием на него.

— Я никогда не сомневался, что думать всегда можно, и не смешивал насильственного бездействия с произвольным безмыслием. Я предвидел, впрочем, утешительный результат, к которому вы придете, — оставаться в рассуждающем бездействии, останавливая умом сердце и критикой любовь к человечеству.

— Для того, чтоб деятельно участвовать в мире, нас окружающем, я повторяю вам, мало желания и любви к человечеству. Все это какие-то неопределенные, мерцающие понятия— что такое любить человечество? что такое самое человечество? Все это сдается мне прежними христианскими добродетелями, подогретыми на философском очаге. Народы любят соотечественников — это понятно, но что такое любовь, которая обнимает все, что перестало быть обезья-

ной, от эскимоса и готтентота до далай-ламы и папы, — я не могу в толк взять... что-то слишком широко. Если это та любовь, которою мы любим природу, планеты, вселенную, то я не думаю, чтоб она могла быть особенно деятельна. Или инстинкт, или понимание среды, в которой вы живете, ведут вас к деятельности? Инстинкт ваш утрачен, — утратьте ваше отвлеченное знание и станьте самоотверженно перед истиной, поймите ее, тогда вы увидите, какая деятельность нужна, какая нет. Хотите вы политической деятельности в существующем порядке, сделайте Маррастом, сделайте Одилоном Барро, и она вам будет. Вы этого не хотите, вы чувствуете, что всякий порядочный человек — совершенно посторонний во всех политических вопросах, что он не может серьезно думать — нужен или не нужен президент республике? может или нет Собрание посылать людей на каторгу без суда? или еще лучше — должно ли подать голос за Кавеньяка или за Луи Бонапарта? .. Думайте месяц, думайте год, кто из них лучше, — вы не решите, оттого что они, как говорят дети, «оба хуже». Все, что остается делать человеку, уважающему себя, — вовсе не вотировать. Посмотрите на другие вопросы а l'ordre du jour \*— всё то же; «они посвящены богам», Смерть у них за плечами. Что делает священник, призванный к умирающему? Он не лечит его, он не возражает на его бред, а читает ему отходную.

в повестке дня (франц.)

Читайте отходную, читайте смертный приговор, исполнение которого идет не по дням, а по часам; убедитесь раз навсегда, что никто из осужденных не уйдет от казни: ни самодержавие петербургского царя, ни свобода мещанской республики, да и не жалеете ни того, ни другого. Убеждайте лучше легкомысленных, поверхностных людей, которые рукоплещут падению австрийской империи и бледнеют за судьбу полуреспублики, что падение ее — такой же великий шаг к освобождению народов и мысли, как падение Австрии, что никаких исключений не надобно, никакой пощады, что время снисхождения не пришло; скажите словами либералов-реакционеров, что «амнистия—дело будущего», требуйте вместо любви к человечеству ненависти ко всему, что валяется на дороге и мешает идти вперед. Пора перевязать всех врагов развития и свободы одной веревкой так, как они перевязывают колодников, и провести их по улицам, чтоб все видели круговую поруку — французского кодекса и русского свода, Кавеньяка и Радецкого, — это будет великое поучение. Кто теперь, после этих грозных, потрясающих событий не протрезвится, никогда не протрезвится и умрет каким-нибудь рыцарем Тогенбургом либерализма, как Лафайет? Террор казнил людей, наша судьба легче, мы призваны казнить учреждения, разрушать верования, отнимать надежду на старое, ломать предрассудки, касаться до всех прежних святынь без уступок, без пощады. Улыбка, привет одному возникающему, одной заре, и если мы не в силах Подвинуть ее часа,

то, по крайней мере, можем указывать ее близость тем, которые не видят.

— Как этот старик нищий на Вандомской площади, который всякую ночь предлагает прохожим свой телескоп, чтоб посмотреть на дальние звезды?

— Ваше сравнение очень хорошо, именно показывайте каждому идущему мимо, как все ближе и ближе подступают, как растут и поднимаются волны карающего потока. Указывайте с тем вместе и белый парус ковчега... там вдали на горизонте. Вот вам и дело. Когда все утонет, когда все ненужное растворится и погибнет в соленой воде, когда она начнет сбывать и уцелевший ковчег остановится, тогда будет людям другое дело, много дела. Теперь нет!

Париж, 1 декабря 1848 г.

CONSOLATIO \*

Der Mensch isf nicht geboren frei ги sein /8

Goethe ("Tasso")

Из окрестностей Парижа мне нравится больше других Монморанси. Там ничего не бросается в глаза, ни особенно береженные парки, как в Сен-Клу, ни будуары из деревьев, как в Трианоне; а ехать оттуда не хочется. Природа в Монморанси чрезвычайно проста, она похожа на те женские лица, которые не оста-

Утешение (лат.)

## ==167

навливают, не поражают, но привлекают каким-то милым и доверчивым выражением, и привлекают тем сильнее, чем это делается совершенно незаметно для нас. В такой природе и в таких лицах есть обыкновенно что-то трогательное, успокаивающее, и именно за этот покой, за эту каплю воды Лазарю<sup>79</sup> всего больше благодарит душа современного человека, беспрерывно потрясенная, растерзанная, взволнованная. Я несколько раз находил отдых в Монморанси и за это благодарен ему. Там есть большая роща, местоположение довольно высокое, и тишина, которой под Парижем нигде нет. Не знаю отчего, но эта роща напоминает мне всегда наш русский лес... идешь и думаешь... вот сейчас пахнет дымком от овинов, вот сейчас откроется село... с другой стороны, должно быть, господская усадьба, дорога туда пошире и идет просеком, и верите ли? мне становилось грустно, что через несколько минут выходишь на открытое место и видишь вместо Звенигорода — Париж; вместо окошечка земского или попа — окошечко, в которое так долго и так печально смотрел Жан-Жак...

Именно к этому домику шли раз из рощи какие-то, по-видимому, путешественники: дама лет двадцати пяти, одетая вся в черном, и мужчина средних "лет, преждевременно седой. Выражение их лиц было серьезно, даже покойно. Одна долгая привычка сосредоточиваться и жизнь, обильная мыслию, событиями, дают чертам этот покой. Это не природная тишина, а тишина после бурь, после борьбы и победы.

## ==168

— Вот дом Руссо, — сказал мужчина, указывая на маленькое строение, окна в три.

Они остановились. Одно окошко было немного приотворено, занавеска колебалась от ветра.

— Это движение занавески, — заметила дама, — наводит невольный страх, так и кажется — вот сейчас подозрительный и раздраженный старик ее отдернет и спросит нас, зачем мы тут стоим. Кому придет в голову, глядя на мирный домик, окруженный зеленью, что он был прометеевской скалой для великого человека, которого вся вина состояла в том, что он слишком любил людей, слишком верил в них, желал им больше добра, нежели они сами? Современники не могли ему простить, что он высказал тайное угрызение их собственной совести, и вознаграждали себя искусственным хохотом презрения, а он оскорблялся; они смотрели на поэта братства и свободы как на безумного; они боялись признать в нем разум, это значило бы признать свою глупость, а он плакал об них. За целую жизнь преданности, страстного желания помочь, любить, быть любимым, освободить ... находил он мимолетные приветы и постоянный холод, надменную ограниченность гонения, сплетни! Мнительный и нежный от природы, он не мог стать независимо от этих мелочей и потухал, оставленный всеми, больной, в нищете. В ответ на все его стремления к симпатии, к любви, ему досталась одна Тереза, в ней сосредоточивалось для него все теплое, вся сторона сердца, — Тереза, которая

## ==169

не могла научиться узнавать, который час, существо неразвитое, полное предрассудков, которая стягивала жизнь Руссо в узкую подозрительность, в мещанские пересуды и кончила тем, что рассорила

его с последними друзьями. Сколько горьких минут провел он, облакачиваясь на эту оконницу, с которой кормил птиц, думая, каким злом они ему заплатят! У бедного старика только и оставалось, что природа, — и он, восхищаясь ею, закрыл глаза, усталые от жизни, тяжелые от слез. Говорят, что он даже ускорил минуту покоя... на этот раз Сократ сам осудил себя на смерть за грех сознания, за преступление гениальности. Когда взглядишься серьезно во все, что делается, становится противно жить. Все на свете гадко и притом глупо; люди хлопочут, работают, ни минуты не находят отдыха, а делают все вздор; другие хотят их вразумить, остановить, спасти — их распинают, гонят — и все это в каком-то бреде, не давая себе труда понять. Волны подымаются, торопятся, клубятся без цели, без нужды... там они разбиваются с бешенством об скалу, тут подмывают берег... мы стоим середь водоворота, бежать некуда. — Я знаю, доктор, вы не так смотрите на жизнь, она вас не сердит, потому что вы в ней ищете один физиологический интерес и мало требуете от нее, вы большой оптимист. Иногда я с вами соглашаюсь, вы меня сбиваете с толку вашей диалектикой; но как только сердце принимает участие, как только из общих сфер, где все разрешено и успокоено, коснешься живых вопросов, взгля-

==170

нешь на людей, душа возмущается. Подавленное на минуту негодование снова просыпается, и досадуешь об одном: что нет достаточно сил ненавидеть, презирать людей за их ленивое бездушие, за их нежелание стать выше, благороднее. .. если б было можно отвернуться от них! И пусть они делают что хотят в своих полипниках, пусть живут нынче, как вчера, опираясь на привычки и обряды, бессмысленно принимая, на веру, что делать и чего не делать... и изменяя притом на каждом шагу своей собственной нравственности, своему собственному катехизису!

—Я не думаю, чтоб вы были справедливы. Разве люди виноваты в вашем доверии к ним, в вашем идеальном понятии об их нравственном достоинстве?

— Я не понимаю, что вы говорите, я сейчас сказала совершенно противоположное. Кажется, это не верх доверия, когда говорят об людях, что у них ничего нет, кроме мученических венцов для всякого пророка и бесполезного раскаяния после их смерти; что они готовы броситься как звери, на того, кто, заменяя их совесть, назовет их дела; кто, снимая на себя их грехи, хочет разбудить их сознание.

— Да, но вы забываете источник вашего негодования? Вы сердитесь на людей за многое, чего они не сделали, потому что вы считаете их способными на все эти прекрасные свойства, к которым вы воспитали себя или к которым вас воспитали, — но они по большей части этого

==171

развития не имели. Я не сержусь, потому что и не жду от людей ничего, кроме того, что они делают; я не вижу ни повода, ни права требовать от них чего-нибудь другого, нежели что они могут дать, а могут

они дать то, что дают; требовать больше, обвинять — ошибка, насилие. Люди только справедливы к безумным и к совершенным дуракам, их, по крайней мере, мы не обвиняем за дурное устройство мозга, им прощаем природные недостатки; с остальными страшная моральная требовательность. Почему мы ждем от всех встречаемых на улице примерных доблестей, необыкновенного понимания — я не знаю; вероятно, по привычке все идеализировать, все судить свысока — так, как обыкновенно судят жизнь по мертвой букве, страсть по кодексу, лицо по родовому понятию. Я иначе смотрю, я привык к взгляду врача, к взгляду, совершенно противоположному — судьи. Врач живет в природе, в мире фактов и явлений, он не учит, он учится; он не мстит, а старается облегчить; видя страдание, видя недостатки, он ищет причину, связь, он ищет средств в том же мире фактов. Нет средств, он грустно пожимает плечами, досадует на свое неведение — и не думает о наказании, о пени, не порицает. Взгляд судьи проще, ему, собственно, взгляда и не надобно, недаром Фемиду представляют с завязанными глазами; она тем справедливее, чем меньше видит жизнь; наш брат, напротив, хотел бы, чтобы пальцы и уши имели глаза. Я не оптимист и не пессимист, я смотрю, взгляды-

==172

ваюсь, без заготовленной темы, без придуманного идеала, и не тороплюсь с приговором — я просто, извините, скромнее вас.

— Не знаю, так ли я вас поняла, но, мне кажется, вы находите очень естественным, что современники Руссо его мучили маленькими преследованиями, отравили ему жизнь, оклеветали его; вы им отпускаете их грехи, это очень снисходительно, не знаю, насколько справедливо и нравственно.

— Для того, чтоб отпускать грехи, надобно прежде обвинять; я этого не делаю. Впрочем, пожалуй, я приму ваше выражение, да, я отпускаю им зло, ими причиненное, так, как вы отпускаете холодной погоде, которая на днях простудила вашу малютку. Можно ли сердиться на события, которые независимы ни от чьей воли, ни от чьего сознания? Они иногда бывают очень тяжелы для нас; но обвинение не поможет, а только запутает. Когда мы с вами сидели у кровати больной и горячка так развернулась, что я сам испугался, мне было бесконечно горько смотреть и на больную и на вас; вы так много страдали в эти часы — но вместо того, чтоб проклинать дурной состав крови и с ненавистью смотреть на законы органической химии, я думал тогда о другом, а именно о том, как возможность понимать, чувствовать, любить, привязываться необходимо влечет за собою противоположную возможность несчастья, страданий, лишений, нравственных оскорблений, горечи. Чем нежнее развивается внутренняя жизнь, тем жестче, губительнее для нее кап-

==173

ризная игра случайности, на которой не лежит никакой ответственности за ее удары.

— Я сама не обвиняла болезнь. Ваше сравнение не совсем идет; природа вовсе не имеет сознания.

— А я думаю, что и на полусознательную массу людей нельзя сердиться; взойдите в ее состояние борьбы между предчувствием света и привычкой к темноте. Вы берете за норму бережные, особенно удавшиеся оранжерейные цветы, за которыми было бездна ухода, и сердитесь, что полевые не так хороши. Не только это несправедливо, но это чрезвычайно жестоко. Если б у большинства людей было сознание сколько-нибудь светлее, неужели вы думаете, что они могли бы жить в том положении, в котором живут? Они не только зло делают другим, но и себе, и это именно их извиняет. Ими владеет привычка, они умирают от жажды возле колодца и не догадываются, что в нем вода, потому что их отцы им этого не сказали. Люди всегда были такие, пора, наконец, перестать дивиться, негодовать; можно было привыкнуть со времен Адама. Это тот же романтизм, который заставлял поэтов сердиться за то, что у них есть тело, за то, что они чувствуют голод. Сердитесь сколько хотите, но мира никак не переделаете по какой-нибудь программе; он идет своим путем, и никто не в силах его сбить с дороги. Узнавайте этот путь — и вы отбросите нравоучительную точку зрения, и вы приобретете силу. Моральная оценка событий и гурьба людей принадлежат к самым началь-

==174

ным ступеням понимания. Оно лестно самолюбию — раздавать Монтионовские премии<sup>80</sup> и читать выговоры, принимая мерилom самого себя, — но бесполезно. Есть люди, которые пробовали внести этот взгляд в самую природу и сделали разным зверям прекрасные или прескверные репутации. Увидали, например, что заяц бежит от неминуемой опасности, и назвали его трусом; увидали, что лев, который в двадцать раз больше зайца, не бежит от человека, а иногда его съедает, — стали его считать храбрым; увидали, что лев сытый не ест, — сочли это за величие духа; а заяц столько же трус, сколько лев великодушен и осел глуп. Нельзя больше останавливаться на точке зрения Эзоповых басен; надобно смотреть на мир природы и на мир людской проще, покойнее, яснее. Вы говорите о страданиях Руссо. Он был несчастлив, это правда, но и это правда, что страдания всегда сопровождают необыкновенное развитие, натура гениальная может иногда не страдать, сосредоточиваясь в себе, довольствуясь собою, наукой, искусством; но в практических сферах никак. Дело очень простое: такие натуры, входя в обычные людские отношения, нарушают равновесие; среда, их окружающая, им узка, невыносима, их жмут отношения, рассчитанные по иному росту, по иным плечам и необходимые для тех плеч. Все, что давило по мелочи того, другого, все, о чем толковали вразбивку и чему покорялись обыкновенные люди, все это вырастает в нестерпимую боль в груди сильного человека, в грозный протест,

==175

в явную вражду, в смелый вызов на бой; отсюда неминуемо столкновение с современниками; толпа видит презрение к тому, что она хранит, и бросает в гения камнями и грязью, до тех пор пока поймет, что он был прав. Виноват ли гений, что он выше толпы, виновата ли толпа, что она его не понимает?

— И вы находите это состояние людей, и притом большинства людей, нормальным, естественным? По-вашему, это нравственное падение, эта глупость так и быть должны? — Вы шутите!

— Как же иначе? Ведь никто не принуждает их так поступать, это их наивная воля. Люди вообще в практической жизни меньше лгут, нежели на словах. Лучшее доказательство их простодушия — в искренней готовности, как только поймут, что совершили какое-либо преступление, раскаяться. Они спохватились, распявши Христа, что скверно сделали, и бросились на колени перед крестом. О каком нравственном падении речь, si toutefois \* вы не говорите о грехопадении, я не понимаю. Откуда было падать? Чем дальше смотришь назад, тем больше встречаешь дикости, непонимания или совершенно иного развития, которое до нас почти не касается; какие-нибудь погибшие цивилизации, какие-нибудь китайские нравы. Долгая жизнь в обществе вырабатывает мозг. Вырабатывание это делается трудно, туго; а тут вместо признания сердятся на людей за то, что они не по-

если только (франц.)

## ==176

хожи ни на идеал мудреца, выдуманного стоиками, ни на идеал святого, выдуманного христианами. Целые поколения легли костями, чтоб обжить какой-нибудь клочок земли, века прошли в борьбе, кровь лилась реками, поколения мерли в страданиях, в тщетных усилиях, в тяжелом труде... едва вырабатывая скудную жизнь, немного покоя и пять-шесть умов, которые понимали заглавные буквы общественного процесса и двигали массы к совершению судеб своих. Удивляться надобно, как народы при этих гнетущих условиях дошли до современного нравственного состояния, до своей самоотверженной терпеливости, своей тихой жизни; удивляться надобно, как люди так мало делают зла, а не упрекать их, зачем каждый из них не Аристид и не Симеон Столпник.

—Вы хотите меня уверить, доктор, что людям предназначено быть мошенниками.

— Поверьте, что людям ничего не предназначено.

— Да зачем же они живут?

— Так себе, родились и живут. Зачем все живет? Тут, мне кажется, предел вопросам; жизнь — и цель, и средство, и причина, и действие. Это вечное беспокойство деятельного, напряженного вещества, отыскивающего равновесие для того, чтоб снова потерять его, это непрерывное движение, ultima ratio\*, далее идти некуда. Прежде все искали отгадки в облаках или в глубине, подымались или спускались, \* последний, решающий довод (лат.)

Consolatio

## ==177

однако не нашли ничего — оттого, что главное. существенное все тут, на поверхности. Жизнь не достигает цели, а осуществляет все возможное, продолжает все осуществленное, она всегда готова шагнуть дальше — затем, чтоб полнее жить, еще больше жить, если можно; другой цели нет. Мы часто за цель принимаем последовательные фазы одного и того же развития, к которому мы приучились; мы думаем, что цель ребенка совершеннолетие, потому что он делается совершеннолетним, а цель ребенка скорее играть, наслаждаться, быть ребенком. Если смотреть на предел, то цель всего живого — смерть.



— Вы забываете другую цель, доктор, которая развивается людьми, но переживает их, передается из рода в род, растет из века в век, и именно в этой-то жизни неотделимого человека от человечества и раскрываются те постоянные стремления, к которым человек идет, к которым поднимается и до осуществления которых когда-нибудь достигнет.

— Я совершенно согласен с вами, я даже сказал сейчас, что мозг вырабатывается; сумма идей и их объем растет в сознательной жизни, передается из рода в род, но что касается до последних слов ваших, тут позвольте усомниться. Ни стремление, ни верность его — нисколько еще не обуславливает осуществление. Возьмите самое всеобщее, самое постоянное стремление во всех эпохах и у всех народов, — стремление к благосостоянию, стремление, глубоко лежащее во всем чувствующем, развитие

==178

простого инстинкта самосохранения, врожденное бегство от того, что причиняет боль, и стремление к тому, что доставляет удовольствие, наивное желание, чтоб было лучше, а не было бы хуже; между тем, работая тысячелетия, люди не достигли даже животного довольства; пропорционально, я полагаю, что больше всех зверей и больше всех животных страдают рабы в России и гибнут с голоду ирландцы. Отсюда вы можете заключить, легко ли сбудутся другие стремления, неопределенные и принадлежащие меньшинству.

— Позвольте, стремление к свободе, к независимости стоит голода — оно весьма не слабо и очень определено.

— История этого не показывает. Точно, некоторые слои общества, развившиеся при особенно счастливых обстоятельствах, имеют некоторое поползновение к свободе, и то весьма не сильное, судя по нескольким тысячам лет рабства и по современному гражданскому устройству, наконец. Мы, разумеется, не говорим об исключительных развитиях, для которых неволя тягостна, а о большинстве, которое дает постоянное *dementi* \* этим страдальцам, что и заставило раздраженного Руссо сказать свой знаменитый *non-sens* \*\*: «Человек рождается быть свободным—и везде в цепях!» 81

— Вы повторяете этот крик негодования, вырвавшийся из груди свободного человека, с иронией?

— опровержение (франц.) \*\* нелепость (франц.)

==179

— Я вижу тут насилие истории, презрение фактов, а это для меня невыносимо; меня оскорбляет самоуправство. К тому же превредная метода вперед решать именно то, что составляет трудность вопроса; что сказали бы вы человеку, который, грустно качая головой, заметил бы вам, что «рыбы рождаются для того, чтобы летать, — и вечно плавают».

— Я спросила бы, почему он думает, что рыбы рождаются для того, чтобы летать?

— Вы становитесь строги; но друг Рыбства готов держать ответ... Во-первых, он вам скажет, что скелет рыбы явным образом показывает стремление развить оконечности в ноги или крылья; он вам покажет вовсе не нужные косточки, которые намекают на скелет ноги, крыла; наконец, он сошлется на летающих рыб, которые на деле доказывают, что Рыбство не токмо стремится летать, но иногда и может. Давши вам такой ответ, он будет вправе вас спросить, отчего же вы у Руссо не требуете отчета, почему он говорит, что человек должен быть свободен, опираясь на то, что он постоянно в цепях? Отчего все существующее только и существует так, как оно должно существовать, а человек напротив?

— Вы, доктор, преопасный софист, и если б я не коротко вас знала, я считала бы вас пребезнравственным человеком. Не знаю, какие лишние кости у рыб, а знаю только, что в костях у них недостатка нет; но что у людей есть глубокое стремление к независимости, ко всякой свободе, в этом я убеждена. Они заглу

==180

шают мелочами жизни внутренний голос, и поэтому я на них сержусь. Я утешительнее нападаю на людей, нежели вы их защищаете.

— Я знал, что мы с вами после нескольких слов переменим роли или, лучше, что вы обойдете меня и очутитесь с противоположной стороны. Вы хотите бежать с негодованием от людей за то, что они не умеют достигнуть нравственной высоты, независимости, всех ваших идеалов, и в то же время вы на них смотрите как на избалованных детей, вы уверены, что они на днях поправятся и будут умны. Я знаю, что люди торопятся очень медленно, не доверяю ни их способностям, ни всем этим стремлениям, которые выдумывают за них, и остаюсь с ними, так, как остаюсь с этими деревьями, с этими животными, — изучаю их, даже люблю. Вы смотрите а priori и, может, логически правы, говоря, что человек должен стремиться к независимости. Я смотрю патологически и вижу, что до сих пор рабство — постоянное условие гражданского развития, стало быть, или оно необходимо, или нет от него такого отвращения, как кажется.

— Отчего мы с вами, добросовестно рассматривая историю, видим совершенно розное?

— Оттого, что говорим об розном; вы, говоря об истории и народах, говорите о летающих рыбах, а я б рыбах вообще,—вы смотрите на мир идей, отрешенный от фактов, на ряд деятелей, мыслителей, которые представляют верх сознания каждой эпохи; на те энергические минуты, когда вдруг целые страны становятся на ноги и

==181

разом берут массу мыслей для того, чтоб изживать их потом целые века в покое; вы принимаете эти катаклизмы, сопровождающие рост народов, эти исключительные личности за рядовой факт, но это только высший факт, предел. Развитое меньшинство, которое торжественно несется над головами других и передает из века в век свою мысль, свое стремление, до которого массам, кишащим внизу, дела нет, дает блестящее свидетельство, до чего может развиваться человеческая натура, какое страшное богатство сил могут вызвать исключительные обстоятельства, но все это не относится к массам, ко всем. Краса какой-нибудь арабской лошади, воспитанной двадцатью поколениями, нисколько не дает право ждать от лошадей вообще тех же статей. Идеалисты непременно хотят поставить на своем, во что бы то ни стало. Физическая красота между людьми так же исключение, как особенное уродство. Посмотрите на мещан, толпящихся в воскресенье на Елисейских Полях, и вы ясно убедитесь, что природа людская вовсе не красива.

— Я это знаю и нисколько не удивляюсь глупым ртам, жирным лбам, дерзко вздернутым и глупо висящим носам, они мне просто противны.

— А как бы вы стали смеяться над человеком, который принял бы близко к сердцу, что лошаки не так красивы, как олени? Для Руссо было невыносимо нелепое общественное устройство его времени; кучка людей, стоявшая возле него и развитая до того, что им только недоста-

==182

вало гениальной инициативы, чтоб назвать зло, тяготившее их, — откликнулись на его призыв; эти отщепенцы, раскольники остались верны и составили Гору в 92 году. Они почти все погибли, работая для французского народа, которого требования были очень скромны и который без сожаления позволил их казнить. Я даже не назову это неблагодарностью, не в самом деле все, что делалось, делали они для народа, мы себя хотим освободить, нам больно видеть подавленную массу, нас оскорбляет ее рабство, мы за нее страдаем — и хотим снять свое страдание. За что тут благодарить; могла ли толпа, в самом деле, в половине XVIII столетия желать свободы, *Contrat social* \*, когда она теперь; через век после Руссо, через полвека после Конвента, нема к ней, когда она теперь в тесной рамке самого пошлого гражданского быта здорова, как рыба в воде?

— Брожение всей Европы плохо соединяется с вашим воззрением.

— Глухое брожение, волнуемое народы, происходит от голода. Будь пролетарий побогаче, он и не подумал бы о коммунизме. Мещане сыты, их собственность защищена, они и оставили свои попечения о свободе, о независимости; напротив, они хотят сильной власти, они улыбаются, когда им с негодованием говорят, что такой-то журнал схвачен, что того-то ведут за мнение в тюрьму. Все это бесит, сердит небольшую кучку эксцентрических людей; другие

Общественного договора (франц.)

==183

равнодушно идут мимо, они заняты, они торгуют, они семейные люди. Из этого никак не следует, что мы не вправе требовать полнейшей независимости; но только не за что сердиться на народ, если он равнодушен к нашим скорбям.

— Оно так, но, мне кажется, вы слишком держитесь за арифметику; тут не поголовный счет важен, а нравственная мощь, в ней большинство достоинства \*.

— Что касается до качественного преимущества, я его вполне отдаю сильным личностям. Для меня Аристотель представляет не только сосредоточенную силу своей эпохи, но еще гораздо больше. Людям надобно было две тысячи лет понимать его наизнанку, чтоб уразуметь, наконец, смысл его слов. Вы помните, Аристотель называет Анаксагора первым трезвым между пьяными греками<sup>82</sup>; Аристотель был последний. Поставьте между ними Сократа — и у вас полный комплект трезвых до Бэкона. Трудно по таким исключениям судить о массе.

— Наукой всегда занимались очень немногие; на это отвлеченное поле выходят одни строгие, исключительные умы; если вы в массах не встретите большой трезвости, то найдете вдохновенное опьянение, в котором бездна сочувствия к истине. Массы не понимали Сенеки и Цицерона, а каково отзывались на призыв двенадцати апостолов? <sup>83</sup>

— Августин употребил выражение *prioritas dignitatis* [первенство по достоинству (лат.)]. — Прим. А- И. Герцена.

==184

— Знаете ли, по-моему, сколько их ни жаль, а надобно признаться, они сделали совершеннейшее *fiasco*.

— Да, только окрестили полвселенной.

— В четыре столетия борьбы, в шесть столетий совершенного варварства, и после этих усилий, продолжавшихся тысячу лет, мир так окрестился, что от апостольского учения ничего не осталось; из освобождающего евангелия сделали притесняющее католичество, из религии любви и равенства — церковь крови и войны. Древний мир, истощив все свои жизненные силы, падал, христианство явилось на его одре врачом и утешителем, но, прилаживаясь к больному, оно само заразилось и сделалось римское, варварское, какое хотите, только не евангельское. Какова сила родовой жизни, масс и обстоятельств! Люди думают, что достаточно доказать истину, как математическую теорему, чтоб ее приняли; что достаточно самому верить, чтоб другие поверили. Выходит совсем иное, одни говорят одно, а другие слушают их и понимают другое, оттого что их развитие разное. Что проповедовали первые христиане и что поняла толпа? Толпа поняла все непонятное, все нелепое и мистическое; все ясное и простое было ей недоступно; толпа приняла все связующее совесть и ничего освобождающее человека. Так впоследствии она поняла революцию только кровавой расправой, гильотиной, мезью; горькая историческая необходимость сделалась торжественным криком; к слову «братство» приклеили слово «смерть». «*Fraternite ou la*

порт!»\* сделалось каким-то «La bourse ou la vie» \*\* — террористов. Мы столько жили сами, столько видели да столько за нас жили наши предшественники, что, наконец, нам непростительно увлекаться, думать, что достаточно возвестить римскому миру евангелие, чтоб сделать из него демократическую и социальную республику, как это думали красные апостолы; или что достаточно в два столбца напечатать иллюстрированное издание des droits de l'homme \*\*\*, чтоб человек сделался свободным.

— Скажите, пожалуйста, что вам за охота выставлять одну дурную сторону человеческой природы?

— Вы начали разговор с грозного проклятия

людям, а теперь защищаете их. Вы меня сейчас обвиняли в оптимизме, я вам могу возвратить обвинение. У меня никакой нет системы, никакого интереса, кроме истины, и я высказываю ее, как она мне кажется. Я не считаю нужным из учтивости к человечеству выдумывать на него всякие добродетели и доблести. Я ненавижу фразы, к которым мы привыкли, как христиане к символу веры; как бы они ни были с виду нравственны и хороши, они связывают мысль, покоряют ее. Мы принимаем их без проверки и идем дальше, оставляя за собой эти ложные маяки, и сбиваемся с дороги. Мы до того привыкаем к ним, что теряем способность

«Братство или смерть!» (франц.)

\* «Кошелек или жизнь!» (франц.)

\*\* прав человека (франц.)

в них сомневаться, что совестимся касаться до таких святынь. Думали ли вы когда-нибудь, что значат слова «человек рождается свободным»? Я вам их переведу, это значит: человек рождается зверем — не больше. Возьмите табун диких лошадей, совершенная свобода и равное участие в правах, полнейший коммунизм. Зато развитие невозможно. Рабство — первый шаг к цивилизации. Для развития надобно, чтоб одним было гораздо лучше, а другим гораздо хуже; тогда те, которым лучше, могут идти вперед на счет жизни остальных. Природа для развития ничего не жалеет. Человек — зверь с необыкновенно хорошо устроенным мозгом, тут его мощь. Он не чувствовал в себе ни ловкости тигра, ни львиной силы, у него не было ни их удивительных мышц, ни такого развития внешних чувств, но в нем нашлось бездна хитрости, множество смиренных качеств, которые, с естественным побуждением жить стадами, поставили его на начальную ступень общественности. Не забывайте, что человек любит подчиняться, он ищет всегда к чему-нибудь прислониться, за что-нибудь спрятаться, в нем нет гордой самобытности хищного зверя. Он рос в повиновении семейном, племенном; чем сложнее и круче связывался узел общественной жизни, тем в большее рабство впадали люди; они были подавлены религией, которая теснила их за их трусость, старейшими, которые теснили их, основываясь на привычке. Ни один зверь, кроме пород, «развращенных человеком», как называл домашних зверей Байрон, не вынес бы этих человеческих

отношений. Волк ест овцу, потому что голоден и потому что она слабее его, но рабства от нее не требует, овца не покоряется ему, она протестует криком, бегом; человек вносит в дико-независимый и самобытный мир животных элемент верноподданничества, элемент Калибана, на нем только и было возможно развитие Проспера; и тут опять та же беспощадная экономия природы, ее рассчитанность средств, которая, ежели где перейдет, то наверное не дойдет где-нибудь и, вытянувши в непомерную вышину передние ноги и шею камелеопардала, губит его задние ноги.

— Доктор, да вы страшный аристократ.

— Я натуралист, и знаете, что еще? .. я не трус и не боюсь ни узнать истину, ни высказывать ее.

— Я не стану вам противоречить; впрочем, в теории все говорят правду, насколько ее понимают, тут нет большого мужества.

— Вы думаете? Какой предрассудок!.. Помилуйте, на сто философов вы не найдете одного, который был бы откровенен; пусть бы ошибался, нес бы нелепицу, но только с полной откровенностью. Одни обманывают других из нравственных целей, другие самих себя — для спокойствия. Много ли вы найдете людей, как Спиноза, как Юм, идущих смело до всякого вывода? Все эти великие освободители ума человеческого поступали так, как Лютер и Кальвин, и, может, были правы с практической точки зрения; они освобождали себя и других включительно до какого-нибудь рабства, до

символических книг, до текста Писания и находили в душе своей воздержность и умеренность не идти далее. По большей части последователи продолжают строго идти в путях учителей; в числе их являются люди посмелей, которые догадываются, что дело-то не совсем так, но молчат из благочестия и лгут из уважения к предмету так, как лгут адвокаты, ежедневно говоря, что не смеют сомневаться в справедливости судей, зная очень хорошо, что они мошенники, и не доверяя им нисколько. Эта учтивость совершенно рабская, но мы к ней привыкли. Знать истину не легко, но все же легче, нежели высказывать ее, когда она не совпадает с общим мнением. Сколько кокетства, сколько риторики, позолоты, околичнословия употребляли лучшие умы, Бэкон, Гегель, чтоб не говорить просто, боясь тупого негодования или пошлого свиста. Оттого до такой степени трудно понимать науку, надобно отгадывать ложно высказанную истину. Теперь рассудите: у многих ли есть досуг и охота дорабатываться до внутренней мысли и копать в туке, которым наши учителя прикрывают свое посильное пониманье, — отрывая стразы и крашенные

стекла их науки.

— Это опять приближается к вашей аристократической мысли, что истина для нескольких, а ложь для всех, что ...

—Позвольте, вы во второй раз назвали меня, аристократом, я при этом вспоминаю робеспьеровское выражение: «L'atheisme est aristocrate» 84. Если б Робеспьер хотел только сказать, что

атеизм возможен для немногих, так точно, как дифференциальные исчисления, как физика, он был бы прав; но он, сказавши: «Атеизм аристократичен», заключил, что атеизм — ложь. Для меня это возмутительная демагогия, это покорение разума нелепому большинству голосов. Неумолимый логик революции срезался и, провозглашая демократическую неправду, народной религии не восстановил, а указал предел своих сил, указал между, за которой и он не революционер, а указать это во время переворота и движения значит напомнить, что гремя лица миновало. ..И в самом деле, после Fete de l'Étre Supreme<sup>85</sup> Робеспьер становится мрачен, задумчив, беспокоен, его томит тоска, нет прежней веры, нет того смелого шага, которым он шел вперед, которым ступал в -кровь и кровь его не марала; тогда он не знал своих границ, будущее было беспредельно; теперь он увидел забор, он почувствовал, что ему приходится быть консерватором, и голова атеиста Клоотса, пожертвованная предрассудку, лежала в ногах его, как улика, через нее ему нельзя было перешагнуть <sup>86</sup>. — Мы старше наших старших братьев; не будем детьми, не будем бояться ни были, ни логики, не станем отказываться от последствий, они не в нашей воле; не будем выдумывать бога — если его нет, от этого его все же не будет. Я сказал, что истина принадлежит меньшинству, разве вы этого не знали? Отчего вам это показалось странно? Оттого, что я не прибавил к этому никакой риторической фразы. Помилуйте, да ведь я не отвечаю

ни за пользу, ни за вред этого факта, я говорю только о его существовании. Я вижу в настоящем и прошедшем знание, истину, нравственную силу, стремление к независимости, любовь к изящному — в небольшой кучке людей враждебных, потерянных в среде, не симпатизирующей им. С другой стороны, я вижу тугое развитие остальных слоев общества, узкие понятия, основанные на преданиях, ограниченные потребности, небольшие стремления к добру, небольшие поползновения к злу.

— Да сверх того необычайную верность в стремлениях.

— Вы правы, общие симпатии масс почти всегда верны, как инстинкт животных верен, и знаете отчего? Оттого, что жалкая самобытность отдельных личностей стирается в общем; масса хороша только как безличная, и развитие самобытной личности составляет всю прелесть, до которой дорабатывается с другой стороны все свободное, талантливое, сильное.

— Да... до тех пор, пока вообще будет толпа, но заметьте, что прошедшее и настоящее не дают вам причины заключать, что в будущем не изменятся эти отношения, все идет к тому, чтоб разрушить дряхлые основы общественности. Вы ясно поняли и резко представляете раздор, двойство в жизни, и успокаиваетесь на этом; вы, как докладчик уголовной палаты, свидетельствуете о преступлении и стараетесь его доказать, предоставляя суд — палате. Другие идут далее, они хотят его снять; все сильные натуры меньшинства, о котором вы гово-

рите, постоянно стремились наполнить пропасть, их отделявшую от масс; им было противно думать, что это неизбежный, роковой факт, у них в груди слишком много было любви, чтоб остаться в своей исключительной выси. Они лучше хотели с опрометчивостью самоотверженного порыва погибнуть в пропасти, их отделяющей от народа, нежели прогуливаться по их краям, как вы. И эта связь их с массами — не каприз, не риторика, а глубокое чувство сродства, сознание того, что они сами вышли из масс, что без этого хора не было бы и их, что они представляют ее стремления, что они достигли того, до чего она достигает.

— Без сомнения, всякий распутившийся талант, как цветок, тысячью нитями связан с растением и никогда не был бы без стебля, а все-таки он не стебель, не лист, а цветок, жизнь его, соединенная с прочими частями, все же иная. Одно холодное утро — и цветок гибнет, а стебель остается в цветке, если хотите, цель растения и край его жизни, но все же лепестки венчика — не целое растение. Всякая эпоха выплескивает, так сказать, дальнейшей волной полнейшие, лучшие организации, • если только они нашли средства развиться; они не только выходят из толпы, но и вышли из нее. Возьмите Гёте, он представляет усиленную, сосредоточенную, очищенную, сублимированную сущность Германии, он из нее вышел, он не был бы без всей истории своего народа, но он так удалился от своих соотечественников в ту сферу, в которую поднялся, что они не ясно по-

нимали его и что он, наконец, плохо их понимал; в нем собралось все волновавшее душу протестантского мира, и распахнулось так, что он носился над тогдашним миром, как дух божий над водами. Внизу хаос, недоразумение, схоластика, домогательство понять; в нем светлое сознание и покойная мысль, далеко опередившая современников.

— Гёте представляет во всем блеске именно вашу мысль; он отчуждается, он доволен своим величием; и в этом отношении он исключение. Таков ли был Шиллер и Фихте, Руссо и Байрон и все эти люди, мучившиеся из того, чтоб привести к одному уровню с собою массу, толпу? Для меня страдания этих людей, безвыходные, жгучие, провожавшие их иногда до могилы, иногда до плахи или до дома умалишенных, — лучше, нежели гётевский покой.

— Они много страдали, но не думайте, что они были без утешений. У них было много любви и еще больше веры. Они верили в человечество так, как его придумали, верили в свой разум, верили в будущее, упиваясь своим отчаянием, и эта вера врачевала одушевление их.

— Зачем же в вас нет веры?

— Ответ на этот вопрос сделан давно Байроном; он отвечал даме, которая его обращала в христианскую веру: «Как же я сделаю, чтоб начать верить?» В наше время можно или верить не думая, или думать не веривши. Вам кажется, что спокойное, по-видимому, сомнение легко; а почему вы знаете, сколько бы человек иногда готов был дать в минуту боли, слабости,



изнеможения за одно верование? Откуда его возьмешь? Вы говорите: лучше страдать, и советуете верить, но разве религиозные люди страдают в самом деле? Я вам расскажу случай, который был со мною в Германии. Призывают меня раз в гостиницу к приезжей даме, у которой занемогли дети; я прихожу; дети в страшной скарлатине, медицина ныне настолько сделала успехов, что мы поняли, что мы не знаем почти ни одной болезни и почти ни одного лечения, это большой шаг вперед. Вижу я, дело очень плохо, прописал детям для успокоения матери всякие невинные вещи, дал разные приказания, очень хлопотливые, чтоб ее занять, а сам стал выжидать, какие силы найдет организм для противодействия болезни. Старший мальчик поприутих. «Он, кажется, теперь спокойно заснул», — сказала мне мать; я ей показал пальцем, чтоб она его не разбудила; ребенок отходил. Для меня было очевидно, что болезнь совершенно одинаково пойдет у его сестры; мне казалось, что ее спасти невозможно. Мать, женщина очень нервная, была в безумии и непрерывно молилась; девочка умерла. — Первые дни человеческая натура взяла свое, мать пролежала в горячке, была сама на краю гроба, но мало-помалу силы воротились, она стала покойнее, толковала мне все о Шведенборге... Уезжая, она взяла меня за руку и сказала с видом торжественного спокойствия: «Тяжело мне было ... какое страшное испытание!.. Но я их хорошо поместила, они возвратились чистыми, ни одной пылинки, ни одного тлетвор-

ного дыхания не коснулось их ... им будет хорошо! Я для их блага должна покориться!»

— Какая разница между этим фанатизмом и верой человека в людей, в возможность лучшего устройства, свободы! Это сознание, мысль, убеждение, а не суеверие.

— Да, то есть не грубая религия des Jenseits \*, которая отдает детей в пансион на том свете, а религия des Diesseits \*\*, религия науки, всеобщего, родового, трансцендентального, разума, идеализма. Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в царство небесное — глупо, а верить в земные утопии — умно? Отбросивши положительную религию, мы остались при всех религиозных привычках и, утратив рай на небе, верим в пришествие рая земного и хвастаемся этим. Вера в будущее за гробом дала столько силы мученикам первых веков; но ведь такая же вера поддерживала и мучеников революции; те и другие гордо и весело несли голову на плаху, потому что у них была непреложная вера в успех их идей, в торжество христианства, в торжество республики. Те и другие ошиблись — ни мученики не воскресли, ни республика не водворилась. Мы пришли после них и увидели это. Я не отрицаю ни величие, ни пользу веры; это великое начало движения, развития, страсти в истории, но вера в душе людской — или частный факт, или эпидемия.

потустороннего (нем.) \*\* посюстороннего (нем.)

Натянуть ее нельзя, особенно тому, кто допустил разбор и недоверчивое сомнение, кто пытал жизнь и, задерживая дыхание, с любовью останавливался на всяких трупоразъятиях, кто заглянул, может быть, больше, нежели нужно, за кулисы; дело сделано, поверить вновь нельзя. Можно ли, например, меня уверить, что после смерти дух человека жив, когда так легко понять нелепость этого разделения тела и духа; можно ли меня уверить, что завтра или через год водворится социальное братство, когда я вижу, что народы понимают братство, как Каин и Авель?

— Вам, доктор, остается скромное *a parte\** в этой драме, бесплодная критика и праздность до окончания дней.

— Быть может; очень может быть. Хотя я не называю праздностью внутреннюю работу, но тем не менее думаю, что вы верно смотрите на мою судьбу. Помните ли вы римских философов в первые века христианства, — их положение имеет много сходного с нашим; у них ускользнуло настоящее и будущее, с прошедшим они были во вражде. Уверенные в том, что они ясно и лучше понимают истину, они скорбно смотрели на разрушающийся мир и на мир водворяемый, они чувствовали себя правее обоих и слабее обоих. Кружок их становился теснее и теснее, с язычеством они ничего не имели общего, кроме привычки, образа жизни. Натяжки Юлиана Отступника и его реставра-

пребывание в стороне-(итал.)

ции были так же смешны, как реставрация Людовика XVIII и Карла X; с другой стороны, христианская теодицея оскорбляла их светскую мудрость, они не могли принять ее язык, земля исчезала под их ногами, участие к ним стыло; но они умели величаво и гордо дожидаться, пока разгром захватит кого-нибудь из них, — умели умирать, не накупаясь на смерть и без притязания спасти себя или мир; они гибли хладнокровно, безучастно к себе; они умели, пощаженные смертью, завертываться в свою тогу и молча досматривать, что станет с Римом, с людьми. Одно благо, оставшееся этим иностранцам своего времени, была спокойная совесть, утешительное сознание, что они не испугались истины, что они, поняв ее, нашли довольно силы, чтобы вынести ее, чтоб остаться верными ей.

— И только.

— Будто этого не довольно? Впрочем, нет, я забыл, у них было еще одно благо — личные отношения, уверенность в том, что есть люди, так же понимающие, сочувствующие с ними, уверенность в глубокой связи, которая независима ни от какого события; если при этом немного солнца, моря вдали или горы, шумящая зелень, теплый климат... чего же больше?

— По несчастью, этого спокойного уголка в тепле и тишине вы не найдете теперь во всей Европе.

— Я поеду в Америку.

— Там очень скучно.

— Это правда...

Париж, 1 марта 1849 г.

==197

ЭПИЛОГ 1849

Opfer fallen hier, Weder Lamm noch Sfier, Aber Menschenopfer-unerhorf. SJ Goethe. Braut von Korinth.

Проклятие тебе, год крови и безумия, год торжествующей пошлости, зверства, тупоумия. — Проклятье тебе!

От первого до последнего дня ты был несчастьем, ни одной светлой минуты, ни одного покойного часа, нигде, не было в тебе. От восстановленной гильотины в Париже 88, от буржского процесса<sup>89</sup> до кефалонийских виселиц, поставленных англичанами для детей ; от пуль, которыми расстреливал баденцев брат короля прусского<sup>91</sup>, от Рима, падшего перед народом, изменившим человечеству<sup>92</sup>, до Венгрии, проданной врагу полководцем, изменившим отечеству 93, — все в тебе преступно, кроваво, гадко, все заклеено печатью отвержения. И это только первая ступень, начало, введение, следующие годы будут и отвратительнее, и свирепее, и пошлее...

До какого времени слез и отчаяния мы дожили! .. Голова идет кругом, грудь ломится, страшно знать, что делается, и страшно не знать, что еще за неистовства случились. Лихорадочная злоба подстрекает на ненависть и презрение; унижение разъедает грудь... и хочется бежать, уйти... отдохнуть, уничтожиться бесследно, бессознательно.

Последняя надежда, которая согревала, поддерживала, — надежда на месть, — на месть

==198

безумную, дикую, ненужную, но которая бы доказала, что в груди у современного человека есть сердце,—исчезает; душа остается без зеленого листа, все облетело... и все затихло — мгла и холод распространяются ... только порой топор палача стукнет, падая, да пуля, тоже палача, просвищет, отыскивая благородную грудь юноши, расстреливаемого за то, что он верил в человечество.

И они не будут отомщены? ..

Разве у них не было друга, брата? Разве нет людей, делящих их веру? — Все было, только мести не будет!

Вместо Мария<sup>94</sup> из их праха родилась целая литература застольных речей, — демагогических разглагольствований — мое в том числе — и прозаических стихов.

Они этого не знают. Какое счастье, что их нет и что нет жизни за гробом. Ведь они верили в людей, верили, что есть за что умереть, умерли прекрасно, свято, искупая расслабленное поколение кастратов. Мы едва знаем их имена — убийство Роберта Блюма<sup>95</sup> ужаснуло, удивило, потом мы обдержались...

Я краснею за наше поколение, мы какие-то бездушные риторы, у нас кровь холодна, а горячи одни чернилы; у нас мысль привыкла к бесследному раздражению, а язык к страстным словам, не имеющим никакого влияния на дело. Мы размышляем там, где надобно разить, обдумываем там, где надобно увлечься, мы отвратительно благообразны, на все смотрим свысока, мы все переносим, мы занимаемся

## ==199

одним общим, идеей, человечеством. Мы заморили наши души в отвлеченных и общих сферах так, как монахи обессиливали ее в мире молитвы и созерцания. Мы потеряли вкус к действительности, вышли из нее вверх так, как мещане вышли вниз.

А вы что делали, революционеры, испугавшиеся революции? Политические шалуны, паяцы свободы, вы играли в республику, в террор, в -правительство, вы дурачились в клубах, болтали в камерах, одевались шутами с пистолетами и саблями, целомудренно радовались, что заявленные злодеи, удивляясь, что живы, хвалили ваше милосердие. Вы ничего не предупредили, ничего не предвидели. А те, лучшие из вас, заплатили головой за ваше безумие. Учитесь теперь у ваших врагов, которые вас победили, потому что они умнее вас. Посмотрите, боятся ли они реакции, боятся ли они идти слишком далеко, замарать себе кровью руки? Они по локоть, по горло в крови. Погодите немного, они вас всех переказнят, вы не далеко ушли. Да что переказнят — они вас пересекут всех.

Меня просто ужасает современный человек. Какая бесчувственность и ограниченность, какое отсутствие страсти, негодования, какая слабость мысли, как скоро стынет в нем порыв, как рано изношено в нем увлеченье, энергия, вера в собственное дело!—И где? чем? когда эти люди истратили свою жизнь, когда они успели потерять силы? Они растлились в школе, где их одурачили; они истаскались в пивных лавках, в студенческой одичалости; они ос-

## ==200

лабли от маленького грязного разврата; родившиеся, выращенные в больничном воздухе, они мало принесли сил и завяли потом, прежде, нежели расцвели; они истощились не страстями, а страстными мечтами. И тут, как всегда, литераторы, идеалисты, теоретики, они мыслию постигли разврат, они прочитали страсть. Право, иной раз становится досадно, что человек не может перечислиться в другой род зверей,— разумеется, быть ослом, лягушкой, собакой приятнее, честнее и благороднее, нежели человеком XIX века.

Винить некого, это не их, не наша вина, это несчастье рождения тогда, когда целый мир — умирает!

Одно утешение и остается: весьма вероятно, что будущие поколения вырождаются еще больше, еще больше обмелеют, обнищают умом и сердцем; им уже и наши дела будут недоступны и наши мысли будут непонятны. Народы, как царские дома, перед падением тупеют, их понимание помрачается, они выживают из ума—как Меровинги, зачинавшиеся в разврате и кровосмешениях и умиравшие в каком-то чаду, ни разу не пришедши в себя; как аристократия, выродившаяся до болезненных кретинов, измельчавшая Европа изживет свою бедную жизнь в сумерках тупоумия, в вялых чувствах без убеждений, без изящных искусств, без мощной поэзии. Слабые, хилые, глупые поколения протянутся как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покрывалом и предаст забвению — летописей.

## ==201

А там? —

А там настанет весна, молодая жизнь закипит на их гробовой доске, варварство младенчества, полное неустроенных, но здоровых сил, заменит старческое варварство; дикая, свежая мощь распахнет в молодой груди юных народов, и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории.

Основной тон его мы можем понять теперь. Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущей, неизвестной нам революцией. ...

Вечная игра жизни, безжалостная, как смерть, неотразимая, как рождение, *corsi e ricorsi* \* истории 96, *perpetuum mobile* \*\* маятника!

К концу XVIII века европейский Сизиф докатил тяжелый камень свой, составленный из развалин и осколков трех разнородных миров, до вершины, камень качнулся в сторону, в другую, казалось, хотел установиться — не тут-то было; он перекатился и стал тихо, незаметно склоняться — быть может, он загнулся бы за что-нибудь, остановился бы с помощью таких тормозов и порогов, как представительное пра-

Здесь: приливы и отливы (итал.) \*\* вечное движение (лат.)

## ==202

вление, конституционная монархия, потом выветривался бы века целые, принимая всякую перемену за совершенствование и всякую перестановку за развитие, — так, как этот европейский Китай, называемый Англией, так, как это допотопное государство, стоящее между допотопных гор, называемое Швейцарией. Но для этого надобно было, чтоб ветер не веял, чтоб не было ни толчка, ни потрясения; но ветер повеял, и толчок пришел. Февральская буря потрясла всю наследственную почву. Буря июньских дней окончательно сдвинула весь римско-феодальный наплыв, и он понесся под гору с усиливающейся быстротою, ломая по дороге все встречное и ломаясь сам в осколки... А бедный Сизиф смотрит и не

верит своим глазам, лицо его осунулось, пот усталый смешался с потом ужаса, слезы отчаяния, стыда, бессилия, досады остановились на глазах; он так верил в совершенствование, в человечество, он так философски, так умно и учено уповал на современного человека. — И все-таки обманулся.

Французская революция и германская наука — геркулесовские столбы мира европейского. За ними по другую сторону открывается океан, виднеется новый свет, что-то другое, а не исправленное издание старой Европы. Они сулили миру освобождение от церковного насилия, от гражданского рабства, от нравственного авторитета. Но, провозглашая искренно свободу мысли и свободу жизни, люди переворота не сообразили всю несовместность ее с католическим устройством Европы. Отречься от него

==203

они еще не могли. Чтоб идти вперед, им пришлось свернуть свое знамя, изменить ему, им пришлось делать уступки. Руссо и Гегель — христиане. Робеспьер и С.-Жюст — монархисты. Германская наука — спекулятивная религия; республика Конвента — пентархический абсолютизм<sup>97</sup> и вместе с тем церковь. Вместо символа веры явились гражданские догматы. Собрание и правительство священнодействовало мистерию народного освобождения. Законодатель сделался жрецом, прорицателем и возвещал добродушно и без иронии неизменные, непогрешительные приговоры во имя самодержавия народного.

Народ, как разумеется, оставался по-прежнему «мирянником», управляемым; для него ничего не изменилось, и он присутствовал при политических литургиях, так же ничего не понимая, как при религиозных.

Но страшное имя Свободы замешалось в мире привычки, обряда и авторитета. Оно запало в сердца; оно раздалось в ушах и не могло оставаться страдательным; оно бродило, разъедало основы общественного здания, лиха беда была привиться в одной точке, разложить одну каплю старой крови. С этим ядом в жилах нельзя спасти ветхое тело. Сознание близкой опасности сильно выразилось после безумной эпохи императорства<sup>98</sup>, все глубокие умы того времени ждали катаклизм, боялись его. Легитимист Шатобриан и Ламенне, тогда еще аббат, указывали его. Кровавый террорист католицизма, Местр, боясь его, подавал одну руку

==204

папе, другую палачу". Гегель подвязывал паруса своей философии, так гордо и свободно плившей по морю логики, боясь далеко уплыть от берегов и быть захваченному шквалом. Нибур, томимый тем же пророчеством, умер, увидя 1830 г. и Июльскую революцию. Целая школа образовалась в Германии,

мечтавшая остановить будущее прошедшим, трупом отца припереть дверь новорожденному,—Vanitas vanitatum! \*

Два исполина пришли, наконец, торжественно заключить историческую фазу.

Старческая фигура Гёте, не делящая интересов, кипящих вокруг, отчужденная от среды, стоит спокойно, замыкая два прошедших у входа в нашу эпоху. Он тяготит над современниками и примиряет с былым. Старец был еще жив, когда явился и исчез единственный поэт XIX столетия. Поэт сомнения и негодования, духовник, палач и жертва вместе; он наскоро прочел скептическую отходную дряхлому миру и умер 37 лет в возрождавшейся Греции, куда бежал, чтобы только не видеть «берегов своей родины» 100.

За ним замолкло все. И никто не обратил внимания на бесплодность века, на совершенное отсутствие творчества. Сначала он еще был освещен заревом XVIII столетия, он блистал его славой, гордился его людьми. По мере, как эти звезды другого неба заходили, сумерки и мгла падали на все; повсюду бессилие, посредственность, мелкость — и едва заметная полоска на

Суэта суэт! (лат.)

==205

востоке, намекающая на дальнейшее утро, перед наступлением которого разразится не одна туча.

Явились пророки наконец, возвещавшие близкое несчастье и дальнейшее искупление. На них смотрели как на юродивых, их новый язык возмущал, их слова принимались за бред. Толпа не хочет, чтоб ее будили, она просит, чтоб ее оставили в покое с ее жалким бытом, с ее пошлыми привычками; она хочет, как Фридерик II, умереть, не меняя грязного белья. Ничто в мире не могло так удовлетворить этому скромному желанию, как мещанская монархия.

Но разложение шло своим чередом, «подземный крот» работал неутомимо<sup>101</sup>. Все власти, все учреждения были разъедаемы скрытым раком; 24 февраля 1848 г. болезнь сделалась острой из хронической. Французская республика была возвещена миру трубою последнего суда. Немоощь, хилость старого общественного устройства становились очевидны, все стало распускаться, развязываться, все перемешалось и именно держится на этой путанице. Революционеры сделались консерваторами, консерваторы анархистами; республика убила последние свободные учреждения, уцелевшие при королях; родина Вольтера бросилась в ханжество. Все побеждены, все побеждено, а победителя нет...

Когда многие надеялись, мы говорили им: это не выздоровление, это румянец чахотки. Смелые мысляю, дерзкие на язык, мы не побоялись ни исследовать зло, ни высказать его, а теперь выступает холодный пот на лбу. Я первый бледнею, трушу перед темной ночью, которая

==206

наступает; дрожь пробегает по коже при мысли, что наши предсказания сбываются — так скоро, что их совершение — так неотразимо...

Прощай, отходящий мир, прощай Европа!

— А мы что сделаем из себя?

... Последние звенья, связующие два мира, не принадлежащие ни к тому, ни к другому; люди, отвязавшиеся от рода, разлученные с средою, покинутые на себя; люди ненужные, потому что не можем делить ни дряхлости одних, ни младенчества других, нам нету места ни за одним столом. Люди 'отрицания для прошедшего, люди отвлеченных построений в будущем, мы не имеем достояния ни в том, ни в другом, и в этом равно свидетельство нашей силы и ее ненужности.

Идти бы прочь... Своею жизнью начать освобождение, Протест, новый быт... Как будто мы в самом деле так свободны от старого? Разве наши добродетели и наши пороки, наши страсти и, главное, наши привычки не принадлежат этому миру, с которым мы развелись только в убеждениях?

Что же мы сделаем в девственных лесах,— мы, которые не можем провести утра, не прочитав пяти журналов, мы, у которых только и осталось поэзии в бое с старым миром? что?.. Сознаемся откровенно, мы плохие Робинзоны.

Разве ушедшие в Америку не снесли с собою туда старую Англию?

И разве вдали мы не будем слышать стоны, разве можно отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши — преднамеренно не знать, упорно

==207

молчать, т. е. признаться побежденным, сдаться? Это невозможно! Наши враги должны знать, что есть независимые люди, которые ни за что не поступятся свободной речью, пока топор не прошел между их головой и туловищем, пока веревка им не стянула шею.

Итак, пусть раздастся наше слово! ... А кому говорить? .. о чем? — я, право, не знаю, только это сильнее меня...

Цюрих, 21 декабря 1849 г.

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах. т. VI. М., 1955, стр. 40—114.



## РОССИЯ (Перевод с французского)

[I]

Дорогой друг. Вам хотелось ознакомиться с моими русскими размышлениями об истории современных событий: вот они. Охотно посылаю их вам. Ничего нового вы в них не найдете. Это все те же предметы, о которых мы с вами так часто и с такой грустью беседовали, что трудно было бы к ним что-либо прибавить. Тело ваше, правда, еще привязано к этому косному и дряхлому миру, в котором вы живете, но душа ваша уже покинула его, чтоб осмотреться и сосредоточиться. Вы достигли, таким образом, той же точки, что и я, удалившийся от мира несовершенного, еще погруженного в детский сон и себя не осознавшего.

Вам было тесно среди почернелых стен, потрескавшихся от времени и грозящих повсюду обвалом; я, со своей, стороны, задышался в жаркой и сырой атмосфере среди известковых испарений неоконченного здания: ни в больнице, ни в детском приюте жить невозможно. Выйдя с двух противоположных концов, мы встретились в одной и той же точке. Чужие в своем отечестве, мы нашли общую почву на чужой

Россия

земле. Моя задача, надобно сознаться, была менее тягостна, чем ваша. Мне, сыну другого мира, легко было избавиться от прошлого, о котором я знал лишь понаслышке и которого не познал личным опытом.

Положение русских в этом отношении весьма замечательно. В нравственном смысле мы более свободны, чем европейцы, и это не только потому, что мы избавлены от великих испытаний, через которые проходит развитие Запада, но и потому, что у нас нет прошлого, которое бы нас себе подчиняло. История наша бедна, и первым условием нашей новой жизни было полное ее отрицание. От прошлого у нас сохранились лишь народный быт, народный характер, кристаллизация государства, — все же прочее является элементом будущего. Изречение Гёте об Америке очень хорошо приложимо к России: «В твоём существовании, полном соков и жизни, ты не смущаешься ни бесполезными воспоминаниями, ни напрасными спорами» 102.

Я явился в Европу как чужестранец; вы же сами сделали себя чужестранцем. Только один раз, и на несколько мгновений, мы почувствовали себя дома: то было весной 1848 года. Но как дорого заплатили мы за этот сон, когда, пробудившись, увидели себя на краю бездны, на склоне которой находится старая Европа, ныне бессильная, бездеятельная и вконец разбитая параличом. Мы с ужасом видим, как Россия готовится подтолкнуть еще ближе к гибели истощенные государства Запада, подобные сле-

тому нищему, которого ведет к пропасти злой умысел ребенка.

Мы не стремились создавать себе иллюзии. С печалью в душе, готовые, впрочем, ко всему, мы до конца изучили это ужасающее положение. Несколько беглых наблюдений, из этого ряда занимавших нас в последнее время мыслей примешивалось к нашим беседам и придавало им некоторое очарование в ваших глазах; этого очарования в них не найдут другие, в особенности те, кто оказался вместе с нами на краю той же бездны. Человек вообще не любит истины; когда ж она противоречит его желаниям, когда она рассеивает самые дорогие его мечты, когда достигнуть ее он может лишь ценой своих надежд и иллюзий, он проникается тогда ненавистью к ней, словно она — всему причиной.

Наши друзья так неосновательны в своих надеждах; они так легко принимают совершившееся! Охваченные яростью против реакции, они смотрят на нее как на нечто случайное и преходящее; по их мнению, это легко излечимая болезнь, не имеющая ни глубокого смысла, ни разросшихся корней. Немногие из них согласны признать, что реакция сильна потому, что революция оказалась слабой. Политические демократы испугались демократов социалистических, и революция, предоставленная самой себе, потерпела крушение.

Всякая надежда на спокойное и мирное развитие в его поступательном движении исчезла, все мосты для перехода разрушились. Либо Ев-

Россия

ропа падет под страшными ударами социализма, расшатанная, сорванная им со своих оснований, как некогда Рим пал под напором христианства; либо Европа, такая, как она есть, со своей рутинной вместо идей, со своей дряхлостью вместо энергии, победит социализм и, подобно второй Византии, погрузится в продолжительную апатию, уступив другим народам, другим странам прогресс, будущее, жизнь. Третий исход, если б он только оказался возможен,—это хаос всемирной борьбы без победы с чьей-либо стороны, смута восстания и всеобщего брожения, которая привела бы к деспотизму, к террору, к истреблению.

В этом нет ничего невозможного; мы на пороге эпохи слез и страданий, воя и скрежета зубовного; мы видели, как обрисовался ее характер с той и другой стороны. Стоит только вспомнить Июньское восстание и какими средствами оно было подавлено. С тех пор партии еще более ожесточились, теперь уже не щадят ничего, и третье сословие, которое, в течение целых столетий, затрачивало столько труда и усилий, чтобы добиться некоторых прав и некоторой свободы, готово всем пожертвовать снова.

Оно видит, что не может удержаться даже на законной почве какого-нибудь Полиньяка или Гизо, и сознательно возвращается ко временам Варфоломеевской ночи, Тридцатилетней войны и Нантского эдикта, за которыми виднеются варварство, разорение, новые скопления народов и слабые зачатки грядущего мира. Исторический зародыш развивается и растет

## ==212

медленно; ему потребовалось пять столетий мрака, чтобы хоть сколько-нибудь устроить христианский мир после того, как целых пять столетий было занято agonией мира римского.

Как тяжела наша эпоха! Все вокруг нас разлагается; все колеблется в неопределенности и бесплодности; самые мрачные предчувствия осуществляются с ужасающей быстротой. Не прошло и полугода с тех пор, как я написал свой третий диалог 103. Тогда мы еще спрашивали себя, есть ли для нас какое-нибудь дело или нет; теперь этот вопрос уже не ставится, ибо мы начинаем сомневаться даже в самой жизни... Франция сделалась Австрией Запада, она погрязает в позоре и низости 1(м. Прусская сабля приостанавливает последние трепетания германского движения 105; Венгрия истекает кровью под усиленными ударами топора своего императорского палача 106; Швейцария ожидает всеобщей войны; христианский Рим гибнет с величием и достоинством древнего языческого Рима, оставляя вечное клеймо на челе этой страны, которую, недавно еще, так горячо любили народы. Свободомыслящий человек, отказывающийся склониться перед силой, не находит более во всей Европе другого убежища, кроме палубы корабля, отплывающего в Америку.

«Если Франция падет, — сказал один из наших друзей, — то надобно будет объявить, все человечество в опасности». И это, быть может, верно, если под человечеством мы разумеем только германо-романскую Европу. Но по-

## ==213

чему же следует понимать именно так? Уж не заколоться ли нам, подобно римлянам, кинжалом, подражая Катону, из-за того, что Рим гибнет, а мы ничего не видим или не хотим видеть вне Рима, из-за того, что мы считаем варварским все, не являющееся Римом? Разве все, что находится вне- нашего мира, излишне и совершенно ни к чему не пригодно?

Первый римлянин 107, чей наблюдательный взор проник тьму времени, поняв, что мир, к которому он принадлежит, должен погибнуть, — почувствовал, что душа его подавлена печалью, и с отчаянья или, быть может, потому, что он стоял выше других, бросил взгляд за пределы национального горизонта, и усталый взор его остановился на варварах. Он написал свою книгу «О нравах германцев»; и он был прав, ибо будущее принадлежало им.

Я ничего не пророчу, но я и не думаю также, что судьбы человечества и его будущее привязаны, пригвождены к Западной Европе. Если Европе не удастся подняться путем общественного преобразования, то преобразуются иные страны; есть среди них и такие, которые уже готовы к этому движению, другие к нему готовятся. Одна из них известна, я говорю о Северо-Американских Штатах. Другую же, полную сил, но вместе и дикости,—знают мало или плохо.

Вся Европа на все лады, в парламентах и в клубах, на улицах и в газетах, повторяла вопль берлинского крикуна: «Они идут, русские! вот они! вот они!» 108 И, в самом деле, они не только идут, но уже пришли, благодаря Габс-

бургскому дому; быть может, они скоро продвинутся еще далее, благодаря дому Гогенцоллернов 1М.

Никто, однако, не знает, что же собой представляют эти русские, эти варвары, эти казаки, что собой представляет этот народ, мужественную юность которого Европа имела возможность оценить в бою, из коего он вышел победителем 110. Чего хочет этот народ, что несет он с собой? Кто хоть что-либо знает о нем? Цезарь знал галлов лучше, чем Европа знает русских. Пока Западная Европа имела веру в себя, пока будущее представлялось ей лишь продолжением ее развития, она не могла заниматься Восточной Европой; теперь же положение вещей сильно изменилось.

Это высокомерное невежество Европе более не к лицу; оно теперь являлось бы не сознанием превосходства, а смешной претензией какого-нибудь кастильского гидальго в сапогах без подметок и дырявом плаще. Опасность нынешнего положения не может быть скрыта. Упрекайте русских сколько вам вздумается за то, что они рабы,—в свою очередь они вас спрашивают: «А вы, разве вы свободны?» Они могут даже прибавить, что без раскрепощения России Европе никогда не суждено быть свободной. Вот почему, я думаю, бесполезно было бы немножко ознакомиться с этой страной.

Я готов вам сообщить то, что мне известно о России. Уже давно задумал я этот труд, и, поскольку нам так щедро предоставили время для чтения и письма, я вскоре исполню свое на-

мерение 111. Эта работа мне тем более по сердцу, что она дает мне возможность засвидетельствовать России и Европе свою благодарность. В труде этом не должно будет искать ни апофеоза, ни анафемы. Я выскажу правду, всю правду, насколько я ее понимаю и знаю, без умолчаний, без предвзятой цели. Мне дела нет до того, каким образом исказят мои слова и какое из них сделают применение. Я питаю слишком мало уважения к партиям, чтобы лгать в пользу той или другой.

В книгах о России недостатка нет; большую часть из них, однако, составляют политические памфлеты; они писались не с намерением лучше ознакомить с предметом, они служили лишь делу либеральной пропаганды то в России, то в Европе. Картиной русского деспотизма старались напугать и просветить последнюю. Именно так, чтобы внушить отвращение к пьянству, выводили в Спарте напоказ подвыпивших илотов.

Этим памфлетам и разоблачениям русское правительство противопоставило полуофициальную литературу, которой поручено было восхвалять его и лгать в его пользу. С одной стороны, это некий орган буржуазной республики; он невежественно, но с наилучшими в мире намерениями и из патриотизма представляет русских как народ Калибанов, коснеющих в грязи и пьянстве, с узкими сплюснутыми лбами, препятствующими развитию их умственных способностей; и не имеющих других страстей, кроме тех, которые вызываются пьяным буйством. С другой стороны, одна немецкая газета, опла-

чиваемая австрийским двором, печатает письма о России, в которых превозносятся все мерзости русской политики и где русское правительство изображается как правительство в высшей степени могущественное и народное. Эти преувеличения переходят в десяток других газет и служат основой для суждений, выносимых впоследствии об этой стране.

По правде говоря, восемнадцатый век уделял России более глубокое и более серьезное внимание, чем девятнадцатый, — быть может, потому, что он менее опасался этой державы. Тогда люди проявляли подлинный интерес к изучению нового государства, явившегося внезапно перед Европой в лице царя-плотника и потребовавшего своей доли в науке и европейской политике.

Петр I, в своем грубом унтер-офицерском мундире, со всей энергией своего дикого нрава, смело взялся за управление в ущерб расслабленной аристократии. Он был так наивно груб, так полон будущего, что мыслители того времени принялись жадно изучать его самого и его народ. Они хотели понять, каким образом это государство развилось незаметно, совсем иными путями, чем остальные европейские государства; они хотели углубиться в начала, из которых сложилась могучая организация этого народа.

Такие люди, как Мюллер, Шлоссер, Эверс, Левек, посвятили часть своей жизни изучению истории России в качестве историков с применением тех же научных приемов, какие в области физической применяли к ней Паллас и Гмелин. Философы и публицисты, со своей сто"

Россия

роны, с любопытством вглядывались в современную историю этой страны, в редкий пример правительства, которое, будучи деспотическим и революционным одновременно, управляло своим народом, а не ташилось за ним.

Они видели, что престол, утвержденный Петром I, имел мало сходства с феодальными и традиционными престолами Европы; упорные попытки Екатерины II перенести в русское законодательство принципы Монтескье и Беккариа, изгнанные почти повсюду в Европе, ее переписка с Вольтером, ее связи с Дидро еще более подкрепляли в их глазах реальность этого редкого явления.

Оба раздела Польши явились первым бесчестием, запятнавшим Россию. Европа не поняла всего значения этого события, ибо она была тогда погружена в другие заботы. Она присутствовала, вытянув шею и едва дыша, при великих событиях, которыми уже давала о себе знать Французская революция. Российская императрица бросилась в этот водоворот и предложила свою помощь зашатавшемуся миру. Поход Суворова в Швейцарию и Италию был совершенно лишен смысла и лишь восстановил общественное мнение против России.

Сумасбродная эпоха нелепых войн, которую французы еще до сих пор называют периодом своей славы, завершилась их нашествием на Россию; то было заблуждением гения, так же как и египетский поход. Бонапарту вздумалось показать себя миру стоящим на груде трупов. Славу пирамид он захотел приумножить славой

==218

Москвы и Кремля. На этот раз его постигла неудача; он поднял против себя весь народ, который решительно схватился за оружие, прошел по его пятам через всю Европу и взял Париж.

Судьба этой части мира несколько месяцев находилась в руках императора Александра, но он не сумел воспользоваться ни своей победой, ни своим положением; он поставил Россию под одно знамя с Австрией, как будто между этой прогнившей и умирающей империей и юным государством, только что появившимся во всем своем великолепии, было что-нибудь общее, как будто самый деятельный представитель славянского мира мог иметь те же интересы, что и самый яростный притеснитель славян.

Этим чудовищным союзом с европейской реакцией Россия, незадолго до того возвеличенная своими победами, унизилась в глазах всех мыслящих людей. Они печально покачали головой, увидев, как страна эта, впервые проявившая свою силу, предлагает сразу же руку и помощь всему ретроградному и консервативному, и притом вопреки своим собственным интересам.

Не хватало лишь яростной борьбы Польши, чтобы решительно поднять все народы против России. Когда благородные и несчастные обломки польской революции<sup>14</sup>, скитаясь по всей Европе, распространили там весть об ужасных жестокостях победителей, со всех сторон, на всех европейских языках раздалось громовое проклятие России. Гнев народов был справедлив...

Краснея за нашу слабость и немощь, мы понимали, что наше правительство только что север

Россия

==219

шило нашими руками, и сердца наши истекали кровью от страданий, и глаза наливались горькими слезами.

Всякий раз, встречая поляка, мы не имели мужества поднять на него глаза. И все же я не знаю, справедливо ли обвинять целый народ, справедливо ли вычеркивать один народ из семьи остальных народов и считать его ответственным за то, что совершило его правительство.

Разве Австрия и Пруссия не оказали тут помощи? Разве Франция, вероломная дружба которой причинила Польше столько же зла, сколько открытая ненависть других народов, разве она в то же время

всеми средствами не вымаливала благосклонности петербургского двора; разве Германия не заняла уже тогда добровольно по отношению к России того положения, в котором теперь вынужденно находятся Молдавия и Валахия; не управлялась ли она тогда, как и теперь, русскими поверенными в делах и тем царским проконсулом, который носит титул короля Пруссии?

Одна лишь Англия благородно держится в духе дружественной независимости; но Англия также ничего не сделала для поляков; быть может, она думала о собственной вине по отношению к Ирландии? Русское правительство не заслуживает вследствие этого меньшей ненависти и упреков; я хотел бы только обрушить ненависть эту и на все другие правительства, ибо их не следует отделять одно от другого; это только вариации одной и той же темы.

==220

## Россия

Последние события научили нас многому; порядок, восстановленный в Польше<sup>115</sup>, и взятие Варшавы отодвинуты на задний план с тех пор как порядок царит в Париже<sup>116</sup> и взят Рим; с тех пор, как прусский принц ежедневно руководит новыми расстрелами, и старая Австрия, стоя в крови по колена, пытается омолодить ею свои парализованные члены<sup>118</sup>.

Прошло уже то время, когда надобно было привлекать внимание к России и казакам. Пророчество Наполеона потеряло свой смысл; быть может, возможно являться одновременно и республиканцем и казаком. Однако есть вещь явно невозможная — это быть республиканцем и бонапартистом. Слава молодым полякам! Они, оскорбленные, ограбленные, они, лишенные русским правительством отечества и имущества, — они первые протянули руку русскому народу; они отделили дело народа от дела его правительства. Если поляки сумели обуздать свою справедливую ненависть к нам, то другие народы также сумеют обуздать свой панический страх.

Вернемся, однако, к сочинениям о России. За последние годы появились только две значительные работы: путешествие Кюстина (1842) и путешествие Гакстгаузена (1847)\*. Сочине-

Разумеется, мы не касаемся здесь статей о России, опубликованных то здесь, то там в разных газетах. За исключением указанных нами выше работ, мы не знаем ничего представляющего нечто целое, единое. Встречаются, конечно, великолепные наблюдения в «Зоологическом путешествии» Блазиуса, в «Карти-

==221

ние Кюстина перебивало во всех руках, оно выдержало пять изданий; книга Гакстгаузена, напротив, очень мало известна, потому что посвящена специальному предмету. Оба эти произведения особенно замечательны не своей противоположностью, но тем, что они изображают две стороны, из которых действительно складывается русская жизнь. Кюстин и Гакстгаузен отличаются друг от друга в своих

сочинениях, потому что говорят о разных вещах. Каждый из них охватывает особую сферу, но противоречия между ними нет. Это все равно, как если б один описывал климат Архангельска, а другой — Одессы; оба они остаются в пределах России.

Кюстин, по легкомыслию, впал в большие ошибки; из страсти к фразе он допустил огромные преувеличения — как в хвале, так и в осуждении, но все же он хороший и добросовестный наблюдатель. Он с самого же начала отдается первому впечатлению и никогда не исправляет раз вынесенного суждения. Вот почему его книга кишит противоречиями; но сами эти противоречия, нисколько не скрывая правды от внимательного читателя, показывают ему ее с разных сторон. Легитимист и иезуит, он приехал в Россию, преисполненный глубокого уважения к монархи-

нах русской литературы» Кёнига. Можно отметить некоторые места в холодных компиляциях Шницлера, не свободных от официального влияния<sup>119</sup>... Но всякие тайны, секреты, мемуары дипломатов и пр. отнюдь не принадлежат к области серьезной литературы. — Книга Гакстгаузена появилась на немецком и французском языках.—Прим. А. И. Герцена.

## ==222

### Россия

ческим установлениям, покинул же он ее, проклиная самодержавие, так же как и зараженную атмосферу, которой оно окружено.

Путешествие это, как мы видим, оказалось полезным для Кюстина.

По приезде в Россию он сам стоит не больше тех придворных, в которых мечет стрелы своей сатиры, — если только не вменить ему в заслугу то, что он добровольно взял на себя роль, которую те выполняли по обязанности.

Не думаю, чтобы какой бы то ни было придворный с такой аффектацией подчеркивал каждое слово, каждый жест императрицы, говорил бы о кабинете и туалете императрицы, об остроумии и любезности императрицы; никто не повторял так часто императору, что он более велик, чем его народ (Кюстин знал тогда русский народ только по петербургским извозчикам); более велик, чем Петр I; что Европа не отдает ему должного; что он—великий поэт и что его поэтические творения трогают до слез.

Оказавшись в придворном кругу, Кюстин уже его не покидает; он не выходит из передних и удивляется, что видит там только лакеев; за сведениями он обращается к придворным. Они же знают, что он писатель, боятся его болтовни и обманывают его. Кюстин возмущен; он сердится и относит все на счет русского народа. Он едет в Москву, он едет в Нижний Новгород; но всюду он в Петербурге; всюду петербургская атмосфера окружает его и придает всему виденному им однообразную окраску.

## ==223

Только на почтовых станциях он бросает беглые взгляды на жизнь народа; он делает великолепные замечания, он предсказывает этому народу великое будущее; он не может налюбоваться красотой и



проворством крестьян, он говорит, что чувствует себя гораздо свободнее в Москве, что воздух там не так давит и что люди там более довольны.

Он говорит это — и продолжает свой путь, нисколько не затрудняя себя приведением в согласие этих своих замечаний с прежними, нисколько не удивляясь тому, что находит у одного и того же народа качества совершенно противоположные,—он добавляет: «Россия страстно любит рабство». А в другом месте: «Этот народ так величав, что даже в своих пороках он полон силы и грации».

Кюстин не только пренебрег образом жизни русского народа (от которого всегда держался в отдалении), но он также не узнал ничего о мире литературном и научном, ему гораздо более близком; умственное движение России было ему известно столь же мало, как его придворным друзьям, не подозревавшим даже, что существуют русские книги и люди, которые их читают; и только случайно, в связи с дуэлью, услышал он разговоры о Пушкине.

«Поэт без инициативы», — отзывается о нем почтенный маркиз и, забывая, что говорит не о французах, добавляет: «Русские вообще не способны ясно понимать что-либо глубокое и философское». Можно ли после этого удивляться тому, что Кюстин кончает свою книгу

==224

точно так же, как начал ее, — утверждением, что двор—это всё в России?

Откровенно говоря, он прав по отношению к тому миру, который избрал центром своей деятельности и который он сам так превосходно называет миром фасадов. Спору нет, его вина, что он не захотел ничего увидеть позади этих фасадов, и его можно было бы с некоторым правом упрекнуть за это, ибо он сто раз повторяет в своей книге, что у России великое будущее, что чем более он эту страну узнает, тем сильнее трепещет за Европу; что видит в ней все усиливающуюся мощь, враждебно надвигающуюся на ту часть света, которая с каждым днем все более слабеет.

Мы были бы, конечно, вправе,—вследствие именно этих предсказаний, — потребовать от него несколько более углубленного изучения этого народа; однако следует сознаться, что если он пренебрег двумя третями русской жизни, то отлично понял ее последнюю треть и мастерски зарисовал ее во многих местах. Что бы ни говорило об этом самовластие петербургского двора, оно должно признать, что портрет поразительно похож в своих главных чертах.

Кюстин чувствовал сам, что он изучил только правительственную Россию, Россию петербургскую. Эпиграфом он берет следующее место из библии: «Я тоже владыка града, тако и вси живущие в нем». Но эти слова не подходят к России настоящего периода. Пророк мог говорить это о евреях своего времени, как в наши дни

Россия

==225

каждый может сказать это об Англии. Россия еще не сформировалась. Петербургский период был необходимой для своего времени революцией, однако необходимость ее для нашего времени значительно уменьшилась.

Ничто не может быть противоположной блестящему и легкомысленному маркизу Кюстину, чем флегматичный вестфальский агроном, барон Гакстгаузен, консерватор, эрудит старого закала и благосклоннейший в мире наблюдатель. Гакстгаузен явился в Россию с целью, которая до него никого еще туда не привлекала. Он хотел основательно изучить нравы русских "крестьян". После продолжительного изучения сельского хозяйства в Германии он случайно наткнулся на отдельные обломки сельских общинных учреждений у славян; это его тем более изумило, что он нашел их совершенно противоположными всем другим учреждениям подобного рода.

Открытие это настолько поразило его, что он приехал в Россию изучать сельские общины на месте. Наученный с детства, что всякая власть — от бога, привыкший с самых юных лет почитать все правительства, Гакстгаузен, сохранивший политические воззрения времен Пуффендорфа и Гуго Греция, не мог не восхищаться петербургским двором. Он чувствовал себя подавленным этой державой, имеющей для своей защиты шестьсот тысяч солдат и протяженность в девять тысяч верст для своих ссыль-

==226

ных. Пораженный и уничтоженный ужасающими размерами этого самодержавного государства, он, к счастью, вскоре покинул Петербург, пожил некоторое время в Москве и исчез на целый год.

Год этот Гакстгаузен употребил на глубокое изучение сельской общины в России. Результат его изысканий не совсем походил на результат, полученный Кюстином. В самом деле, по его словам, сельская община составляет в России всё. В ней, по мнению барона, ключ к прошлому России и зародыш ее будущего, животворящая монада русского государства. «Каждая сельская община, — говорит он, — представляет собой в России маленькую республику, которая самостоятельно управляет своими внутренними делами, не знает ни личной земельной собственности, ни пролетариата и уже давно довела до степени совершившегося факта часть социалистических утопий; иначе жить здесь не умеют; иначе никогда даже здесь и не жили».

Я полностью разделяю мнение Гакстгаузена, но думаю, что сельская община — еще не всё в России. Гакстгаузен действительно уловил животворящий принцип русского народа; но по своей врожденной склонности ко всему патриархальному и вследствие полного отсутствия критического дара он не заметил, что именно отрицательная сторона общинной жизни и вызвала петербургскую реакцию. Если бы в общине не было полного поглощения личности, то самодержавие, о котором с таким справедливым ужасом говорит Кюстин, не могло б образоваться.

==227

Мне кажется, что в русской жизни есть нечто более высокое, чем община, и более сильное, чем власть; это «нечто» трудно выразить словами, и еще труднее указать на него пальцем. Я говорю о той внутренней, не вполне сознающей себя силе, которая так чудодейственно поддерживала русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным кнутом татарина и под западной розгой капрала; я говорю о той внутренней силе, при помощи которой русский крестьянин сохранил, несмотря на унижительную дисциплину рабства, открытое и красивое лицо и живой ум и который, на императорский приказ образоваться, ответил через сто лет громадным явлением Пушкина; я говорю, наконец, о той силе, о той вере в себя, которая волнует нашу грудь. Эта сила, независимо от всех внешних событий и вопреки им, сохранила русский народ и поддержала его несокрушимую веру в себя. Для какой цели? .. Это-то нам и покажет время.

«Русские сельские общины и республика, славянские деревни и социальные установления». Эти слова, таким образом сгруппированные, без сомнения, звучат весьма странно для слуха читателей Гакстгаузена. Многие, я уверен в этом, спросят, находился ли вестфальский агроном в здравом уме. И однако Гакстгаузен совершенно прав; социальное устройство сельских общин в России — истина, столь же великая, как и могущественная славянская организация политической системы. Это странно!.. Но разве еще не более странно, что рядом 15\*

## ==228

с европейскими рубежами в течение тысячелетия жил народ, насчитывающий теперь пятьдесят миллионов душ, и что в середине девятнадцатого века его образ жизни является для Европы неслыханной новостью?

Русская сельская община существует с незапамятного времени, и довольно схожие формы ее можно найти у всех славянских племен. Там, где ее нет, — она пала под германским влиянием. У сербов, болгар и черногорцев она сохранилась в еще более чистом виде, чем в России. Сельская община представляет собой, так сказать, общественную единицу, нравственную личность; государству никогда не следовало посягать на нее; община является собственником и объектом обложения; она ответственна за всех и каждого в отдельности, а потому автономна во всем, что касается ее внутренних дел.

Ее экономический принцип—полная противоположность знаменитому положению Мальтуса 120: она предоставляет каждому без исключения место за своим столом. Земля принадлежит общине, а не отдельным ее членам; последние же обладают неотъемлемым правом иметь столько земли, сколько ее имеет каждый другой член той же общины; эта земля предоставлена ему в пожизненное владение, он не может, да и не имеет надобности передавать ее по наследству. Его сын, едва он достигает совершеннолетия, приобретает право, даже при жизни своего отца, потребовать от общины земельный надел. Если у отца много детей— тем лучше, ибо они получают от общины соот-

## ==229

ветственно большой участок земли; по смерти же каждого из членов семьи земля опять переходит к общине.

Часто случается, что глубокие старики возвращают свою землю и тем самым приобретают право не платить податей. Крестьянин, покидающий на время свою общину, не теряет вследствие этого прав на

землю; ее можно отнять у него лишь в случае изгнания, и подобная мера может быть применена только при единодушном решении мирского схода. К этому средству, однако, община прибегает лишь в исключительных случаях. Наконец, крестьянин еще тогда теряет это право, когда по собственному желанию он выходит из общины. В этом случае ему разрешается только взять с собой свое движимое имущество: лишь в редких случаях позволяют ему располагать своим домом или перенести его. Вследствие этого сельский пролетариат в России невозможен.

Каждый из владеющих землею в общине, то есть каждый совершеннолетний и обложенный податью, имеет голос в делах общины. Староста и его помощники, избираются миром. Так же поступают при решении тяжбы между разными общинами, при разделе земли и раскладке податей. (Ибо обложению подлежит главным образом земля, а не человек. Правительство ведет счет только по числу душ; община пополняет недоимки в сборе податей по душам при помощи особой раскладки и принимает за податную единицу деятельного работ-

## ==230

ника, т. е. работника, имеющего в своем пользовании землю.)

Староста обладает большой властью в отношении каждого члена в отдельности, но не над всей общиной; если община хоть сколько-нибудь единодушна, она может очень легко уравновесить власть старосты, принудить его даже отказаться от своей должности, если он не хочет подчиняться ее воле. Круг его деятельности ограничивается, впрочем, исключительно административной областью; все вопросы, выходящие за пределы чисто полицейского характера, разрешаются либо в соответствии с действующими обычаями, либо советом стариков, либо, наконец, мирским сходом. Гакстгаузен допустил здесь большую ошибку, утверждая, что староста деспотически управляет общиной. Он может управлять • деспотически только в том случае, если вся община стоит за него.

Эта ошибка привела Гакстгаузена к тому, что он увидел в старосте общины подобие императорской власти. Императорская власть, следствие московской централизации и петербургской реформы, не имеет противовеса, власть же старосты, как и в домосковский период, находится в зависимости от общины.

Необходимо еще принять во внимание, что всякий русский, если он не горожанин и не дворянин, обязан быть приписан к общине и что число городских жителей, по отношению к сельскому населению, чрезвычайно ограничено. Большинство городских работников принадлежат к бедным сельским общинам, особенно

## ==231

к тем, у которых мало земли; но, как уже было сказано, они не утрачивают своих прав в общине; поэтому фабриканты бывают вынуждены платить работникам несколько более того, что тем могли бы приносить полевые работы.

Зачастую эти работники прибывают в города лишь на зиму, другие же остаются там годами; они объединяются в большие рабочие артели; это нечто вроде русской подвижной общины. Они переходят из города в город (все ремесла свободны в России), и число их часто достигает нескольких сотен, иногда даже тысячи; таковы, например, артели плотников и каменщиков в Петербурге и в Москве и ямщиков на больших дорогах. Заработком их ведают выборные, и он распределяется с общего согласия.

Прибавьте к этому, что треть крестьянства принадлежит дворянам. Помещичьи права— позорный бич, тяготеющий над частью русского народа, — тем более позорный, что они совершенно не узаконены и являются лишь следствием безнравственного соглашения с правительством, которое не только мирится со злоупотреблениями, но покровительствует им силой своих штыков. Однако это положение, несмотря на наглый произвол дворян-помещиков, не оказывает большого влияния на общину.

Помещик может ограничить своих крестьян минимальным количеством земли; он может выбрать для себя лучший участок; он может увеличить свои земельные владения и тем самым труд крестьянина; он может прибавить оброк,

## ==232

но он не вправе отказать крестьянину в достаточном земельном наделе, и если уж земля принадлежит общине, то она полностью остается в ее ведении, на тех же основаниях, что и свободная земля; помещик никогда не вмешивается в ее дела; были, впрочем, помещики, хотевшие ввести европейскую систему парцеллярного раздела земель и частную собственность.

Эти попытки исходили по большей части от дворян прибалтийских губерний; но все они проваливались и обыкновенно заканчивались убийством помещиков или поджогом их замков,—ибо таково национальное средство, к которому прибегает русский крестьянин, чтобы выразить свой протест \*. Иностранцы переселенцы, напротив, часто принимали русские общинные установления. Уничтожить сельскую общину в России невозможно, если только правительство не решится сослать или казнить несколько миллионов человек.

Ужасная история с введением военных поселений показала, каков бывает русский крестьянин, когда на него нападают в его последнем укреплении. Либерал Александр брал деревни приступом; ожесточение крестьян достигло ярости, исполненной трагизма; они умерщвляли своих детей, чтоб избавить их от нелепых

Из документов, публикуемых министерством внутренних дел, видно, что ежегодно, еще до последней революции 1848 г., от 60 до 70 помещиков оказывались убитыми своими крестьянами. Не является ли это постоянным протестом против незаконной власти этих помещиков?—Прим. А. И. Герцена.

## ==233

учреждении, навязываемых им штыками и картечью. Правительство, разъяренное таким сопротивлением, подвергало преследованиям этих героических людей; оно засекало до смерти шпицрутенами, но, несмотря на все эти жестокости и ужасы, оно ничего не смогло добиться. Кровавый бунт в Старой Руссе в 1831 году показал, как трудно поддается укрощению этот несчастный народ.

подавив этот бунт, правительство вынуждено было уступить необходимости и удовлетвориться словом, не будучи в силах добиться дела.

Вот по какой причине революция, произведенная Петром I, была столь равнодушно принята крестьянами и встретила так мало сопротивления: она прошла над их головами. Правительство начало принимать общие меры по отношению к крестьянам лишь с 1838 года, когда оно основало министерство государственных имуществ. То была неплохая мысль — слегка встряхнуть общину, ибо деревенская жизнь, как всякий коммунизм, полностью поглощала личность.

Человек, привыкший во всем полагаться на общину, погибает, едва лишь отделится от нее; он слабеет, он не находит в себе ни силы, ни побуждений к деятельности; при малейшей опасности он спешит укрыться под защиту этой матери, которая держит, таким образом, своих детей в состоянии постоянного несовершеннолетия и требует от них пассивного послушания. В общине слишком мало движения; она не получает извне никакого толчка, который побуж-

==234

дал бы ее к развитию, — в ней нет конкуренции, нет внутренней борьбы, создающей разнообразие и движение: предоставляя человеку его долю земли, она избавляет его от всяких забот.

Общинное устройство усыпляло русский народ, и сон этот становился с каждым днем все более глубоким, пока, наконец, Петр I грубо не разбудил часть нации. Он искусственно вызвал нечто вроде борьбы и антагонизма, и именно в этом-то и заключалось провиденциальное назначение петербургского периода.

С течением времени этот антагонизм стал чем-то естественным. Какое счастье, что мы так мало спали; едва пробудившись, мы оказались лицом к лицу с Европой, и с самого начала наш естественный, полудикий образ жизни более соответствует идеалу, о котором мечтала Европа, чем жизненный уклад цивилизованного германо-романского мира; то, что является для Запада только надеждой, к которой устремлены его усилия, — для нас уже действительный факт, с которого мы начинаем; угнетенные императорским самодержавием, — мы идем навстречу социализму, как древние германцы, поклонявшиеся Тору или Одину, шли навстречу христианству.

Утверждают, что все дикие народы начинали с подобной же общины; что она достигла у германцев полного развития, но что всюду она вынуждена была исчезнуть с началом цивилизации. Из этого заключили, что та же участь ожидает русскую общину; но я не вижу причин, почему Россия должна непременно претерпеть

Россия

==235

все фазы европейского развития, не вижу я также, почему цивилизация будущего должна неизменно подчиняться тем же условиям существования, что и цивилизация прошлого.

Германская община пала, встретившись с двумя социальными идеями, совершенно противоположными общинной жизни: феодализмом и римским правом. Мы же, к счастью, являемся со своей общиной в эпоху, когда противообщинная цивилизация гибнет вследствие полной невозможности отделаться, в

силу своих основных начал, от противоречия между правом личным и правом общественным. Почему же Россия должна лишиться теперь своей сельской общины, если она сумела сберечь ее в продолжение всего своего политического развития, если она сохранила ее нетронутой под тягостным ярмом московского царизма, так же как под самодержавием — в европейском духе — императоров?

Ей гораздо легче отделаться от администрации, насильственно насажденной и совершенно не имеющей корней в народе, чем отказаться от общины; но утверждают, что вследствие постоянного раздела земель общинная жизнь найдет свой естественный предел в приросте населения. Как ни серьезно на первый взгляд это возражение, чтоб его опровергнуть, достаточно указать, что России хватит земли еще на целое столетие и что через сто лет жгучий вопрос о владении и собственности будет так или иначе разрешен. Более того. Освобождение помещичьих имений, возможность перехода из пере-

### ==236

населенной местности в малонаселенную, представляет также огромные ресурсы.

Многие, и среди них Гакстгаузен, утверждают, что, вследствие этой неустойчивости во владении землею, обработка почвы несколько не совершенствуется; временный владелец земли, в погоне за одной лишь выгодой, которую он из нее извлекает, мало о ней заботится и не вкладывает в нее свой капитал; вполне возможно, что это так. Но агрономы-любители забывают, что улучшение земледелия при западной системе владения оставляет большую часть населения без куска хлеба, и я не думаю, чтобы растущее обогащение нескольких фермеров и развитие земледелия как искусства могли бы рассматриваться даже самой агрономией как достаточное возмещение за отчаянное положение, в котором находится изголодавшийся пролетариат.

Дух общинного строя уже давно проник во все области народной жизни в России. Каждый город, на свой лад, представлял собой общину; в нем собирались общие сходы, решавшие большинством голосов очередные вопросы; меньшинство либо соглашалось с большинством, либо, не подчиняясь, вступало с ним в борьбу; зачастую оно покидало город; бывали даже случаи, когда оно совершенно истреблялось.

В этом непреклонном меньшинстве можно распознать гордое вето польских магнатов. Княжеская власть, при наличии судилищ, составленных из выборных судей, творивших правосудие устно и по внутреннему убеждению перед лицом свободных сходов в городах,

### ==237

и к тому же лишенная постоянной армии, не могла укрепляться; это станет особенно понятным, если не упускать из виду, насколько ограничены жизненные потребности у народа, целиком занятого земледелием. Московская централизация положила конец этому порядку вещей; Москва явилась для России первым Петербургом. Московские великие князья, отбросив этот титул, чтобы принять титул царя всея Руси, стремились к совсем иного рода власти, чем та, которой пользовались их предшественники.

Пример увлекает их: они явились свидетелями могущества греческих императоров в Византии и могущества монгольских ханов из главной орды Тамерлана, известной под именем Золотой орды. И действительно, власть царей в своем развитии приняла двойной характер обеих этих держав. С каждым

шагом московских царей на пути деспотизма власть народа все уменьшалась. Жизнь сжималась и обеднялась все более и более во всех своих проявлениях; одна лишь сельская община продолжала сохраняться в своей скромной сфере.

Роковой характер эпохи, последовавшей за царствованием Петра, обнаружился лишь тогда, когда московские цари осуществили свою централизацию; ибо ее значительность заключалась лишь в том, что она составила из разрозненных частей княжеского федерализма, из людей одной расы, связанных узами крови, одно могучее целое; идти однако далее она не могла, ибо, в сущности, она не знала точно, почему и

## ==238

с какой целью она объединяла эти разобщенные части. Именно в этом и проявилась вся ничтожность внутренней идеи московского периода: он сам не знал, куда приведет его политическая централизация.

Пока имелись вне страны такие поводы для деятельности, как борьба с татарами, литовцами и поляками, таившиеся в ней силы находили возможность проявляться и распространяться; когда же народ после междуцарствия 1612 года, во время которого он обнаружил поразительную энергию, снова впал в состояние покоя, правительство окостенело в вялости восточного формализма.

Государство, еще полное юности и мощи, покрылось, как стоячая вода, зеленоватой пеной; время первых Романовых было преждевременной старостью, так глубоко погруженной в сон, что народ не в состоянии был тогда оправиться от прежних потрясений. Царская Россия, как и сельская община, совершенно лишена была какой бы то ни было закваски, каких бы то ни было дрожжей; не было ни беспокойного меньшинства, ни движущего начала. Эта закваска, эти дрожжи, эта мятежная личность явилась, и явилась на троне.

Петр I сделал бесконечно много добра и зла России, но особенной благодарности от русских он заслуживает за толчок, который дал всей стране, за движение, которое он сообщил нации и которое с тех пор не замедлялось. Петр I понял скрытую силу своего народа, так же как и препятствие, мешавшее развитию этой силы;

## ==239

с энергией революционера и упрямством самодержца он решил окончательно порвать с прошедшим: с нравами, обычаями, законодательством, — одним словом, со всем прежним политическим организмом.

Достойно сожаления, что Петр I не имел перед глазами иного идеала, кроме европейского режима. Он не видел, что то, чем он восхищался в европейской цивилизации, ни в какой мере не было связано с политическими формами того времени, но, скорее, держалось вопреки им; он не видел, что сами эти формы были не чем иным, как следствием двух уже прошедших миров, и что они, как и московское византийство, были отмечены печатью смерти.

Политические формы семнадцатого столетия были последним словом монархической централизации, последним следствием Вестфальского мира. То было время дипломатии, канцелярии и казарменного



режима, начало того холодного деспотизма, эгоистические повадки которого не могли быть облагорожены даже гением Фридриха II, прототипа всех капралов—маленьких и больших.

Эти политические формы сами только и ждали, чтоб исчезнуть, своего Петра I — Французскую революцию. Освободившись от традиций, победитель последней из них, Петр I пользовался полнейшей свободой. Но душе его недоставало гения и творческой мощи: он был поработен Западом и стал копировать его. Ненавидя все относящееся к старой России, хорошее и дурное, он подражал всему европейскому,

## ==240

дурному и хорошему. Половина иностранных форм, пересаженных им в Россию, была в высшей степени противна духу русского народа.

Его задача сделалась вследствие этого еще трудней, и притом без всякой пользы для дела. В силу пророческого инстинкта он любил Россию будущего; он лелеял мечту о могущественной русской монархии, но совершенно не считался с народом. Возмущенный всеобщим застоєм и апатией, он захотел обновить кровь в жилах России и, чтобы произвести это переливание, взял кровь уже старую и испорченную. Кроме того, при всем своем темпераменте революционера, Петр I все же всегда оставался самодержцем. Он страстно любил Голландию и воспроизводил свой милый Амстердам на берегах Невы, однако он заимствовал лишь весьма немногие из свободных нидерландских установлений. Он не только не ограничил царскую власть, но еще более усилил ее, предоставив ей все средства европейского абсолютизма и сокрушая все преграды, воздвигнутые ранее нравами и обычаями.

Становясь под знамена цивилизации, Петр I, в то же время заимствовал у отвергаемого им прошлого кнут и Сибирь, чтобы подавлять всякую оппозицию, всякое смелое слово, всякое свободное действие.

Представьте себе теперь союз московского царизма с режимом немецких канцелярий, с инквизиционным процессом, заимствованным из прусского военного кодекса, и вы поймете;

## ==241

почему императорская власть в России оставила далеко позади деспотизм Рима и Византии.

Сельская Россия, всему внешне подчиняясь, на самом деле ничего не приняла из этих преобразований. Петр I чувствовал это пассивное сопротивление; он не любил русского крестьянина и ничего не понимал в его образе жизни. С преступным легкомыслием усилил он права дворянства и стянул еще туже цепь крепостного права; он первый попытался упорядочить эти нелепые установления; упорядочить значило в то же время признать их и подвести под них законное основание. С той поры русский крестьянин еще более, чем когда-либо, замкнулся в своей общине, и если удалялся от нее, то бросал вокруг себя недоверчивые взгляды и многократно осенял себя крестным знаменем. Он перестал

понимать правительство; он увидел в полицейском офицере и в судье — врага; он увидел в помещике грубую силу, с которой ничего не мог поделать.

С той поры он стал видеть в каждом приговоренном только несчастного — единственное слово, которым обозначается всякий осужденный в этой стране, где словно никого не осталось, кроме жертв и палачей; стал лгать под присягою и все отрицать, когда его допрашивал человек в мундире, казавшийся ему представителем немецкого правительства. Протекшие сто пятьдесят лет, нисколько не примилив крестьянина с новым порядком вещей, еще более отдалили его от правительства. Пусть мы воспитаны были в духе петровских реформ; пусть мы

==242

впитали с молоком матери европейскую цивилизацию; пусть старость Европы была нам привита таким образом, что ее судьбы сделались нашими судьбами, — в добрый час! Однако с русским крестьянином дело обстоит совсем иначе.

Он многое перенес, многое выстрадал, он сильно страдает и теперь, но он остался самим собой. Замкнутый в своей маленькой общине, оторванный от собратьев, рассеянных на огромных пространствах страны, он тем не менее нашел в пассивном сопротивлении и в силе своего характера средство сохранить себя; он низко склонил голову, и несчастье часто проносилось над ним, не задевая его; вот почему, несмотря на свое положение, русский крестьянин обладает такой силой, такой ловкостью, таким умом и красотой, что возбудил в этом отношении изумление Кюстина и Гакстгаузена.

[Ш]

Все путешественники отдают должное русским крестьянам, но они кричат об их бесстыдном плутовстве, религиозном фанатизме, идолопоклонстве перед императорским троном.

Я думаю, что кое-какие из этих недостатков и в самом деле можно найти в русском народе, в частности я основываюсь на том, что недостатки эти присущи всем европейским народам. Они тесно связаны с нашей цивилизацией, с невежеством масс и с их нищетой. Европейские государства похожи на полированный мрамор,

==243

Они блестят только на поверхности, а в глубине своей и в целом они грубы.

Я понимаю, что можно обвинять цивилизацию, современные общественные формы, все народы вместе, но считаю бесполезной жестокостью нападать на один из этих народов и осуждать в нем пороки всех остальных; это, впрочем, уость ума, которая позволительна одним лишь евреям, — считать свою нацию избранным народом. В этом отношении последние политические события должны были послужить нам отличным уроком; не обвиняли ли недавно почти все писатели в тех же недостатках римлян и венцев, прибавляя к этому даже упреки в трусости?

Октябрьская революция 121 и римский триумvirат 122 реабилитировали репутацию этих городов. Но это еще не все. Совершенно верно, что русский крестьянин при каждой возможности обманывает помещика и чиновника, которые, в свою очередь, не обманывают крестьянина только потому, что им проще грабить его. Обмануть своих врагов в подобных случаях значит проявить ум. Наоборот, в отношениях между собой русские крестьяне проявляют исключительную честность и порядочность. Доказательством служит то, что они никогда не заключают между собой письменных условий. Землю делят в общинах, а деньги — в рабочих артелях. На протяжении десяти с лишним лет это едва ли вызывает два-три судебных процесса.

==244

Русский народ религиозен, потому что народ при современных политических условиях не может оставаться без религии. Просвещенное сознание — следствие прогресса; истина и мысль до сих пор существуют лишь для немногих. Народу же религия заменяет все, она отвечает на все его эстетические и философские вопросы, возникающие в человеческой душе на всех ступенях развития. Фантастическая поэзия религии служит отдохновением после прозаических земледельческих работ и сенокоса. Русский крестьянин суеверен, но равнодушен к религии, которая для него, впрочем, является непроницаемой тайной. Он для очистки совести точно соблюдает все внешние обряды культа; он идет в воскресенье к обедне, чтобы шесть дней больше не думать о церкви. Священников он презирает как тунеядцев, как людей алчных, живущих на его счет. Героем всех народных непристойностей, всех уличных песенок, предметом насмешки и презрения всегда являются поп и дьякон или их жены 123.

Множество пословиц свидетельствует о безразличии русских к религии: «Гром не грянет — мужик не перекрестится», «На бога надейся, да сам не плошай». Кюстин рассказывает, что один ямщик, шутя защищавший свою склонность к мелким кражам, говорил: «С этим уж человек рождается, и если Христос не воровал — то только потому, что ему мешали раны на руках». Все это показывает, что у этого народа мы не найдем ни бешеного фанатизма, встречающегося у бельгийцев и в Люцерне, ни

==245

той суровой, холодной и безнадежной веры, которую видим мы в Женеве и в Англии, как и вообще у народов, долго находившихся под влиянием иезуитов и кальвинистов.

В прямом смысле слова религиозны одни лишь раскольники. Причина этого заключается не только в национальном характере, но и в самой религии. Греческая церковь никогда не отличалась чрезмерной склонностью к пропаганде и экспансии; она была более верна евангельскому учению, нежели католицизм, жизнь ее вследствие этого менее распространялась вширь; созревая на прогнившей почве Византии, она сосредоточилась в монастырских кельях и преимущественно занялась богословскими спорами и вопросами теории; поработанная светской властью, она отстранилась, в России еще более, чем в Византийской империи, от интересов политики. Начиная с десятого века и до Петра I известен лишь один народный проповедник, да и того патриарх принудил замолчать

Я считаю большим счастьем для русского народа — народа очень впечатлительного и кроткого от природы, — что он не был развращен католицизмом. Тем самым он избежал другой беды. Католицизм,

как некоторые злокачественные недуги, может быть излечен лишь при помощи ядов; он роковым образом влечет за собой протестантизм, который затем только и освобождает умы с одной стороны, чтобы еще сильнее сковать их с другой. Наконец, Россия, не принадлежа к великому единству западной

==246

церкви, не имеет надобности вмешиваться в историю Европы.

Я не замечал также в русском народе, чтоб он отличался особенной преданностью престолу и готовностью жертвовать собой для него. Действительно, русский крестьянин видит в императоре защитника от своих непосредственных врагов, он рассматривает его как наивысшее олицетворение справедливости и верит в его божественное право, как верят в него более или менее все монархические народы Европы. Но это почитание не выражается в каких-либо действиях, и его привязанность к императору не превратит его ни в вандейца, ни в испанского карлиста; это почитание не доходит до той трогательной любви, которая недавно еще не позволяла некоему народу без слез на глазах говорить о своих князьях.

Следует также признать, что русский народ охладел в своей любви к трону, с тех пор как, по милости европейской бюрократии, он отвернулся от правительства. Династическое движение, подобное тому, какое вспыхнуло, например, в пользу Лжедмитрия, в настоящее время совершенно невозможно. Со времени Петра I народ не принимал никакого участия ни в одном из петербургских переворотов. Несколько претендентов, кучка интриганов и преторианцев с 1725 по 1762 год передавали из рук в руки императорский трон. Народ бесстрастно молчал, не беспокоясь о том, признает ли камарилья императорами и Романовыми — принцессу Брауншвейгскую или Курляндскую, гер-

Россия

==247

цога Голштинского или его жену из рода Ангальт-Цербстского; все они были ему неизвестны, и — более того — они были немцы.

Восстание Пугачева имело совсем иной смысл: то была последняя попытка, отчаянное усилие казака и крепостного освободиться от жестокого ярма, тягость которого с каждым днем становилась все более ощутимой. Имя Петра III явилось лишь предлогом; одно это имя никак не могло бы поднять несколько губерний. В последний раз политический интерес воодушевил русский народ в 1812 году. Народ этот убежден, что у себя на родине он непобедим; эта мысль лежит в глубине сознания каждого русского крестьянина, в этом его политическая религия. Когда он увидел, что чужеземец появился как неприятель на его земле, он забросил соху и схватился за ружье. Умирая на поле битвы «за белого царя и пресвятую богородицу», как он говорил, он умирал на самом деле за неприкосновенность русской земли.

Класс, с которым русский народ находится в непосредственных сношениях, — это провинциальное дворянство и сословие чиновников, которые составляют низшую ступень цивилизованной России. Чиновники, глубоко развращенные запретом всякого рода гласности, представляют собой самый рабелепный класс в России; его судьба целиком во власти правительства. Провинциальное дворянство, со своей стороны, не менее развращенное своим правом эксплуатировать крестьян, все же более независимо и, стало быть, несколько самостоятельней, чем чи-

новничество. Немного жизни сохранилось еще в губернских дворянских собраниях; дворянство обыкновенно составляет оппозицию губернаторам и их чиновникам; средств для этого у него достаточно.

Екатерина II продолжила систему Петра I; она еще приумножила и утвердила права дворянства; в то же время она ввергла в крепостное состояние миллионы крестьян и оплачивала крестьянскими общинами свои ночи Клеопатры. Дворянство каждой губернии имеет право созывать свои особые собрания, избирать своих предводителей и, что еще важнее, — судей двух первых инстанций, председателей этих судов и всех чиновников административного и полицейского управления уездами.

Правда, и другие классы населения частично пользуются подобными правами, но большинство этих прав остается за дворянством, если не считать городских управлений и городского голову, которые избираются купцами и мещанами города. Правительство посылает в каждую губернию губернатора, административный и финансовый совет, в каждый город — городничего и в каждый суд — прокурора. Дворянство имеет право контролировать губернатора во всех денежных делах; каждый дворянин может быть, без всяких ограничений, выбран в своей губернии судьей, председателем и предводителем. К этому сводятся все свободные установления.

Если мы перейдем от провинциальных установлений к установлениям государственным,

то с каждым шагом, по мере того как мы будем подниматься по иерархической лестнице, все более и более будут стираться и права человека и участие управляемых в управлении. Петербургская централизация, как снеговая вершина горы, все подавляет своим ледящим и единообразным грузом; чем более к ней приближаешься, тем менее обнаруживаешь следов жизни и независимости. Сенат, Государственный совет, министры — не более как покорные орудия; высшие сановники — не более как писцы, сбиры, словом, — телеграфные рычаги, при помощи которых петербургский Зимний дворец объявляет стране свою волю.

Русское дворянское звание в том виде, в каком оно существует со времен Петра I, является скорей наградой за оказанные услуги, чем самостоятельно существующей кастой; дворянское звание, по закону, даже утрачивается, если в семье два поколения подряд не вступали на государственную службу 125. Пути, ведущие к дворянскому званию, открыты со всех сторон. Пять лет тому назад были

установлены в этом отношении некоторые ограничения<sup>126</sup>, но они относятся к числу тех мер, которые бесследно исчезают на другой же день после императорского указа.

Петр I, при всем своем могуществе, не смог бы ничего совершить, если б он не встретил уже целую толпу недовольных; эти недовольные пришли ему на помощь; именно из них и из тех, кто служил новому правительству, и образовалась европеизированная Россия. Петр I

==250

## Россия

возвел эту часть нации в дворянство, чтобы противопоставить ее необразованной России. Но помимо того, что этот класс, несмотря на силу и власть, не создал никакой аристократии, он еще поглотил некогда могущественную аристократию старинного дворянства, бояр и князей \*. Новое дворянство, беспрестанно вербуемое из всех других классов, приобрело аристократический характер только по отношению к крестьянину, до тех пор пока он оставался крестьянином, т. е. по отношению той части народа, которая также была поставлена правительством вне закона.

Вероятно, в первое время после реформы все эти грузные и грубые бояре, в своих пудренных париках и шелковых чулках, сильно смахивали на тех отаитских щеголей, которые гордо расхаживают в красных английских мундирах с эполетами, но без штанов и рубашки. Однако благодаря нашей восприимчивости высшая знать вскоре усвоила манеры и язык версальских придворных. Восприняв изящество манер и нравов европейской аристократии, она не совсем утратила свои собственные, и поэтому ее образ жизни, при Екатерине II, представлял собой своеобразную смесь дикой распущенности и придворного лоска, аристократической спеси и полувосточной покорности. Эти нравы были тем не менее скорей оригинальны и угловаты, чем карикатурны; в них совершенно не

Право первородства совершенно неизвестно в России.—Прим. А. И. Герцена.

==251

было того пошлого и безвкусного тона, которым всегда отличалась аристократия немецкая.

Между высшей знатью, живущей почти исключительно в Петербурге, и благородным пролетариатом чиновников и безземельных дворян существует густой слой среднего дворянства, нравственным центром которого является Москва. Если оставить в стороне общую развращенность этого класса, то следует признать, что именно в нем таится зародыш и умственный центр грядущей революции. Положение образованного меньшинства этого сословия (это меньшинство довольно значительно) полно трагизма: оно оторвано от народа, потому что в течение нескольких поколений его предки были связаны с цивилизирующим правительством, и оторвано от правительства, потому что само это меньшинство цивилизовалось. Народ видит в них немцев, правительство — французов.

В этом сословии, так нелепо поставленном между цивилизацией и правом плантатора, между ярмом неограниченной власти и помещичьими правами над крестьянами, в этом сословии, где можно встретить самую высокую европейскую научную культуру при отсутствии свободы слова, без иного дела, кроме государственной службы, — кипит множество страстей и сил, которые, именно вследствие отсутствия выхода, бродят, растут и часто вырываются на свет в виде какой-либо блестящей эксцентричной личности.

Из этого именно сословия исходит все литературное движение, именно из него вышел Пуш-

## ==252

кин, этот наиболее совершенный представитель широты и богатства русской природы; именно в нем зародилось и выросло 26 декабря 1825 года<sup>127</sup>, эта *indulgentia plenaria* \* всей касты, ее расчет за целый век.

Десять лет каторжных работ, двадцать пять лет ссылки не смогли сломить и согнуть этих героических людей, которые с горстью солдат вышли на Исаакиевскую<sup>1</sup> площадь, чтобы бросить перчатку императорской власти и всенародно произнести слова, которые до сих пор и даже теперь еще передаются от одного к другому в рядах нового поколения.

Восстание 1825 года заключило собою первую эпоху петербургского периода. Вопрос был разрешен. Образованный класс, тот класс народа, который остается верным толчку, данному Петром I, доказал тогда своей деятельной ненавистью к деспотизму, что он догнал своих западных братьев. Они оказались в полном единении чувств и взглядов с Риго, гонфалоньерами и карбонариями. Ужас правительства был тем более велик, что оно обнаружило, с одной стороны, что все элементы дворянства и военной иерархии замешаны в заговоре, и что, с другой стороны, оно осознало отсутствие всякой реальной связи между собой и древним народом, оставшимся русским.

26 декабря вскрыло все, что было искусственного, хрупкого и преходящего в петербургском империализме. Революция была близка

полное отпущение грехов (лат.)

## ==253

к успешному осуществлению... Что произошло бы в случае успеха? Трудно сказать; но каков бы ни был результат, можно смело утверждать, что народ и дворянство спокойно приняли бы совершившийся факт.

Это-то и было с ужасом понято правительством. Преисполненное недоверия к дворянству, оно вздумало сделаться национальным и добилось лишь того, что стало врагом всякой цивилизации. Национальная жилка в нем совершенно отсутствовала. Правительство с самого начала проявило себя мрачным и недоверчивым; целый корпус тайной полиции, вновь учрежденный, окружил трон. Затем правительство отказалось от принципов Петра I, развивавшихся в течение столетия. Последовал

непрерывный ряд ударов по всякой свободе, всякой умственной деятельности; террор распространялся с каждым днем все более и более. Не решались что-либо печатать; не решались писать письма; доходили до того, что боялись рот открыть не только на людях, но и в собственной комнате, — все онемело.

Образованные люди почувствовали тогда, со своей стороны, что под ногами у них не родная земля; они поняли всю свою слабость, и отчаяние охватило их. Пряча в глубине души слезы и скорбь, они рассеялись по своим деревням и по всем большим дорогам Европы. Петербург, по примеру правительства, приобрел совсем иной характер; то был город в состоянии непрерывной осады 128. Общество широкими шагами отступало назад. Аристократические чув-

==254

### Россия

ства человеческого достоинства, которые в царствование Александра завоевали себе значительное место, были настолько оттеснены, что стало возможным введение закона о заграничных паспортах 129, сделались возможными нравы, о которых рассказал вам Кюстин.

Но внутренняя работа продолжалась, тем более деятельная в своих глубинах, что она не находила никакой возможности проявить себя на поверхности. Время от времени раздавались голоса, заставлявшие трепетать все фибры человеческой души: то был крик скорби, стон негодования, песнь отчаяния, и к этому крику, к этому стону, к этой песне примешивалась грустная весть о судьбе, которую навлек на себя какой-нибудь смельчак, вынужденный отправиться в изгнание на Кавказ или в Сибирь. Так, через десять лет после 26 декабря один мыслитель бросил в мир несколько листов, которые повсюду, где только есть читатели в России, вызвали потрясение, подобное электрическому удару.

Это сочинение было спокойным и беззлобным упреком; оно напоминало бесстрастное исследование положения русских, но то был взгляд разгневанного человека, глубоко оскорбленного в самых благородных своих чувствах. Строгий и холодный, он требует у России отчета за все страдания, которые она готовит мыслящему человеку, и, разобрав их все, он с ужасом отворачивается, он проклинает Россию в ее прошлом, он презирает ее настоящее и предсказывает лишь несчастье в будущем. Таких го-

==255

лосов не слышно было во время блестящей эпохи несколько экзотического либерализма Александра, — они не раздавались даже в стихах Пушкина; чтоб исторгнуть их из человеческой груди, надобен был нестерпимый груз десятилетнего террора; нам надобно было увидеть гибель всех наших друзей, славу осады Варшавы и усмирение Польши.

Чаадаев во многом был неправ, но жалоба его была законна, и голос его заставил выслушать ужасную истину. Именно этим объясняется его громадный отзвук. В ту эпоху все сколько-нибудь значительное в литературе принимает новый характер. Покончено с подражанием французам и немцам, мысль сосредоточивается и ожесточается; более горькое отчаяние и более горькая ирония над собственной



судьбой прорывается повсюду, как в стихах Лермонтова, так и в издевательском смехе Гоголя, — смехе, за которым, по выражению автора, таятся слезы.

Если начала новой жизни и движения оставались тогда разобщенными; если они не достигли того единства, которое царило до 26 декабря, то это прежде всего означает, что самые основные вопросы сделались гораздо более сложными и глубокими. Все серьезные люди поняли, что нельзя более тащиться на буксире у Европы, что в России есть нечто особое, свойственное ей одной, нечто такое, что необходимо изучить и понять в ее прошедшем и настоящем.

Одни во всем, что свойственно России, не видели ничего враждебного или неприятного для европейских установлений; наоборот, они пред-

==256

видели время, когда Россия, пройдя через петербургский период, и Европа, пройдя через конституционализм, встретятся друг с другом. Иные, наоборот, обвиняя во всей тяжести настоящего положения антинациональный характер правительства, смешали в общей ненависти все, что связано с Западом.

Петербург научил этих людей презирать всякую цивилизацию, всякий прогресс; они хотели вернуться к узким формам допетровского времени, в которых русская жизнь снова оказалась бы почти задушенной. К счастью, путь, ведущий к старой России, уже давно зарос густым лесом, и ни славянофилам, ни правительству вырубить его не удастся.

Борьба этих партий в течение десяти лет придавала новую жизнь литературе; у журналов заметно увеличилось число подписчиков, и на лекциях по истории скамьи Московского университета ломились от наплыва слушателей 131. Не забудьте, что, вследствие крайней бедности органами общественного мнения, литературные и научные вопросы превратились в арену для политических партий. Таково было положение вещей, когда вспыхнула Февральская революция.

Правительство, вначале ошеломленное, ничего не предпринимало, но когда оно убедилось в смиренном и приниженном поведении скромной республики, оно быстро пришло в себя. Русское правительство открыто объявило, что оно рассматривает себя как поборника монархического принципа, и, предвидя солидарность цивилизации с революцией (по примеру француз

==257

ского Национального собрания), оно не скрывало, что готово всем пожертвовать во имя порядка. Русское правительство с еще большей энергией, чем это Собрание, с циничной дерзостью двинулось на уничтожение цивилизации и прогресса.

К чему же все это приведет?.. В России— возможно, к уничтожению всех цивилизующих элементов. Ужасный результат! Но Россия от этого не погибнет. Вполне возможно даже, что этот результат послужит народу сигналом пробуждения, и тогда наступит новая эра для справедливости и народных прав.

Тем временем правительство словно забыло, что оно рождено в Петербурге, что оно — правительство цивилизованной России, что и оно связано залогами, данными им европейской цивилизации, и что, несмотря на принятую теперь правительством личину православия и народности, русский крестьянин продолжает по-прежнему считать его немецким.

Судьба петербургского трона — подивитесь этой великолепной иронии! — связана с цивилизацией; уничтожая ее, он низвергнется в ужасную бездну; если же он позволит ей расти, то провалится в другую бездну. Возможно, впрочем, что Россия, вследствие невыносимого гнета, распадется на множество частей; возможно также, что она просто ринется вперед и, полная нетерпения, стряхнет со своей могучей спины неловких всадников. Все это принадлежит будущему, а я не мастер в искусстве прорицания.

==258

После всего, что я сказал, невольно задаешься вопросом — какую же идею, какую мысль вносит русский народ в историю? До сих пор мы видим только, что он представляет лишь самого себя,—это обыкновенно является свидетельством незрелости. Какую идею вносит ребенок в семью? Ничего, кроме дарований, склонностей, возможности развития. Что же касается того, существует ли эта возможность, крепки ли мышцы ребенка и насколько ей соответствуют его способности, — то это вопросы, подлежащие нашему рассмотрению. Вот почему я и настаиваю теперь более, чем когда-либо, на необходимости изучения России.

Перед лицом Европы, силы которой за долгую жизнь истощились в борьбе, выступает народ, едва только начинающий жить и который, под внешней жесткой корой царизма и империализма, вырос и развился, подобно кристаллам, нарастающим под геодом; кора московского царизма отпала, как только она сделалась бесполезной; кора же империализма еще слабее прилегает к дереву.

Действительно, до сих пор русский народ совершенно не занимался вопросом о правительстве; вера его была верой ребенка, покорность его — совершенно пассивной. Он сохранил лишь одну крепость, оставшуюся неприступной в веках, — свою земельную общину, и в силу этого он находится ближе к социальной революции, чем к революции политической. Россия приходит к жизни как народ, последний в ряду

==259

других, еще полный юности и деятельности, в эпоху, когда другие народы мечтают о покое; он появляется, гордый своей силой, в эпоху, когда другие народы чувствуют себя усталыми и на закате. Его прошлое было скудно, его настоящее—чудовищно; конечно, все это не создает еще никаких прав.

Множество народов сошло с исторической сцены, не изведав всей полноты жизни, но у них не было таких колоссальных притязаний на будущее, как у России. Вы знаете это. В истории нельзя сказать: *tarde venientibus ossa* \*, наоборот, им-то предназначены лучшие плоды, если только они способны ими питаться. В этом-то и заключается главный вопрос.

Сила русского народа признана всей Европой уж вследствие одного только страха, который он ей внушает; он показал в петербургский период, к чему он способен, он много сделал — и это несмотря на цепи, которыми были отягощены его руки. Это странно и, тем не менее, верно — как верно и то, что другие народы, бедно одаренные, провели целые века в совершенном бездействии, хоть и наслаждаясь полной свободой. Справедливость не принадлежит к числу важнейших достоинств истории; справедливость слишком мудра и слишком прозаична, тогда как жизнь в своем развитии, напротив, своенравна и полна поэзии. С точки зрения истории справедливость воздается тому, кто ее не заслужил; заслуга, впрочем, находит

поздному гостю—одни лишь кости (лат.)

## ==260

вознаграждение в самой себе.

Вот, дорогой друг, все, что я хотел вам сказать на сей раз. Я вполне мог бы на этом закончить, но мне пришла только что в голову странная мысль; вероятно, найдется множество добрых людей, несколько тугих на ухо, которые увидят в моем письме исключительный патриотизм, предпочтение, оказываемое России, и которые воскликнут по этому поводу, что у них составилось об этой стране совсем иное представление.

Да, я люблю Россию.

Вообще, я считаю невозможным или бесполезным писать о предмете, к которому не испытываешь ни любви, ни ненависти. Но моя любовь — не животное чувство привычки; это не тот природный инстинкт, который превратили в добродетель патриотизма; я люблю Россию потому, что я ее знаю, сознательно, разумно. Есть также многое в России, что я безмерно ненавижу, всей силой первой ненависти. Я не скрываю ни того, ни другого.

В Европе совсем не знают России; в России очень плохо знают Европу. Было время, когда, близ Уральских гор, я создавал себе о Европе фантастическое представление; я верил в Европу и особенно во Францию. Я воспользовался первой же минутой свободы, чтобы приехать в Париж.

То было еще до Февральской революции. Я разглядел вещи несколько ближе и покраснел за свои прежние представления. Теперь я

## ==261

раздражен несправедливостью бесчувственных публицистов, которые признают существование царизма только под 59-м градусом северной широты. С какой стати эти две мерки? Поносите сколько вам вздумается и осыпайте упреками петербургское самодержавие и постоянную нашу безропотность; но поносите повсюду и умеете распознавать деспотизм, в какой бы он форме ни проявлялся: носит ли он название президента республики, Временного правительства или Национального собрания.

Какой позор — в 1849 году, — утратив все, на что надеялись, все, что приобрели, близ трупов падших и расстрелянных, близ тех, кого заковали в цепи и сослали, при виде этих несчастных, гонимых из страны в страну, которым оказывают гостеприимство, как евреям в средние века, которым бросают, как собакам, кусок хлеба, чтобы заставить их затем продолжать свой путь, — какой позор, повторяю я, в 1849 году останавливаться на узком воззрении либерального конституционализма, этой платонической и бесплодной любви к политике!

Оптический обман, при помощи которого рабству придавали видимость свободы, рассеялся; маски спали, мы в точности теперь знаем цену республиканской свободы во Франции и конституционной свободы в Германии; мы видим теперь (а если не видим этого, то в этом наша вина), что все существующие правительства, начиная от скромнейшего швейцарского кантона до самодержца всея Руси, — это лишь вариации одной и той же темы.

## ==262

«Свободой должно пожертвовать во имя порядка, личностью — во имя общества; итак, чем сильнее правительство, тем лучше».

Скажу еще раз: если ужасно жить в России, то столь же ужасно жить и в Европе. Отчего же покинул я Россию? Чтоб ответить на этот вопрос, я переведу вам несколько слов из моего прощального письма к друзьям: «Не ошибитесь! Не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь, да и не знаю, кто может находить теперь в Европе радость и отдых. Грустью дышит каждое слово моих писем. Жизнь здесь очень тяжела.

Я ни во что не верю здесь, кроме как в движение; я не жалею здесь никого, кроме жертв; не люблю здесь никого, кроме тех, которых преследуют; никого не уважаю, кроме тех, кого казнят, и однако остаюсь. Я остаюсь страдать вдвойне, — страдать от нашего горя и от горя, которое нахожу здесь, погибнуть, может быть, при всеобщем разгроме. Я остаюсь, потому что борьба здесь открытая, потому что она здесь гласная.

Горе побежденному здесь! Но он не погибает, прежде чем вымолвил слово, прежде чем испытал свои силы в бою, и именно за этот голос, за эту открытую борьбу, за эту гласность я остаюсь здесь».

Вот что я писал 1 марта 1849 года 132. Дела с того времени сильно изменились. Привилегия быть выслушанным и открыто сражаться уменьшается с каждым днем; Европа с каждым днем

==263

становится все более похожей на Петербург; есть даже страны, более похожие на Петербург, чем сама Россия. Венгры знают это, — венгры, искавшие в безумии отчаяния защиты под русскими знаменами...

Если же и здесь дойдут до того, что заткнут нам рот и не позволят даже проклинать во всеуслышание наших угнетателей, то я уеду в Америку. Я — человек и пожертвую всем ради человеческого достоинства и свободы слова.

Вероятно, вы последуете туда за мною? ..

Лондон 133, 25 августа 1849 г.

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. VI. М., 1955, стр. 187—223.

==264

[00.htm - glava05](#)

### **РУССКИЙ НАРОД И СОЦИАЛИЗМ. ПИСЬМО К Ж. МИШЛЕ (Перевод с французского)**

Милостивый государь, Вы стоите слишком высоко в мнении всех мыслящих людей, каждое слово, вытекающее из вашего благородного пера, принимается европейскою демократией? с слишком полным и заслуженным доверием, чтобы в деле, касающемся самых глубоких моих убеждений, мне было возможно молчать и оставить без ответа характеристику русского народа, помещенную вами в вашей легенде о Костюшке \*.

Этот ответ необходим и по другой причине: пора показать Европе, что, говоря о России, говорят не об отсутствующем, не о безответном, не о глухонемом.

Мы, оставившие Россию только для того, чтобы свободное русское слово раздалось, наконец, в Европе, — мы тут налицо и считаем долгом подать свой голос, когда человек, вооруженный огромным и заслуженным авторитетом, утверждает, что «Россия не существует, что

В фельетоне журнала «L'Evenement», от 28 августа до 15 сентября 1851. После этого легенда о Костюшке вошла в особо изданный том сочинений Мишле под заглавием «Демократических легенд». — Прим. А. И. Герцена.

==265

русские не люди, что они лишены нравственного смысла».

Если вы разумеете Россию официальную, царство-фасад, византийско-немецкое правительство, то вам и книги в руки. Мы соглашаемся вперед со всем, что вы нам скажете. Не нам тут играть роль

заступника. У русского правительства так много агентов в прессе, что в красноречивых апологиях его действий никогда не будет недостатка.

Но не об одном официальном обществе идет речь в вашем труде; вы затрагиваете вопрос более глубокий; вы говорите о самом народе.

Бедный русский народ! Некому возвысить голос в его защиту! Посудите сами, могу ли я, по совести, молчать.

Русский народ, милостивый государь, жив, здоров и даже не стар, — напротив того, очень молод. Умирают люди и в молодости, это бывает, но это не нормально.

Прошлое русского народа темно; его настоящее ужасно, но у него есть права на будущее. Он не верит в свое настоящее положение, он имеет дерзость тем более ожидать от времени, чем менее оно дало ему до сих пор.

Самый трудный для русского народа период приближается к концу. Его ожидает страшная борьба; к ней готовятся его враги.

Великий вопрос: to be or not to be<sup>134</sup>—скоро будет решен для России. Но грешно перед борьбою отчаиваться в успехе.

Русский вопрос принимает огромные, страшные размеры; он сильно озабочивает все пар-

==266

тии; но мне кажется, что слишком много занимаются Россией императорскою, Россией официальной и слишком мало Россией народной, Россией безгласной.

Даже смотря на Россию только с правительственной точки зрения, не думаете ли вы, что не мешало бы познакомиться поближе с этим неудобным соседом, который дает чувствовать себя по всей Европе, — тут штыками, там шпионами? Русское правительство простирается до Средиземного моря своим покровительством Оттоманской Порте, до Рейна своим покровительством немецким своякам и дядям, до Атлантического океана своим покровительством порядку во Франции<sup>135</sup>.

Не мешало бы, говорю я, оценить по достоинству этого всемирного покровителя, исследовать, не имеет ли это странное государство другого призвания, кроме отвратительной роли, принятой петербургским правительством, — роли преграды, беспрестанно вырастающей на пути человечества.

Европа приближается к страшному катаклизму. Средневековый мир рушится. Мир феодальный кончается. Политические и религиозные революции изнемогают под бременем своего бессилия; они совершили великие дела, но не исполнили своей задачи. Они разрушили веру в престол и в алтарь, но не осуществили свободу; они зажгли в сердцах желания, которых они не в силах исполнить. Парламентаризм, протестантизм — все это были лишь отсрочки, временное спасение, бессильные оплоты против

смерти и возрождения. Их время минуло. С 1848 года стали понимать, что ни окостенелое римское право, ни хитрая казуистика, ни тощая деистическая философия, ни бесплодный религиозный рационализм не в силах отодвинуть совершение судеб общества.

Гроза приближается, этого отвергать невозможно. В этом соглашаются люди революции и люди реакции. У всех закружилась голова; тяжелый, жизненный вопрос лежит у всех на сердце и сдавливает дыхание. С возрастающим беспокойством все задают себе вопрос, достанет ли силы на возрождение старой Европы, этому дряхлому Протею, этому разрушающемуся организму? Со страхом ждут ответа, и это Ожидание ужасно.

Действительно, вопрос страшный!

Сможет ли старая Европа обновить свою остывающую кровь и броситься стремглав в это необозримое будущее, куда увлекает ее необоримая сила, к которому она несется без оглядки, к которому путь идет, может быть, через развалины отцовского дома, через обломки минувших цивилизаций, через попорченные богатства новейшего образования?

С обеих сторон верно поняли всю важность настоящей минуты. Европа погружена в глухой, душный мрак накануне решительной битвы. Это не жизнь, а тяжкое, тревожное томление. Ни законности, ни правды, ни даже личины свободы; везде неограниченное господство светской инквизиции; вместо законного порядка— осадное положение. Один нравственный двига-

тель управляет всем — страх, и его достаточно. Все вопросы отступают на второй план перед всепоглощающим интересом реакции. Правительства, по-видимому самые враждебные, сливаются в единую, вселенскую полицию. Русский император, не скрывая своей ненависти к французам, награждает парижского префекта полиции; король неаполитанский жалует орден президенту республики. Берлинский король, надев русский мундир, спешит в Варшаву обнимать своего врага, императора австрийского, в благодатном присутствии Николая<sup>136</sup>, в то время как он, отщепенец от единой спасающей церкви, предлагает свою помощь римскому владыке. Среди этих сатурналий, среди этого шабаша реакции ничто не охраняет более личности от произвола. Даже те гарантии, которые существуют в неразвитых обществах, в Китае, в Персии, не уважаются более в столицах так называемого образованного мира.

Едва веришь глазам. Неужели это та самая Европа, которую мы когда-то знали и любили?

Право, если бы не было свободной и гордой Англии, «этого алмаза, оправленного в серебро морей»<sup>137</sup>, как называет ее Шекспир, если б Швейцария, как Петр, убоявшись кесаря, отреклась от своего начала<sup>138</sup>, если б Пьемонт, эта уцелевшая ветка Италии, это последнее убежище свободы, загнанной за Альпы и не перешедшей Апеннины, если б и они увлеклись примером соседей, если б и эти три страны заразились мертвящим духом, веющим из Парижа и Вены, — можно было бы подумать, что кон

серваторам уже удалось довести старый мир до конечного разложения, что во Франции и Германии уже наступили времена варварства.

Среди этого хаоса, среди этого предсмертного томления и мучительного возрождения, среди этого мира, распадающегося в прах вокруг колыбели, взоры невольно обращаются к востоку.

Там, как темная гора, вырезающаяся из-за тумана, виднеется враждебное, грозное царство; порою кажется, оно идет, как лавина, на Европу, что оно, как нетерпеливый наследник, готово ускорить ее медленную смерть.

Это царство, совершенно неизвестное двести лет тому назад, явилось вдруг, без всяких прав, без всякого приглашения, грубо и громко заговорило в совете европейских держав и потребовало себе доли в добыче, собранной без его содействия.

Никто не посмел восстать против его притязаний на вмешательство во все дела Европы.

Карл XII попытался, но его до тех пор непобедимый меч сломился; Фридрих II захотел воспротивиться посягательствам петербургского двора; Кенигсберг и Берлин сделались добычею северного врага 139. Наполеон проник с полумиллионом войска в самое сердце исполина и уехал один украдкою, в первых попавшихся пошевнях. Европа с удивлением смотрела на бегство Наполеона, на несущиеся за ним в погоню тучи казаков, на русские войска, идущие в Париж и подающие по дороге немцам милостыню — их национальной независимости. С тех пор Россия налегла, как вампир, на судьбу Европы и стере-

жет ошибки царей и народов. Вчера она чуть не раздавила Австрию, помогая ей против Венгрии, завтра она провозгласит Бранденбург русскою губерниею, чтобы успокоить берлинского короля.

Вероятно ли, что накануне борьбы об этом бойце ничего не знают? А между тем он уже стоит, грозный, в полном вооружении, готовый переступить границу по первому зову реакции. И при всем том едва знают его оружие, цвет его знамени и довольствуются его официальными речами и неопределенными разногласными рассказами о нем.

Иные говорят только о всемогуществе царя, о правительственном произволе, о рабском духе подданных; другие утверждают, напротив, что петербургский империализм не народен, что народ, раздавленный двойным деспотизмом правительства и помещиков, несет ярмо, но не мирится с ним, что он не уничтожен, а только несчастен, и в то же время говорят, что этот самый народ придает единство и силу колоссальному царству, которое давит его. Иные прибавляют, что русский народ — презренный сброд пьяниц и плутов; другие же уверяют, что Россия населена способною и богато одаренною порою людей.

Мне кажется, есть что-то трагическое в старческой рассеянности, с которою старый мир спутывает все сведения об своем противнике.



В этом сбросе противоречащих мнений проглядывает столько бессмысленных повторений, такая печальная поверхностность, такая закосне-

==271

лость в предрассудках, что мы поневоле обращаемся за сравнением к временам падения Рима.

Тогда, также накануне переворота, накануне победы варваров, провозглашали вечность Рима, бессильное безумие назареев и ничтожность движения, начинавшегося в варварском мире.

Вам принадлежит великая заслуга: вы первый во Франции заговорили о русском народе, вы невзначай коснулись самого сердца, самого источника жизни. Истина сейчас бы обнаружилась вашему взору, если б в минуту гнева вы не отдернули протянутой руки, если б вы не отвернулись от источника, потому что он показался мутным.

Я с глубоким прискорбием прочел ваши озлобленные слова. Печальный, с тоскою в сердце, я, признаюсь, напрасно искал в них историка, философа и прежде всего любящего человека, которого мы все знаем и любим. Спешу оговориться; я вполне понял причину вашего негодования: в вас заговорила симпатия к несчастной Польше. Мы также глубоко испытываем это чувство к нашим братьям-полякам, и у нас это чувство — не только жалость, а также стыд и угрызение совести. Любовь к Польше! Мы все ее любим, но разве с этим чувством необходимо сопрягать ненависть к другому народу, столь же несчастному, — народу, который принужден был своими связанными руками помогать злодействам свирепого правительства? Будем великодушны, не забудем, что на наших глазах народ, вооруженный всеми трофеями не-

==272

давей революции, согласился на восстановление варшавского порядка в Риме<sup>140</sup>; а сегодня... взгляните сами, что происходит вокруг вас...

а ведь мы не говорим еще, чтобы французы перестали быть людьми.

Пора забыть эту несчастную борьбу между братьями. Между нами нет победителя. Польша и Россия подавлены общим врагом. Жертвы, мученики — и те отворачиваются от прошлого, равно печального для них и для нас. Ссылаюсь, как вы, на вашего друга, на великого поэта Мицкевича.

Не говорите о мнениях польского певца, что «это милосердие, святое заблуждение». Нет, это плоды долгой и добросовестной думы, глубокого понимания судеб славянского мира. Прощение врагов — прекрасный подвиг; но есть подвиг еще более прекрасный, еще больше человеческий: это понимание врагов, потому что понимание — разом прощение, оправдание, примирение!

Славянский мир стремится к единству; это стремление обнаружилось тотчас после наполеоновского периода. Мысль о славянской федерации уже зарождалась в революционных планах Пестеля и Муравьева. Многие поляки участвовали в тогдашнем русском заговоре.

Когда вспыхнула в Варшаве революция 1830 года, русский народ не обнаружил ни малейшей вражды против ослушников воли царской. Молодежь всем сердцем сочувствовала полякам. Я помню, с каким нетерпением ждали мы известия из Варшавы; мы плакали, как

### ==273

дети, при вести о поминках, справленных в столице Польши по нашим петербургским мученикам 141. Сочувствие к полякам подвергало нас жестоким наказаниям; поневоле надобно было скрывать его в сердце и молчать.

Очень может быть, что во время войны 1830 года в Польше преобладало чувство исключительной национальности и весьма понятной вражды. Но с тех пор деятельность Мицкевича, исторические и филологические труды многих славян, более глубокое знание европейских народов, купленное тяжелою ценою изгнания, дали мыслям совсем другое направление. Поляки почувствовали, что борьба идет не между русским народом и ими, они поняли, что им впредь можно сражаться не иначе, как за их и нашу свободу, как было написано на их революционном знамени.

Конарский, измученный и застреленный Николаем в Вильне, призывал к восстанию русских и поляков, без различия племени. Россия отблагодарила его одною из тех едва известных трагедий, которыми оканчивается у нас всякое героическое проявление воли под давлением немецких ботфортов.

Армейский офицер Короваев решился спасти Конарского. День его дежурства приближался; все было приготовлено для бегства, когда предательство одного из товарищей польского мученика разрушило его планы. Молодого человека арестовали, отправили в Сибирь, и с тех пор об нем не было никогда слухов.

### ==274

Я провел пять лет в ссылке в отдаленных губерниях империи; много встречал я там ссыльных поляков. Почти в каждом уездном городе живет либо целое семейство, либо один из несчастных воинов независимости. Я охотно сослался бы на их свидетельство; конечно, они не могут пожаловаться на недостаток симпатии со стороны местных жителей. Разумеется, тут речь идет не о полиции и не о высшей военной иерархии. Они нигде не отличаются любовью к свободе, тем паче в России. Я мог бы сослаться также на польских студентов, посылаемых ежегодно в русские университеты для удаления от родных влияний; пусть они расскажут, как принимали их русские товарищи. Они расставались с нами со слезами на глазах.

Вы помните, что в 1847 году в Париже, когда польские эмигранты праздновали годовщину своей революции, на трибуне явился русский, чтобы просить о дружбе и о забвении прошлого. Это был наш несчастный друг Бакунин.<sup>142</sup> Впрочем, чтоб не ссылаться на соотечественников, выбираю между теми, которых считают нашими врагами, человека, которого вы сами назвали в вашей легенде о Костюшке. Обратитесь за сведениями об этом предмете к одному из старейшин польской демократии, к Бернацкому, одному из министров революционной Польши; я смело ссылаюсь на него, — долгое горе, конечно, могло бы ожесточить его против всего русского. Я убежден, что он подтвердит все сказанное мною.

## ==275

Солидарность, связывающая Россию и Польшу между собою и со всем славянским миром, не может быть отвергнута; она очевидна. Еще более: вне России нет будущности для славянского мира; без России он не разовьется, он расплывается и будет поглощен германским элементом; он сделается австрийским и потеряет свою самостоятельность. Но не такова, по нашему мнению, его судьба, его назначение.

Следуя за постепенным развитием вашей мысли, я должен вам признаться, что мне невозможно согласиться с вашим взглядом, по которому вся Европа представляет одну личность, в которой каждая народность играет роль необходимого органа.

Мне кажется, что все германо-романские народности необходимы в европейском мире, потому что они существуют, но что трудно было бы доказать, что они существуют в нем вследствие какой-нибудь необходимости. Уже Аристотель отличал предсуществующую необходимость от необходимости, вносимой в последствии фактов 143. Природа покоряется необходимости совершившихся событий, но колебание между разнообразными возможностями очень велико. На том же основании славянский мир может претъявлять свои права на единство, тем более, что он состоит из единого племени.

Централизация противна славянскому духу; федерализация гораздо свойственнее его характеру. Только сгруппировавшись в союз свободных и самобытных народов, славянский мир 18\*

## ==276

вступит, наконец, в истинно историческое существование. На его прошлое можно смотреть только как на рост, на приготовление, на очищение. Исторические государственные формы, в которых жили славяне, не соответствовали внутренней национальной потребности их, потребности неопределенной, инстинктивной, если хотите, но тем самым заявляющей необыкновенную жизненность и много обещающей в будущем. Славяне до сих пор во всех фазах своей истории обнаруживали странное полувнимание — даже удивительную симпатию. Так Россия перешла из язычества в христианство без потрясений, без возмущений, единственно из покорности великому князю Владимиру, из подражания Киеву. Старых идолов без сожаления бросили в Волхов и покорились новому богу, как новому идолу.

Восемьсот лет спустя часть России точно так же покорилась выписной из-за границы цивилизации.

Славянский мир похож на женщину, никогда не любившую, и по этому самому, по-видимому, не принимающую никакого участия во всем происходящем вокруг нее. Она везде не нужна, всем чужая. Но за будущее отвечать нельзя; она еще молода, и уже странное томление овладело ее сердцем и заставляет его биться скорее.

Что касается до богатства народного духа, то нам достаточно указать на поляков, единственный славянский народ, который бывал разом и силен и свободен.

==277

Славянский мир, в сущности, не так разнороден, как кажется. Под внешним слоем рыцарской, либеральной и католической Польши, императорской, поработанной, византийской России, под демократическим правлением сербского воеводы, под бюрократическим ярмом, которым Австрия подавляет Иллирию, Далмацию и Банат, под патриархальной властью Османлисов и под благословением черногорского владыки живет народ, физиологически и этнографически тождественный.

Большая часть этих славянских племен почти никогда не подвергалась поработанию вследствие завоевания. Зависимость, в которой так часто находились они, большею частью выражалась только в признании чужого владычества и во взносе дани. Таков, например, был характер монгольского владычества в России. Таким образом, славяне сквозь длинный ряд столетий сохранили свою национальность, свои нравы, свой язык.

По всему вышесказанному не имеем ли мы право считать Россию зерном кристаллизации, тем центром, к которому тяготеет стремящийся к единству славянский мир, и это тем более, что Россия покуда единственная часть великого племени, сложившаяся в сильное и независимое государство?

Ответ на этот вопрос был бы совершенно ясен, если бы петербургское правительство сколько-нибудь догадывалось бы о своем национальном призвании, если б этот тупой и мертвящий деспотизм мог ужиться с какою-ни-

==278

будь человеческою мыслию. Но при настоящем положении дел какой добросовестный человек решится предложить западным славянам соединение с империею, находящеюся постоянно в осадном положении, — империею, где скипетр превратился в заколачивающую насмерть палку?

Императорский панславизм, восхваляемый от времени до времени людьми купленными или заблуждающимися, разумеется, не имеет ничего

общего с союзом, основанным на началах свободы.

Здесь логика необходимо приводит нас к вопросу первостепенной важности.

Предположив, что славянский мир может надеяться в будущем на более полное развитие, нельзя не спросить, который из элементов, выразившихся в его зародышном состоянии, дает ему право на такую надежду? Если славяне считают, что их время пришло, то этот элемент

должен соответствовать революционной идее в Европе.

Вы указали на этот элемент, вы коснулись его, но он ускользнул от вас, потому что благородное сострадание к Польше отвлекло ваше внимание.

Вы говорите, что «основание жизни русского народа есть коммунизм», вы утверждаете, что «его сила лежит в аграрном законе, в постоянном дележе земли».

Какое страшное Мане-фекекел<sup>144</sup> вылетело из ваших уст!.. Коммунизм в основании! Сила, основанная на разделе земель! И вы не испугались ваших собственных слов?

==279

Не следовало ли тут остановиться, подумать, углубиться в вопрос, оставить его не прежде, чем убедившись, мечта это или истина?

Разве в XIX столетии есть какой-нибудь серьезный интерес, лежащий вне вопроса о коммунизме, вне вопроса о разделе земель?

Увлеченный вашим негодованием, вы продолжаете: «У 'них (у русских) недостает существенного признака человечности — нравственного чутья, чувства добра и зла. Истина и правда не имеют для них смысла; заговорите о них — они молчат, улыбаются и не знают, что значат эти слова». Кто же те русские, с которыми вы говорили? Какие понятия о правде и истине оказались для них недоступными? Этот вопрос не лишний. В наше глубоко революционное время слова правда и истина утратили свое абсолютное, тождественное для всех значение.

Истина и правда старой Европы в глазах Европы рождающейся — неправда и ложь, Народы— произведения природы; история— прогрессивное продолжение животного развития. Прилагая наш нравственный масштаб к природе, мы далеко не уйдем. Ей дела нет ни до нашей хулы, ни до нашего одобрения. Для нее не существуют приговоры и Монтионовские премии<sup>145</sup>. Она не подпадает под этические категории, созданные нашим личным произволом. Мне кажется, что народ нельзя назвать ни дурным, ни хорошим. В народе всегда выражается истина. Жизнь народа не может быть ложью. Природа производит лишь

==280

то, что осуществимо при данных условиях: она увлекает вперед все существующее своим творческим брожением, своею неутолимой жаждой осуществления, этою жаждой, общей всему живущему.

Есть народы, жившие жизнью доисторической, другие — живущие жизнью внеисторической; но, раз вступившие в широкий поток единой и нераздельной истории, они принадлежат человечеству, и, с другой стороны, им принадлежит все прошлое человечества. В истории, т. е. деятельной и прогрессивной части человечества, мало-помалу сглаживается аристократия лицевого угла, цвета кожи и других различий. То, что не очеловечилось, не может вступить в историю; поэтому нет народа, взшедшего в историю, которого можно было бы считать стадим животных, как нет народа, заслуживающего именоваться сонмом избранных.

Нет человека довольно смелого или довольно неблагодарного, чтобы отвергать огромное значение Франции в судьбах европейского мира; но позвольте мне откровенно признаться, что я не могу согласиться с вашим мнением, по которому участие Франции — условие *sine qua* поп \* дальнейшего хода истории.

Природа никогда не кладет весь свой капитал на одну карту. Рим, вечный город, имевший не меньше прав на всемирную гегемонию, пошатнулся, разрушился, исчез, и безжалостное человечество шагнуло вперед через его могилу.

непременное (лат.)

==281

С другой стороны, трудно было бы, не считая природу за осуществленное безумие, видеть лишь отверженное племя, лишь громадную ложь, лишь случайный сбор существ человеческих только по порокам — в народе, разраставшемся в течение десяти столетий, упорно хранившем свою национальность, сплотившемся в огромное государство, вмещающемся в историю гораздо более, может быть, чем бы следовало.

И все это тем труднее принять, что занимающий нас народ, даже по словам его врагов, нисколько не находится в застое. Это вовсе не племя, дошедшее до общественных форм, приблизительно соответствующих его желаниям, и уснувшее в них, как китайцы, еще менее народ, переживший себя и угасающий в старческой немощи, как индусы. Напротив того, Россия государство совершенно новое — неконченное здание, где все еще пахнет свежей известью, где все работает и вырабатывается, где ничто еще не достигло цели, где все изменяется, — часто к худшему, но все-таки изменяется. Одним словом, это народ, по вашему мнению, имеющий основным началом коммунизм, сильный разделом земель...

В чем, наконец, упрекаете вы русский народ? В чем состоит сущность вашего обвинения? «Русский, — говорите вы, — лжет и крадет; постоянно крадет, постоянно лжет, и это совершенно невинно; это в его природе».

Я не останавливаюсь на чрезмерном обобщении вашего приговора, но обращаюсь к вам

==282

с простым вопросом: кого обманывает, кого обкрадывает русский человек? Кого, как не помещика, не чиновника, не управляющего, не полицейского, одним словом, заклятых врагов крестьянина, которых он считает за басурманов, за отступников, за полунемцев? Лишенный всякой возможности защиты, он хитрит с своими мучителями, он их обманывает и в этом совершенно прав. Хитрость, милостивый государь, по словам великого мыслителя, — ирония грубой власти.

Русский крестьянин, при своем отвращении от личной поземельной собственности, так верно подмеченном вами, при своей беззаботной и ленивой природе, мало-помалу и незаметно запутался в сети немецкой бюрократии и помещичьей власти. Он подвергся этому унижающему злу с страдательною покорностью, но он не поверил ни правам помещика, ни правде судов, ни законности исполнительной власти. Вот уже почти двести лет, как все его существование стало глухою, отрицательною оппозицией) против существующего порядка вещей. Он покоряется притеснению, он терпит, но не причастен ничему, что происходит вне сельской общины.

Имя царя еще возбуждает в народе суеверное сочувствие; не перед царем Николаем благоговееет народ, но перед отвлеченной идеею, перед мифом; в народном воображении царь пред-

Гегель, в посмертных сочинениях.—Прим. А. И. Герцена.

==283

ставляется грозным мстителем, осуществлением правды, земным провидением.

После царя одно духовенство могло бы иметь влияние на православную Россию. Оно одно представляет в правительственных сферах старую Русь; духовенство не бреет бороды и тем самым осталось на стороне народа. Народ с доверием слушает монахов. Но монахи и высшее духовенство, исключительно занятые жизнью загробной, нимало не заботятся об народе. Попы же утратили всякое влияние вследствие жадности, пьянства и близких сношений с полицией. И здесь народ уважает идею, но не личности.

Что до раскольников, то они ненавидят и лицо и идею, и попа и царя.

Кроме царя и духовенства, все элементы правительства и общества совершенно чужды, существенно враждебны народу. Крестьянин находится, в буквальном смысле слова, вне закона. Суд ему не заступник, и все его участие в существующем порядке дел ограничивается двойным налогом, тяготеющим на нем и который он вносит трудом и кровью. Отверженный всеми, он понял инстинктивно, что все управление устроено не в его пользу, а ему в ущерб, и что задача правительства и помещиков состоит в том, как бы вымучить из него побольше труда, побольше рекрут, побольше денег. Понявши это и одаренный сметливым и гибким умом, он обманывает 'их везде и во всем. Иначе и быть не может: если б он говорил правду, он тем самым признавал бы над собою их власть; если б он

==284

их не обкрадывал (заметьте, что со стороны крестьянина считают покражею утайку части произведений собственного труда), он тем самым признавал бы законность их требований, права помещиков и справедливость судей.

Надобно видеть русского крестьянина перед судом, чтобы вполне понять его положение; надобно видеть его убитое лицо, его пугливый, испытующий взор, чтобы понять, что это военнопленный перед военным советом, путник перед шайкою разбойников. С первого взгляда заметно, что жертва не имеет ни малейшего доверия к этим враждебным, безжалостным, ненасытным грабителям, которые допрашивают, терзают и обируют его. Он знает, что если у него есть деньги, то он будет прав, если нет — виноват.

Русский народ говорит своим старым языком; судьи и подьячие пишут новым бюрократическим языком, уродливым и едва понятным, — они наполняют целые in-folio грамматическими необразностями и скороговоркой отчитывают крестьянину эту чепуху. Понимай как знаешь и выпутывайся как умеешь. Крестьянин видит, к чему это клонится, и держит себя осторожно. Он не скажет лишнего слова, он скрывает свою тревогу и стоит молча, прикидываясь дураком.

Крестьянин, оправданный судом, плетется домой такой же печальный, как после приговора. В обоих случаях решение кажется ему делом произвола или случайности.

## ==285

Таким образом, когда его призывают в свидетели, он упорно отзывается неведением, даже против самой неопровержимой очевидности. Приговор суда не марает человека в глазах русского народа. Ссылные, каторжные слывут у него несчастными.

Жизнь русского народа до сих пор ограничивалась общиной; только в отношении к общине и ее членам признает он за собою права и обязанности. Вне общины все ему кажется основанным на насилии. Роковая сторона его характера состоит в том, что он покоряется этому насилию, а не в том, что он отрицает его по-своему и старается оградить себя хитростью. Ложь перед судьей, поставленным незаконною властью, гораздо откровеннее, чем лицемерное уважение к присяжным, подтасованным купленным префектом. Народ уважает только те установления, в которых отразились присущие ему понятия о законе и праве.

Есть факт, несомненный для всякого, кто близко познакомится с русским народом. Крестьяне редко обманывают друг друга; между ними господствует почти неограниченное доверие, они не знают контрактов и письменных условий.

Вопросы о размежевании полос по необходимости бывают очень сложны при беспрестанных разделах земель по числу тягол; между тем дело обходится без жалоб и процессов. Помещики и правительство жадно ищут случая для вмешательства; но этот случай не представляется. Мелкие несогласия повергаются на суд

## ==286

старикам или миру, и их решение беспрекословно принимается всеми. Точно так же в артелях. Артели состояются часто из нескольких сотен работников, соединяющихся на определенное время, например — на год. По прошествии года работники делят между собою заработки по трудам каждого и по общему соглашению. Полиция никогда не имеет удовольствия вмешиваться в их счета. Почти всегда артель отвечает за каждого из артельщиков.

Еще теснее становится связь между крестьянами одной общины, когда они не православные, а раскольники. От времени до времени правительство устраивает дикий набег на какую-нибудь раскольничью деревню. Крестьян сажают в тюрьму, ссылают, все это без всякого плана, без последовательности, без всякого повода и нужды, единственно для того, чтобы удовлетворить требованиям духовенства и дать занятие полиции. При этих-то охотах по раскольникам обнаруживается вновь характер русских крестьян — солидарность, связывающая их между собою. Тогда-то надобно видеть, как они успевают обманывать полицию, спасать своих братьев, скрывать священные книги и сосуды, как они претерпевают, не проговариваясь, самые ужасные муки. Пусть укажут мне хоть один случай, в котором бы раскольничья община была выдана крестьянином, хотя бы и православным?



Это свойство русского характера делает полицейские следствия чрезвычайно затруднительными. Нельзя этому не порадоваться от души.

==287

У русского крестьянина нет нравственности, кроме вытекающей инстинктивно, естественно из его коммунизма; эта нравственность глубоко народная; немного, что известно ему из евангелия, поддерживает ее; явная несправедливость помещиков привязывает его еще более к его правам и к общинному устройству\*.

Крестьянская община, принадлежавшая кн. Козловскому, откупилась на волю. Землю разделили между крестьянами сообразно суммам, внесенным каждым из них в складчину для выкупа. Это распоряжение, по-видимому, было самое естественное и справедливое. Однакож крестьяне нашли его стиль неудобным и не согласным с их обычаями, что они решились распределить между собою всю сумму выкупа, как бы долг, лежащий на общине, и разделить земли по принятому обыкновению. Этот факт приводится г. Гакстаузенем. Автор сам посещал упомянутую деревню.

Г-н Тегоборский говорит в книге, недавно вышедшей в Париже и посвященной императору Николаю, что эта система раздела земель кажется ему неблагоприятною для земледелия (как будто ее цель — успехи земледелия!), но, впрочем, прибавляет: «Трудно устранить эти неудобства, потому что эта система делений связана с устройством наших общин, до которого коснуться было бы опасно: оно построено на ее основной мысли об единстве общины и о праве каждого члена на часть общинного владения, соразмерно его силам, поэтому оно поддерживает общинный дух, этот надежный оплот общественного порядка. Оно в то же время самая лучшая защита против распространения пролетариата и коммунистических идей». (Понятно, что для народа, обладающего на деле владением сообща, коммунистические идеи не представляют никакой опасности.) «В высшей степени замечателен здравый смысл, с которым крестьяне устраняют, где это нужно, неудобства своей системы; легкость, с которою они соглашаются между собою в вознаграждении неровностей, лежащих в достоинствах почвы, и дове-

==288

Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти; она благополучно дождалась до развития социализма в Европе.

Это обстоятельство бесконечно важно для России.

Русское самодержавие вступает в новый фазис. Выросшее из антинациональной революции 147, оно исполнило свое назначение; оно осуществило громадную империю, грозное войско, правительственную централизацию. Лишенное действительных корней, лишенное преданий, оно обречено на бездействие; правда, оно возложило было на себя новую задачу — внести в Россию западную цивилизацию, и оно до некоторой степени успевало в этом, пока еще играло роль просвещенного правительства.

рие, с которым каждый покоряется определениям старшин общины. — Можно было бы подумать, что беспрестанные дележи подают повод к беспрестанным спорам, а между тем вмешательство властей становится нужным лишь в очень редких случаях. Этот факт, весьма странный сам по себе, объясняется только тем, что эта система при всех своих неудобствах так срослась с нравами и понятиями народа, что эти неудобства переносятся безропотно».

«Насколько, — говорит тот же автор, — идея общины природна русскому народу и осуществляется во всех проявлениях его жизни, настолько противен его нравам корпорационный муниципальный дух, воплотившийся в западном мещанстве» (Тегоборский, «О производительных силах России», т. I) 146.— Прим. А. И. Герцена.

==289

Эта роль теперь оставлена им.

Правительство, распавшееся с народом во имя цивилизации, не замедлило отречься от образования во имя самодержавия.

Оно отреклось от цивилизации, как скоро сквозь ее стремления стал проглядывать трехцветный призрак либерализма; оно попыталось вернуться к национальности, к народу. Это было невозможно. Народ и правительство не имели ничего общего между собою; первый отвык от последнего, а правительству чудился в глубине масс новый призрак, еще более страшный призрак — красного петуха. Конечно, либерализм был менее опасен, чем новая пугачевщина, но страх и отвращение от либеральных идей стали так сильны, что правительство не могло более примириться с цивилизацией\*.

С тех пор единственной целью царизма остался царизм. Он властвует, чтоб властвовать. Громадные силы употребляются на взаимное уничтожение, на сохранение искусственного покоя.

Но самодержавие для самодержавия напоследок становится невозможным; это слишком нелепо, слишком бесплодно.

Оно почувствовало это и стало искать занятия в Европе. Деятельность русской дипломатии неутомима; повсюду сыплются ноты, советы, угрозы, обещания, снуют агенты и шпионы. Император считает себя естественным покровителем немецких принцев; он вмешивается во все мелкие интриги мелких германских дворов; он

19 А. И. Герцен

==290

решает все споры; то побранит одного, то наградит другого великой княжной. Но этого недостаточно для его деятельности. Он принимает на себя обязанность первого жандарма вселенной, он опора всех реакции, всех гонений. Он играет роль представителя монархического начала в Европе, позволяет себе аристократические замашки, словно он Бурбон или Плантагенет, словно его царедворцы — Глостеры или Монморанси.

К сожалению нет ничего общего между феодальным монархизмом с его определенным началом, с его прошлым, с его социальной и религиозной идеей, и наполеоновским деспотизмом петербургского царя, имеющим за себя лишь печальную историческую необходимость, преходящую пользу, не опирающимся ни на каком нравственном начале.

И Зимний дворец, как вершина горы под конец осени, покрывается все более и более снегом и льдом. Жизненные соки, искусственно поднятые до этих правительственных вершин, мало-помалу застывают; остается одна материальная сила и твердость скалы, еще выдерживающей напор революционных волн.

Николай, окруженный генералами, министрами, бюрократами, старается забыть свое одиночество, но становится час от часу мрачнее, печальнее, тревожнее. Он видит, что его не любят; он замечает мертвое молчание, царствующее вокруг него, по явственно доходящему гулу далекой бури, которая как будто к нему приближается. Царь хочет забыться. Он громко про

==291

возгласил, что его цель—увеличение императорской власти.

Это признание—не новость: вот уже двадцать лет, как он без устали, без отдыха трудится для этой единственной цели; для нее он не пожалел ни слез, ни крови своих подданных.

Все ему удалось; он раздавил польскую народность. В России он подавил либерализм.

Чего, в самом деле, еще хочется ему? отчего он так мрачен?

Император чувствует, что Польша еще не умерла. На место либерализма, который он гнал с ожесточением совершенно напрасным, потому что этот экзотический цветок не может укорениться на русской почве, встает другой вопрос, грозный, как громовая туча.

Народ начинает роптать под игом помещиков; беспрестанно вспыхивают местные восстания; вы сами приводите тому страшный пример .

Партия движения, прогресса требует освобождения крестьян; она готова принести в жертву свои права. Царь колеблется и мешает; он хочет освобождения и препятствует ему; Он понял, что освобождение крестьян сопряжено с освобождением земли; что освобождение земли, в свою очередь, — начало социальной революции, провозглашение сельского коммунизма. Обойти вопрос об освобождении невозможно — отодвинуть его решение до следующего царствования, конечно, легче, но это малодушно, и, в сущности, это только несколько часов, потерянных на скверной почтовой станции без лошадей.., 19\*

Из всего этого вы видите, какое счастье для России, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастье для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания.

Европа, — я это сказал в другом месте 150, — не разрешила антиномии между личностью и государством, но она поставила себе задачей это разрешение. Россия также не нашла этого решения. Перед этим вопросом начинается наше равенство.

Европа, на первом шагу к социальной революции, встречается с этим народом, который представляет ей осуществление, полудикое, неустроенное, — но все-таки осуществление постоянного дележа земель между земледельцами. И заметьте, что этот великий пример дает нам не образованная Россия, но сам народ, его жизненный процесс. Мы, русские, прошедшие через западную цивилизацию, мы не больше, как средство, как закваска, как посредники между русским народом и революционной Европой. Человек будущего в России — мужик, точно так же, как во Франции работник.

Но если так, не имеет ли русский народ некоторое право на снисхождение с вашей стороны, милостивый государь?

Бедный крестьянин! На него обрушиваются все возможные несправедливости. Император

преследует его рекрутскими наборами, помещик крадет у него труд, чиновник — последний рубль. Крестьянин молчит, терпит, но не отчаивается, у него остается община. Вырвут ли из нее член, община сдвигается еще теснее; кажется, эта участь достойна сожаления; а между тем она никого не трогает. Вместо того, чтобы заступаться за крестьянина, его обвиняют.

Вы не оставляете ему даже последнего убежища, где он еще чувствует себя человеком, где он любит и не боится; вы говорите: «Его община — не община, его семейство — не семейство, его жена — не жена: прежде, чем ему, она принадлежит помещику; его дети — не его дети; кто знает, кто их отец?»

Так вы подвергаете этот несчастный народ не научному разбору, но презрению других народов, которые с доверием внимают вашим легендам.

Я считаю долгом сказать несколько слов по этому поводу.

Семейный быт у всех славян чрезвычайно сильно развит: это, может быть, единственный консервативный элемент их характера, предел их отрицанья.

Сельская семья неохотно дробится; нередко три, четыре поколения проживают под одним кровом, вокруг патриархально властвующего деда. Женщина, обыкновенно угнетенная, как это бывает везде в земледельческом сословии, пользуется уважением и почетом, когда она вдова старшего в роде.

Нередко вся семья управляется седою бабушкой. .. Можно ли же сказать, что семья в России не существует?

Перейдем к отношениям помещика к крепостному семейству.

Но для большей ясности отличим норму от злоупотреблений, права от преступлений. *Us primae noctis* \* никогда не существовало в России.

Помещик не может законно требовать нарушения супружеской верности. Если б закон исполнялся в России, изнасилование крепостной женщины наказывалось бы точно так же, как если бы она была вольная, т. е. каторжною работою или ссылкой в Сибирь с лишением всех прав. Таков закон, обратимся к фактам.

Я не думаю отвергать, что при власти, данной правительством помещикам, им очень легко насиловать дочерей и жен своих крепостных. Притеснениями и наказаниями помещик всегда добьется того, что найдутся отцы и мужья, которые будут предоставлять ему дочерей и жен, точно так же, как тот достойный французский дворянин в «Записках Пёшо», который в XVIII столетии просил, как об особенной милости, о помещении своей дочери в *Parc aux cerfs*<sup>151</sup>.

Не удивительно также, что честные отцы и мужья не находят суда на помещика благодаря прекрасному судебному устройству в России; они большею частию находятся в положении

право первой ночи (дат.)

того господина Тьерселен, у которого Берье украл, по поручению Людовика XV, одиннадцатилетнюю дочь. Все эти грязные гадости возможны: стоит только вспомнить грубые и развращенные нравы части русского дворянства, чтобы в этом убедиться. Но что касается до крестьян, то они далеко не равнодушно переносят разврат своих господ.

Позвольте мне привести этому доказательство. Половина из помещиков, убиваемых своими крепостными (по статистическим данным, их число простирается от шестидесяти до семидесяти в год), погибает вследствие своих эротических подвигов. Процессы по таким поводам редки; крестьянин знает, что суды не уважат его жалоб; но у него есть топор; он им владеет мастерски и знает это тоже.

Ограничиваюсь этими намеками о крестьянах и прошу вас выслушать еще несколько слов о России образованной.

Вы смотрите так же не снисходительно на умственное движение России, как и на народный характер; одним почерком пера вы вычеркиваете все труды, совершенные до сих пор нашими скованными руками.

Одно из лиц Шекспира, не зная, чем унижить презренного противника, говорит ему: «Я сомневаюсь даже в твоём существовании!» Вы пошли далее, для вас несомненно, что русская литература не существует.

Привожу ваши собственные слова: «Мы не станем придавать важности опытам тех немногих умных людей, которые вздумали

==296

упражняться в русском языке и обманывать Европу бледным призраком будто бы русской литературы. Если бы не мое глубокое уважение к Мицкевичу и к его заблуждениям святого, я бы, право, обвинил его за снисхождение (можно даже сказать за милость), с которою он говорит об этой шутке».

Я напрасно доискиваюсь, милостивый государь, причин этого презрения, с которым вы встречаете первый болезненный крик народа, проснувшегося в тюрьме, этот стон, сдавленный рукою тюремщика.

Отчего не захотели вы прислушаться к потрясающим звукам нашей грустной поэзии, к нашим напевам, в которых слышатся рыдания? Что скрыло от вашего взора наш судорожный смех, эту беспрестанную иронию, под которой скрывается глубоко измученное сердце, которая, в сущности, — лишь роковое признание нашего бессилия?

О, как я хотел бы достойным образом перевести вам несколько стихотворений Пушкина и Лермонтова, несколько песен Кольцова! Вы бы тогда нам тотчас протянули дружескую руку, вы бы первый попросили нас забыть сказанное

вами!

После крестьянского коммунизма ничего так глубоко не характеризует Россию, ничто не предвещает ей столь великой будущности, как ее литературное движение.

Между крестьянином и литературою подымается чудовище официальной России — «Россия-ложь, Россия-холера», как вы ее назвали.

==297

Эта Россия начинается с императора и идет от жандарма до жандарма, от чиновника до чиновника, до последнего полицейского в самом отдаленном закоулке империи. Каждая ступень этой лестницы приобретает, как в дантовских *bolgi* \*, новую силу зла, новую степень разврата и жестокости. Это живая пирамида из преступлений, злоупотреблений, подкупов, полицейских, негодяев, немецких бездушных администраторов, вечно голодных; невеж-судей, вечно пьяных; аристократов, вечно подлых: все это связано сообществом грабительства и добычи и опирается на шестьсот тысяч органических машин с штыками.

Крестьянин никогда не марается об этот мир правительственного цинизма; он терпит его существование — в этом его единственная вина.

Стан, враждебный России официальной, состоит из горсти людей, на все готовых, протестующих против нее, борющихся с нею, обличающих, подкапывающих ее. Этим одиноких бойцов от времени до времени запирают в казематы, терзают, ссылают в Сибирь, но их место не долго остается пустым; новые борцы выступают вперед; это наше предание, наш майорат.

Страшные последствия человеческой речи в России по необходимости придают ей особенную силу. С любовью и благоговением прислушиваются к вольному слову, потому что у нас его произносят только те, у которых есть что сказать. Не вдруг решаешься передавать свои

ямах ада (итал.)

==298

мысли печати, когда в конце каждой страницы мерещится жандарм, тройка, кибитка и в перспективе Тобольск или Иркутск.

В последней моей брошюре \* я достаточно говорил об русской литературе; ограничусь здесь некоторыми общими замечаниями.

Грусть, скептицизм, ирония — вот три главные струны русской лиры.

Когда Пушкин начинает одно из своих лучших творений этими страшными словами: Все говорят — нет правды на земле. ..

Но правды нет — и выше!

Мне это ясно, как простая гамма...152—

не сжимается ли у вас сердце, не угадываете ли вы, сквозь это видимое спокойствие, разбитое существование человека, уже привыкшего к страданию? ; Лермонтов, в своем глубоком отвращении к окружавшему его обществу, обращается на

тридцатом году к своим современникам со своим страшным

Печально я гляжу на наше поколение: Его грядущее иль пусто, иль темно 15Э.

Я знаю только одного современного поэта, с такою же мощью затрагивающего мрачные струны души человеческой. Это также поэт, родившийся в рабстве и умерший прежде возрождения отечества. Это певец смерти, Леопарди, которому мир казался громадным союзом пре-

«Du developpement des idees revolutionnaires en Russie».—Прим. А. И. Герцена,

==299

ступников, безжалостно преследующих горсть праведных безумцев.

Россия имеет только одного живописца, приобретшего общую известность, — Брюллова. Что же изображает его лучшее произведение, доставившее ему славу в Италии 154?

Взгляните на это странное произведение.

На огромном полотне теснятся в беспорядке испуганные группы; они напрасно ищут спасения. Они погибли от землетрясения, вулканического извержения, среди целой бури катаклизмов. Их уничтожает дикая, бессмысленная, беспощадная сила, против которой всякое сопротивление невозможно. Это вдохновения, навеянные петербургскою атмосферою.

Русский роман обращается- исключительно в области патологической анатомии; в нем постоянное указание на грызущее нас зло, постоянное, безжалостное, самобытное. Здесь не услышите голоса с неба, возвещающего Фаусту прощение юной грешнице<sup>155</sup>, — здесь возвышают голос только сомнение и проклятие. А между тем, если для России есть спасение, она будет спасена именно этим глубоким сознанием нашего положения, правдивостью, с которою она обнаруживает это положение перед всеми.

Тот, кто смело признается в своих недостатках, чувствует, что в нем есть нечто сохранившееся среди отступлений и падений; он знает, что может искупить свое прошлое и не только поднять голову, но сделаться из «Сарданапалагуляки — Сарданапалом-героем»<sup>156</sup>.

### ==300

Русский народ не читает. Вы знаете, что также Вольтера и Данте читали не крестьяне, а дворяне и часть среднего сословия. В России образованная часть среднего сословия примыкает к дворянству, которое состоит из всего того, что перестало быть народом. Существует даже дворянский пролетариат, сливающийся с народом, и пролетариат вольноотпущенный, подымающийся к дворянству. Эта флуктуация, это беспрестанное обновление придает русскому дворянству характер, которого вы не найдете в привилегированных классах отсталой Европы. Одним словом, вся история России со времен Петра I есть только история дворянства и влияния просвещения на него. Прибавлю, что русское дворянство числом равняется избирателям во Франции по закону 31 мая 157.

В продолжение XVIII века новорусская литература вырабатывала тот звучный, богатый язык, которым мы обладаем теперь, — язык гибкий и могучий, способный выразить и самые отвлеченные идеи германской метафизики и легкую, сверкающую игру французского остроумия. Эта литература, возникшая по гениальному мановению Петра I, имела, это правда, характер правительственный, но тогда знамя правительства был прогресс, почти революция.

До 1789 года императорский трон самодовольно драпировался в величественные складки просвещения и философии. Екатерина II заслуживала, чтобы ее обманывали картонными деревьями и дворцами из раскрашенных досок...

### ==301



Никто, как она, не умел ослеплять зрителей величественной обстановкой. В Эрмитаже только и слышно было, что о Вольтере, о Монтескье, о Беккарии. Вам известен, милостивый государь, оборот медали.

Однакож среди триумфального хора придворных песнопений уже звучала одна странная, неожиданная нота. Это был звук той скептической, грозно насмешливой струны, перед которым должны были скоро умолкнуть все прочие, искусственные напевы.

Настоящий характер русской мысли, поэтической и спекулятивной, развивается в полной силе по восшествии на престол Николая. Отличительная черта этого направления — трагическое освобождение совести, безжалостное отрицание, горькая ирония, мучительное углубление в самого себя. Иногда все это раздражается безумным смехом, но в этом смехе нет ничего веселого.

Брошенный в гнетущую среду, вооруженный ясным взглядом и неподкупный логикой, русский быстро освобождается от веры и от нравов своих отцов.

Мыслящий русский — самый независимый человек в свете. Что может его остановить? Уважение к прошлому? .. Но что служит исходной точкой новой истории России, если не отрицание народности и предания?

Или, может быть, предание петербургского периода? Это предание не обязывает нас ни к чему; этот «пятый акт кровавой драмы, проис-

==302

ходящий в публичном доме» \*, напротив, развязывает нас окончательно.

С другой стороны, прошлое западных народов служит нам научением, и только; мы нисколько не считаем себя душеприказчиками их исторических завещаний.

Мы разделяем ваши сомнения, — но ваша вера не согревает нас. Мы разделяем вашу ненависть, но не понимаем вашей привязанности к завещанному предками; мы слишком угнетены, слишком несчастны, чтобы довольствоваться полусвободой. Вас связывают scrupules \*\*, вас удерживают задние мысли. У нас нет ни задних мыслей, ни scrupulov; у нас только недостает силы...

Вот откуда в нас эта ирония, эта тоска, которая нас точит, доводит нас до бешенства, толкает нас вперед, пока добьемся мы Сибири, истязания, ссылки, преждевременной смерти. Мы жертвуем собою без всякой надежды; от желчи; от скуки... В нашей жизни в самом деле есть что-то безумное — но нет ничего пошлого, ничего косного, ничего мещанского.

Не обвиняйте нас в безнравственности, потому что мы не уважаем того, что вы уважаете. Можно ли упрекать найденыша за то, что он не уважает своих родителей? Мы независимы, потому что начинаем жизнь сызнова. У нас нет

По прекрасному выражению одного из сотрудников журнала «II Progresso» в номере от 1 августа 1851 года, в статье о России.—Прим. А. И. Герцена. \*\* сомнения, от scrupule (франц.)

ничего законного, кроме нашего организма, нашей народности; это наша сущность, наша плоть и кровь, но отнюдь не связывающий авторитет. Мы независимы, потому что ничего не имеем. Нам почти нечего любить. Все наши воспоминания исполнены горечи и злобы. Образование, науку подали нам на конце кнута.

Какое же нам дело до ваших заветных обязанностей, нам, младшим братьям, лишенным наследства? И можем ли мы по совести довольствоваться вашею изношенной нравственностью, не христианскою и не человеческою, существующею только в риторических упражнениях и в прокурорских докладах! Какое уважение может внушать нам ваша римско-варварская законность, это глухое, неуклюжее здание без света и воздуха, подновленное в средние века, подбеленное вольноотпущенным мещанством? Согласен, что дневной разбой в русских судах еще хуже, но из этого не следует, что у вас есть справедливость в законах и судах.

Различие между вашими законами и нашими указами заключается только в заглавной формуле. Указы начинаются подавляющею истиною: «Царь соизволил повелеть»; ваши законы начинаются возмутительною ложью — ироническим злоупотреблением имени французского народа и словами «свобода, братство и равенство». Николаевский свод рассчитан против подданных и в пользу самодержавия. Наполеоновский свод имеет решительно тот же характер. На нас лежит слишком много цепей, чтобы мы добровольно надели на себя еще новых.

В этом отношении мы стоим совершенно наряду с нашими крестьянами. Мы покоряемся грубой силе. Мы рабы, потому что не имеем возможности освободиться; но мы не принимаем ничего от наших врагов.

Россия никогда не будет протестантскою.

Россия никогда не будет *juste-milieu* \*.

Россия никогда не сделает революции с целью отделаться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими.

Мы, может быть, требуем слишком много и ничего не достигнем. Может быть, так, но мы все-таки не отчаиваемся; прежде 1848 года России не должно, невозможно было вступать в революционное поприще, ей следовало доучиться, и теперь она доучилась. Сам царь это замечает и свирепствует против университетов, против идей, против науки<sup>158</sup>; он старается отрезать Россию от Европы, убить просвещение. Он делает свое дело.

Успеет ли он в нем?

Я уже сказал это прежде. Не следует слепо верить в будущее; каждый зародыш имеет право на развитие, но не каждый развивается. Будущее России зависит не от нее одной. Оно связано с будущим

Европы. Кто может предсказать судьбу славянского мира в случае, если реакция и абсолютизм окончательно победят революцию в Европе?

Быть может, он погибнет?

золотой серединой (франц.)

==305

Русский народ и социализм

Но в таком случае погибнет и Европа... И история перенесется в Америку...

Написавши предыдущее, я получил последние два фельетона вашей легенды. Прочитавши их, первым моим движением было бросить в огонь написанное мною. Ваше теплое благородное сердце не дождалось, чтобы кто-нибудь другой поднял голос в пользу непризнанного русского народа. Ваша любящая душа взяла верх над принятой вами ролью неумолимого судьи, мстителя за измученный польский народ. Вы впали в противоречие, но такие противоречия благородны.

Перечитывая мое письмо, я, однако, подумал, что вы можете найти в нем новые взгляды на Россию и на славянский мир;" и я решился послать его вам. Я вполне надеюсь, что вы простите те места, где я увлекся своею скифскою горячностью. Кровь варваров не даром течет в моих жилах. Мне так хотелось изменить ваше мнение о русском народе; мне было так грустно, так тяжело видеть, что вы против нас, что не мог скрыть своей горести, своего волнения — и дал волю перу. Но теперь я вижу, что вы в нас не отчаиваетесь, что под грубым армяком русского крестьянина вы узнали человека, я это вижу и, в свою очередь, признаюсь вам, что вполне понимаю то впечатление, которое должно производить одно имя России на всякого свободного человека. Мы часто сами проклинали наше несчастное отечество. Вы это знаете, вы сами говорите, что все, что вы сказали о нрав-

==306

ственном ничтожестве России, — слабо в сравнении с тем, что говорят сами русские.

Но и для нас проходит время надгробных речей по России, и мы говорим с вами: «В этой мысли таится искра жизни». Вы угадали ее, эту искру, силу вашей любви; но мы, мы ее видим, мы ее чувствуем. Эту искру не потушат ни потоки крови, ни сибирские льды, ни духота рудников и тюрем. Пусть разгорается она под золою! Холодное, мертвящее дуновение, которым веет от Европы, может ее погасить.

Для нас час действия еще не настал; Франция еще по справедливости гордится своим передовым положением. Ей до 1852 года принадлежит трудное право. Европа, без сомнения, прежде нас достигнет гроба или новой жизни. День действия, может быть, еще далеко для нас; день сознания, мысли, слова уже пришел. Довольно жили мы во сне и молчании; пора нам рассказать, что нам снилось, до чего мы додумались.

И в самом деле, кто виноват в том, что надобно было дожить до 1847 года, чтобы «немец (Гакстгаузен) открыл, как вы выражаетесь, народную Россию, столь же неизвестную до него, как Америка до Колумба»?

Виноваты, конечно, мы — мы, бедные, немые, с нашим малодушием, с нашею боязливою речью, с нашим запуганным воображением. Мы даже за границу боимся признаваться в ненависти, с которою мы смотрим на наши оковы. Каторжники от рождения, обреченные влачить до смерти ядро, прикованное к нашим ногам,

==307

мы обижаемся, когда об нас говорят как о добровольных рабах, как о мерзлых неграх, а между тем мы не протестуем открыто.

' Следует ли смиренно покориться этим нареканиям, или решиться остановить их, возвысив голос для свободной русской речи? Лучше погибнуть подозреваемыми в человеческом достоинстве, чем жить с позорным знаком рабства на лбу, чем слушать, как нас обвиняют в добровольном порабощении.

К несчастью, в России свободная речь удивляет, пугает. Я попытался приподнять только край тяжелой завесы, скрывающей нас от Европы, я указал только на теоретические стремления, на отдаленные надежды, на органические элементы будущего развития; а между тем моя книга, о которой вы выразились так лестно, произвела в России неблагоприятное впечатление. Дружеские голоса, уважаемые мною, порицают ее 159. В ней видят обвинение на Россию! Обвинение! .. в чем же? В наших страданиях, в наших бедствиях, в нашем желании вырваться из этого ненавистного состояния... Бедные, дорогие друзья, простите мне это преступление; я снова впадаю в него.

Тяжко, ужасно ярмо долгого рабства, без борьбы, без близкой надежды! Оно напоследок подавляет самое благородное, самое сильное сердце. Где герой, которого наконец не сломила бы усталость, который не предпочел бы на старости лет покой вечной тревоге бесплодных усилий?

Нет, я не умолкну! Мое слово отомстит за 20\*

==308

эти несчастные существования, разбитые русским самовластьем, доводящим людей до нравственного уничтожения, до духовной смерти.

Мы обязаны говорить; без этого никто не узнает, сколько прекрасного и высокого эти страдальцы навсегда замыкают в груди своей, и оно гибнет с ними в снегах Сибири, где даже на их могиле не начертится их преступное имя, которое их друзья будут хранить в сердце своем, не смея произносить его.

Едва мы открыли рот, едва пролепетали два-три слова о наших желаниях, о наших надеждах, и уже хотят его зажать, хотят заглушить в колыбели наше свободное слово! Это невозможно.

Для мысли настает время зрелости, в которое ее не могут более сковать ни цензурные меры, ни ' осторожность. Тут пропаганда делается страстью; можно ли довольствоваться шептанием на ухо, когда сон так глубок, что его едва ли рассеешь набатом?

От восстания стрельцов до заговора 14 декабря в России не было серьезного политического движения. Причина тому понятна: в народе не было ясно определившихся стремлений к независимости. Во многом он соглашался с правительством, во многом правительство опережало народ. Одни крестьяне, не причастные к выгодам императорским, более чем когда-нибудь угнетенные, попытались восстать. Россия, от Урала до Пензы и Казани, на три месяца подпала власти Пугачева. Императорское войско было отражено, разбито казаками, и ге-

==309

нерал Бибииков, посланный из Петербурга, чтобы принять команду войска, писал, если я не ошибаюсь, из Нижнего: «Дела идут очень плохо; более всего надобно бояться не вооруженных полчищ бунтовщиков, а духа народного, который опасен, очень опасен» 160.

После неслыханных усилий восстание наконец было подавлено. Народ впал в оцепенение, умолк и покорился...

Между тем дворянство развивалось, образование начинало оплодотворять умы, и, как живое доказательство этой политической зрелости нравственного развития, необходимо выражающейся в деятельности, явились эти дивные личности, эти герои, как вы справедливо называете их, которые «одни, в самой пасти дракона отважились на смелый удар 14 декабря».

Их поражение, террор нынешнего царствования подавили всякую мысль об успехе, всякую преждевременную попытку. Возникли другие вопросы; никто не хотел более рисковать жизнью в надежде на конституцию; было слишком ясно, что хартия, завоеванная в Петербурге, разбилась бы о вероломство царя: участь польской конституции была перед глазами 161.

В продолжение десяти лет умственная деятельность не могла обнаружиться ни одним словом, и томительная тоска дошла до того, что «отдавали жизнь за счастье быть свободным > одно мгновенье» и высказать вслух хоть часть своей мысли.

Иные отказывались от своих богатств с тою ветреною беззаботностию, которая встречается

лишь у нас да у поляков, и отправились на чужбину искать себе рассеяния; другие, не способные переносить духоту петербургского воздуха, закопали себя в деревнях. Молодежь вдалась кто в панславизм, кто в немецкую философию, кто в историю или в политическую экономию; одним словом, никто из тех русских, которые были призваны к умственной деятельности, не мог, не захотел покориться застою.

История Петрашевского, приговоренного к вечной каторге, и его друзей, сосланных в 1849 году за то, что они в двух шагах от Зимнего дворца образовали несколько политических обществ, не доказывает ли достаточно, по безумной неосторожности, по очевидной невозможности успеха, что время размышлений прошло, что волнения в душе не сдержишь, что верная гибель стала казаться легче, чем немая страдательная покорность петербургскому порядку?

Очень распространенная в России сказка гласит, что царь, подозревая жену в неверности, запер ее с сыном в бочку, потом велел засмолить бочку и бросить в море.

Много лет плавала бочка по морю.

Между тем царевич рос не по дням, а по часам и уже стал упираться ногами и головой в донья бочки. С каждым днем становилось ему теснее да теснее. Однажды сказал он матери: — Государыня-матушка, позволь протянуться вволюшку.

— Светик мой царевич, — отвечала мать, —

не протягивайся. Бочка лопнет, и ты утонешь в соленой воде. Царевич смолк и, подумавши, сказал: — Протянусь, матушка; лучше раз протянуться вволюшку да умереть.

В этой сказке, милостивый государь, вся наша история.

Горе России, если в ней переведутся смелые люди, рискующие всем, чтобы хоть раз протянуться вволюшку.

Но этого бояться нечего... Невольно приходит мне при этих словах на мысль М. Бакунин. Бакунин дал Европе образчик вольного русского человека.

Я был глубоко тронут прекрасными словами, с которыми вы обращаетесь к нему. К несчастью, эти слова до него не дойдут.

Международное преступление совершилось, Саксония выдала свою жертву Австрии, Австрия — Николаю. Он в Шлиссельбурге 162, в этой крепости зловещей памяти, где некогда держался взаперти, как дикий зверь, Иван Антонович, внук царя Алексея, убитый Екатериною II, этою женщиною, которая, еще покрытая кровью мужа, приказала сперва заколоть узника, а потом казнить несчастного офицера, исполнившего это приказание 163.

В сыром каземате, у ледяных вод Ладожского озера, нет места ни для мечтаний, ни для надежды!

Пусть же он спокойно заснет последним сном, мученик, преданный двумя правительствами, у которых на пальцах осталась его кровь...

[==312](#)

Слава имени его и мщение!.. Но где же мститель? .. И мы так же погибнем на полпути, как он; но тогда вашим строгим и величавым голосом скажите еще раз нашим детям, что за ними остается долг...

Останавливаюсь на воспоминании об Бакуanine и жму вам крепко руку, и за него и за себя.

Ницца, 22 сентября 1851.

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. VII. М., 1956, стр. 307—3,39.

[==313](#)

[00.htm - glava06](#)

## **КРЕЩЕНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**

### **ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ**

Три года тому назад, делая первые опыты русских изданий в Лондоне, я напечатал небольшой отрывок о крепостном состоянии под заглавием «Крещеная собственность». Я не придаю никакой важности этой брошюре, напротив, нахожу ее весьма недостаточной, но издание разошлось. Г-н С. Тхоржевский изъявил мне свое желание сделать новое—и я не счел нужным не предоставить ему этого права.

Много событий совершилось в России в эти три года, но крепостное состояние осталось как было — язвой, пятном, тем безобразием русского быта, которое смиряет нас и заставляет, краснея и с поникнувшей головой, признаться, что мы ниже всех народов в Европе.

С каким теплым упованием, с каким сердечным трепетом ждали мы после смерти Николая тех возможных, общечеловеческих перемен, которые можно было совершить без потрясающих переворотов, одним уразумением своего смысла и своего призвания со стороны правительства. Из дали нашего изгнания мы смотрели с надеждой и без малейшей желчи. Сначала мешала война... Прошла война — ничего! Все отложено до коронации.. ,164 Прошла и коронация — все

[==314](#)

ничего! И новое царствование вступило в свой ежедневный обиход. Все реформы до сих пор ограничиваются фразами и далее риторики не идут.

А ведь как было легко сделать чудеса — вот что непростительно, вот чего мы не можем вынести. У нас сердце обливается кровью и досада кипит в груди, когда мы думаем — чем могла бы быть Россия при выходе из мрачного царствования Николая, разбуженная войной, призванная к сознанию, без ошейника рабства на шее; как быстро, как самобытно и мощно могла она двинуться вперед.

Нет даже начала освобождения крестьян— этой первой азбуки гражданского развития. Зачем подымались ополченцы, зачем мужик нес свой труд, свою копейку, свою кровь в защиту бездушному престолу, который с лепетом о своей благодарности возвратил его розгам господина и каторжной работе на барщине.

Говорят, что теперешний царь —добр. Может быть, того свирепого гонения, которое составляет характер прошлого царствования, нет, и мы первые душевно рады повторять это.

Но ведь этого мало, ведь это еще отрицательное достоинство. Недостаточно еще не делать зла, имея такие средства делать добро, которых уже нет ни у одной монархической власти в Европе. Да он не знает, как приняться, что делать.

А сказать некому. Вот оно — результат насильственного молчания, вот что значит вырвать язык у народа и повесить замок на его

## ==315

губы. Зимний дворец окружен царством немоты, а в нем говорят одни николаевские генерал-адъютанты. Конечно, не они расскажут о веянии современного духа, и не через них услышит Александр II стон русского народа.

Чтобы слышать его, чтобы знать зло и средства его искоренить, теперь не нужно ходить, как Гарун аль Рашид, под окнами своих подданных. Для этого стоит снять позорную цепь цензуры, пятнающую слово прежде, нежели оно сказано. И тот же Смирдин или Глазунов, который доставляет прочим смертным книги, доведет до царя голос его народа.

Но этого-то и не хотят закоренелые в рабстве слуги Николая.

Они погубят Александра — и как жаль его! Жаль за его доброе сердце, за веру, которую мы в него имели, за слезы, которые он несколько раз проливал...

Люди эти его втянут в старую рутину, усыпят ложью, испугают невозможностью, вовлекут снова во внешние дела, чтоб отвести от внутренних. Все это делается уже теперь.

С какой стати соваться в неаполитанский вопрос? Есть дела, в которые честные люди не мешаются; есть союзы, которые пятнают, которые шли Николаю и отвратительны для Александра. Пора расстаться с несчастной мыслью, что призвание России — служить опорой всякому насилью, всякому тиранству.

Только было другие народы начали меньше враждебно смотреть на Россию—как на смех им старая дипломатия привязала русского им-



## ==316

ператора к одному позорному столбу с коронованным лаццарони<sup>165</sup>. Какая неосторожность, какое отсутствие такта, какое отсутствие любви к России и к нему!

А дома еще раз обманутый крестьянин тащится на господское поле, посылает сына во двор — это ужасно! Правительство знает, что обойти задачу освобождения крестьян с землею невозможно. Совесть, нравственное сознание России требуют решить ее. Что же выигрывает оно, оттягивая вопрос, откладывая его на завтра? ..

Когда мы говорили, что эта трусость перед необходимостью, что эта бесхарактерная медлительность дойдет до того, что вопрос разрешится топором крестьянина, и умоляли правительство спасти его от будущих преступлений, добрые люди подняли крик ужаса и обвинили нас же в любви к кровавым мерам <sup>166</sup>.

Это ложь, это намеренное непониманье. Когда врач предостерегает больного в страшных последствиях болезни, разве это значит, что он их любит, что он их вызывает? Что за детское воззрение!

Нет, мы слишком много видели, и слишком близко, как ужасны кровавые перевороты и как плоды их бывают искажены, чтоб с свирепой радостью накликивать их.

Мы просто указывали, куда эти господа идут и куда ведут. Пусть они знают, что, если ни правительство, ни помещики ничего не сделают, — сделает топор. Пусть и государь знает, что от него зависит, чтоб русский крестьянин не вынимал его из-за своего кушака!

## ==317

Но ведь для этого надобно что-нибудь делать, а не отдалять вопроса и не отворачиваться от его последствий.

25 октября, 1856, Путчей.

С детских лет я бесконечно любил наши села и деревни, я готов был целые часы, лежа где-нибудь под березой или липой, смотреть на почернелый ряд скромных, бревенчатых изб, тесно прислоненных друг к другу, лучше готовых вместе сгореть, нежели распасться, слушать заунывные песни, раздающиеся во всякое время дня, вблизи, вдали... С полей несет сытным дымом овинов, свежим сеном, из лесу веет смолистой хвоей и скрипит запущенный колодезь, опуская бадью, и гремит по "мосту порожняя телега, подгоняемая молодецким окриком...

В нашей бедной, северной, долинной природе есть трогательная прелесть, особенно близкая нашему сердцу. Сельские виды наши не задвинулись в моей памяти ни видом Сорренто, ни Римской Кампаньей, ни насупившимися Альпами, ни богато возделанными фермами Англии. Наши бесконечные луга, покрытые ровной зеленью, успокоительно хороши, в нашей стелющейся природе что-то мирное, доверчивое, раскрытое, незащитное и кротко грустное. Что-то такое, что поется в русской песне, что кривно отзывается в русском сердце.

И какой славный народ живет в этих селах! Мне не случалось еще встречать таких крестьян, как наши великорусы и украинцы.

### ==318

Оно и не мудрено. Жизнь европейская пренебрегала деревней, она бойко шла в замке, потом в городе, деревня служила пастбищем, кормом. Западный крестьянин — выродившийся кельт, побежденный галл, германец, побитый другим германцем. По городам победители мешались с побежденными; с земледельцами никто не мешался, пока они оставались земледельцами. Там, где победа пронеслась над головой прежнего населения, не осела на нем или не могла до него добраться, там крестьяне и не таковы, например в Романье, в Калабрии, Шотландии, Швейцарии, Норвегии.

Крестьянин на Западе вообще однодворец, — если он богатеет, то он делается полевым мещанином, так, как, наоборот, в прежнее время русские купцы, приобретая миллионы, оставались по нравам и обычаям теми же крестьянами.

Деревенские мещане-собственники составляют на Западе слой народонаселения, который тяжело налег на сельский пролетариат и душит его, по мелочи и на чистом воздухе, так, как фабриканты душат работников гуртом в чаду и смраде своих рабочих домов.

Сословие сельских собственников почти везде отличается изуверством, несообщительностью и скупостью; оно сидит назаперти в своих каменных избах, далеко разбросанных и окруженных полями, отгороженными от соседей. Поля эти имеют вид заплат, положенных на земле. На них работает батрак, бобыль, словом, сельский пролетарий, составляющий огромное большинство всего полевого населения,

### ==319

Мы, совсем напротив, государство сельское, наши города — большие деревни, тот же народ живет в селах и городах; разница между мещанами и крестьянами выдумана петербургскими немцами. У нас нет потомства победителей, завоевавших нас 167, ни раздробления полей в частную собственность, ни сельского пролетариата; крестьянин наш не дичает в одиночестве — он вечно на миру и с миром, коммунизм его общинного устройства, его деревенское самоуправление делают его сообщительным и развязным.

При всем том половина нашего сельского населения гораздо несчастнее западного, мы встречаем в деревнях людей сумрачных, печальных, людей, которые тяжело и невесело пьют зеленое вино, у которых подавлен" разгульный славянский нрав, — на их сердце лежит, очевидно, тяжкое горе.

Это горе, это несчастье — крепостное состояние.

Сельский пролетарий и крепостной мужик — два страшные обличителя двух страшных неправд нашего времени...

Видели ли вы литографию, изданную А. Мицкевичем и представляющую «Славянского невольника?»

Ненависть, смешанная с злобой и стыдом, наполняет мое сердце, когда я гляжу на этот жестокий упрек, на это «к топорам, братцы», представленное с поразительной верностью.

Белорусский мужик, без шапки, обезумевший от страха, нужды и тяжелой работы, руки за

### ==320

поясом, стоит середь поля и как-то косо и безнадежно смотрит вниз. Девять поколений, замученных на барщине, образовали такого парию, его череп сузился, его рост измельчал, его лицо с детства покрылось морщинами, его рот судорожно скривлен, он отвык от слова. Звериный взгляд его и запуганное выражение показывают, на сколько шагов он пошел вспять от человека к животным.

За это преступление, за этого белоруса его паны не свободны<sup>168</sup>, за него их геройство, их мученичество, их страдания не были приняты.

По другую сторону Европы стоит своего рода белорусский пахарь, его надобно самому видеть, слово человеческое не берет такого ужаса и не может выразить. Как рассказать пепельный, тусклый, Матовый цвет лица, тряпья, волос ирландского пролетария, выгнанного или выжженного помещиком из своей деревни за недоимку и не успевшего еще умереть с голоду? Надобно видеть своими глазами лихорадочный полусумасшедший и притом боязливо кроткий взгляд, лицо двадцатидвух-трех-летней завялой старухи, которая просит глазами милостыню, показывая умирающего ребенка с посинелыми губами, которые уже не сосут иссохшую, черствую грудь ее. И все это также подернуто землею, стерто, пепельно, бесцветно серо—и женщина, и окоченевший ребенок, и полуобнаженная грудь, и босая нога.

Между этими двумя крайними типами, которые вполне представляют геркулесовы столбы

### ==321

нашей цивилизации, стоят сельские пролетарии других стран Европы и крепостные мужики других краев России.

Пролетарии иных земель — ирландцы, имеющие немного насущного хлеба, ирландки, которые могут еще кормить грудью детей, наши белорусы, отпущенные на волю без земли и не боящиеся розог, — не более.

Помещичьи крестьяне других частей России — опять те же белорусы, но не успевшие одичать, не отданные на копье жиду-арендатору, не ненавидимые своим католическим помещиком, а единоплеменные и единовѣрные с ним.

И именно поэтому наше крепостное состояние еще отвратительнее.

Я ничего не знаю нелепее, безобразнее дикого отношения рабства между равными: по крайней мере негр черен и курчав, а его помещик рыж и налит лимфой.

Зачем наш народ попал в крепость, как он сделался рабом? Это не легко растолковать.

Все было до того нелепо, безумно, что за границей, особенно в Англии, никто не понимает.

Как, в самом деле, уверить людей, что половина огромного народонаселения, сильного мышцами и умом, была отдана правительством в рабство без войны, без переворота, рядом полицейских мер, рядом тайных соглашений, никогда не высказанных прямо и не оглашенных как закон.

А ведь дело было так, и не бог знает когда, а два века тому назад.

### ==322

Крестьянин был обманут, взят врасплох, загнан правительственным кнутом в капканы, приготовленные помещиками, загнан мало-помалу, по частям, в сети, расставленные приказными; прежде нежели он хорошенько понял и пришел в себя — он был крепостным.

Мы сами понимаем такие чудеса только по привычке к непоследовательности и беспорядку, к неустоявшемуся колебанию русской жизни. У нас везде во всем неопределенность и противоречие — обычаи, не вошедшие в закон, но исполняемые; законы, вошедшие в свод, но оставляемые без действия, деспотизм и избирательные судьи, централизация и выборная земская полиция<sup>169</sup>. Жизнь в России возможна благодаря этому хаосу, в основе которого коммунизм деревень, а в главе всепоглощающее самовластье, между которыми бродит бессвязно и на просторе европейское образование, дворянское право, греческая церковь, военный артикул и немецкое управление.

Крестьяне с незапамятных времен селились на частных землях, но крепостными они не были. Отношение их к помещикам было патриархальное, основанное на обычаях, на взаимном доверии. Писаных условий не могло быть, между прочим, и потому, что ни крестьяне, ни владельцы не знали грамоты. Народ русский и теперь не любит бумажных сделок между равными; по рукам и чарка водки, тем дело и кончено. Ямщики возят дорогие клади с Кяхты до Нижнего и Москвы, едва делая накладную, и то без всякой скрепы.

### ==323

Московское правительство долго не могло добраться до крестьян; дурно устроенное, занятое уничтожением уделов сначала, оно собственно сложилось в мощную государственную силу при царе Иоанне Васильевиче. Крестьяне жили покойно в своих общинах и вовсе не занимались тем, что делалось в Москве.

Их спасала от власти хартия, данная самой природой, — непроходимые дороги, страшная даль, болота и грязь. Пока они жили беззаботно и спустя рукава, в Москве ковали им цепи.

История мер, взятых Годуновым, известна, — царь Борис был большой «просветитель», и прикрепление мужиков он не выдумал, а взял у балтийских немцев.

Под предлогом голода, перехода в плодородные страны государства, перехода от мелкопоместных господ к богатым он ограничил право покидать землю, не отдавая, впрочем, крестьянина в неволю. Под тем же предлогом голода и побегов к казакам он прикрепил дворовых людей к их господам. Мало-помалу исчезли последние права перехода; не произнося слово «рабство», на самом деле правительство лишило всех прав крестьян, живших в частных владениях. Цепь, коварно положенная около сельской общины, затягивалась более и более, до тех пор пока великий мастер Петр I запер ее замком немецкой работы.

Едва обритые чиновники, в шутовских костюмах, с разными мудреными названиями ландра21\*

### ==324

тов, ландрихтеров \*, ландфискалов, объезжали деревни и читали какой-то указ, писанный темным, ломаным и безобразным языком петровского времени.

Они делали перепись и объявляли, что кого где ревизия захватила, тот там будет крепок помещику.

Крестьяне были рады, видя, что чиновники уезжали, не сделав больше вреда, и в сущности ничего не понимали.

Удивляться этому не надобно, потому что и правительство не понимало и до сих пор не понимает, что оно сделало. Ни Петр I, ни все его голштейнские, брауншвейгские и ангальт-цербтские наследники 170 решительно сами не знали, что такое быть «крепким». Никакой закон этого не определил, не истолковал.

Петр I в одном указе, данном сенату, говорит, что к великому стыду в России продают людей, «как скот», и приказывает приготовить закон, воспрещающий, «буде возможно», продажу людей вообще или по крайней мере продажу без земли. Сенат, раболепный во всем, ослушался и никакого закона не представил.

Из этого вы видите, что Петр I под словом «быть крепким» не разумел быть товаром, вещью.

«Я уверен, — писал собственноручно император Александр, — что продажа крепостных без земли давно запрещена законом», я спрашивал у Государственного совета, в силу каких поста-

земских судей (нем. Landrichter).

### ==325

новлений допускается такая продажа. Государственный совет, не зная ни одного такого закона, отнесся к сенату. Сколько ни рылись в сенатском архиве, ничего не нашли. Как ни просты наши сенаторы, но в этом случае они не потеряли головы и представили тариф пошлин, вышедший в царствование Анны Иоанновны. В этом тарифе значилось, сколько следовало взимать пошлины за совершение купчей на продажу крепостных людей; следственно, заключал сенат, продажа людей была законом допущена. Но где этот закон? Об этом сенат молчал. Приказная уловка Правительствующего сената была до того

груба, что Государственный совет понял, что продажа людей делается без всякого права, и, приготовив проект закона, воспрещающего торг крещеной "живностью", отослал его к министру внутренних дел.

Ни совет, ни министр, ни государь не возвращались более на этот предмет.

Этот замечательный анекдот рассказан Н. Тургеневым в его книге о России<sup>171</sup>. Автор был тогда статс-секретарем и сам принимал деятельное участие в составлении нового проекта. Он оканчивает свой рассказ чертой глубоко печальной и удручающей. Председатель совета граф Кочубей, человек умный, но давно потерявший веру, подошел к Тургеневу после заседания и сказал ему с горькой и насмешливой улыбкой: «А ведь государь-то двадцать лет был уверен, что людей не продают поодиночке!»

Этот анекдот сжимает сердце и заставляет содрогаться от негодования.

### ==326

Николай хотел ограничить продажу людей и, желая сделать добро, сделал вред; такова обычная судьба полумер и самовластных распоряжений. Запрещая дворянам, не имеющим земли, 179 покупать крестьян, запрещая до известной степени раздробление семейств, он признал право продажи в других случаях и дал законную основу терпимому беспорядку.

Император Николай замечательно несчастен, ему не удастся ничего хорошего, и это между прочим оттого, что он вовсе не понимает ничего русского и ничего гражданского. Ему бросается в глаза беспорядок; чтобы остановить его, он бьет камнем по лбу и искажает, портит последние уцелевшие остатки русского права.

Таким образом он исказил основу петровского дворянства, легко возобновляемого из народа, сопрягая дворянские права с майорским чином в военной службе и с чином статского советника в гражданской.

Таким образом он исказил екатерининское устройство дворянских выборов, вводя избирательный ценз, которого не было, и лишая голоса всех дворян, имеющих менее ста душ.

В первом случае он был руководим желанием устранить мелких чиновников от быстрого приобретения помещичьих прав.

В другом — он хотел предупредить влияние богатых владельцев на выборы.

В обоих — он временному вреду, беспорядку пожертвовал нормой.

Не затруднять следует помещичьи права, их следует уничтожить, «ликвидировать». Все ма-

### ==327

ленькие меры будут недостаточны, изворотливость исполнителей и хитрость помещиков найдут средства обойти закон.

У меня нет ни земли, ни крестьян, я покупаю дворовых людей на имя моего соседа, а с него беру заемное письмо. И потом, имея две души и две десятины, я могу покупать без всякого ограничения целые семьи живописцев, музыкантов, портных, официантов... и обкладывать их произвольным оброком, через год продавать в рекруты. Торг людьми идет не хуже, как в Кубе или в Малой Азии. Правда, стыдливое и целомудренное правительство запретило объявлять о продаже людей. В газетах скромно и бессмысленно печатают: «Отпускается в услужение кучер, лет 35, здорового сложения, с окладистой бородой и честного поведения, или девка лет 18, прекрасного поведения и годная на всякую службу».

Это лицемерие, этот полустыд, эта неловкая ложь пойманного на деле вора — в устах самодержавия имеет в себе что-то безгранично подлое.

Самое существование несчастного сословия дворовых людей — незаконное, ничем не определенное и зависящее вполне от помещика. Сколько крестьян может взять помещик во двор из деревни, сколько рук отнять у семьи? Он может взять жену у мужа и сделать ее прачкой у себя в доме, он может взять последнего сына у старика отца и сделать из него лакея; пока помещик не уморил с голоду или не убил физически своего крепостного человека, он прав пе-

==328

ред законом и ограничен только одним топором мужика. Им, вероятно, и разрубится запутанный узел помещичьей власти.

Русское правительство соединено с Англией договором против торга невольниками<sup>173</sup>. Отчего же надобно непременно быть черным, чтоб быть человеком в глазах белого царя? Или отчего он не произведет всех крепостных в негры? Придворные истопники за выслугу и отличие состоят же иногда на правах арапов.

Меня поражает удивлением безнадежная неспособность нашего правительства во всех внутренних вопросах. Александр обдумывал двадцать пять лет план освобождения, Николай приготавлился семнадцать лет, и что же выдумали они в полстолетия — нелепый указ 2 апреля 1842 года 174 об обязанных крестьянах.

Но, скажут, где же средства? Средства найдутся. И с каких это пор русское правительство сделалось так разборчиво в отношении к средствам!

Разве не достало средств у Екатерины II, чтоб отдать в крепость Малороссию в XVIII столетии? Разве не достало средств в XIX для водворения военных поселений, для обращения униат в греко-российское исповедание и Польши в русские губернии? Петербургское правительство никогда не задумывалось о средствах, не останавливалось ни перед чем; в 1845 году был голод в Псковской губернии — чем помочь? Очень просто, Николай велел переселить полПсковской губернии в Тобольскую; зимой погнали с одного конца Руси на другой плачущие

семьи, детей, стариков, обнищавших, голодных; половина перемерла по дороге, другая пришла на свое поселение.

По счастью, для освобождения крестьян

вовсе не нужно всех этих злодейств и преступлений.

Они боятся дотронуться до этого вопроса, оттого что они трусы. В сущности, бояться нечего; ведь это хорошо рассказывать иностранным газетам об диких *boyards moscovites* \*, всегда готовых на царубийство и грозных своим влиянием. Их совсем нет.

Весь народ, очевидно, был бы за правительство, и не один народ, а вся образованная часть дворянства.

Если закоснелые помещики и московские бояры будут противиться, им" придется ограничиться ропотом. Отчего им и не позволить болтать о своем неудовольствии? Они, впрочем, столько проповедовали нам безусловную покорность перед высочайшей властью, что справедливо было бы от них потребовать пример. Да и где их права? Они владели мужиками и разоряли их по царской милости; по царской немилости они перестали бы их разорять. Люди эти не имеют партии, их сила мнимая. Зимний дворец полон выслужившимися немцами, солдатами и писарями, которых богатство, судьба и сила связана не с помещичьим правом, а с петербургским императорством.

московских боярах (франц.)

Убийство Петра III и Павла I сделало удивительную репутацию русским вельможам. Обстоятельства теперь несколько не похожи на тогдашние; где эти отчаянные Орловы и обиженные Зубовы, где участие жены, сына? Всего этого нет; кто сколько-нибудь знает Россию, тот без смеху не может подумать об оппозиции «московских бояр».

В руках правительства ряд социальных и финансовых мер, которыми оно может без сильного и внезапного потрясения освободить крестьян с землей. Оно их знает из сотни проектов, поданных с 1842 года Киселеву и Перовскому.

Вместо того чтоб воспитательные дома превращать в рынки<sup>175</sup>, на которых продают ревизские души с молотка, правительство может переводить долг на деревни и брать с них в замену оброка свои 5 процентов. Оно может сделать внутренний заем для выкупа других и пр.

Пусть оно только позволит дворянам прямо и открыто заняться этим вопросом, пусть разрешит всем, кто хочет, составление обществ, товариществ для выкупа крестьян, для помощи освобождающимся,



предварительно удостоверив, что ни в каком случае капитал общества не будет схвачен и не будет употреблен ни на постройку кадетского корпуса, ни на поездку в Палермо 176, ни даже на усмирение мятежников на Кавказе или в Венгрии.

«Все это прекрасно, правительство должно бы, дворянство могло бы, — конечно; но что же при всем этом сам народ — народ, гоняемый на барщину, наказываемый розгами, разоряемый, про-

### ==331

даваемый? Если он может выносить такое положение, он заслуживает его».

Разумеется, так, как ирландец заслуживает голод, итальянец австрийское иго. Я так привык к этому свирепому *vae victis* \*, что всегда жду его. Что же, с богом в поход против всякого страдания, всякого несчастья, всякой трагической судьбы. Мало пролетарию, что он беден, что ему есть нечего, что он не может развиваться, что ему недосуг думать, прибавим к его горькой участи горькое слово. Мало крестьянину, что его обманом и плутовством отдали в крепость, в которой его держат шестьсот тысяч штыков, судьи, земская полиция, помещики, розги и самая церковь; скажем ему, что он это заслужил, что он не достоин лучшей судьбы, потом отвернемся от них обоих и от их глухого стога.

Впрочем, прежде нежели мы их оставим, я советую им сказать спасибо за то, что голод одного, пот другого, невежество обоих дали нам средства так умно развиваться.

Мне всякий раз становится не по себе, когда говорят о народе. В наш демократический век нет ни одного слова, которое бы так мало понимали и так употребляли во зло. Понятие, сопрягаемое с ним, неопределенно, преувеличенно, поверхностно, полно риторики в похвалах и порицаниях; одни поднимают народ до небес и делают из него какого-то прорицателя законов, неписанный разум, судью, другие топчут его

горе побежденным (лат.)

### ==332

в грязь, называя грубой толпой. Все эти разглагольствования, умиления, негодования и декламации не прибавляют ни на волос к пониманию этой гранитной основы государств и человечества, связанной цементом вековых воспоминаний и кровного родства, на которой построен плохой балаган современного политического устройства, полусгнивший и покачнувшийся.

Правительство и плавающий сверху слой цивилизации закрывают народ и не допускают знать его. За этими официальными и литературными декорациями он живет по-своему, редко соображаясь с ними, остается покойным, когда за него горячатся и бросают перчатку, и восстает, когда всего менее этого ждут.

Одни легкие революции делаются легко. Ветер свободно двигает во все стороны верхний слой общественной зыби, но глубь тиха до урагана.

Зато и следы таких революций не велики, они меняют одежду и название, а дело остается по-старому.

Народ туго и не скоро восстает, он не играет, не шутит переменами, он так беден, что долго не рискует последним; его восстание всегда глубоко выстраданное. Если оно неудачно, преждевременно, целые племена, государства гибнут, гложут. Германия потеряла всякий политический смысл и превратилась в школу, усмирив крестьян 1777.

Но возвратимся к народу русскому. Он уступил не без боя. Вспомните, что было после Бориса, во время самозванцев и междуцарствия;

### ==333

казалось, все государство было понято огнем и распадалось, все бродило в болезненном волнении, бралось за оружие; откуда эта возбужденность, эта готовность к бою, откуда эти полчища Тушинского вора и других кондотьеров? Едва Романовы уселись, северо-восток Руси покрылся разбойниками, с ними воюют как с неприятелями, против них посылают войска и пушки, их вешают сотнями при царе Алексее Михайловиче. У Стеньки Разина было целое войско. Столетье спустя целое войско собралось вокруг Пугачева.

Именем Петра III, которого народ не знал, мудрено было бы поднять целые губернии. Имя его придавало призрачную законность и фирму восстанию. В сущности, народ бунтовал против крепостного состояния и ненационального правительства. Перечень казней в приложениях к пушкинской «Истории пугачевского бунта» ясно показывает, против кого и чего дрался народ 1788.

С тех пор ни мужики, ни дворовые не восстают массами. Сила сломила их, средства усмирения удешевились, трон Екатерины, качавшийся сначала, врос в землю в конце ее царствования. Когда крестьянам становится невтерпеж, они бегут, делают поджоги или режут господ. Редко сговариваются они с другими деревнями, хотя и были примеры лет десять тому назад в Тамбове и в Симбирске, что несколько деревень действовали заодно. Бунты их делаются из мести и с отчаяния, без всякой надежды поправить свое положение.

### ==334

Народу, рассеянному по необозримым долинам и живущему в деревнях, открытых со всех сторон, ничем не защищенных, кроме лесов, трудно делать восстания.

Сверх того, вопрос об уничтожении крепостного состояния не был до нашего времени понимаем одинаким образом крестьянами и нашими «аболиционистами». С точки зрения либерализма и религии собственности вопрос разрешался прямо против народного смысла.

После наполеоновской войны Александр освободил эстов, принадлежавших остзейскому дворянству, он им дал личную свободу без земли. Весьма вероятно, если бы русские крестьяне, так мужественно ' дравшиеся против неприятеля, с некоторой настойчивостью потребовали освобождения, император при тогдашнем его настроении уступил бы им. Часть дворян лучше не просит, как освободить мужиков, оставя за собой землю. Что же было бы из такого освобождения?

Представьте себе европейское сельское устройство с петербургским самовластием, с нашими чиновниками, с нашей земской полицией. Представьте себе двадцать миллионов пролетариев, ищущих работы на господских землях в стране, где нет никакой законности, где все управление подкупное и дворянское, где личность ничего, а влияние все.

Помещики заключили бы между собой оборонительный союз, установили бы свои цены против крестьян, так, как это было в остзейских провинциях. Полиция была бы с их стороны.

### ==335

Общинное начало было бы поражено насмерть у вновь освобожденных, деревня потеряла бы свое коммунистическое единство, и в полстолетия мы перегнали бы Ирландию.

Есть люди, до сих пор поддерживающие пользу освобождения без земли, освобождения в голод и бесприютность, воображая, что в этом новом пролетариате непременно разовьется революционное начало.

Быть голодным и пролетарием вовсе не достаточно для того, чтоб сделаться революционером. Взвода полисменов достаточно, чтоб держать ирландцев в повиновении.

Вообще пролетарий полей очень мирен, круг его понятий тесен, он слишком подавлен и сгнетен к земле, чтоб быть более нежели недовольным. Его не надобно смешивать с работником больших торговых и политических центров. В этих колоссальных ульях, где миллионы людей "трутся ежедневно друг о друга, где на всяком шагу попадают макабрские встречи пляшущих 179 с умирающими, пересыщенных с голодными, Ротшильда с ирландцем, откупщика с поденщиком, — там, разумеется, в душе работника бродят мысли о ниспровержении этого мира монополии, цеха, капитала, дохода, но в маленьких городах и еще более в полях пролетарий не таков. Он принимает свое положение за судьбу, он страдает, не знает выхода, покоряется.

Русские, говорящие так легко о разрушении сельской общины, никогда не думали, что же останется, что будет, когда и этот последний

### ==336

узел народной жизни, насильственно развязанный, — распустится.

Народ русский все вынес, но удержал общину, община спасет народ русский; уничтожая ее, вы отдаете его, связанного по рукам и ногам, помещику и полиции. И коснуться до нее, в то время когда Европа

оплакивает свое раздробление полей и всеми силами стремится к какому-нибудь общинному устройству!

Говорят, что община поглощает личность и что она несовместна с ее развитием. В этом мнении есть доля правды. Всякий неразвитой коммунизм подавляет отдельное лицо. Но не надобно забывать, что русская жизнь находила сама в себе средства отчасти восполнять этот недостаток. Сельская жизнь образовала рядом с неподвижной, мирной, хлебопашенной деревней подвижную общину работников — артель и военную общину казаков.

Артель—лучшее доказательство того естественного, безотчетного сочувствия славян с социализмом, о котором мы столько раз говорили. Артель вовсе не похожа на германский цех, она не ищет ни монополии, ни исключительных прав, она не для того собирается, чтоб мешать другим, она устроена для себя, а не против коголибо. Артель — соединение вольных людей одного мастерства на общий прибыток общими силами.

Казачество была отворенная дверь людям, не любящим покоя, ищущим движения, опасности, независимости. Оно соответствовало тому буйному началу молодечества и удали, которое ря-

==337

дом с мирным и добродушным нравом славян составляет их характеристику.

Общинный дружинник, казак, становился бессменной стражей на крайних пределах отечества и берег его; он не хотел знать никакого правительства, кроме своего выборного; лучше становился разбойником, нежели подданным, но родине служил верой и правдой и, не жалея, лил за нее свою кровь. Запорожцы были славянские витязи, витязи-мужики, странствующие рыцари черного народа.

Привычные к войне и дороге, казаки имели те неопределенные влечения, то политическое чутье, те пророческие догадки, которыми отличались норманны. Горсть казаков завоевала Сибирь. Ермак не остановился на Тобольске, он добрался до Иркутска и там сложил свою буйную голову. Другой казак 180 после него с своей небольшой дружиной пробился сквозь льды и степи до морского берега, как будто что-то непреодолимое тянуло их к Тихому океану, к этому Средиземному морю будущего; как будто они провидели всю важность поставить Русь лицом к лицу с Северо-Американскими Штатами.

Надобно было иметь все жалкое непонимание немецкого правительства, чтоб не оценить такого учреждения, как казачество. Недаром казаки возражали Богдану Хмельницкому, что вольным людям нельзя вступать в подданство Москве. Петр I обрадовался измене Мазепы и принялся притеснять Малороссию вопреки всех договоров. Елизавета сделала своего лю-

==338

бовника гетманом. У Екатерины II их было слишком много; чтоб никого не обидеть, она разделила между ними Малороссию и отдала им в крепость вечно свободных людей. Она казаками платила за свои египетские ночи.

Несмотря на то, казаки явились в 1812 году тем же отважным, лихим войском, каким были прежде. Они вносили в регулярную армию поэтический и народный элемент. Без строя и выправки, с пикой и бородой, на маленьких лошадаках с длинной гривой, они рассыпались, исчезали, нападали со страшной дерзостью и ускользали с восточной уклончивостью. Они всего больше остались в памяти неприятеля.

Николай, верный своей мертвящей мысли однообразия, безличия, сближает их более с военными поселениями. Он разрушил их демократическое устройство, «облагораживая» их есаулов, прежде возвращавшихся снова в ряды простых казаков. Он даже отнял у них их песни, подвергнув их какой-то цензуре.

Само собою разумеется, что ни в коммунизме деревень, ни в казацких республиках мы не могли бы найти удовлетворения нашим стремлениям. Все это было слишком дико, молодо, неразвито, но из этого не следует, что нам должно ломать эти незрелые начинания, — напротив, их надобно продолжать, развивать, образовывать. Тут нет большого достоинства, что мы неподвижно сохранили нашу общину, в то время как германские народы ее утратили, но это большое счастье и его не надобно выпускать из рук. Мы долго ждали, долго временили,

==339

воспользуемся опытностью наших соседей, она им страшно дорого стоит.

Мир западный утратил свое общинное устройство; хлебопашцы и несобственники были принесены на жертву развитию меньшинства; зато развитие дворянства и горожан было велико и богато. Оно имело рыцарство с его высоким понятием независимой личности и среднее состояние с его непреклонной идеей права, оно имело искусство и литературу, науку и промышленность, наконец, реформацию и революцию, которые грозно и торжественно низвергнули половину церкви и половину трона.

Одна Россия, эта падчерица, эта Сандрильона между народами европейскими, не имела никакой доли в приобретениях и победах своих соседей. Народ русский так же-мало был способен к торжественному западному развитию трех последних веков, как к крестовым походам, как к схоластике и теологическим спорам, как к римскому праву и германскому феодализму. Народ русский ничего не приобрел со времен Владимира и Киевского периода; под монгольским гнетом ханов, под византийским царей, под немецким императоров, под суринамским помещиков 182 он сохранил только свою незаметную, скромную общину, т. е. владение сообща землею, равенство всех без исключения членов общины, братский раздел полей по числу работников и собственное мирское управление своими делами. Вот и все приданое Сандрильоны, зачем же отнимать последнее? .. «Затем, что при всем этом на Руси жить тяжело,

ни уму, ни сердцу нет простора». Тяжко, дурно жить в России — это правда, и тем тяжелее было для нас, что мы думали, что в других странах легко и хорошо жить.

Теперь мы знаем, что и там тяжело. Оттого что и там не разрешен вопрос, около которого сосредоточилась теперь вся человеческая деятельность, вопрос об отношении лица к обществу и общества к лицу. Крайнее, одностороннее развитие привело к двум нелепостям — к гордому своими правами, независимому англичанину, которого свобода основана на вежливой антропофагии, и к бедному русскому мужику, безлично потерявшему в общине, бесправно отданному в крепость и в силу того служащему съестным припасом барину.

Где их примирение, как снять их противоречие, как сохранить независимость британца без людоедства, как развить личность крестьянина без утраты общинного начала? В этом-то вся мучительная задача нашего века, в этом-то и состоит весь социализм.

Безумно было бы начать переворот с уничтожения свободных учреждений потому, что они на деле доступны только меньшинству; еще безумнее уничтожить общинное начало, к которому стремится современный человек, за то, что оно не развило еще свободной личности в России.

Наша деревня довольно наказана рабством за ее односторонность, за ее слишком патриархальные нравы; неужели и самое освобождение должно ей служить наказанием?

Помещичья власть, как нечто совершенно внешнее, поддерживаемое одним насилием, легко снимется с сельской жизни.

Гакстгаузен старается доказать в своей книге, что помещики представляют патриархальную главу общины, нечто вроде старинных шотландских кланов или арабийских эмиров. Мнение это, некогда поддерживаемое плантаторами из московских панславистов, совершенно ложно.

Патриархальная глава общины — староста, выбранный миром, взятый из самой общины, равный всем. Он заменяет отца и есть действительный опекун, ходатай, представитель деревни. Где же начинается необходимость другой главы, вотчима, постороннего, опирающегося на внешнюю власть, не принимающего никакого участия в делах общины, не несущего ее тяги и обкладывающего ее оброком и барщиной?

Если б помещик был только собственник земли, его права ограничивались бы кортомными деньгами 183 за нее, соответственной работой или половничеством. Но оно вовсе не так. Он владеет гораздо больше человеком, нежели землею, он берет окуп не с десятины, а с мышц, с дыхания, он заставляет платить за право работы, движения, существования. Оброк дворовых, ходящих по паспорту, основан, по превосходному выражению, невзначай сорвавшемуся у Гакстгаузена, на обратном сенсимонизме<sup>184</sup>: чем больше способности, тем . больше требует барин. Очевидная нелепость.

За общиной логически ничего нет другого, как соединение общин в большие группы и со-

единение групп в общем, народном, земском деле (res publica). Казенные деревни действительно соединяются в волости, они избирают, сверх старост, тысяцких, сотских, десятских, голову, и при нем двух стариков в судьи. Все это совершенно последовательно идет из народного понятия о праве, неписанного, но живого во всякой славянской груди. Но тут разом обрывается всякий смысл, мы встречаемся с становым приставом, с канцелярским правительством и с помещичьей властью.

Прерыв всякой связи между народом и дворянством, между народом и чиновничеством очевиден, и никогда не был он резче обозначен, как теперь. Лет сто тому назад богатые помещики из аристократизма щадили своих крестьян; бедные жили между ними и мало отличались от них нравами и образованием. Все это изменилось. Образование разъединило совершенно помещиков с крестьянами, и они не могли более ни брать участия, ни любить крестьян, ни жалеть их, все чуждое для нас безразлично; но они могли и хотели пользоваться ими и пользовались. Крестьянин перешел в разрабатываемую собственность. Развитие промышленности фабрик и самое распространение политической экономии, переложенной на российские нравы, дали тысячу новых средств употреблять крестьян на пользу. Помещик, «патриархальная глава общины», сделался мало-помалу из вельможи фабрикантом, плантатором, торговцем белых негров.

Этого разрыва, бросающегося в глаза, не хо-

чет видеть Гакстгаузен, увлеченный своей монархической демагогией, своей страстной любовью рабства. Приняв власть помещика за патриархальную, он естественно принимает за такую же народную отеческую власть — петербургское императорство. Оно в его глазах продолжение киевского великокняжества; император Николай — тот же равноапостольный Владимир, которого народ назвал своим красным солнцем. Там, где он не находит другой возможности объяснить дикий русский деспотизм, там он благоговееет перед «высотой повиновения» народа русского; эту беспредельную покорность королевски-пруссский якобинец абсолютизма<sup>185</sup> называет нашей высокой добродетелью.

Здесь не место вступать в разбор исторического значения петровского переворота, петровской Руси; мы считаем переворот этот необходимым, он разбудил Россию, он ее повел вперед, когда она сама еще не могла идти, он был полон верою в ее великие судьбы, в ее великие силы, но он был свиреп и жесток, как большая часть революций, как царство ужаса в 93 году, и именно потому разорвал единство жизни русской.

Две России с начала XVIII столетия стали враждебно друг против друга. С одной стороны была Россия правительственная, императорская, дворянская, богатая деньгами, вооруженная не только штыками, но всеми приказными и полицейскими уловками, взятыми из Германии.

С другой — Русь черного народа, бедная, хлебопашенная, общинная, демократическая, без-

оружная, взятая врасплох, побежденная, собственно, без боя. Что же тут удивительного, что императоры отдали на раздробление своей России, придворной, военной, одетой по-немецки, образованной снаружи, — Русь мужицкую, бородатую, не способную оценить привозное образование и заморские нравы, к которым она питала глубокое отвращение. Чего им было ее жалеть?

— Что ты ходишь, повеся нос? — спросил однажды граф Завадовский или Зорич, словом, один из наложников императрицы Екатерины II, почтенного дворянина, состоявшего при нем в качестве шута.

Собеседник, к которому относился вопрос, был человек необыкновенно толстый и прожорливый, всегда обедавший у графа. Когда граф бывал особенно весел, он давал знак рукою, лакей надевал на голодного шута хомут и, затянув шею, пускал его на еду.

Дворянин бился в хомуте, как зверь, бросался нарочно на блюда, давился, был очень гадок, словом, усердно тешил своего покровителя, хохотавшего до слез.

— Поневоле повесишь нос, — отвечал упряжной дворянин, — ваше сиятельство изволите всех щедротами своими награждать, один я, несчастный, забыт вами.

— Как так? — спросил граф.

— Ваше сиятельство всем пожаловали отчины в Малороссии, а мне хоть бы какую-нибудь сотню дрянных казаков.

==345

— Каков малый, — отвечал сквозь хохот граф, — губа-то не дура. Так и тебе казаков захотелось? Ха, ха, ха! Чем же ты заслужил казаков?

— Да помилуйте, ваше сиятельство, — отвечал шут, — ведь я и не бог знает чего прошу; чего вам, граф, стоят казаки? А мне милость была бы дорога, и я до гроба молился бы об вашем здравии.

— Еще лучше, — заметил веселый граф, — да он совсем не так глуп, как кажется; в самом деле, чего жалеть казаков. Ну, так и быть, дам тебе казаков.

— Ваше сиятельство, ваше сиятельство! — говорил тронутый шут и полз на коленях приложиться к графской ручке, — неужели и вправду?

— Ну, полно, полно, — отвечал граф, милостиво протягивая руку, — говорю тебе, будут у тебя казаки.

Это было в то самое время, когда Екатерина II вводила крепостное состояние в Малороссию. Одержимая ненасытимой нимфоманией, запятнанная всеми преступлениями, эта «мать отечества»<sup>186</sup> дала одним своим любовникам более трехсот тысяч душ мужеского пола\*.

Граф сдержал слово, и отложенный шут поехал управлять своими казаками.

В прошедшем году проезжая С.-Готард, я взял в одной гостинице трактирную книгу, в ней большими буквами стояла русская фамилия. Под нею другой путешественник написал



==346

мелким шрифтом по-французски: «Тот самый, которого дворовые люди высекли».

Эта неприятность случилась с одним камергером 188, известным богачом и негодяем. В 1850 году он жил в своем малороссийском именье. Крестьяне и дворовые, выведенные из терпенья, решились проучить его. Они его высекли и взяли письменную расписку, что он будет молчать. Прошло несколько времени, испуганный камергер, казалось, присмирел, но вдруг поставил в рекруты молодого малого, оказавшегося особенно усердным во время наказания. Когда рекруту забрили лоб, он сказал председателю, что барин отдал его в солдаты за то, что он его больно сек. В удостоверение чего рекрут вытащил из-за пазухи камергерскую расписку.

Документ этот до того поразил присутствующих, что они не догадались ни уничтожить его, ни уничтожить рекрута, ни даже продать расписку камергеру. Они сгоряча представили «казус сей» на усмотрение министру внутренних дел. Но и тот призадумался, случай о сеченых камергерах решительно не был предвидим сводом законов. Министр доложил государю. Государь, терпевший камергера, пока он сек, выгнал его из службы за то, что его секли. Москвичи, ездившие к нему на балы, зная его гнусное поведение, оставили его, узнав об исправительной мере, употребленной дворовыми. Камергер обиделся, стал жаловаться, чуть не сделался недовольным. Государь велел ему ехать за границу и не возвращаться без особого приказа.

==347

Несчастно гонимый и интересный камергер этот не кто иной, как благополучный наследник упряжного шута, а люди, его наказывавшие, дети казаков, пожалованных Екатериной.

Это резко характеризует грязное начало и бессмысленные последствия русского помещичьего права.

Что тут прибавлять к графу-фавориту, согласному, что казаков жалеть нечего, к шуту в хомуте, который вдруг из грязных нахлебников делается законным господином свободных казаков, к камергеру, благоразумно предпочитающему розги смерти, к премудрому царю, который туда же делает пропаганду, посылая избитого камергера с своей зебровой спиной таскаться по всем столицам Европы, по морям, сушам и альпийским вершинам., .

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XII. М., 1957, стр. 94—117.

==348

## СТАРЫЙ МИР И РОССИЯ

### ПИСЬМА К В. ЛИНТОНУ ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Любезный Линтон!

«Какова, по вашему мнению, будущность России?»

Всякий раз, когда мне приходится отвечать на подобный вопрос, я в свою очередь отвечаю на него вопросом. А именно: Способна ли Европа к социальному возрождению или нет? Вопрос этот очень важен. Ибо если русскому народу предстоит только одна будущность, то Российской империи предстоят, возможно, две будущности. Это зависит от Европы. Какая из них осуществится?

Мне кажется, что роль теперешней Европы кончена; после 1848 года она разлагается с невероятной быстротой.

Слова эти пугают, и их оспаривают, не отдавая себе в том отчета. Разумеется, не народы погибнут, — погибнут государства, погибнут учреждения, римские, христианские, феодальные и умеренно-парламентарные, монархические или республиканские — все равно.

Европа должна преобразоваться, распасться, чтоб войти в новые сочетания. Подобным образом римский мир преобразовался в христианскую Европу. Он перестал быть самим собой;

Письмо первое

==349

в состав нового мира он вошел только как один из его элементов, наиболее деятельных.

До сих пор европейский мир лишь частично видоизменялся; основы современного государства оставались незыблемыми. Частично улучшая, продолжали строить на том же фундаменте. Такова была реформа Лютера, такова была революция 1789 года. Иной будет социальная революция.

Мы исчерпали возможность всяческих подправок; ветхие формы готовы взорваться от каждого движения. Наша революционная мысль несовместна с существующим порядком вещей.

Государство, основанное на римской идее поглощения личности обществом, на освящении собственности, случайной и исключительной, на религии, провозглашающей самый крайний дуализм (даже в революционной формуле «бог и народ»)189,—такое государство не может оставить будущему ничего, кроме своего трупа, своих химических элементов, освобожденных смертью.

Социализм — это отрицание всего того, что политическая республика сохранила от старого общества. Социализм — это религия человека, религия земная, безнебесная, общество без правительства, свершение христианства и осуществление революции.

Христианство превратило раба в сына человеческого; революция превратила отпущенника в гражданина; социализм хочет из него сделать человека (ибо город должен зависеть от человека, а не человек от города). Христианство

указывает сынам человеческим на сына божия как на идеал; социализм идет дальше, он объявляет сына совершеннолетним... И человек хочет быть более чем сыном Божиим — он хочет быть самим собою.

Все отношения общества к личностям и отдельных личностей между собой должны быть совершенно изменены. И тут встает вопрос: хватит ли у германо-романских народов сил, чтобы подвергнуться этому метампсихозу, и в состоянии ли они подвергнуться ему теперь?

Идея социальной революции — идея европейская. Из этого не следует, что именно западные народы более способны ее осуществить.

Христианство было только распято в Иерусалиме.

Социальная идея может быть завещанием, последней волей, пределом западного мира. Она может быть и торжественным вступлением в новое существование, приобретением тоги совершеннолетия.

Европа слишком богата, чтобы все поставить на карту; Европе есть что хранить; верхи европейского общества слишком цивилизованны, низы — слишком далеки от цивилизации, чтобы она могла очертя голову броситься в столь глубокий переворот.

Республиканцы и монархисты, деисты и иезуиты, буржуа и крестьяне... в Европе все это — консерваторы; только работники—революционеры.

Работник может спасти старый мир от большого позора и больших бедствий. Но спасен-

Письмо первое

ный им старый мир не переживет и одного дня, потому что тогда водворится воинствующий социализм и вопрос будет решен положительно.

Но и работник может быть побежден, как это было в Июньские дни. Расправа будет еще свирепее, еще страшнее. Тогда гибель старого мира придет иным путем и социальная идея может осуществиться в других странах.

Взгляните, например, на эти две огромные равнины, которые соприкасаются затылками, обогнув Европу. Зачем они так пространны, к чему они готовятся, что означает пожирающая их страсть к деятельности, к расширению? Эти два мира, столь противоположные и все же в чем-то схожие, — это Соединенные Штаты и Россия. Никто не сомневается, что Америка — продолжение европейского развития и не более как его продолжение. Лишенная всякой инициативы, всякой изобретательности, Америка готова принять у себя Европу, осуществить социальные идеи, но она не станет низвергать древнее здание... не покинет свои плодородные

поля.

Можно ли сказать то же о славянском мире? Что представляет собой славянский мир? Чего хочет этот немой мир, который прошел сквозь века, от переселения народов до наших дней, сохраняя вечное а parte\*, сомкнув уста?

Странный мир, не принадлежащий ни Европе, ни Азии.

в стороне (итал.)

==352

Европа предпринимает крестовые походы — славяне остаются на месте.

Европа создает феодализм, большие города, законодательство, основанное на римском праве, на германских обычаях; цивилизованная Европа становится протестантской, либеральной, парламентарной, революционной. У славян нет ни больших городов, ни аристократии; им незнакомо римское право, они не знают различия между крестьянами и горожанами; они предпочитают сельскую жизнь и сохраняют свои установления, общинные, демократические, коммунистические и патриархальные.

Час этих народов словно еще не пробил, они все в ожидании чего-то, их теперешнее statu quo \* является только временным.

Много раз славяне начинали складываться в сильные государства; их попытки имеют! успех, развиваются (как, например, Сербия при Душане) 190... и потом терпят неудачу, без всякой видимой причины.

Населяя пространства от берегов Волги и Эльбы до Адриатического моря и Архипелага, славяне не сумели даже объединиться для защиты своих границ. Часть их уступает натиску немцев, другая — турок, третья была порабощена дикими ордами, ринувшимися на Паннонию 191. Значительная часть России долгое время томилась под монгольским игом.

Одна лишь Польша была независима и сильна. .. но это потому, что она была менее сла-

существующее положение (лат.)

==353

вянской, чем другие; она была католическою. А католицизм противоположен славянскому духу. Славяне, как вам известно, первые начали великую борьбу с папством и впоследствии придали этой

борьбе характер глубоко социальный (табориты)<sup>192</sup>. Усмиренная и возвращенная католицизму, Богемия перестала существовать...

Итак, Польша сохранила независимость, нарушив национальное единство и сблизившись с западными государствами.

Другие славяне, оставшиеся независимыми, были далеки от того, чтобы образовать организованные государства; в их общественной жизни было нечто колеблющееся, неопределенное, нерегламентированное, анархическое (как выразились бы здешние друзья порядка). Нет ничего более сообразного со славянским характером, чем положение Украины или Малороссии со времен Киевского периода до Петра I. Это была казачья и земледельческая республика с военным устройством, на основах демократических и коммунистических. Республика без централизации, без сильного правительства, управляемая обычаями, не подчинявшаяся ни московскому царю, ни королю польскому. В этой первобытной республике не было и следа аристократии; всякий совершеннолетний человек был деятельным гражданином; все должности, от десятника до гетмана, были выборными. Заметьте, республика эта просуществовала с XIII века до XVIII, беспрестанно обороняясь от великороссов, поляков, литовцев, турок и крымских татар. На Украине, как у черногорцев и даже

==354

Старый мир и Россия. Письма к Линтону

у сербов, иллирийцев и далматов, славянский дух обнаружил отчасти свои стремления, но не создал политической формы.

Однако надо было подвергнуться муштре сильного государства, -надо было объединиться, централизоваться, покинуть беспечную казачью жизнь, пробудиться от вечного сна общинной жизни.

Около XIV столетия в России образуется средоточие, к которому тяготеют, вокруг которого кристаллизуются разнородные части государства, это средоточие — Москва. Став центральным городом России, она становится столицей православного славянства.

Именно в Москве сложилось византийское и восточное самовластие царей, Москва уничтожила остатки народных вольностей. Все было принесено в жертву идее государства; ради нее все было обезличено, все подавлено. Свергнув монгольское иго, продолжая вести кровавые войны с ливонцами, видя вооружающуюся Польшу, народ как будто чувствовал, что для спасения своей национальной независимости и своей будущности он вынужден отречься от всех человеческих прав.

Новгород, великий и вольный город, был живым укором городу-выскочке, городу царей; Москва с кровожадной жестокостью и без малейших угрызений совести раздавила соперника.

Когда вся Россия была у ее ног, Москва очутилась лицом к лицу с Варшавой.

Борьба двух этих соперниц была продолжи- тельной и завершилась лишь в другую эпоху.

На короткое время Польша взяла верх. Москва уступила. Владислав, сын польского короля Сигизмунда, был провозглашен царем всея Руси. Дом Рюрика и Владимира Мономаха угас, правительства не было, польские военачальники и казачьи гетманы правили в Москве.

Тогда весь народ поднялся по зову нижегородского мясника Минина, и Польша принуждена была покинуть Москву и русскую землю.

Москва, завершив свое дело—спайку отдельных частей государства, останавливается. Она не знает, куда употребить ею вызванные и оставшиеся в бездействии силы. Выход нашелся скоро. Там, где много сил, всегда найдется выход.

Петр I сделал из русского государства государство европейское.

Легкость, с которою часть нации применилась к европейским нравам и отреклась от своих обычаев, — наглядное доказательство того, что московское государство никогда не являлось подлинным выражением народной жизни, но было лишь переходной формой. Там, где затрагивались начала действительно национальные, — народ упорно их отстаивал. Крестьянство не приняло ничего из реформ Петра I. А крестьянство было истинным хранителем народной жизни, основанной (по выражению знаменитого историка Мишле) на коммунизме<sup>193</sup>, т. е. на постоянном разделе земли по числу работающих и на отсутствии личного владения землею.

Как Северная Америка представляет собою последний вывод из республиканских и фило

софских идей Европы XVIII века, так петербургская империя развила до чудовищной крайности начала монархизма и европейской бюрократии. Последнее слово консервативной Европы произнесено Петербургом; недаром все реакционеры обращают свои взоры к этому Риму самодержавия.

Петербургский деспотизм располагал огромными силами — об этом можно судить по гигантским размерам возникшего государства. Избыток сил был так велик, что даже в смутное время и в период гнусного управления—период между Петром I и Екатериной II, Россия материально разрасталась с невероятной быстротой. Поглотив, покорив все, что встречалось на ее пути — остзейские провинции и Крым, Бессарабию и Финляндию, Армению и Грузию, —

. разделив Польшу, завладев одной турецкой областью за другой. Российская империя встретила наконец грозного соперника — французскую революцию, низвергнутую, потерпевшую неудачу, выродившуюся в деспотизм, очень похожий на петербургский. Россия померилась силами с Наполеоном и победила его.

В тот час, когда Европа в Париже, в Вене, в Аахене и в Вероне признала *volens volens* \* гегемонию российского императора<sup>194</sup>, — в тот час дело Петра было завершено, и императорская власть оказалась в том же положении, в каком находились московские цари до Петра I.

волей-неволей (лат.)

==357

Император Александр это почувствовал. Императорская власть несомненно может еще некоторое время продержаться, внушая почтение всеми средствами, которыми располагает самодержавие; но она не может ничего создать, ничего внести во внутреннюю жизнь страны, ибо тогда ей пришлось бы встретиться с тем духом времени, который она не хочет вызвать. Такой власти ничего не остается, как вести внешнюю войну.

Николай, однако же, постоянно воздерживался от войны.

Как же это случилось, что после двадцати пяти лет тусклого царствования им вдруг овладевает безрассудная отвага и он бросает свою русскую рукавицу в лицо Франции и Китая, Англии и Японии, Швеции и Соединенных Штатов... не говоря уже о Турции. Говорят, что он сошел с ума? Я же начинаю думать, что он исполнился благоразумия.

Чтобы начать войну, ему надо было быть совершенно уверенным в малодушии всех европейских государств, ему надо было питать к ним беспредельное презрение... И что же — он его питает. Николай до 1848 года дулся на западные державы, но он их не презирал. Николай трепетал, узнав о революциях 1848 года, и успокоился только по получении известия о кровавой диктатуре Кавеньяка. Но после поддержки, оказанной им Австрии вмешательством в венгерские дела, которое Англия стерпела, как стерпела вступление французов в Рим 185,

==358

после этого он лучше понял позицию своих друзей-противников. Медленно, постепенно он измерил бездонную глубину их бесчестия, их робости, их невежества; и вот — начал войну. Хотите биться об заклад, что он выйдет из нее победителем, если не вмешается неожиданно третья сила — их общий враг революция!

«В таком случае—не надо войны! Объявим себя заранее побежденными, пожертвуем Турцией, уступим Константинополь, — только бы не порвать с царем».

Так рассуждают дипломаты, банкиры и прочие люди, думающие, что консерватизм состоит в том, чтобы не выпускать из рук пятифранковую монету и закрывать глаза на опасности, которыми чреват завтрашний день...

Хорошо, уступайте, не воюйте, но знайте, что тогда вместо революции или Николая...

Вы получите и Николая, и революцию.

Вот мысль, дорогой Линтон, которую я разовью во втором письме.

Лондон, 2 января 1854.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Любезный Линтон!

Формула европейской жизни гораздо сложнее формулы жизни древнего мира.

Когда греческая культура вышла из тесных границ городов-республик, ее политические формы сразу истощились и иссякли с чрезвы-

==359

чайной быстротой. Греция обратилась в римскую провинцию.

Когда Рим исчерпал запасы своей организующей силы и перерос свои политические учреждения, у него не нашлось больше возможностей для возрождения, и он распался, вступив в разные сочетания с варварскими народами, Древние государства не были долголетними; они существовали не более одного сезона.

В XV столетии Европа пережила такой катаклизм, который для древних государств был бы предвестником неминуемой смерти. Совесть и разум восстали против основ общественного здания. Католицизм и феодализм подверглись нападению. Глухая борьба длилась более двух столетий... Она подрывала церковь и замок.

Европа была так близка к смерти, что уже у границ ее стали показываться варвары, эти вороны, чующие издалека агонию народов.

Византией они завладели, казалось, они готовились уже ринуться на Вену; но полумесяцу пришлось остановиться на берегах Адриатического моря.

На севере зашевелился другой варварский народ, он сплывался, готовился, — народ в бараньих шкурах и с «глазами ящерицы». Степи Волги и Урала во все времена служили кочевьем переселяющимся народам; это были залы ожидания и собраний, officina gentium \*, где судьба готовила в тиши дикие орды, чтобы бросить их

мастерская народов (лат.)

==360

на народы, обреченные смерти, чтобы прикончить цивилизации, впавшие в маразм.

И все же луна ислама выше не поднялась и удовольствовалась тем, что озаряет развалины Акрополиса и воды Геллеспонта. А волжские варвары, вместо попытки вторгнуться в Европу, обратились в конце концов в лице одного из своих царей к соседям за цивилизацией и государственным устройством.



Первая грозная туча пронеслась над головой.

Что же случилось?

Вечное переселение народов на запад, задерживавшееся Атлантическим океаном, продолжалось, человечество нашло проводника — Христофор Колумб показал дорогу.

Америка спасла Европу.

И Европа вступила в новую фазу существования, незнакомую древним государствам, — фазу внутреннего разложения по эту сторону и фазу развития по ту сторону океана.

Реформация и революция не перешагнули ни за стены церкви, ни за пределы монархических государств; очевидно, они не могли сокрушить древнее здание. Готический собор осел, трон пошатнулся, но развалины их сохранились. И ни реформация, ни революция не могли больше ничего с ними поделать.

Называется ли человек кальвинистом, евангелистом, лютеранином, протестантом, квакером — церковь все же существует, другими словами — свобода совести не существует, или же это акт индивидуального возмущения. Будет ли правление парламентским, конституционным,

==361

с двумя палатами или с одной, при ограниченном избирательном праве или при всеобщем голосовании... трон шатается, но все же существует, и хотя короли то и дело летят кувырком, на их место находятся другие. За неимением короля в республике, — если дело происходит во Франции, — его заменяют соломенным королем, которого сажают на трон и для которого сохраняются дворцы и парки, Тюльери и Сен-Клу 197.

Светское и рационалистическое христианство борется с церковью, не понимая того, что оно первое будет раздавлено церковными сводами; монархический республиканизм борется с тронном, чтобы усесться на него по-царски. Дыхание революции веет не здесь; поток переменил направление, предоставив старым Монтеки и Капулетти продолжать на втором плане их наследственную вражду. Знамя борьбы поднимается уже не против священника и не против короля, не против дворянина, а против их единственного наследника — против хозяина, против патентованного владельца орудий труда. Революционер теперь уже не гугенот, не протестант, не либерал; имя ему — работник.

И вот Европа, пережившая вторую, даже третью молодость, останавливается у нового порога, не смея его перешагнуть. Она трепещет перед словом «социализм», написанным на двери. Ей сказали, что дверь эту отворит Катидина, и это правда. Дверь может остаться закрытой, но открыть ее дано только Катидине... Катидине, у которого столько друзей,

==362

что невозможно их всех передуть в темнице. Цицерон, этот добросовестный и учтивый убийца, был счастливее своего соперника Кавеньяка<sup>198</sup>.

Эту черту перейти труднее, чем другие. Все реформы наполовину сохраняют старый мир, набросив на него новый покров; сердце не совсем разбито, не все потеряно сразу; часть того, что мы любили, что было нам дорого с детства, что мы почитали, что освящено преданием, — остается на утешение слабым... Прощайте, песни кормилицы, прощайте, воспоминания отчего дома, прощай, привычка, власть которой сильнее власти гения, — говорит Бэкон.

... Во время бури ничто не проникает через таможню, а хватит ли терпения дожидаться затишья?

Все интересы, заботы, осложнения, стремления, волновавшие в продолжение целого века европейские умы, мало-помалу бледнеют, становятся безразличными, делом привычки, вопросами партий. Где великие слова, потрясавшие сердца и исторгавшие слезы! .. Где священные знамена, которым со времени Яна Гуса поклонялись в одном стане, с 89 года—в другом? С тех пор как непроницаемый туман, окутывавший Февральскую революцию, рассеялся, все начинает проясняться, резкая простота заменила путаницу; существуют только два подлинно важных вопроса: вопрос социальный, вопрос русский.

И, в сущности, эти два вопроса сводятся к одному.

Письмо второе

==363

Русский вопрос — случайное явление, отрицательный опыт. Это новое пришествие варваров, чующих агонию, возвещающих старому миру «*memento mori*» \*, предлагающих ему убийцу, если он не желает покончить с собой.

В самом деле, если революционный социализм не в состоянии будет доконать вырождающийся общественный строй, его доконает Россия.

Я не говорю, что это необходимо, но это возможно.

Нет ничего абсолютно необходимого. Будущее не бывает неотвратимо предрешено; неминуемого предназначения нет. Будущее может и вовсе не наступить. Геологический катаклизм вполне может уничтожить не только восточный вопрос, но и все прочие, — за отсутствием задающих вопросы.

Будущее слагается из элементов, имеющихся под рукой, из окружающих условий; оно продолжает прошедшее; общие устремления, смутно выраженные, изменяются в зависимости от обстоятельств. Обстоятельства решают, как это произойдет, и неясная возможность становится совершившимся фактом. Россия точно так же может овладеть Европой до Атлантического океана, как и подвергнуться европейскому нашествию до Урала.

В первом случае Европа должна быть разрозненной.

Во втором — тесно сплоченной.

Сплочена ли она?

помни о смерти (лат.)

==364

Царизм движим чувством самосохранения и тем инстинктом, который служит путеводителем перелетным птицам, устремляющимся к Черному или Средиземному морю. На этом пути царизм не может не встретиться с Европой.

Безумием было бы воображать, что император Николай может противостоять всей Европе, если только Европа сама не станет авангардом армии Николая, с тем чтобы сражаться против самой себя; но так оно и есть, это именно и происходит.

В случае столкновения Европы с Россией консерватизм, боязливый, встревоженный, дряхлый, найдет средства парализовать всякое народное воодушевление.

Ибо есть две Европы, которые относятся друг к другу, с отвращением, с ненавистью, гораздо более сильной, нежели взаимная ненависть турок и русских, и этот общественный манихеизм 199 существует во всяком государстве, во всяком городе, во всякой деревне. Какого же единства в действиях можно ожидать до окончательной победы одного из противников? Войска геройски сражаются на рубежах страны, только когда дома есть Комитет общественного спасения.

Именно он вселил в войска революции ту удивительную энергию, которая после его гибели продержалась еще двадцать лет.

Ничто так не подавляет дух армии, как зловещая мысль, что за спиной готовится измена. А можно ли доверять правительствам, ныне

==365

Существующим? В своем собственном лагере люди порядка подозревают друг друга.

Повсюду, вплоть до высших дипломатических сфер, есть изменники, продающие свою страну Николаю.

Николаю служат не только банкиры и журналисты, но и первые министры, королевские братья, царствующая родня. У него большой запас великих княжон, которых он жалует немецким князьям с условием, чтобы они из своих мужей делали слуг русского царя; когда же эти великие княжны хворают, их посылают пользоваться «лондонскими туманами», целебная сила которых открыта Николаем.

«La Fusion» — сугубо русская газета, «L'Assemblée Nationale» — как будто печатается в Казани или в Пензе. Но если бы император Николай предоставил всех этих Шамбор-Немуров 200 сладостям семейных примирений и охоты во Фрошдорфе, бонапартизм тотчас бы сделался не только русским, но татарским.

Бельгийский король содержит в Брюсселе русское агентство: король Дании—маленькую контору в Копенгагене. Адмиралтейство, гордое адмиралтейство Великобритании, смиренно несет для царя полицейскую службу в Портсмуте<sup>201</sup>, и самоедский офицер безнаказанно топчет ногами акт Habeas

Corpus на палубе английского корабля. Король неаполитанский рабски подражает Николаю, а австрийский император — его Антиной, его страстный поклонник<sup>202</sup>.

Много толкуют о русских агентах, подозревая всегда каких-нибудь жалких шпионов, которых

==366

русское правительство оплачивает, чтобы быть в курсе всевозможных сплетен. Настоящие Шеню и Делагоды<sup>203</sup> царя—это помазанники божий, их agnates \* и cognates \*\*, вся их родня по восходящей и нисходящей линии. Самый полный реестр русских шпионов — это Готский календарь <sup>204</sup>.

Вы видите, что настоящая борьба с Россией совершенно невозможна, покамест не выметут, да не выметут начисто, ваш дом.

Роковая солидарность соединяет реакционную Европу с царизмом; и если она погибнет от руки царизма, это будет великолепной иронией судьбы.

Николай объявил войну Турции — это самая замечательная шалость XIX столетия.

Теперь консерваторы, друзья, клиенты Николая, громче всех вопиют против него. Они принимали царя за полицейского и охотно стращали революционеров 400000 русских штыков. Они думали, что он удовлетворится пассивной ролью пугала; они позабыли, что даже Луи-Бонапарт—и тот не пожелал довольствоваться должностью «пожарного сапера»...

Счастливые дни воротились; все были так довольны, так покойны; массы, раздавленные войсками, с христианскою кротостью умирали от голода. Ни печати, ни трибуны... ни Франции! Святой отец, опираясь на армию, вышедшую из улицы Jerusalem, раздавал направо и налево

родственники по отцовской линии (лат.) \*\* родственники по материнской линии (лат.)

==367

свое апостольское благословение. Дела после февральской катастрофы шли опять своим порядком. Социальное людоедство больше чем когда-либо было в ходу. Настала эра любви и симпатии. Бельгия сочеталась браком с Австрией в лице австрийской эрцгерцогини; молодой венский император вздыхал у ног своей невесты; Наполеон III, 45-летний Вертер, со единялся по любовному капризу с своей Шарлоттой Теба<sup>205</sup>.

Вдруг, среди всеобщего спокойствия, всемирного благоденствия, император Николай бьет тревогу, начиная войну бесполезную, фантастическую, религиозную, — войну, которая легко может перенестись с берегов Черного моря на берега Рейна и которая, во всяком случае, повлечет за собой все то, чем так пугали революции: отчуждение собственности, контрибуции, насилие и, сверх того, неприятельское нашествие, военные суды, расстрелы и военные контрибуции.

Донозо Кортес в знаменитой речи, произнесенной в Мадриде в 1849 году<sup>206</sup>, предсказывал вторжение русских в Европу и видел для цивилизации якорь спасения только в единстве власти, т. е. в неограниченной монархии, служащей целям католицизма. Первым условием для этого он также считал введение католицизма в Англии.

Может быть, подобное единство чрезвычайно усилило бы Европу, но это единство совершенно невозможно,—невозможно, как и все прочие, за исключением единства революционного.

## ==368

Если бы революции не боялись еще более, нежели русских, то чего проще, как идти на Севастополь, захватить Одессу. Магометанское население Крыма не было бы враждебно туркам. Попав туда, можно было бы обратиться с призывом к Польше, дать свободу крестьянам Малороссии, ненавидящим крепостное право... Хотел бы я знать, что бы сделал тогда Николай со своим православным богом?

«Но ведь Польша—это Галиция»,—скажет Австрия.

«Но ведь Польша — это Познань», — скажет Пруссия.

А если Польша восстанет, как удержать Венгрию, Ломбардию?

Ну, так не нужно идти на Севастополь; разве что объявить войну для виду, — войну, которая окончится в пользу Николая или Луи Бонапарта, т. е. в обоих случаях в пользу деспотизма и против консерваторов.

Деспотизм вовсе не консервативен. Не консервативен он даже в России. Нет ничего более разъедающего, разлагающего, тлетворного, чем деспотизм. Случается иногда, что юные народы в поисках общественного устройства начинают с деспотизма, проходят через него, пользуются им как суровой школой; но чаще под игом деспотизма изнемогают народы, впавшие в детство.

Если военный деспотизм, алжирский или кавказский, бонапартистский или казачий, овладеет Европой, то он непременно будет вовлечен в жестокую войну со старым обществом; он не сможет допустить существования полусвободные

## ==369

учреждении, полунезависимого правопорядка, цивилизации, привыкшей к вольной речи, науки, привыкшей к исследованию, промышленности, становящейся великой силой.

Деспотизм — это варварство, погребение дряхлой цивилизации, а иногда ясли, в которых рождается спаситель.

Европейский мир в той форме, в которой он теперь существует, выполнил свое назначение; но нам кажется, что он мог бы почетнее окончить свое поприще, переменить форму существования, — не без

потрясений, но без падения, без унижения. Консерваторы, как все скупцы, больше всего боятся наследника. Так вот — старца задушат ночью воры и разбойники.

После бомбардировки Парижа, после того как расстреливали, ссылали, заточали в тюрьмы работников, вообразили, что опасность миновала! Но смерть—Протей. Ее изгоняют как ангела будущего, она возвращается призраком прошедшего; ее изгоняют как республику демократическую и социальную, она возвращается Николаем, царем всея Руси, или Наполеоном, царем французским.

Тот или другой или оба вместе окончат борьбу.

Для борьбы нужен противник, еще не поверженный в прах. Где же последняя арена, последнее укрепление, за которым цивилизация может вступить в бой или по крайней мере защищаться против деспотов?

В Париже? —Нет. 24 а. и. г.рвец

[==370](#)

Как Карл V, Париж еще при Жизни отрекся от своей революционной короны<sup>207</sup>; немного военной славы и множество полицейских— этого достаточно, чтобы сохранить порядок в Париже.

Арена — в Лондоне.

Пока существует Англия, свободная и гордая своими правами, дело варваров нельзя еще считать окончательно выигранным.

С 10 декабря 1848 года Россия и Австрия перестали ненавидеть Париж<sup>205</sup>. Париж потерял в глазах королей свое значение, они его больше не боятся. Вся их злоба обратилась против Англии. Они ее ненавидят, питают к ней отвращение и хотели бы... ограбить ее!

В Европе есть государства реакционные, но нет консервативных. Одна лишь Англия консервативна, и понятно почему; ей есть что хранить—личную свободу.

Одно это слово совмещает в себе все то, что преследуют, ненавидят Бонапарты и Николаи.

И вы думаете, что они, победив, оставят в двенадцати часах езды от Парижа порабощенного Лондон свободный, Лондон — очаг пропаганды, гавань, открытую всем бегущим из опустошенных, испепеленных городов континента? Ведь все, что должно и может быть спасено среди оргии разрушения — наука и искусство, промышленность и образование,—все это неизбежно устремится в Англию.

Этого достаточно для войны.

Наконец-то осуществится мечта Наполеона, первого варвара нового времени.

Не от революционной Европы, но от европейского деспотизма может Англия ожидать величайшие бедствия. У народов слишком много дела дома, чтоб они могли думать о захвате других стран.

Не эгоизм, не жадность мешают англичанам в этом разобраться. Скажем прямо: из-за невежества и проклятой деловой рутины эти люди не способны понять, что следует иногда, избегая проторенных путей, прокладывать новую дорогу.

Что же! Те, которые, имея глаза, не хотят смотреть, посвящены богам ада. Как их спасти?

Глубокая и безмолвная ночь скроет процесс разложения.

А после?.. После ночи наступает день!

Совершившиеся несчастья должно оплакать... Но оставим мертвым погребать своих мертвецов; и, с состраданием, с уважением накрыв гробовым саваном агонизирующее тело, найдем в себе мужество повторить старый возглас: Король умер—да здравствует король!..

Лондон, 17 февраля 1854.

#### ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Любезный Линтон!

Славянский мир гораздо моложе Европы. Он моложе политически, как Австралия моложе ее геологически. Он складывался медленнее; он не развился, он еще мир недавний и 24»

едва только вступающий в великий поток истории.

Счет прожитых веков тут ничего не значит. Детство народов может длиться тысячелетия, равно как и их старость. Славянские народы служат примером первому, азиатские—второму.

Но что дает право утверждать, что теперешнее состояние славян — это юность, а не дряхлость; что это начало развития, а не неспособность к нему? Разве мы не знаем, что иные народы исчезают, так и не став историческими, даже народы, показавшие, что они не лишены способностей [. . .].

Достаточно присмотреться к судьбам России, чтобы на этот счет не осталось никаких сомнений. Страшное влияние, которое она оказывает на Европу, — не признак маразма или неспособности, напротив — это признак полудикой силы, необузданной, но могучей юности.

Такой именно Россия вступила впервые в цивилизованный мир.

Это было во времена регентства в Париже и кое-чего еще худшего в Германии. Повсюду растление, изнеженность, расслабляющий и постыдный разврат — грубый в Германии, утонченный в Париже.

В этой нездоровой атмосфере, где вредные испарения едва заглушались благовониями, в этом мире наложниц, незаконнорожденных дочерей, куртизанок, правящих государствами, расслабленных нервов, слабоумных принцев — вздыхаешь, наконец, с облегчением при виде гигантской фигуры Петра I, этого варвара в про-

### ==373

стом мундире из грубого сукна, жителя севера, дюжего, мускулистого, полного энергии и силы. Таков был первый русский, занявший свое место среди европейских властителей. Он пришел учиться и узнал много для себя неожиданного. Он понял слишком хорошо, что западные государства дряхлы, а их правители растленны.

Тогда еще не предвидели революцию, которой предстояло спасти мир; предвидели только разложение. Так Петр I понял возможное значение России перед лицом Азии и Европы. Подлинно оно или нет, но завещание Петра содержит его мысли, которые он, впрочем, нередко высказывал в своих заметках и записках. Русское правительство до Николая оставалось верным традиции Петра I, и даже Николай следует ей, по крайней мере во внешней политике.

Россию можно осуждать, проклинать, но можно ли утверждать, что она одряхла, остановилась в своем развитии, клонится к упадку?

Говорят, что русский народ держится в стороне, неподвижно, в то время как почти чужестранное правительство делает в Петербурге что хочет. Немецкие писатели заключают из этого, что русский народ, косный, азиатский, ничего общего не имеет с деятельностью своего правительства; что это — полудикое племя, дипломатически завоеванное немцами, которые ведут его куда им вздумается. Немецкие завоевания — надобно им отдать справедливость — величайшие и самые бескровные в мире. Немцы не довольствуются родством с Англией и Аме-

### ==374

рикой (Stammverwandt! \*), в их руках сверх того, вся Россия, покоренная рыцарями остзейских губерний, голштейн-готторпской фамилией 209, тучами генералов, дипломатов, шпионов и прочих сановников немецкого происхождения.

Действительно, петербургское правительство не национально. Целью переворота Петра I была денационализация московской Руси. Пассивная оппозиция и своего рода неподвижность народа — тоже факт неоспоримый. Но, с другой стороны, народ невольно составляет гигантскую и живую основу для деятельности правительства. Он образует огромный хор, который придает немецкому (если угодно) деспотизму Петербурга характер *sui generis* \*\*. Народ не любит свое правительство, но все же видит в нем представителя своего национального единства и своей силы.

В России ничто не имеет того характера застоя и смерти, который у старых народов Востока неизменно, однообразно передается из поколения в поколение.



Из неспособности народа к той или иной переходной форме неправильно заключать об его полной неспособности к развитию вообще.

Славянские народы не любят ни идею государства, ни идею централизации. Они любят жить в разъединенных общинах, которые им хотелось бы уберечь от всякого правительствен-

племенное родство (нем.) \*\* своеобразный (лат.)

==375

ного вмешательства. Они ненавидят солдатчину, они ненавидят полицию. Федерация для славян была бы, быть может, наиболее национальной формой. Противоположный всякой федеративное™ петербургский режим — лишь суровое испытание, временная форма; она несомненно принесла и некоторую пользу, насильственно спаяв разрозненные части империи и принудив их к единству.

Русский народ — народ земледельческий. В Европе улучшения в социальном положении владеющего собственностью меньшинства коснулись лишь горожан. А крестьянам революция принесла только отмену крепостного состояния и раздробление земель. Между тем известно, что разделение земельных участков нанесло бы смертельный удар русской общине.

В России ничто не окаменело; все в ней находится еще в текучем состоянии, все к чему-то готовится. Гакстгаузен справедливо заметил, что в России всюду видны «незаконченность, рост, начало». Да, всюду дают о себе знать извесь, пила и топор. И при всем том люди остаются смиренными крепостными помещика, верноподданными царя.

Естественно возникает вопрос — должна ли Россия пройти через все фазы европейского развития или ей предстоит совсем иное, революционное развитие? Я решительно отрицаю необходимость подобных повторений. Мы можем и должны- пройти через скорбные, трудные фазы исторического развития наших предшественников, но так, как зародыш проходит низ-

==376

шие ступени зоологического существования. Оконченный труд, достигнутый результат свершены и достигнуты для всех понимающих; это круговая порука прогресса, майорат человечества. Я очень хорошо знаю, что результат сам по себе не передается, что по крайней мере он в этом случае бесполезен,— результат действителен, результат усваивается только вместе со всем логическим процессом. Всякий школьник (заново открывает теоремы Евклида, но какая разница между трудом Евклида и трудом ребенка нашего времени!..

Россия проделала свою революционную эмбриогению в европейской школе. Дворянство вместе с правительством образуют европейское государство в государстве славянском. Мы прошли через все фазы либерализма, от английского конституционализма до поклонения 93-му году. Все это было

похоже — я об этом говорил в другом месте<sup>210</sup> — на аберрацию звезд, которая в малом виде повторяет пробег земли по ее орбите.

Народу не нужно начинать снова этот скорбный труд. Зачем ему проливать свою кровь ради тех полурешений, к которым мы пришли и значение которых только в том, что они выдвинули другие вопросы, возбудили другие стремления?

Мы сослужили народу эту службу, мучительную, тягостную, мы заплатились виселицами, каторгой, казематами, ссылкой и жизнью, над которой тяготееет проклятие, — да, жизнью, над которой тяготееет проклятие,

### ==377

В Европе не подозревают о том, сколько перестрадали у нас два последние поколения.

Гнет становился день ото дня сильнее, тягостнее, оскорбительнее; приходилось прятать свою мысль, заглушать биение сердца... И среди этой мертвой тишины, вместо всякого утешения, мы с ужасом увидели скудость революционной идеи и равнодушие к ней народа.

Вот источник той мрачной тоски, того раздирающего скептицизма, той тягостной иронии, которые присущи русской поэзии. Кто молод, у кого горячее сердце, тот пытается себя одурманить, забыться; люди талантливые умирают на полдороге, их ссылают, или они добровольно удаляются в ссылку. Об этих людях, об их ужасном конце говорят, потому что им удалось разбить железный свод, тяготевший над ними, потому что они показали свою силу... Но не меньше страдали сотни других—те, что с отчаяния сложили руки, морально покончили с собой, отправились на Кавказ, засели в своих имениях, в игорных домах, в кабаках, — все эти лентяи, о которых никто не пожалел.

Для дворянства наступил конец этого искусства. Образованная Россия должна теперь раствориться в народе.

Европеизированная Россия по-настоящему открыла русский народ только после революции 1830 года. С удивлением поняли наконец, что русский народ, столь равнодушный, столь не способный к постановке политических вопросов, — своим бытом ближе всех европейских народов к новому социальному устройству. «Пусть

### ==378

так, — возражат на это, — но он близок и к социальному устройству некоторых народов Азии». При этом указывают на сельские общины у индусов, довольно схожие с нашими.

А я и не отрицаю того, что некоторыми своими элементами общественная жизнь азиатских народов стоит выше общественной жизни Запада. Не общинное устройство задерживает развитие азиатских народов, а их неподвижность, их нетерпимость, бессилие их порвать с патриархальностью, с племенным бытом. У нас все это не играет роли.

Славянские народы, напротив того, отличаются гибкостью: замечательна легкость, с которой они усваивают язык, обычаи, искусство и технику других народов. Они равно обживаются у Ледовитого океана и на берегах Черного моря.

У образованных русских (как ни оторваны они от народа, но все же в них отразился его характер) вы не найдете той нетерпимости старых женщин, той ограниченности несвободных людей, которые на каждом шагу встречаются в старом мире.

Неприступная китайская стена, разделяющая Европу, вызывает у нас изумление. Разве Англия и Франция имеют понятие об умственном движении в Германии? В еще меньшей степени эти два европейские Китая способны понять друг друга. Разделенные лишь несколькими часами езды, поддерживающие между собой непрерывную торговлю, необходимые друг другу, Париж и Лондон дальше друг от друга, нежели Лондон и Нью-Йорк. Англичанин из народа

==379

смотрит на француза с дикой ненавистью, с видом превосходства — отчего он сам кажется жалким.

Английский буржуа еще несноснее; он вас душит вопросами, обнаруживающими столь глубокое неведение соседнего края, что не знаешь, как ему отвечать. Француз, в свою очередь, способен прожить пять лет в Лейстер-сквере, не понимая, что делается вокруг. Чем же объяснить, что немецкая наука, которая не в состоянии перейти Рейн, очень хорошо пересекает Волгу; что британская поэзия, искажающаяся при переходе через пролив, переплывает невредимая Балтийское море? И все это при правительстве подозрительном и самовластном, принимающем все меры, чтобы отдалить нас от Европы.

Наше воспитание, домашнее и общественное, имеет резко выраженный универсальный характер. Нет воспитания менее религиозного, чем наше, и более многоязычного, особенно по части новых языков. Этот характер придала ему реформа Петра I, в высшей степени реалистическая, светская и в общем европейская. Кафедры богословия учреждены были в университетах только при императоре Александре, и притом в последние годы его царствования. Николай прилагает величайшие усилия к тому, чтобы испортить общественное образование; он нанес ему удар, сократив число учащихся, но что касается его полицейского православия, то я не думаю, чтобы оно пустило корни; изучение же новых языков стало настолько необходимым и привычным, что оно будет продолжаться по-

==380

прежнему. Официальная санкт-петербургская газета печатается по-русски, по-французски и по-немецки.

Наше воспитание не имеет ничего общего с той средой, для которой человек предназначен, и в этом его достоинство. Образование у нас отрывает молодого человека от безнравственной почвы, гуманизирует

его, превращает в цивилизованное существо и противопоставляет официальной России. Он от этого много страдает. Это — искупление преступлений наших отцов, и это источник революционных настроений. Самые тяжкие времена миновали; меньшинство, дотоле полностью оторванное от народа, встретилось с народом тогда, когда оно меньше всего этого ожидало.

С каким удивлением слушали наши рассказы о русской общине, о постоянном переделе земли между ее членами, о выборных старостах с их простыми способами управления, о всеобщем голосовании в общинных делах! Иногда нас считали пустыми мечтателями, людьми, свихнувшимися на социализме!.. Но вот является человек, отнюдь не революционно настроенный, и издает три тома о сельской общине в России. Это Гакстгаузен — католик, пруссак, агроном и монархист, столь крайний, что для него прусский король слишком либерален, а император Николай слишком человеколюбив!

Факты, нами указанные, изложены им *in extenso* \*. Не буду повторять то, что я уже

подробно (лат.)

==381

говорил об этой зачаточной организации общинного *self-government*\*, где все должности выборные, где все — собственники, хотя земля не принадлежит никому, где пролетариат — ненормальное явление, исключение. Вы об этом достаточно знаете и поймете, что русский народ, несчастный, в значительной своей части подавленный крепостничеством, в целом подавленный правительством, которое его гнетет и презирает, не мог вслед за народами Европы проходить фазы их революционных движений, исключительно городских, и которые тотчас пошатнули бы основания его общинного строя. Современная революция, напротив того, разыгрывается на той же почве, — мы увидим, каков будет результат этой встречи.

Сохранить общину и освободить личность, распространить сельское и волостное *self-government* на города, на государство в целом, поддерживая при этом национальное единство, развить частные права и сохранить неделимость земли — вот основной вопрос русской революции — тот самый, что и вопрос о великом социальном освобождении, несовершенные решения которого так волнуют западные умы.

Государство и личность, власть и свобода, коммунизм и эгоизм (в широком смысле слова) — вот геркулесовы столбы великой борьбы, великой революционной эпопеи.

самоуправления (англ.)

==382

Европа предлагает решение ущербное и отвлеченное. Россия — другое решение, ущербное и дикое.

Революция даст синтез этих решений. Социальные формулы остаются смутными, покуда жизнь их не осуществит.

Англосаксонские народы освободили личность, отрицая общественное начало, обособляя человека. Русский народ сохранил общинное устройство, отрицая личность, поглощая человека.

Закваска, которая должна была привести в движение силы, дремлющие в бездействии общинно-патриархальной жизни, — это принцип индивидуализма, личной воли. Это начало входит в русскую жизнь иным путем, воплощается в лице царя-революционера, отрицавшего традицию и национальность, надвое разделившего русский народ.

Русская империя—творение XVIII века; все, что создавалось в это время, несло в себе семена революции.

Холостой дворец Фридриха II и смиренный дом, служивший дворцом его отцу<sup>211</sup>, вовсе не были монархичны, подобно Эскуриалу или Тюльери. В новом государстве веял резкий утренний ветер; в нем все просто, сухо, положительно, рационально, — а это именно убивает религию и монархию. То же и в России.

Петр I круто порвал с византийско-московской традицией. Деятель гениальный, он предпочитал власть престолу, воздействовал скорее террором, нежели величием, он ненавидел театр-

Письмо третье

==383

ральность, столь необходимую для монархии.

Устройство русской империи в высшей степени просто. Это Правление доктора Франсиа в Парагвае<sup>212</sup>, в приложении к стране с пятьюдесятью миллионами населения. Это осуществление бонапартовского идеала: немой народ, без прав, без защитников, живущий вне закона, ему противостоит меньшинство, которое правительство увлекает за собой, поощряет, возводит в дворянство; меньшинство это образует бюрократию.

Россия в полном смысле слова управляется адъютантами, указами, писарями и эстафетами. Сенат, Государственный совет (учреждение более позднее), министерства—не что иное, как канцелярии, в которых не спорят, а исполняют, не обсуждают, а переписывают. Вся администрация представляет собою крылья телеграфа<sup>213</sup>, с помощью которого человек из Зимнего дворца изъявляет свою волю.

Гораздо легче уничтожить верхушку этой автоматически действующей организации, нежели

-подорвать ее основы.

В монархическом государстве, если король

-убит, монархия остается. У нас, если император :убит, остается дисциплина, остается бюрократический порядок; лишь бы телеграф действовал, ему будут повиноваться...

Можно завтра прогнать Николая, посадить вместо него Орлова или кого угодно — ничто не сдвинется с места. Дела будут производиться с тою же точностью, машина по-прежнему будет работать — переписывать, извещать, отве-

чать; машинисты по-прежнему будут красть и показывать рвение.

Императрица Екатерина II испугалась этого страшного и немого всемогущества, беспредельной покорности исполнителей и рабов, которые служат тому, кто приказывает, чье повиновение переживает даже самого повелителя. Она хотела дать дворянству большую независимость, чтобы окружить себя людьми, добровольно преданными ей и монархии, — людьми, на которых она могла бы положиться. Молчание писарей и экзекуторов страшило супругу Петра III! Среди такого молчания Алексей Орлов удавил своего заключенного в тюрьму господина, а писаря писали: «Его величество изволил скончаться», а экзекуторы подвергали экзекуции всякого, кто этому не верил.

Новые учреждения действительно были странны, необычайны. Никто серьезно не размышлял над их эксцентрическим характером, над экзотическим смещением демократизма и аристократизма<sup>214</sup>, безграничного деспотизма и обширных избирательных прав, Иоанна Грозного и Монтескье.

Все эти учреждения отмечены двойной печатью — петровского периода и несложившихся национальных учреждений, развившихся под организующим влиянием западных идей; национальные начала, в свою очередь, видоизменяют западные идеи в направлении им почти противоположном.

Судьи выбираются, и выбираются на шесть лет; судьи принадлежат к трем классам: дво-

рянству, мещанству и крестьянству; судебного сословия же нет совсем. Каждый имеющий право участвовать в выборах может быть выбран в судьи. Отсутствие судебного сословия — факт замечательный. Одним врагом меньше, да еще каким врагом! Судья—это другой черный человек, светский двойник священника и таинственный страж закона человеческого, имеющий монополию судить, осуждать, постигать *ratio scripta* \*. Смешон отставной кавалерийский офицер, ничего не понимающий в законах и процедурах и выбранный в судьи. Но, с другой стороны, очень печально, если приходится признать, что никто не способен выносить решения, кроме знатоков в судейских мантиях, воспитанных *ad hoc* \*\*. Если выбранные судьи плохи, тем хуже для избирателей — они люди совершеннолетние и знают, что делают. Но, скажут нам, юридические знания не приходят с возрастом, законы так сложны, что нужны долгие годы, углубленные занятия, чтобы разобраться в юридическом лабиринте... Это верно, но из этого не следует, что с самого детства нужно готовить особую касту людей, понимающих законы, а, напротив, следует, что пора бросить все эти законы в огонь. Отношения людей просты; формальности, устаревшие порядки — вся эта судейская поэзия, все *fiorituri* \*\*\* юриспруденции — вот что запутывает вопросы.

смысл написанного (лат.) \*\* Здесь: специально для этой цели (лат.) \*\*\* украшения (итал.)

==386

В России суд состоит из одного члена, выбранного дворянством, другого, выбранного мещанами, и третьего — вольными крестьянами. Дворянство выбирает двух кандидатов на должность председателя уголовной палаты. Правительство утверждает одного из них и, со своей стороны, назначает прокурора, имеющего право приостанавливать всякое решение и докладывать его сенату.

Если принять во внимание, что прокурор также принадлежит к дворянству, то становится ясно, что действия членов суда от мещан и от крестьян парализованы во всех случаях разногласия. Правда, они имеют право протестовать и выносить дела на рассмотрение в сенат. Но это случается очень редко — по самой простой причине: сенат, лишенный начал народных и избирательных, всегда бывает заодно с дворянами и с правительством. Но сейчас мы говорим о норме, а не о злоупотреблениях. Обратите внимание на основу, на возможное развитие в будущем, а не на применение ее в современных условиях. Лет десять тому назад старый московский купец, человек неподкупный и строгий, был избран городским головой этого города. Обязанности городского головы состоят в надзоре за денежными средствами города, он распоряжается городскими доходами и расходами. Обыкновенно на эту должность выбирают какого-нибудь миллионера, любящего красоваться на официальных празднествах; он дает роскошные обеды и балы и подписывает все, что угодно правительству и чего желает началь-

==387

ство. Московский городской голова Шестов иначе понял свои обязанности. Он так подрезал крылья официальных воров, что обер-полицмейстер объявил ему ожесточенную войну. Купец принял вызов, и борьба кончилась падением полицмейстера.

Избираются не только судьи, но и земская полиция; исправника и часть станových выбирает дворянство.

Там, где оканчивается уездная полиция, начинается сельская община с своим *a parte* \* — с выборным старостой, с выборной полицией, с поглощением личности во имя традиционного и национального коммунизма. Там, где, с Другой стороны, начинается правительственная централизация, — а к ней относится все стоящее выше местных губернских учреждений, — там теряются последние следы личного права; личность поглощена, уничтожена петербургской диктатурой во имя самодержавия, самого неограниченного и вовсе не славянского.

Единственная среда, в которой могут развиваться идеи личного права и идеи революционные, — это дворянство и среднее сословие.

В России буржуазия пользуется меньшим влиянием, нежели в Европе, не только оттого, что у нас развитие промышленности было менее значительным, но и оттого, что верхушка русской буржуазии легко получает дворянское звание (чиновники, богатые купцы, артисты, лица, награжденные орденами, и т. д.).

Здесь: со своими особенностями (итал.)

## ==388

Наша буржуазия еще не представляет собой моральную силу. Она всегда была чрезвычайно отсталой, консервативной, православной, раболепной и патриотической сверх меры. Подавленное, скрывающее свои богатства, наше купечество прячется, молчит, живет взаперти, строит церкви, раздает милостыню бедным и арестантам, дает взятки чиновникам..; и копит миллионы. Только новое поколение, получившее вполне европейское образование, воспримет наши революционные идеи.

У нас дворянство — скорее бюрократия, нежели аристократия. Родовитость, графский и княжеский титул, древность имени, обширность поместий не дают никаких привилегий. Их дает чин. Если в дворянском роду два поколения не служили, то правительство может лишить наследников дворянства.

Эта всеобщность службы меняет ее характер. В России служить правительству не значит, как во Франции, быть агентом правительства, продавшим ему душу. Все заговорщики 14/26 декабря состояли на службе. Общественное мнение не смешивает настоящих чиновников, преданных, усердных, чиновников по призванию, с чиновниками совсем иного рода. Первые иногда боятся, но никогда не уважают. Из последних же состоит почти все независимое общество в столицах и губерниях. Это достаточно многочисленный класс, если причислить к нему военных — обычно чуждых раболепству и низости гражданских чиновников, — людей, вышедших в отставку в 25 или в 26 лет, помещиков, живущих

## ==389

в своих имениях и служащих только по дворянским выборам.

Вот в этой-то среде наше универсальное и многоязычное воспитание образовало самых независимых людей в Европе. Гнетущий деспотизм, отсутствие свободы слова, необходимость быть всегда настороже приучили мысль к сосредоточенности, к внутренней работе, смелой и исполненной ненависти. Новая литература раскрыла затаенные страсти, которыми полна грудь русского человека. О том же свидетельствуют и взгляды образованного меньшинства. Без страха и сожалений мы дошли в политике до социализма, в философии — до реализма и отрицания всякой религии.

Социализм объединяет европейских революционеров с революционерами славянскими.

Социализм снова привел революционную партию к народу. Это знаменательно. Если в Европе социализм воспринимается как знамя раздора, как угроза, — перед нами социализм предстает как радуга революций, надежда на будущее.

Теперь, ознакомившись несколько с элементами русской жизни, вы поймете, что у нас невозможно сделать шаг вперед, не вступив в фазу революции или в европейскую войну.

Все жизненные вопросы поставлены так, что их решение неизбежно повлечет нас к общественному переустройству — если только оно не будет отсрочено какими-либо внешними событиями.



## ==390

Освобождение крестьян, дело столь простое в других государствах, невозможно у нас без уступки крестьянам земли, а освобождение с землей означает частичное отчуждение дворянской собственности.

Условия дворянского быта изменятся, а с ними и отношения дворянства к правительству; не забудьте, что суд и полиция в сельской местности принадлежат дворянству, что и дворянство каждой губернии представляет собой сословную организацию, наделенную совещательными правами, имеющую своих предводителей и постоянные собрания.

Если бы русский престол достался действительно энергическому человеку, он стал бы во главе освободительного движения, он покрыл бы истинной славой конец петербургского периода и ускорил бы неизбежный процесс, который, за отсутствием такого человека, поглотит престол. Но для всего этого нужен Петр I, а не Николай.

Позвольте мне сначала объяснить свою мысль. Не только самодержавие как таковое препятствует всякому прогрессу в России. Петербургский деспотизм сохраняет, как я уже сказал, свою диктаторскую форму, форму революционную, лишенную традиций и принципов; это орудие войны, борьбы, которое может служить разным целям. Но с 26 декабря 1825 года во всех вопросах внутренней жизни определился отвратительный склад русского правительства, и оно ни к чему хорошему не способно. Николай бесконечно далеко шагнул назад и сделал это с поразительной неуклюжестью. Николай

## ==391

с самого начала хотел больше быть царем, нежели императором; но, не поняв, не почувствовав славянский дух, он не достиг цели и ограничился тем, что преследовал всякое стремление к свободе, подавлял всякое желание прогресса, останавливал всякое движение. Он хотел из своей империи создать военную Византию. Отсюда его показное православие, холодное, ледяное, как петербургский климат. Николай постиг только гнет, неподвижность, только китайскую сторону вопроса. В его системе нет ничего деятельного, даже ничего национального, — перестав быть европейским, он не сделался русским.

За время своего долгого царствования он коснулся всех учреждений, всех законов, повсюду внося начало смерти, "оцепенения."

Дворянство не могло оставаться замкнутой кастой из-за легкости, с какою давали дворянское звание. Николай затруднил к нему доступ. Для того чтобы стать потомственным дворянином, нужно было теперь дослужиться до чина майора в военной службе и статского советника — в гражданской.

До Николая каждый дворянин был избирателем; он же установил избирательный ценз.

До Николая уездная полиция была выборной. Он приказал назначать станowych от правительства, под начальством исправника, выбранного дворянством.

Русское уголовное право раньше не знало смертной казни; Николай ввел ее за преступления политические и за отцеубийство.

### ==392

Уголовное право не признавало также нелепого наказания тюрьмой — Николай ввел его.

Веротерпимость составляла одну из славных основ империи, созданной Петром I; Николай издал суровый закон против лиц, переменивших религию.

Жалованная грамота дворянству предоставляла дворянам право жить где они хотели и состоять на службе в иностранных государствах. Николай ограничил право передвижения и сроки путешествий. Он ввел конфискацию имущества.

При Петре III была уничтожена тайная канцелярия, род светской инквизиции. Николай ее восстановил; он учредил целый корпус вооруженных и невооруженных шпионов<sup>216</sup>, которых он отдал в выучку Бенкендорфу, а впоследствии поручил своему другу Орлову, Всеми этими средствами Николай затормозил движение, он ставил палки во все колеса и теперь сам негодует на то, что дела не идут. Теперь он во что бы то ни стало хочет что-нибудь сделать, он старается изо всех сил... может быть, колеса сломаются и кучер свернет себе шею. Но он л<ожег еще взять верх в борьбе со старым миром, разъединенным, усталым, поработанным.

В моем первом письме я сказал, любезный Линтон, что если русскому народу предстоит одна только будущность, то Российской империи предстоят, быть может, две будущности.

Я глубоко убежден, что русское император-

### ==393

ство заглохло бы и разложилось очень быстро перед лицом Европы, свободной и объединенной (насколько позволяют национальные особенности отдельных народов). Петербургское самодержавие не принцип и не догмат, а только сила; чтоб оставаться силой, оно должно непрерывно действовать. Полицейский надзор и сопротивление всякому движению — это еще не занятие, а другого содержания для своей деятельности самодержавие найти не может, и все другое его пугает.

Перед лицом свободной Европы у русского императорства были бы только два исхода: превратиться в демократическое и социальное самовластие, что я не считаю совсем невозможным, но что совершенно изменило бы характер царизма, или окаменеть, замереть в Петербурге, с каждым днем теряя влияние, силу, авторитет, пока в один прекрасный день его не прогонит крестьянская революция или солдатский бунт.

Около двадцати миллионов крепостных найдут поддержку у казаков, глубоко оскорбленных потерей своих прав и вольностей, у раскольников, число и моральная сила которых очень значительны и

которые относятся к правительству с непримиримой ненавистью, — найдут поддержку также у части дворянства... Есть над чем задуматься обитателям Зимнего дворца.

Разве Пугачев в продолжение нескольких месяцев не был неограниченным властителем четырех губерний? Впрочем, теперь принимают уже не те военные меры, что в 1773 году.

==394

И все же я очень хорошо помню восстание военных поселений Старой Руссы в 1831 году, в 150 километрах от Петербурга и 450 от Москвы, в том месте, где всегда расположено много войск! Восставшие прервали сообщение между столицами, успели казнить всех офицеров и учредить своего рода правительство, составленное из полковых писарей...

С тех пор народ развился. Русский солдат не привык убивать русских. Как-то во время крестьянского бунта после учреждения нового министерства государственных имуществ послали полк, чтобы разогнать народ. Народ не расходился, продолжал кричать, чего-то требовать. Генерал, после тщетных увещаний, приказал зарядить ружья и взять на прицел... толпа не двинулась с места; тогда генерал дал знак открыть огонь... Полковник скомандовал: «Пли!»... Не раздалось ни одного выстрела. Генерал, удивленный, ошеломленный, грозно повторил: «Пли!» Солдаты опустили ружья и стояли неподвижно. Генерал, бледный как смерть, просил полковника и офицеров... сохранить тайну. — Это может повториться... Когда Европа охвачена революцией, воздух становится резким, насыщенным электричеством... Словом, бок о бок с Европой, революционной и свободной, русское императорство выглядело бы плачевным и непрочным. Оно может быть мощным и победоносным только рядом с реакционной Европой.

Монархическая, но не слишком воинственная Европа не хочет и не может всерьез воевать

==395

с царем. Царь, с своей стороны, не может воздержаться от войны с Европой, — разве только она ему подарит Константинополь.

Константинополь? — Да, Константинополь! Он ему нужен, чтобы обратить русский народ лицом к Востоку; он ему нужен, чтобы православная церковь поддерживала царскую власть еще усерднее; наконец, он стремится к нему инстинктивно — потому что в конечном счете Николай тоже орудие судьбы. Сам того не понимая, он осуществляет скрытые цели истории; он трудится над тем, чтобы углубить пропасть, которая поглотит его или его преемников.

Время славянского мира настало. Таборит, человек общинного быта, расправляет плечи... Социализм ли его пробудил? Где водрузит он свое знамя? К какому центру он тяготеет?

Ни Вена, город рококо-немецкий, ни Петербург, город новонемецкий, ни Варшава, город католический, ни Москва, город только русский,— не могут претендовать на роль столицы объединенных славян.

Этой столицей может стать Константинополь — Рим восточной церкви, центр притяжения всех славяно-греков, город, окруженный славяно-эллинским населением.

Германо-романские народности — это продолжение Западной империи; явится ли славянский мир продолжением Восточной империи? — Не знаю, но Константинополь убьет Петербург.

Петербург был бы нелепостью в империи, владеющей Константинополем; а какой-нибудь Голштейн-Готторп, прикинувшийся Порфирогенетом или Палеологом, слишком смешон, для

## ==396

того чтобы это могло осуществиться. Этим бравым немецким выходцам следовало бы вернуться к себе на родину, которая их призывает. .. Впрочем, может быть, она без них обойдется, но ценою потоков крови...

Разве вы не слышите, как за вашей дверью казак, перешептывается с двумя приятелями, которые вас предадут и готовы проложить ему путь к самому сердцу Европы?

После событий 1849 года мы предсказывали: Габсбурги и Гогенцоллерны приведут вам русских.

Для царя завоевательная война — единственное средство приобрести популярность и сохранить свою власть. Не находящие применения силы выступят из берегов; царю это даст возможность уклониться от решения внутренних вопросов и в'; то же время утолить его дикую жажду битв и расширения границ.

Для Европы всякая война — бедствие. Европа уже не в тех годах, когда ведут поэтические войны. Ей предстоит решение иных вопросов, предстоит иная борьба, — но она сама этого хотела!.. Теперь она искупает вину.

Завоевательная война несовместна с цивилизацией, с промышленным развитием Европы, несовместны с ним и абсолютная монархия, солдатский деспотизм; однако весь континент предпочел их свободе.

Монархическое равнозначно военному. Это режим материальной силы, апофеоз штыка. Нет штатских Бонапартов: даже сын терома — генерал-лейтенант.

## ==397

Быть может, среди крови, резни, пожаров, опустошений народы проснутся и увидят, протирая глаза, что все эти сновидения, ужасные, отвратительные, были лишь сновидениями... Бонапарт, Николай — мантия в пчелах<sup>218</sup>, мантия в польской крови, император виселиц, король расстрелов — всего этого нет; и народы, увидя, как давно взошло солнце, удивятся своему долговому сну...

Быть может... но...

Во всяком случае эта война — l'introduzione maestosa e marziale \* славянства в мировую историю и una marcia funebre \*\* старого мира.

Примите мой братский привет.

А. Герцен Лондон, 20 февраля 1854.

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XII. М., 1957, стр. 167—200.

величественная и воинственная интродукция (итал.)

\* похоронный марш (итал.)

==398

[00.htm - glava08](#)

## **РУССКОЕ КРЕПОСТНИЧЕСТВО**

(Перевод с английского)

### **СТАТЬЯ ПЕРВАЯ**

Призвание нашего века — освободить всех угнетенных и страждущих" 21в

Пришло время, когда русское крепостное право должно стать если не европейским, то, по крайней мере, английским вопросом. Лондон, который стал постоянным мировым центром всех освободительных и прогрессивных движений, едва ли может остаться равнодушным к такому вопросу, как вопрос о белом рабстве в России \*. Против белого рабства в России слишком мало выступали, вероятно, потому, что никто не защищал его с тем бешеным упорством, которое проявили в этом вопросе заатлантические рабовладельцы. Следует отметить, \* В настоящее время, когда вся Англия, под влиянием великого произведения Бичер-Стоу<sup>220</sup>, выражала глубокое и живое сочувствие невольникам южных штатов Северной Америки, никто, по-видимому, не вспомнил, что ближе к Англии, по ту сторону Балтийского моря, целое народонаселение составляет законную собственность кучки помещиков — и население не в 3 000 000, а в 20 000 000! Один из моих друзей хотел напечатать брошюру<sup>221</sup>, чтобы обратить на этот факт внимание английских филантропов. Но брошюра никогда не была напечатана. Я поднял тот же вопрос, прибавив некоторые общие соображения, которые хотя и недостаточны сами по себе, но могут, я надеюсь, пролить свет на эту печальную тему. — Прим. А. И. Герцена.

==399

что, хотя многие богатые русские помещики страстно желают сохранения крепостничества, никто не выступает с оправданием этого правопорядка, никто не берет на себя его защиту, даже правительство.

И тем не менее это вопрос первостепенной важности. Действительно, можно сказать, что весь русский вопрос, по крайней мере в настоящее время, заключается в вопросе о крепостном праве. Россия не может сделать ни шага вперед, пока не уничтожит рабство. Крепостное состояние русского крестьянина — это рабство всей Российской империи.

Политическая и социальная жизнь Западной Европы была раньше сосредоточена в замках и городах и в основном была феодальной или муниципальной жизнью. Крестьянин оставался вне общественного движения. Революция мало уделила ему внимания. Продажа национальных имуществ не изменила его положения, если не считать того, что в ограниченном количестве образовалась провинциальная буржуазия. Крепостной достаточно хорошо знал, что земля не принадлежит ему; он ждал только личного и негативного освобождения — освобождения землепашца. В России — как раз обратное явление.

Первоначальное общественное устройство этого земледельческого и общинного народа являлось, по самой сущности своей, демократическим; не было феодальных замков; немногочисленные города представляли собой не что иное, как большие деревни. Не существовало никакой разницы между крестьянином и горожанином.

==400

Сельская община в том виде, как она и теперь существует, точно воспроизводит великие общины Новгорода, Пскова, Киева. Московская централизация уничтожила автономию городов, но то, что называлось скромным словом «община», сохранило свое самоуправление, свои суды присяжных и мировые суды вплоть до конца царствования Ивана Грозного, т. е. до XVII столетия.

Земля не являлась еще предметом частной собственности: каждой сельской общине принадлежало определенное количество земли. Каждому члену общины предоставлялось право обрабатывать часть этого общего владения, и каждый действительно пользовался плодами своего труда. Таково еще и сейчас положение тридцати миллионов так называемых государственных крестьян. Земля, вода и лес не подлежали ограничительным феодальным правам; рыбная ловля, охота и речное судоходство осуществлялись совершенно свободно. Более того, члены каждой общины могли покинуть ее и перейти в другую или переселиться в города. Податями облагалась только земля; однако принималось во внимание ее качество, поэтому различно оценивались земли на разных берегах Оки и Волги.

Положение государственных крестьян мало изменилось. Правительство, совершенно не понимая мудрости старых установлений, назначило, в виде земельного налога, единую подушную подать, глубоко несправедливую по самому своему существу. В некоторых местностях кре-

==401

стьяне селились на частных землях. Земля там предоставлялась не каждому крестьянину в отдельности, но группе земледельцев—общине на условиях испольщины или других платежей и повинностей. Общины, не принадлежавшие помещикам, были устроены подобно остальным, и крестьянин мог их покинуть по своему усмотрению.

Не надо упускать из виду, что тогда частные земельные собственники арендуемых таким образом земель не имели ничего общего с западными сеньорами. Сам землевладелец был не чем иным, как крестьянином, который разбогател или некоторое время служил государству.

В России никогда не было организованной аристократии. Аристократия являлась в ней не столько сословием, сколько результатом обычного права, расплывчатого и неопределенного по своей природе. Несколько норманнских семей, сопровождавших Рюрика в Новгород в X веке, менее чем за сто лет растворились в окружающей среде. Бояре, окружавшие великого князя и удельных князей, являлись большей частью искателями приключений, дослужившимися до своего звания. И звания эти не переходили к их детям.

В России не было потомства завоевателей и поэтому не могло быть настоящей аристократии. Постепенно сложилась совершенно искусственная аристократия, разнородная, смешанной крови, существовавшая без всяких законных оснований.

## ==402

Основное ядро этой квазиаристократии образовали удельные князья, потерявшие свою независимость в XVI столетии, и их потомки; затем явились татарские мурзы, потом—выходцы из всех европейских государств: поляки, сербы, немцы, шведы, итальянцы, греки. Бояре и разные сановники в конце концов добились наследственных званий.

Крепостное право шаг за шагом установилось к началу XVII века и достигло полного развития в «философическое» царствование Екатерины II. Это может показаться непонятным, и пройдет еще много лет, прежде чем Европа уяснит себе ход развития русского крепостного права. Его происхождение и развитие представляют собой явление столь исключительное и ни на что не похожее, что в него трудно поверить.

Нам самим это явление понятно только потому, что мы с пеленок привыкли к чудовищному, хаотическому беспорядку нашего строя. В крепостничестве, как и во многих других русских установлениях, есть какая-то неопределимая расплывчатость и смутность; это смесь обычаев, неписаных и несоблюдающихся; и от этой странной беспорядочности они, быть может, становятся менее невыносимыми и более понятными.

Как, в самом деле, поверить, что половина народонаселения одной и той же национальности, одаренной редкими физическими и умственными способностями, обращена в рабство не войной, не завоеванием, не переворотом, а только рядом указов, безнравственных уступок, гнусных притязаний?

## ==403

И все же это факт, и факт, совершившийся не более полутора столетия тому назад.

Даже внешний вид русского крестьянина свидетельствует о недавнем происхождении этого ненормального явления.

Лицо русского крестьянина не похоже на лицо раба (в этом сходятся наблюдения Кюстина, Гакстгаузена, Блазиуса и всех, кто путешествовал по России), оно выражает лишь глубокое уныние. Он действительно несчастен и точно недоумевает, каким образом он очутился в нынешнем своем положении. Беспечный, он попался в чиновничьи сети, а слепое правительство загнало его ударами кнута в капкан, расставленный для него помещиками.

С незапамятных времен русский крестьянин жил безбоязненно на помещичьих землях, никогда не заключая письменных условий с землевладельцем; к тому же в те времена ни помещик, ни крестьянин не способны были написать бумагу. Доныне еще крестьянин не заключает письменных условий с равными себе. По рукам и чарка водки—вот и все соглашение; и такие договоры считаются столь же обязательными, как если бы они были скреплены печатью нотариуса. Таким именно образом ямщики возят товары от границ Китая до Нижнего Новгорода—даже без накладных.

Лишенное средств, дурно устроенное, старое московское правительство редко добиралось до крестьян; главная его забота сводилась к тому, чтобы подати платились более или менее исправно и чтобы признавалась его власть. Кре-

==404

стьяне жили довольно покойно, под прикрытием естественной хартии, дарованной русской природой, защищенные непроходимыми болотами, грязью и бездорожьем. Государство нисколько не интересовалось крестьянами, крестьяне—государством. Так крестьянин и влачил спокойное и беззаботное существование, покуда царь-узурпатор Борис Годунов и кучка мелких помещиков, соблазняясь примером немецких рыцарей, к концу XVI века установивших жестокое крепостное право в своих балтийских владениях, не принялись все туже и туже затягивать узы, прикреплявшие русского крестьянина к общине. Прежде всего было ограничено право перехода из одной общины в другую. Переход разрешался только один раз в году, в день св. Георгия (Юрия). Вскоре и эта льгота была уничтожена, но личные Права землепашцев еще не были поставлены под сомнение. Наконец пришел великий мастер, Петр I; он замкнул цепь замком немецкой работы.

Чиновники, недавно обрितые, именуясь ландратами \*, ландфискалами и другими мудреными шведскими и немецкими званиями, в нелепых костюмах, объезжали деревни, всюду читая указ, писанный тарабарским, исковерканным русским языком. Эти чиновники делали перепись и объявляли, что «жители помещичьих земель будут приписаны к земле и помещику, если только в течение известного срока не заявят о своем несогласии». Появление этих чуже-

начальниками уезда (нем. Landrat)

==405

странцев в причудливых одеждах, вероятно, внушило крестьянам смутный страх. Они были рады, видя, что те уезжают, не причинив большего вреда. Крестьяне вовсе не поняли того, что прочитали и сделали эти безвредные гости. И не только народ не понял, что произошло, но и само правительство; и сейчас еще оно совершенно слепо по отношению к тому, что оно сделало, и не знает, что оно охраняет.



Ни Петр I, ни его преемники, ни его предшественники, словом, никто никогда не объяснил, что означают слова «быть приписанными к земле и помещику».

«Я совершенно уверен,—писал собственноручно император Александр,—что продажа крепостных без земли давно запрещена законом».

Он запросил затем Государственный совет, в силу каких постановлений крестьяне продавались поодиночке. Государственный совет, не зная ни одного закона, который мог бы оправдать такого рода продажу, обратился к сенату. Напрасно в поисках прецедентов рылись в сенатском архиве: не нашлось ни клочка бумаги, разрешавшего подобного рода продажи, а наказов и постановлений, имевших обратный смысл, было много. Петр I в одном указе, данном сенату, возмущается, что в России продают людей, «как скот», и приказывает приготовить закон, воспреещающий такую торговлю и вообще продажу людей без земли — «буде возможно». Сенат ничего не сделал. Спустя столетие сенат сделал хуже, чем ничего. Кровно заинтересован-

==406

ный в сохранении торговли человеческим мясом, он извлек тариф пошлин — времен императрицы Анны. В этом тарифе между прочим значились пошлины, которые следует взимать при совершении купчей на крепостных с землей. Государственный совет, после долгих опоров, признал, что подобный тариф не является законным основанием для продажи людей; он установил новый закон, исправлял и переправлял его и наконец послал его министру внутренних дел<sup>223</sup>. Это происходило во время Веронского конгресса.<sup>124</sup>

С тех пор ни Государственный совет, ни министр, ни император — никто ни словом не обмолвился об этом законе.

Эту замечательную историю рассказал нам Николай Тургенев. Автор был тогда статс-секретарем и принимал участие в составлении упомянутого проекта. Он заканчивает рассказ анекдотом, по своему смыслу глубоко печальным. Председатель Совета князь Кочубей — человек, обладавший тем глубоко циническим юмором, который часто приходит с опытом и с утратой иллюзий, — подойдя после заседания к г-ну Тургеневу, сказал ему с улыбкой, полугорькой, полунасмешливой: «А ведь государь-то двадцать лет был уверен, что людей не продают поодиночке». От этого анекдота закипает кровь<sup>225</sup>.

Император Николай несколько ограничил торговлю людьми. Но, к несчастью, он ухудшил положение, стараясь его улучшить. Таковы последствия полумер и самовластных распоряжений. Закон, запретивший безземельным дворя-

==407

нам покупать крестьян, тем самым признал право купли людей за дворянами, владеющими землей. Этот закон был ошибкой; он дал законное основание продаже людей и открыл двери самым чудовищным злоупотреблениям, нисколько не регулируя эту отвратительную торговлю.

Под предлогом заселения участка земли, уже с избытком населенного, можно было покупать целые семьи слуг, поваров, живописцев, прачек, музыкантов. Правительство, правда, слишком стыдливо, чтобы разрешить объявления в газетах о продаже крепостных; дела эти делаются более благопристойным образом: объявления извещают вас не о кучере, а об «услугах кучера». К тому же разве русское правительство не связано с Англией торжественным договором против торговли рабами? Разве сам царь не объявил свободным каждого негра, который вступит на землю его империи? Зачем русских крепостных угораздило родиться такими же белыми, как и их господа? 227 Существование русского крепостничества не определено законом, и крепостные без какой-либо регламентации отданы на произвол дворян.

Лишь капризы и выгоды помещика управляют его поведением; его жестокость умеряется только ножом или топором мужика; этим-то путем трудное положение, вероятно, и разрешится, потому что дворяне ждут и ничего не делают, а правительство намечает меры, которые не приводит в исполнение. Дворяне нарушают условия, заключенные с крестьянами, или по-

==408

зволяют им покупать себе свободу по высшей продажной цене. Угнетенному остаются только два выхода, если он хочет добиться свободы: коса и топор. Пролитая кровь захлестнет тогда царствующий дом Романовых, и какие это будут потоки! Ужасный пример Пугачева может служить достаточным предостережением.

Что всегда меня удивляет — это полная, совершенная бездарность царей. Александр только обдумывал, Николай, говорят, даже подготовлял план освобождения крестьян. Каков же результат—через сорок лет? Нелепый указ от 2 апреля 1842 года<sup>228</sup>. Но могут спросить: какие же средства имеются в распоряжении правительства? Средства? Достаточно сказать: оно смогло бы, если бы хотело. С каких это пор русское правительство стало столь разборчивым в средствах? Разве оно задумывалось над средствами, когда в XVIII веке закрепощало Малороссию, а в XIX—водворяло военные поселения? С помощью каких средств раздробило оно Польшу, превратив часть ее в русскую губернию, и присоединило униатов к русской православной церкви? Разве петербургское правительство останавливалось перед чем-нибудь? Сколько жестокостей и преступлений совершило оно, осуществляя свои террористические цели.

Освобождение крестьян не требует, к счастью, жестокости и безнравственности, необходимых государству при совершении этих злодейств. Весь народ, разумеется, будет стоять за такую меру. Все образованные дворяне, все те, которые могут быть в России причислены к «оппозиции»,

==409

должны будут поддержать правительство, если только не отрекутся от своих убеждений.

Остается, таким образом, только самая реакционная часть общества, упорно цепляющаяся за дворянские привилегии. Пусть так! Эта партия так горячо проповедовала религию безусловной покорности, что правительство вправе на этот раз потребовать, чтобы она к своей излюбленной теории представила хоть один практический пример. Да и какие права у подобных людей? Они ограбили народ по царской милости, по царской немилости они перестали бы его грабить. Правительство не имеет оснований отказать в некотором возмещении тем, кто пользуется сейчас плодами вопиющей несправедливости в прошлом. Правительство могло бы предложить ряд финансовых мер; большая часть дворянских имений заложена в государственных банках; обремененные долгами помещики не в состоянии даже выплачивать проценты.

Пусть государство, вместо того чтобы превращать воспитательные дома в позорные рынки для продажи крестьян \*, заключит соглашение с крестьянами, находящимися на землях, предназначенных для продажи, и удовлетворится получением с этой земли ежегодной ренты.

Если бы для этого понадобились свободные капиталы, пусть правительство сделает заем, предназначенный исключительно для такой це-

Заемные банки имеют помещения для продажи имений с молотка в сиротских и воспитательных домах, которые они поддерживают.—Прим. А. И. Герцена.

==410

ли, или, еще лучше, пусть безотлагательно разрешит дворянам выбирать в губерниях комитеты, собирать средства и учреждать общества. Только две гарантии должны быть получены от правительства: во-первых, чтобы деньги употреблены были исключительно по их назначению и, во-вторых, чтобы люди доброй воли не подвергались никаким преследованиям.

Какие же проекты по крестьянскому вопросу были выработаны, обнародованы, предложены правительству после 1842 года? У правительства нет ни мужества, ни способности решиться на какой-нибудь шаг. Быть может, оно чувствует, что его собственные руки нечисты, что совесть его нечиста. Как бы то ни было, правительство ничего не делает.

Ну, а народ? Если народ подчиняется такой тирании, то' не заслуживает ли он ее? Да, он заслуживает ее, как Ирландия заслуживает голода, а Италия — австрийского ига. Я так привык к свирепому крику «*Vae victis!*»\*, что он больше меня не удивляет. Вперед! В поход против всех, кто страдают, никем не оплаканные, не поддержанные! Мало того, что пролетарии бедны и умирают с голоду; увенчаем их горькую жизнь насмешкой, еще более горькою. Русский крестьянин—крепостной; попрекнем его этим, скажем ему, что он заслужил свои цепи, а затем отвернемся от его ужасных страданий.

Однако прежде чем окончательно его покинуть, скажем спасибо этому забытому рабу за

«Горе побежденным!» (лат.)

ту мудрость, которую мы приобрели ценою голода многих, трудового пота большинства и грубого невежества всех; поблагодарим их; ведь мы—пышный цвет славной цивилизации, чьи приветливые сады орошены кровью и слезами бедняков.

Мне всякий раз становится не по себе, когда я говорю о народе. В наш демократический век нет ни одного слова, смысл которого был бы так извращен и так мало понятен. Идеи, которые связываются с этим словом, по большей части неопределенны, исполнены риторики, поверхностны. То народ поднимают до небес, то топчут его в грязь. К несчастью, ни благородное негодование, ни восторженная декламация не в состоянии выразить верно и точно понятие, обозначаемое словом «народ»; народ—это мощная гранитная основа, скрепленная цементом вековых традиций, это обширный первый этаж, над которым надстроен шаткий балаган современного политического устройства.

На вопрос, чего ждет русский народ, я отвечаю: начала социальной революции в Европе,— ждет бессознательно, в силу самого своего положения, инстинктом. Благодаря социалистическому движению в вопросе об освобождении крестьян сделан уже огромный шаг вперед. Правительство, дворяне, народ — никто больше не верит в возможность освобождения общины, т. е. крестьянина, без земли. Если придерживаться точки зрения безусловного и неотъемлемого права собственности, задача эта неразрешима. Освобождение крепостных на, тех основа-

ниях, на каких провел его Александр в балтийских губерниях, явилось бы одной из тех ошибок, которые — мы утверждаем это без колебаний—подрывают существование нации. Вопрос, ныне такой простой, безнадежно бы осложнился.

В результате появились бы двадцать миллионов пролетариев в стране, которая настолько плохо управляется, что свободные крестьяне и мещане не находят защиты от притеснений самовластной полиции, где, одним словом, не существует личной неприкосновенности. Помещики объединились бы, и правительство поддержало бы их союз! Общинное начало—великая основа славянской жизни — было бы поражено насмерть, община была бы уничтожена. Мы были бы свидетелями разрушения единственного достояния, которое сохранилось у русского крестьянина, — основы, краеугольного камня, без которого Россия пришла бы в полный упадок и без которого чудовищное самодержавие, простирающееся от Торнео до Амура, перестало бы существовать.

Я знаю, что есть люди, столь рационалистически мыслящие, что они готовы променять определенный и надежный залог на возможности, еще находящиеся в зачатке. Они радовались бы образованию пролетариата, так как видели бы в нем источник революционного развития; но разве достаточно быть пролетарием, для того чтобы сделаться революционером?

Сельский пролетарий, вообще говоря, не революционер, подобно работникам больших городов. В густо населенных ульях монополизированной промышленности, в огромных вертепах роскоши и голода, нищеты и разврата, вопиющего невежества и пресыщенной испорченности, оголтелого пауперизма и наглого господства денег, крупнейших финансистов и титулованных Макеров 229, головокружительного богатства и ужасающей нужды — всех этих жестоких контрастов, — в больших городах рабочий человек, без сомнения, становится революционером; иначе—в уединении полей. Нужны целые века страданий и религиозная борьба, чтобы возникла крестьянская война, как в XVI Столетьи.

Говорят об уничтожении русской общины! Хотел бы я знать, думали ли серьезно об этом те немногие русские, которые предлагают подобную меру. Что же останется, спрашиваю я, если мы вырвем этот жизненный нерв нашего национального существования? Русский народ перенес всевозможные потери и сохранил только общину. И неужто именно в то время, когда многие западноевропейские мыслители указывают на плачевные последствия раздробления земельной собственности, мы со слепым легкомыслием подорвем установление, которое призваны лишь пассивно сохранять; община ведь сама собой держится в народе и с помощью народа, привязанного к ней своими интересами и традициями, и это — единственное право, ко-

==414

торое еще не вырвано из его рук хищничеством и насилием.

Общине, я знаю, ставят в вину несовместность ее с личной свободой. Но разве чувствовался недостаток в этой свободе до отмены Юрьева дня (дня св. Георгия)? Разве наряду с постоянными поселениями не развивались подвижные общины — вольная артель и чисто военная община казаков? Неподвижная сельская община оставляла достаточно широкий простор для личной свободы и инициативы; она никогда не отказывала в заботе и в пропитании двум своим законным отпрыскам, двум близнецам: один из них охранял и раздвигал границы страны, другой, с топором в руках, шел туда, куда призывала его работа.

Казачьи общины не поглощали, не подавляли личность. Даже читавшие повесть Гоголя «Тарас Бульба» не имеют понятия о том, что сходный случай произошел в царствование Александра I. Пожилой казак, отказавшийся подчиниться свирепой дисциплине военных поселений, вытерпел несколько тысяч палочных ударов и после этого молча присутствовал при варварском наказании своего старшего сына; он открыл уста лишь для того, чтоб спросить, почему пощадил младшего. Узнав, что тот купил свою безнаказанность ценою покорности, престарелый отец обнял старшего сына, а младшего, устранившегося казни, проклял. Завернувшись затем в свой казакин, он лег на землю и умер.

Казачество — наглядное доказательство того, что русская народная жизнь сама в себе нахо-

==415

дила средства восполнить мирное существование сельской общины. Казачество отворило дверь всем нетерпеливым и не любящим покоя, всем искавшим приключений и жаждавшим сильных ощущений,

всем равным к опасным подвигам и к первобытной независимости. Оно вполне соответствовало тому буйному началу, которое выражается русским словом «удаль» и составляет одну из характерных черт славян.

Неутомимая стража крайних рубежей страны, казачество основало на этих опасных передовых постах военные, республиканские и демократические общины, сохранившиеся еще к началу восемнадцатого столетия. История их блистательна. Запорожцы были странствующими рыцарями простонародья. Казаки скорее становились разбойниками, непокорными, неукротимыми, нежели подданными какой-либо власти; они словно унаследовали те смутные догадки, то пророческое чутье, которыми отличались норманны. При Иване IV горсть казаков завоевала Сибирь. Вождь их, Ермак, не довольствуясь тем, что дошел до Тобольска, умирающей рукой водрузил свое знамя в Иркутске. После него другой казак пробился сквозь ледяные пустыни 230, как будто какая-то магнетическая сила влекла его к Тихому океану, как будто он провидел великое назначение России, раздвигающей свои пределы вплоть до границ Америки.

Только тупость немецкого правительства в Петербурге помешала ему оценить такое учреждение, как казачество. Прежде всех начал его притеснять Петр Великий, обрадовавшись

==416

предлогу, который дал ему Мазепа.. Екатерина закрепила миллионы казаков, Николай разрушил их демократическое устройство, жалуя дворянство выборным казачьим есаулам; Николай даже пытался исказить их народные песни. Разумеется, уклад казачьих общин плохо вязался с русским военным уставом. Считалось разумнее грубой силой насаждать нелепые военные поселения, нежели допустить развитие цветущих и глубоко народных казачьих общин.

Стремления позднейших европейских теоретиков не могут, разумеется, найти удовлетворение в общинном укладе русской деревни и республиканском строе казачьих поселений. Все в них было неразвито; личная свобода то и дело приносилась в жертву демократическому и патриархальному братству. Но кто же разрушает недостроенный дом, с тем чтобы снова построить его по прежнему плану? Не наша заслуга, что мы, при неизменном квиетизме, сохранили тот общинный строй, который германские народы давно уже утратили среди превратностей своей истории. Но это преимущество не надобно выпускать из рук. Воспользуемся опытностью наших предшественников; она им дорого стоила.

Западная Европа пожертвовала своим общинным устройством, а вместе с ним — своими крестьянами и ремесленниками, когда, после долгой и славной борьбы за развитие аристократического и буржуазного меньшинства, она достигла более широкого и богатого существования. Она имела католицизм, протестантство,

==417

рыцарство, исполненное поэзии, третье сословие, прославленное своей стойкостью, Реформацию и наконец Революцию, которая наполовину разрушила церковь и трон. Одна лишь Россия осталась в

стороне от побед и славы своих соседей. Народ ее не в состоянии был следовать за европейским развитием, тем менее — его достичь; после киевского периода он влачил жалкое существование. Монгольские ханы, византийствующие цари, германизированные императоры, помещики, подобные рабовладельцам, — вот властители России. И все же, хотя народ ничего не приобрел, он по крайней мере сохранил общину с равными правами всех ее членов на владение землей, на ее раздел.

Если русский крестьянин подчинился крепостному состоянию, то не без упорной борьбы. Легкий успех Дмитрия Самозванца, восторженное отношение к нему народа, его подражатели, которых уничтожали и которые снова появлялись с огромными полчищами под Москвой, — все это было бы непонятно, если бы не скрытая сила могучего, широкого, глубокого народного движения. Длительное сопротивление целого народа не смогло подорвать престол Романовых, но даже лживые правительственные хроники не могли обойти молчанием войны «разбойников». Стенька Разин, один из их предводителей, возглавил 200 000 человек. При царе Алексее было повешено более 12000 крестьян. Столетие спустя императрица Екатерина II не раз бледнела при докладах ее генералов о пугачевском восстании. Пугачев сделал роковую ошибку, ту

==418

самую, которую затем повторил Кошут<sup>231</sup>. После взятия Казани он не пошел прямо на Москву, где, по свидетельству Кастера, 200000 крепостных<sup>232</sup> с величайшим нетерпением ждали его войско. Мужиков истребляли во имя цивилизации, и Вольтер поздравлял северную Семирамиду с победами Бибикова и Панина.

Знамя восстания Пугачев поднял во имя освобождения крестьян. Девиз его был «Ultor et redivivus» \*. Взятый в плен и закованный в цепи, он отвечал подлому генералу, который собственноручно бил его и при этом грубо ругался: «Я только вороненок, а стервятник еще летает в поднебесье» \*\*<sup>233</sup>.

После полуторавековой борьбы русский народ покинул поле битвы. Пугачев был последним народным вождем. С тех пор народ больше не восставал массами, за исключением восстания в Старой Руссе в 1831 году. Оно отличалось страшной жестокостью, но чего можно было ожидать в ответ на террор, с помощью которого учреждались и поддерживались военные поселения? Что посеешь, то и пожнешь.

Трудно поднять восстание среди народа, рассеянного по необозримым равнинам, живущего в деревянных избах, в деревнях, открытых со всех сторон. Единственным убежищем такому

Мститель оживший (лат.)

\* Генерал назвал Пугачева вором, — Vor — слово, которое означает «ворон», если к нему добавить «on». —Прим, А. И. Герцена.

==419

народу могут служить леса, и граф Воронцов показал на Кавказе, как поступать с таким убежищем.

Притом самые злоупотребления исполнительной власти вносят путаницу в понятия народа. Крепостной, принадлежащий богатому помещику, рад найти у своего могущественного барина защиту против притеснений чиновников и полиции. Положение крепостных не везде одинаково тягостно и унизительно; вот почему не удаются объединенные действия и одновременное сопротивление; вот почему крестьянские бунты остаются разрозненными, местными и ограничиваются отдельными общинами, редко распространяясь даже на две или три из них.

По данным последней ревизии<sup>234</sup> крепостных крестьян мужского пола в России было 11380000 (женщины в счет не идут). Две трети этого числа принадлежат помещикам, владеющим не менее чем тысячью крестьян; от своих крепостных они обычно не требуют ничего, кроме оброка, т. е. денежной ренты, за которую предоставляют землю в полное распоряжение крестьян.

Обычно такие крестьяне и все вообще принадлежащие богатым землевладельцам, как легко себе представить, менее несчастны, чем зависящие от мелкопоместных дворян и обязанные отбывать барщину. Притом крупные помещики, кроме нескольких летних месяцев, редко живут в своих имениях, тогда как мелкопоместные живут на своей земле круглый год и стараются возместить то, что они вынуждены были

==420

издержать во время своего пребывания в столицах. Скарредные и ненасытные, они во все вмешиваются, стараются из всего извлечь выгоду; сверх установленных податей они взимают всевозможные поборы — в виде яиц, грибов, холста, овощей, фруктов, масла, молока и домашней птицы. А чтобы рассеять скуку, они развлекаются, нарушая супружеские права своих подданных.

Мелкие имения рассеяны по всей русской территории в Европе. Сибирь, к счастью, не знает крепостничества. Окруженные поместьями крупных землевладельцев или большими общинами государственных крестьян, несчастные крепостные совершенно разобщены со своими соседями. Нельзя сказать, чтобы русские крестьяне проявляли особенно живое сочувствие к своим братьям, но, где и когда взаимное сочувствие, само по себе поднимало массы на отмщение их попранных прав? Правда, в 1839 и 1840 годах мы видели, как начиналось объединение крепостных общин. В некоторых уездах Симбирской и Тамбовской губерний убийства помещиков казались осуществлением определенного плана. Но обычно события развиваются иначе. Долгие годы молча терпят крепостные какой-нибудь общины, безропотно страдая и перенося всякие бедствия. Вдруг, без всякого предупреждения, вспыхивает бунт — крестьяне убивают помещика, режут его семью, сжигают его дом; с угрюмым терпением переносят наказание плетьюми, после чего их посылают погибать в сибирские рудники. Такой исход известен им заранее, но они дольше не

==421



в силах были терпеть. Причины таких бунтов заслуживают серьезного внимания. Обыкновенно они вызываются покушениями помещика на права общины. Крестьяне чувствуют себя жертвой, лишенной всякого покровительства и защиты; они изнемогают от непосильной работы, от непосильных поборов, грубый и жестокий управляющий постоянно подвергает их тягчайшим наказаниям, но все это кажется русскому крепостному бедствием преходящим и поправимым. Он никогда, однако, не может примириться, никогда не подчиняется без кровавого протеста вмешательству помещика в распределение общинных земель, в права на пастбища, в дела общины. Тут крепостной чувствует себя пораженным в последнем своем убежище, вне которого он уже ничего не видит. Тогда крестьянин убивает помещика. Почему же — можно спросить — крестьянин не домогается сначала восстановления своих прав? Чтоб жаловаться на нарушение права, нужно иметь законное основание. Община же в России существует сама собою, потому что ее нельзя искоренить, потому что она одна определяет весь нравственный уклад крестьянской жизни. Правительство признает это; дворянство этому подчинилось и привыкло к существованию общины.

По закону крестьянин может обратиться с жалобой только к уездному предводителю дворянства. Этот предводитель, избираемый дворянами, является естественным их защитником и перед правительством, и против народа. Полиция не принимает жалоб на помещиков,

==422

кроме чрезвычайных уголовных случаев, что непосредственно крестьян не интересует. Крепостному разрешается доносить на помещика только в случае, если тот принадлежит к тайному обществу или совершил преступление. Закон позволяет лишь три дня работы на помещика в течение недели, а наблюдает за исполнением этого постановления полиция, избираемая дворянством. От времени до времени правительство с внезапным изумлением замечает злоупотребления, проявляет тогда поразительное мужество и наказывает одного или двух помещиков. Затем следует долгий и страшный промежуток, наполненный злоупотреблениями, ненаказанными и неотмщенными.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Как раз перед тем, как я в 1846 году уехал из России 235, всю Москву взволновало дело, характерное для нашей страны. Некий князь, владелец обширных поместий в Орловской губернии, подверг одного из своих крепостных телесному наказанию. Крепостной умер под розгами. Согласно обычаю, священник и дьякон в сопровождении причетника присутствовали на похоронах и составили свидетельство о смерти этого человека. Добрый священник подписал его, добрый дьякон — также, но вот, читая эту бумагу, причетник заметил, что тут имела место не естественная смерть, а убийство. Ошеломленный этим заявлением, священник пытался разуверить причетника и убедить его подписать бу-

==423

магу. Причетник решительно отказался. Узнав об этом затруднении, князь подумал, что причетник просто хочет воспользоваться удобным случаем, и послал бедняку несколько сот рублей. Однако причетник стоял на своем; он призвал священника и дьякона в свидетели подкупа, после чего исчез, появился в Орле, проник к архиерею и доложил ему все это дело. Архиерей, не подготовленный к такому случаю, написал губернатору и уездному протоиерею. Орловский губернатор оказался близким родственником убийцы. Понятно, он не пожалел усилий, чтобы замять это дело, но непреклонный причетник упорствовал в своих обвинениях. Дело разгласилось и поставило полицию в очень затруднительное положение, так как преступление было слишком явным. Тайная полиция довела дело до сведения императора. Губернатор был отставлен; следствие, которое велось теперь на других основаниях, шаг за шагом установило, что князь Трубецкой и его жена постоянно подвергали своих крепостных жесточайшим истязаниям. В барской усадьбе нашли подземелье, где в цепях томились заключенные. Необходимо заметить, что подземные темницы и цепи совершенно не в обычае у русских помещиков. Князь был предан суду, осужден, лишен титула и прав и сослан в Сибирь вместе с достойной его супругой. Но император на этом не остановился; он приказал отдать под суд всех уездных предводителей дворянства, которые избирались с того времени, как князь Трубецкой обосновался в своем имении. Но, как и следовало ожи-

==424

дать, эта мера не была приведена в исполнение. В числе этих предводителей дворянства был впоследствии министр юстиции, и дело приостановили из уважения к одному из самых посредственных администраторов.

Отношения между дворянами и крестьянами никак нельзя назвать благополучными. Разумеется, они отличаются всей напряженностью и неустойчивостью, какие только может вызвать взаимное недоверие. Гакстгаузен говорит о патриархальном характере этих отношений, но где мог он его наблюдать? Крупные помещики времен Екатерины II еще обращались со своими крестьянами покровительственно и со своего рода аристократической снисходительностью; мелкопоместные же дворяне, сами еще не расставшиеся с крестьянскими нравами, жили среди своих крепостных и держались очень просто. Но уже следующее поколение все больше и больше отдалялось от крестьян и простого образа жизни. Цивилизация внушала дворянству новые потребности и вместе с тем предлагала новые пути и средства для их удовлетворения. Развитие промышленности и фабрик, распространение начал политической экономии, приспособленной к местным обычаям, дали новые средства использования крестьян. Помещик — этот «патриарх», этот глава «клана», этот «отец общины» — сделался мало-помалу из вельможи фабрикантом, плантатором, рабовладельцем.

Г-н Гакстгаузен все это видел и в этом отношении осведомлен так же хорошо, как и я, но

==425

в качестве монархического демагога он несомненно вынужден обойти все это молчанием. Этот писатель, который, к несчастью, испортил свой интересный труд неопикуемой, неистовой страстью к

монархизму\*, слишком хорошо знает устройство русской общины, чтобы не видеть, что власть помещика является насилием над общиной, в которую она входит как элемент совершенно чуждый, паразитический и лишенный нормального основания. Гакстгаузену так же плохо удастся объяснить помещичьи привилегии мнимой патриархальностью, как и оправдать притеснительный деспотизм Петербурга величием повиновения — страстью, которую этот просвещенный немец называет отличительной добродетелью русского народа. На самом деле настоящим патриархальным главой общины является ее староста, избираемый общиной из собственной своей среды. Именно он занимает место отца семьи; он является представителем, защитником и естественным покровителем общины. Что же в таком случае представляют собой деятельность и обязанности помещика, этого чужака, непрошеного гостя, который время от времени — то чаще, то реже — вторгается в свои владения и взымает там дань

Эта страсть довела его даже до прославления кнута для солдатских спин. Он говорит о плети с необыкновенным восторгом и приписывает ей всю славу Рима<sup>237</sup>, ссылаясь на авторитетное свидетельство некоторых почтенных и царственных (Koniglich-Preuffisch) [из прусского королевского дома (нем.)] якобинцев или других.—Прим. А. И. Герцена,

==426

подобно татарским баскакам, налетавшим на города. Староста, напротив того, не деспот и не может им сделаться; такого рода поползновения старосты встретили бы отпор в обычаях и традиционных правах общины. Собрание общины (мир) своей объединенной волей тотчас вернуло бы старосту в границы его власти и его обязанностей. Избираемый свободным голосованием всех работоспособных членов общины и на ограниченный срок, староста хорошо знает, что он превратится в простого мужика, если только его не изберут снова. Староста знает, что, после того как он управлял деревней, он обязан будет (согласно поэтическому описанию г. Гакстгаузена) «стать на колени перед миром, сложить свой посох и знаки своей власти и просить простить ему, если он причинил общине какое-либо зло».

Понятно, община не нуждается в другом приемном отце, в отчине, который живет в стороне от общины и лишь время от времени появляется затем только, чтобы захватить львиную долю продуктов ее труда. Если бы помещик был только владельцем земли, то он не мог бы ничего требовать, кроме земельной ренты, но он, сверх того, обременяет крестьян подушной податью, облагает их труд независимо от земли и берет выкуп за право передвижения. Здесь уместно применить прекрасное выражение, как-то вырвавшееся у г. Гакстгаузена: «На основе сенсимонизма наизнанку помещик берет подать тем большую, чем больше таланта у облагаемого»,

==427

Над общиной должно было бы стоять только национальное единство, *res publica* (земское дело) или руководящая власть. Свободные общины группируются в более крупные единицы (волости), и, согласно русскому закону, избранные общинами старосты выбирают, в свою очередь, для всей волости начальника, также из простого народа, который называется головою. Многие головы имеют по тридцати тысяч душ под своим управлением. Кроме головы, избирается еще двое судей — нечто вроде мирового суда — для законного управления общинными делами и волостной полицией. В деревнях

полицейские обязанности выполняются выборными десятскими и сотскими. Налоги и повинности распределяют голова и старики. Все это вместе является подлинно социалистическим самоуправлением, и оно действовало прекрасно до тех пор, пока мы не переняли немецкое устройство и византийские порядки.

Один из министров, г. Киселев, оказался способным оценить, хотя бы отчасти, превосходные принципы, на которых зиждется община. Не будь так развращено чиновничество, административная реформа Киселева<sup>238</sup> явилась бы во всяком случае началом признания петербургским правительством русского обычного права. Одно из главных несчастий нашего правительства заключается в том, что оно чрезмерно управляет. Оно во все вмешивается, все регламентирует, обо всем беспокоится: о длине еврейского лапсердака на польской границе, о длине волос студентов наших университетов;

==428

то советует мужу делать выговоры жене, то убеждает молодых людей не проигрывать своего состояния в карты. Наш император — не только глава церкви и государства; он также главный столоначальник и командир хлопотунов. Он женит своих подданных и разводит их; он устраивает все и все расстраивает. *Talis geh\**.

Но г. Киселев, поддерживая великие общинные установления, в то же время сам содействовал уничтожению чисто национальных и здравых основных черт своего плана чрезмерным административным вмешательством и неумеренной регламентацией; и это в стране, которой формализм противен и которая в самом деле не нуждается ни в каких искусственных добавлениях к вековым обычаям и традиционным порядкам. Дойустить вмешательство чиновников во все крестьянские дела означало ввести вора в каждую общину; Киселев в каждой деревне открыл австралийские прииски для грабительства со стороны своих бюрократических золотоискателей. Честность самого министра вне подозрений, но неужто, прожив достаточно долгую жизнь, он не знал, что мелкие чиновники по всей России — не что иное, как патентованные разбойники и матерые воры?

Отчужденность чиновничьего мира от народа и народа от правительства достаточно очевидна. Петербургское правительство — это лишь временное, провизорное правительство, это терро-

Таков царь (лат.)

==429

ристическая диктатура, цезаризм, доведенный *ad absurdum* \*. Его народ — дворянство, но это лишь постольку, поскольку дворянство — враг народа. Г-н Гакстгаузен силится доказать противное: что императорская власть, в том виде, как она существует, является необходимой, национальной, логичной и народной. Правоверно католический цензор для поддержки императора-схизматика апеллирует к квазиатеистической философии Гегеля. Известно, что Гегель сбил многих людей с толку, облачив простейшую в мире теорию в самую необычайную формулу: «все существующее разумно». Ничто не может быть яснее, и, не вдаваясь в схоластические различия между сущностью и видимостью, можно согласиться с тем, что всякое явление имеет свой *raison d'être* \*\* и что абсолютная нелепость абсолютно

невозможна. Не нужно быть великим метафизиком, чтобы знать, что там, где есть следствие, должна быть и причина. Жоффруа Сент-Илер открыл и описал точные законы тератологии; он удивительно удачно объяснил причины ненормального развития зародыша, но уроды остались уродами. Для нормального человеческого сознания уродство — это возможность, обусловленная внешними причинами, но оно никоим образом не может быть признано правилом. Простое исследование различных уродств было бы весьма уместно в России, но г. Гакстгаузен вооружается преданной прок-

до абсурда (лат.) \*\* смысл существования (франц.)

==430

лятью философией Гегеля для совершенно иной цели. Он делает вывод, что императорская власть в России является наилучшей формой правления! «Лишь одного не хватает, — продолжает наш благочестивый муж, — этому правительству для полного совершенства — это стать католическим». Донозо Кортес в Мадриде имел обыкновение предсказывать конец мира, если Англия не поспешит помириться с католицизмом .

С тех пор как русское правительство отделилось от русского народа, две России стоят друг против друга. С одной стороны Россия правительственная, богатая, вооруженная не только штыками, но и всеми приказными уловками, взятыми из канцелярий деспотических государств Германии. С другой — Россия бедная, хлебопашенная, трудолюбивая, общинная и демократическая; Россия безоружная, побежденная (conquisita) без боя. Что же удивительного в том, что императоры подчинили своей России — России придворных и чиновников, французских мод и немецких манер — другую Россию, бородатую, неотесанную, варварскую, мужицкую, не способную оценить привозное образование, которое снизошло на нее царской милостью и к которому невежественный крестьянин питал нескрываемое и неподдельное отвращение. И что за дело ему до той России?

—Что ты в последнее время невесел?—сказал однажды граф, один из наложников, состоявших в свите императрицы Екатерины, одному из своих прихлебателей.

Заключительная статья

==431

Человек, к которому были обращены эти слова, частью в виде вопроса, частью в виде упрека, был бедный дворянин и служил гнусной мишенью для гнусных шуток пресыщенного фаворита. Этот шут, жирный, опухший, жадный, ежедневно с нетерпением ждал часа, когда можно будет нажраться за графским обедом. Заметив прожорливость жалкого плута, граф придумал необыкновенную шутку. Он велел купить хомут, надевал его шуту на шею и только в таком виде подпускал его к яствам и винам. Шут пожирал пищу, опустошал блюда и бутылки, исправно изображая дикого зверя. Это чрезвычайно забавляло хозяина и его гостей.

— Есть отчего горевать, — отвечал упряжной дворянин. — Из всех лиц вашей свиты один я, несчастный, не заслужил вашей милости.

— Как так?

— Разве вы не пожаловали казаков всем другим? И только я не удостоен ваших щедрот.

Граф расхохотался и, обратившись к гостям, сказал:

— Каков малый? Он не так глуп, как кажется. Так и тебе казаков захотелось?

— Почему же нет? — отвечал шут. — Ведь вам они ничего не стоят!

— Ну, конечно, чего ж они мне могут стоить? Ладно, получишь свою долю казаков.

— Граф, вы шутите!

— Нет, вот тебе мое слово. И Калибан осыпал поцелуями руку своего достойного покровителя,

## ==432

Это было как раз в то время, когда в Малороссии вводилось крепостное состояние. Екатерина II — эта «мать отечества», одержимая ненасытимой похотью, пожаловала однажды триста тысяч крестьян мужского пола в уплату за одну из своих вавилонских оргий.

Графу стоило только сказать несколько слов, чтобы сдержать свое обещание, и распряженный дворянин отправился в Малороссию, где сделался владельцем и господином целой общины казаков.

Не могу удержаться, чтобы не рассказать следующее действие этой драмы.

В прошедшем году, переезжая С.-Готард, я заметил одну русскую фамилию в книге для записи путешественников. К этой фамилии другой путешественник добавил биографическую заметку, не лишённую интереса. Камергер его императорского величества, владелец поместий в Малороссии, много лет мучил своих крестьян и дворовых. Весьма богатый и ненасытно жадный, он вывел крестьян из терпения своими поборами и самодурством. В 1850 году, когда он жил в одном из своих поместий, доведенные до отчаяния крепостные решились примерно проучить своего господина. Однажды ночью они с оружием ворвались в его дом и, показав ему пучок свеженарезанных розог, предложили ему на выбор: смерть или телесное наказание. Камергер благоразумно выбрал розги и был исправно высечен. После наказания крепостные потребовали от него письменное обещание не разглашать события этой ночи. Он

## ==433

написал и подписал это благородное обещание, больше того — он сдержал его, опасаясь худшего.

Несколько месяцев спустя начался рекрутский набор. Помещик поставил в рекруты одного из своих крепостных. По-видимому, этот рекрут был одним из самых усердных или самых сильных участников ночной экзекуции, и, понятно, он был убежден в том, что сдача его в солдаты явилась заранее обдуманной мщением со стороны помещика. Необходимо принять во внимание, что русский крестьянин испытывает ужас перед рекрутским набором. Молодой рекрут, в свою очередь, решил отомстить. Перед воинским присутствием он объявил во всеуслышание, что его отдадут в солдаты лишь потому, что он высек своего барина-камергера. Подумали, что он сошел с ума.

— А! Вы думаете, что я не в своем уме? — возразил он. — У меня есть кое-что, чему вы , должны поверить.

И он вынул из кармана и прочитал вслух камергерскую расписку.

Все были поражены. Открытие оказалось столь неожиданным, что не догадались уничтожить рекрута или уличающий документ; последний даже не вернули камергеру. Сгоряча о происшествии было составлено донесение. Свод русских законов не предусматривает такого казуса, как высеченный камергер. Министр был в величайшем затруднении; он доложил императору. Император, который держал при себе камергера, пока тот сек своих крестьян,

==434

разгневался на камергера, как только того самого высекли. Он выгнал его из службы и выслал за границу; крепостные же не подверглись никакому наказанию. С тех пор наш экс-камергер, по приказу своего господина, выставляет напоказ свою полосатую спину и плечи во всех столицах цивилизованного мира. И он записал свое имя на вершине С.-Готарда.

История покажется еще пикантнее, если добавить, что этот исполосованный, пятнистый камергер, этот жестокий и трусливый помещик — не кто иной, как благородный внук того упряжного дворянина, того прожорливого шута, которого напустили на крепостную общину; секли же его потомки несчастных казаков, отданных в рабство и ставших добычей алчного скомороха.

Хорошо! Что же вы скажете об упряжном отце, об исполосованном сыне и об императоре Николае, который затеял *suī generis* \* пропаганду, послав камергера путешествовать по Европе.

Я заключу свое письмо еще некоторыми подробностями о русском общественном строе.

В России нет майората. Петр I пытался ввести его, но майорат слишком противоречил руским нравам, и после смерти Петра его указ был отменен. Николай разрешил эту прихоть двум-трем привилегированным фамилиям и \*\*

своеобразную (лат.)

\* Вероятно, опечатка, следовало бы: и?

высшей аристократии, но это было исключением — одну нелепостью больше.

По общему правилу сыновья наследуют равные доли отцовского имущества. Это ведет дворянство к быстрому разорению. Помещик, владеющий двумя тысячами крестьян, занимает хорошее положение. Каждый из его сыновей получает лишь половину отцовского имущества; и они в свою очередь дробят эту половину между своими детьми. В то же время цены на все растут быстрее доходов от имений и числа крепостных. Цивилизация развивает у аристократов вкус к роскоши и потребности, незнакомые нашим предкам; так что при доходе, уменьшившемся на три четверти, внуку приходится тратить в двенадцать раз больше, чем тратил его дед. Нельзя упускать из виду и другую важную сторону вопроса — нравы русских дворян. Нет народа в Европе более неспособного к порядку и к экономии, нежели русские и поляки. В течение двух-трех поколений состояния, и большие и малые, возникают и исчезают и переходят из рук в руки. Русские жадны, очень жадны, когда дело касается денег, но гораздо меньше своих соседей дорожат земельной собственностью. Русские любят деньги ради удовольствия ими сорить. Бережливость совершенно не свойственна нам. В России нет промежуточного слоя между скрягами и мотами.

Наследовав землю отца, сыновья обычно идут по его стопам. Если кому-либо из них понадобятся деньги, он закладывает свое имение в банке; деньги он скоро проматывает, а про-

центы за ссуду пожирают весь остающийся доход; имение вскоре продается с аукциона; излишек, если окажется, выплачивается бывшему владельцу, а когда он и это проест, то настает уже полное разорение.

Чтобы выйти из денежных затруднений, некоторые дворяне безудержно предаются карточной игре; другие с отчаяния пьянствуют и умирают от распутной жизни; третьи, более благоразумные, поступают на государственную службу и начинают бессовестно воровать. Эти процветают, но сыновья их будут разорены. В период между 1812 и 1840. годами некоторые помещики старались стать исключением из общего правила. Большею частью это были люди, воспитанные вне России, поклонники экономистов вроде Сэя и Мальтуса. Они стали деятельны, переняли нравы буржуазии, но их было очень мало, и мало оказалось у них последователей.

Как же относилась русская община к вечной смене помещиков, к раздроблению их имений, ко всем этим непрерывным изменениям? Тысяча крестьян, принадлежавших одному помещику, распределялась между тремя-четырьмя общинами различной величины; каждая из них обладала своими особенностями, отличалась от других хозяйственным устройством, качеством земли. Помещик являлся хозяином лишь своего имения в целом. При разделе ему приходилось уравнивать доли путем денежного вознаграждения или других уступок. К этому прибегают, но это возможно только в известных



пределах. Переходим к вопросу о разделе самой общины. Иногда два или три брата владели совместно одной деревней, более или менее значительной. Раздел, однако, мог быть совершен и помимо их воли. Если доля одного из братьев отбиралась за долги, то не всегда новый собственник был расположен подчиняться условиям общего владения и общего хозяйства. Чаще всего он старался выделиться как можно скорее.

Самый богатый из этих собственников всячески обирает и преследует остальных; владельцы других частей страдают от затруднений, осложнений, от неисправимого беспорядка, а крестьяне их также разоряются.

Дробление общин и увеличение числа имений с запутанным распределением земли привлекло внимание правительства и заставило его принять меры для предупреждения полного разорения крепостных. Так правительство установило минимальное число крепостных, при котором уже не разрешается дальнейший раздел имений. Остается сделать следующий шаг — установить выкуп и решить вопрос об отчуждении земли. Очевидно, дворянские права при ближайшем рассмотрении не кажутся правительству столь уж священными, — разве в противном случае право помещика могло бы терпеть ущерб в зависимости от числа его крепостных?

В 1845 году тульским дворянам разрешено было собраться под председательством губернатора и предводителей дворянства. Речь шла о том, какие выработать меры для освобождения крепостных этой губернии.

==438

Москва ждала таких же полномочий. С 1842 по 1846 год все возрастало возбуждение дворянства, а газеты настолько расхрабрились, что стали печатать статьи об освобождении крестьян. Было бы хорошо, если бы правительство оказало дворянам некоторую поддержку в осуществлении этой задачи; но ненависть ко всему, что зовется свободой или освобождением, столь глубоко укоренилась в этой семье неисправимых самодержцев, что Николай поспешил перечеркнуть все подобные проекты при первых же известиях о событиях 24-го февраля<sup>241</sup>.

Такова последняя, современная фаза вопроса о крепостном праве в России. Крестьянин по-прежнему лишен всякой защиты, кроме защиты обычного права; он может быть оторван от своей семьи, от своей общины, хотя семья и община признаны законом; он может быть обращен в слугу. Помещик имеет право сечь его, лишь бы не до смерти, помещик имеет право посадить его в полицейскую часть за непослушание. Он имеет право сдать своего крепостного в солдаты и даже сослать его в сибирские рудники на собственный счет. Но в последних двух случаях крепостной по крайней мере становится свободным. Наконец, прочно вошла в обиход и постоянно производится продажа крепостных если не поодиночке, то во всяком случае семьями. Крестьянину предоставляется только такое количество земли, которое необходимо для жалкого прозябания. Помещик не имеет никаких обязательств по отношению к своим дворовым, кроме снабжения их пищей и одеждой

==439

в количестве, достаточном, чтобы они не умерли с голоду и холоду.

Могут ли продолжаться, — спрашиваю я, — эти чудовищные безобразия, не вызывая непрерывного, всеобщего протеста? Разумеется, хорошо и то, что время от времени раздается свободный голос, разоблачающий позорные учреждения, гнусное сообщничество правительства, которое постоянно толкует о своей силе, с дворянством, которое хвалится своей просвещенностью. Необходимо сорвать маску с этих рабовладельцев Севера, которые, зевая и картавя, шатаются по Европе, вмешиваются в чужие дела, выдавая себя за цивилизованных людей, даже за свободомыслящих, которые испытывают ужас, читая «Хижину дяди Тома», и содрогаются при чтении о продавцах черного мяса. И что же, эти блестящие салонные соглядатаи — это те самые люди, которые, вернувшись в свои имения, будут грабить, сечь, продавать белых рабов и которым прислуживает за столом их живая собственность!

20 декабря 1852.

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XII. М., 1957, стр. 34—61.

[==440](#)

[00.htm - глава09](#)

## **РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ**

Господа, лучше, чтобы эти перемены сделались сверху — нежели снизу, (Александр II. Речь к московскому дворянству)

Мы не только накануне переворота, но мы вошли в него. Необходимость и общественное мнение увлекли правительство в новую фазу развития, перемен, прогресса. Общество и правительство натолкнулись на вопросы, которые вдруг получили права гражданства, стали неотлагаемы. Эта возбужденность мысли, это беспокойство ее и стремление вновь разрешить главные задачи государственной жизни, подвергнуть разбору исторические формы, в которых она движется, — составляет необходимую почву всякого коренного переворота.

Но где же знамения, обыкновенно предшествующие революциям,—все в России так тихо, так подавлено и, еще больше, с таким добродушным доверием смотрят на новое правительство, ждут его помощи, что скорее можно думать, что века пройдут прежде, нежели Россия вступит в новую жизнь.

Да на что же эти знамения? В России все шло иным порядком, у нее был раз коренной переворот, его сделал один человек—Петр I. Мы так привыкли видеть с 1789, что все перевороты делаются взрывами, восстаниями, что каждая уступка вырывается силой, что каждый шаг вперед берется с боя, — что невольно

[==441](#)

ищем, когда речь идет о перевороте, площадь, баррикады, кровь, топор палача. Без сомнения, восстание, открытая борьба — одно из самых могущественных средств революций, но отнюдь не единственное. В то время, как Франция с 1789 года шла огнедышащим путем катаклизмов и потрясений, двигаясь вперед, отступая назад, метаясь в судорожных кризисах и кровавых реакциях, Англия совершала свои огромные перемены и дома, и в Ирландии, и в колониях с обычным флегматическим покоем и в совершенной тишине. Весь правительственный такт ториев и вигов состоит в умении упираться, пока можно, и уступать, когда время пришло. Так, как Роберт Пиль, переходом своим на сторону свободной торговли, одержал экономическое Ватерлоо для правительства<sup>243</sup>, так одно из будущих министерств вступит в сделку с чартистами и даст интересам работников голос и представительство.

На наших глазах переродился Пьемонт. В конце 1847 года управление его было иезуитское и, инквизиторское, без всякой гласности, но с тайной полицией, с страшной светской и духовной цензурой, убивавшей всякую умственную деятельность. Прошло десять лет, и Пьемонт нельзя узнать, физиономия городов, народонаселения изменилась, везде новая, удвоенная жизнь, открытый вид, деятельность; а ведь эта революция была без малейших толчков, для этой перемены достаточно было одной несчастной войны и ряда уступок общественному мнению со стороны правительства .

==442

Артисты-революционеры не любят этого пути, мы это знаем, но нам до этого дела нет, мы просто люди, глубоко убежденные, что нынешние государственные формы России никуда не годны, — и от души предпочитаем путь мирного, человеческого развития пути развития кровавого; но с тем вместе так же искренно предпочитаем самое бурное и необузданное развитие — застою николаевского *statu quo*.

Государь хочет перемен, хочет улучшений, пусть же он вместо бесполезного отпора прислушивается к голосу мыслящих людей в России, людей прогресса и науки, людей практических и живших с народом. Они сумеют лучше николаевских бургравов не только ясно понять и формулировать, чего они хотят, но, сверх того, сумеют понять за народ его желания и стремления. Вместо того, чтоб малодушно обрезать их речь, правительство само должно приняться с ними за работу общественного пересоздания, за развитие новых форм, новых органов жизни. Их теперь ни мы не знаем, ни правительство не знает, мы идем к их открытию, и в этом состоит потрясающий интерес нашей будущности.

Петр I носил в себе одном ту непредвиденную, новую Россию, которую он осуществил сурово и грозно против воли народа, опертой на самодержавную власть и личную силу. Нынешнему правительству не нужно прибегать ни к какому прогрессивному террору. Есть целая среда, зрелая мыслью, готовая идти с правительством или против него, но за народ и с народом. Среда эта, может, невелика, но мы ре-

==443

шительно не принимаем, чтоб она была ниже сознанием и развитием какой бы то ни было среды на Западе. Если она у нас непривычна к обсуживанию общественных вопросов, зато она гораздо свободнее от всего традиционного, она новее, проще, юнее западного общества. Страдания, неудачи, опыты европейской жизни она также пережила, но пережила воспитанием, мыслию, сердцем, не истощив всех сил своих, а нося в памяти грозный урок последних событий. Так юноша, пораженный каким-нибудь великим несчастьем, совершившимся перед его глазами, быстро зреет и смотрит совершеннолетним взглядом на жизнь сквозь печальный пример.

Но для этого общего труда правительству необходимо перешагнуть за частоколы и заборы табели о рангах<sup>245</sup>, мешающей ему видеть и прислушаться к совершеннолетней речи, которая робко и полутайком высказывается в литературе и в образованных кружках.

Неужели мысль о возможности двинуть вперед целую часть света, искупить мрачное тридцатилетие, соединить две России, между которыми прошла петровская бритва, — в общем деле очищения, освобождения, развития, — касаясь по дороге страшных и колоссальных вопросов: о поземельном владении, о труде и его вознаграждении, об общине и пролетариате, перед которыми трепещут все правительства европейские, — неужели это громадное историческое призвание, само собою дающееся, меньше льстит Александру II, чем пустая и одинокая

==444

высота императорского самовластья, ограниченного взятками, опертого на штыки, крепостное состояние, винные откупы, тайную полицию, невежество и побои, царящие среди всеобщего молчания и подавленных стонов?

Мы не думаем. Да если б и было так, вряд ли возможно теперь продолжение николаевского царствования. Мы уверены, что этот беспощадный, вспять влекущий деспотизм сделал свое время в' России. Правительство само это чувствует, но ему так ново и неловко в мире реформ, улучшений, человеческого слова, что оно дичится, упирается, не верит в свои силы и теряется перед трудностью и сложностью задачи. Это мертвящее мнение о собственном бессилии, о том, что труд нам не по плечам, существует у нас, по несчастью, не только в правительстве, но и в нас самих.

Это не скромность, а начало отчаяния, подавленность, мы так долго были забиты, загнаны, так привыкли краснеть перед другими народами и считать неисправимыми все гадости русской жизни — от взяток до розог, что действительно почти потеряли доверие к себе. Это несчастное чувство непременно должно пройти. Гёте совершенно справедливо говорит: *Mut verloren—alles verloren, Da ware'es besser nicht geboren* <sup>246</sup>.

Конечно, последнее тридцатилетие было тяжело и все историческое развитие наше шло трудным и мудреным путем, но разве оно не дало своих залогов, разве мы остановились,

==445

устали, разве Русь раздробилась на части, подпала чужому владычеству? Нет, мы стоим целы и невредимы, полны сил, связанные единством перед новым путем.

Нас пугает отсталое и ужасное состояние народа, его привычка к бесправию, бедность, подавляющая его. Все это неоспоримо затрудняет и затруднит развитие, но в противоположность Бюргеровой баллады мы скажем: живые ходят быстро, и шаг народных масс, когда они принимаются двигаться, необычайно велик. У нас же не к новой жизни надобно их вести, а отнять то, что подавляет их собственный стародавний быт.

Мы обыкновенно смотрим на другие народы или в их современном состоянии, или среди их революционного разгара, и нам становится больно и страшно за народ русский. Но, для сравнения вернее было бы брать состояние других народов до их переворотов. Взгляните, например, на жизнь Франции накануне революции 1789 и подумайте, что она за шаг сделала в пятьдесят лет времени.

Позвольте вам напомнить события известные, но на которые у нас с этой точки не смотрели.

Смерть Людовика XIV была для Франции нечто вроде 18 февраля 1855 года<sup>248</sup>. Вся страна свободнее вздохнула. Восхваленное царствование его оставило Францию разоренной ненужными войнами, с побитой армией, с европейской коалицией на шее. Денег не было; король под конец сделался главным взяточником в государстве, он все продавал — крупные и мелкие долж-

==446

ности, военные и статские места, разоряя вконец откупам, акцизами и монополиями торговлю, промышленность и ремесла. Народ умирал с голоду, сотни тысяч людей питались в разных концах Франции древесной корой\*.

До министерства Тюрго ничего не поправилось—дефициты росли, военная слава заменилась позорными мирами; заключенными в Париже в 1756 году<sup>250</sup> (ровно за сто лет до другого, тоже не очень славного мира<sup>251</sup>), государственное хозяйство свелось на ажиотаж, на него бросились все — попы и министры, члены парламента и принцы крови. Общественное внимание было занято междоусобными бранями парламента с правительством, янсенистов с молинистами<sup>252</sup>; идеи энциклопедистов бродили, и Вольтер хрхотал, печатая вне Франции свой смех, так, как это делал Бейль<sup>253</sup>. Амстердам не трогал французского вольного станка, так, как Лондон не трогает русского.

Это сверху, а что было внизу?

Мужики страдали под невыносимым гнетом землевладельцев; если б их помещики секли и земская полиция била, то положение их было бы ничем не лучше нашего. Деньги помещикам были крайне нужны для того, чтоб бросать их горстями в Париже и Версале. Промотавшись, они ехали в свои замки, на год или на несколько месяцев, выжимали кровь и пот из мужиков, шлялись на охоту, грязно и скупно жили в запу-

Подробности взяты, сверх всем известных историй, из «Geschichte der Revolutionszeit» Slebel'a, из книги Токвиля<sup>249</sup> и пр.—Прим. А. И. Герцена.

стелых замках, мечтая о том, как скорее наколотить денег и снова ринуться в вихрь и блеск придворной жизни. Сношения с соседями были редки, отчасти от бережливости, отчасти от непроезжаемых дорог. Об умственных занятиях, об улучшениях хозяйства не было и речи.

Поля, разбитые на участки от десяти до пятнадцати гектаров, отдавались половникам. Помещики, не смыслившие ничего в управлении, продавали, сверх того, права сбора произведений и податей нотариусам. Нотариусы, вроде польских жидов-арендаторов, разоряли мужиков, вконец запускали хлебопашество, брали быков от плуга под подводы, кормили своих гусей в пшеничных полях крестьян и пр. Так как все это хозяйство шло беспорядочно, без знания, без капитала, то и не удивительно, что французские поля давали вполтину меньше, нежели английские, а платили вдвое больше (в Англии брали помещики одну четвертую произведений да еще несли разные общественные тяги, в то время как во Франции они ничего не платили, взимая половину произведений). Крестьяне едва не умирали с голоду; о запасе, о барыше нечего было и думать. Отчаянно борясь из-за куска хлеба, не видя ничего вперед, как ту же нужду, тот же подавляющий труд, у крестьянина падали руки, и он обрабатывал меньше и меньше земли. В 1790 г. Артур Юнг считал, что число заброшенной пахотной земли возросло до 9 000 000 гектаров<sup>254</sup>.

Мужики жили в бедных лачугах, часто об одном отверстии, так что у иных дверь служила

окном, у других окно — дверью; сами ткали они себе на одежду толстое, но неплотное сукно, целые провинции ходили босиком, другие носили деревянные башмаки; кожаные составляли, как у нас, редкую роскошь. Грамоте они не знали. Вся умственная жизнь сосредоточивалась в лице пролетария церкви—сельского священника; он поучал их ненависти к протестантам и прибавлял католическое изуверство к целтическим \* предрассудкам, которыми была полна их голова.

О том, что происходило вне деревни, никто не знал и не интересовался знать. Сношения были чрезвычайно затруднительны. Правда, несколько пышных «королевских» дорог в 60 футов шириной перерезывали Францию, но на них до 1776 года ходили только две почтовых кареты и по целым дням путешественник не встречал никакого экипажа. Известно, что, отправляясь в Лион, тем паче в Марсель, из Парижа, путник прощался с родными и делал завещание. Боковых дорог было мало, содержаны они были скверно, несмотря на то, что дорожная повинность вместе с работой в господском доме была еще дополнительной тяжестью, падавшей на долю бедного поселянина. Так тянулось печальное существование двадцати миллионов, т. е. огромного большинства французов, «без отдыха, без надежды, без другой радости, кроме пестрого наряда, в котором они ходили к обедне в праздник; без перемены, разве кого-нибудь голод загонял в город поденщиком или в полк солдатом; \* от французского *celtique* — кельтский.

в последнем случае ушедший редко возвращался в родительский дом» . А над этими париями жила стая хищного дворянства, смотревшего на них с высокомерным презрением и грабившего их с беспощадной жестокостью. «Зато и мужик поглядывал с затаенной ненавистью на башни замка, мечтая о том времени, когда он подождет и его и в нем книгу недоимок» (Зибель) 256.

Небольшое число оброчных крестьян в северной Франции да два-три уголка с патриархальным дворянством, безвыездно жившим в своих поместьях, где-нибудь в Вандее, в нижней Бретани, жили лучше.

Не правда ли, как все это сбивается на наше современное состояние?

Не много лучше было и в городах для работников и мастеровых. Руководствуясь средневековым правилом, что «только король дает человеку право на работу», правительство продавало все занятия и промыслы: прачке—право стирать, швее — право шить, мостовщику — право мостить. Когда Тюрго хотел уничтожить цехи, вся Франция испугалась, и правительство, уступив было, снова их ввело 257.

Взятки и наглое казнокрадство не было во Франции так национально и всеобщее, как у нас, но они отчасти восполнялись ажиотажами и продажей мест; покупщики как собственники мест грабили народ по праву, стремились вместе с аристократией празднично, без труда жить доходами и наслаждаться на чужой счет, на счет какого-то неизвестного, не имеющего имени, которого не стоило знать и который, истощая

==450

силы мышц и силы мозга, должен был работать — для них.

Этот аноним был—народ французский!

Но при всем этом ни энциклопедисты с Вольтером, ни то общество молодых адвокатов и литераторов, которое впоследствии явилось членами грозного Конвента<sup>258</sup>, ни молодое дворянство с Мирабо и Лафайетом, ни армейские сержанты, эти будущие Гоши и Марсо, — никто не отчаивался, и Франция в пять лет вышла из этого положения.

Теперь для нас не в том вопрос—исполнился ли идеал революции или нет, был ли он осуществлен или нет и почему Франция через полвека сломилась и пала под бременем гражданской симонии и мещанского разврата. Мы не обязаны делать ту же революцию, у нас и задача иная и силы к ее разрешению иные. Для нас важно то, что в сорок лет самого судорожного развития, несмотря на грозные войны революции, на преступную трату целых поколений Наполеоном, на вторжение неприятельских войск, на конскрипции и контрибуции, народ французский перешел от состояния, в котором был при министерстве Тюрго и Неккера, до того состояния, в котором, например, застал его Людовик-Филипп.

Сверх того, не надо забывать, что исторический быт Франции сложился веками и учреждения имели глубокие корни в нравах и жизни народной. Где у нас эти *us et coutumes* \*, свя-

==451

зывают каждый шаг, тяжелая парламентская жизнь, роды родов судейских фамилий, которые словно по наследству судили и рядили народ; наконец, где у нас древний, седой институт королевской власти, связанной со всеми воспоминаниями истории, и с феодализмом, и с городской жизнью, и с католицизмом, и с славой «великого века», — институт, последовательно разработавшийся в целую систему аристократической монархии? Народы вживаются до того в вековые формы и обряды, что не понимают жизни в других формах, хотя бы они были лучше. Консерватизм Англии основан на этом, но для того, чтобы иметь эти обязательные воспоминания, надобно много прожить, надобно что-нибудь иметь для хранения.

У нас ничего подобного нет. Что у нас преемственное, древнее, неискоренимо прочное? Табель о рангах, дворянская грамота 260, городские положения 261, сенат, синод, крепостное; право, чиновники, лейб-гвардия? Или не в самом ли деле иностранная шутка — *the old Moscovit party, the old boyards*? \* По счастью, это *old* — самое новое в русской жизни, мы воротились школой и книгой к нашему православному Геркулануму и к нашей славянофильской Помпее 262; оно очень интересно, но мертвый живому не товарищ.

Мы сто пятьдесят лет живем в ломке старого; целого ничего не осталось, да и жалеть не о чем. У нас есть императорская диктатура и сельский быт, а между ними всякого рода уч-

старая московская партия, старые бояре (англ.)

==452

реждения, попытки, начинания да мысль, больше и больше оживающая, не привязанная ни к какой касте, ни к какому из существующих порядков. Мы с Петра I в перестройке, ищем форм, подражаем, списываем и через год пробуем новое. Достаточно переменить министра, чтобы вдруг из государственных крестьян сделать удельных или наоборот 263. У нас только не меняется почва, грунт, т. е. опять село, но крестьянский быт скорее физиологический характер, догосударственное *statu quo*, состояние, посылка, которой силлогизм будет в будущем, нежели продолжение московского царства; оно было и при нем, вот все, что мы можем сказать. Изменить его было бы очень трудно, да это и не нужно, совсем напротив, на нем-то и созиждется будущая Русь!

Конечно, нелегко перейти от военного деспотизма и немецкой бюрократии к более простым народным началам государственного строения. Но где же эти непреодолимые препятствия? Разумеется, мудрено видеть истину, если одним не позволяют говорить, а другие заинтересованы, чтоб скрывать. Государь ничего не видит из-за строил и лесов канцелярии и бюрократии, из-за пыли, поднимаемой маневрирующими солдатами; и поэтому правительство, вступив в эпоху реформ, идет ощупью, хочет и не хочет, а те, которые могли бы дать совет, те бьются, как рыба об лед, не имея голоса.



Для того, чтоб продолжать петровское дело, надобно государю так же откровенно отречься от петербургского периода, как Петр отрекся от

[==453](#)

московского. Весь этот искусственный снаряд императорского управления устарел. Имея власть в руках и опираясь, с одной стороны, на народ, с другой — на всех мыслящих и образованных людей в России, нынешнее правительство могло бы сделать чудеса, без малейшей опасности для себя.

Такого положения, как Александр II, не имеет ни один монарх в Европе, — но кому много дается, с того много и спросится! . .

15 июля 1857.

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIII. М., 1958, стр. 21—29.

[==454](#)

[00.htm - glava10](#)

## **РУССКИЕ НЕМЦЫ И НЕМЕЦКИЕ РУССКИЕ**

### **I. ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЕ НЕМЦЫ**

«Историки делаются — поэты рождаются» — говорит латинская сентенция. Наши правительствующие немцы имеют ту выгоду против историков и поэтов, что они и делаются, и рождаются. Рождаются они от обруселых немцев, делаются из онемечившихся русских. Плодородие это — спору нет — дело хорошее, но чтоб они не очень гордились богатством путей нарождения, мы им напомним, что только низшие животные разводятся на два, на три манера, а высшие имеют одну методу, зато хорошую.

Из всех правительственных немцев — само собой разумеется — русские немцы самые худшие. Немецкий немец в правительстве бывает наивен, бывает глуп, снисходит иногда к варварам, которых он должен очеловечить. Русский немец ограниченно умен и смотрит с отвращением стыдящегося родственника на народ. И тот и другой чувствуют свое бесконечное превосходство над ним, и тот и другой глубоко презирают все русское, уверены, что с нашим братом ничего без палки не сделаешь. Но немец не всегда показывает это, хотя и всегда бьет; а русский и бьет, и хвастается.

[==455](#)

Собственно немецкая часть правительствующей у нас Германии имеет чрезвычайное единство во всех семнадцати или восемнадцати степенях немецкой табели о рангах. Скромно начинаясь подмастерьями,

мастерами, гезелями, аптекарями, немцами при детях, она быстро всползает по отлогой для ней лестнице — до немцев при России, до ручных Нессельродов, цепных Клейнмихелей, до одноипостасных Бенкендорфов и двуипостасных Адлербергов (*filiusque* \*). Выше этих гор и орлов<sup>264</sup> ничего нет, -т. е. ничего земного... над ними олимпийский венок немецких великих княжон с их братцами, дядюшками, дедушками.

Все они, от юнейшего немца-подмастерья до старейшего дедушки из снеговержцев здмнего Олимпа, от рабочей сапожника, где ученик заколачивает смиренно гвозди в подошву, до экзерциргауза, где немец—корпусный командир заколачивает в гроб солдата, — все они имеют одинакие зоологические признаки, так что в немце-сапожнике бездна генеральского и в немце-генерале пропасть сапожнического; во всех них есть что-то ремесленническое, чрезвычайно аккуратное, цеховое, педантское, все они любят стяжание, но хотят достигнуть денег честным образом, т. е. скупостью и усердием, — это дает им их черствый, холодный, осторожный и бесстрастный характер. Воруя на службе, можно еще быть добродушным плутом; наживать честным образом — все же будешь плутом, \* С сыном (лат.)

## ==456

но злым и беспощадным, например, исполняя с точностью безумные приказы самовластья.

Сверх этих общих признаков, все правительствующие немцы относятся одинаким образом к России — с полным презрением и таковым же непониманием.

Не знаю, каковы были шведские немцы, приходившие за тысячу лет тому назад в Новгород. Но новые немцы, особенно идущие царить и владеть нами из остзейских провинций, после того как Шереметев «изрядно повоевал Лифлянды»<sup>265</sup>, похожи друг на друга, как родные братья. Самый полный тип их— это конюхрегент, герцог на содержании — Эрнст Иоганн Бирон.

В мою молодость, в Москве, я имел случай изучить по крайней мере человек пять Биронов — только они не были на содержании, а жили на свой счет. Отец мой охотно отдавал дворовых мальчиков к немцам в науку. Все хозяева были неумолимые, систематические злодеи, и притом какие-то беззлобные, что еще больше делало невыносимым их тиранство. Я помню очень живо щеточника в Леонтьевском переулке, белобрысого немца с испорченными зубами, лет 35, чисто одевавшегося, говорившего тихо и скромно державшего себя вне мастерской. Дома при нем постоянно лежал ремень, и он, как американский плантатор или как пьяный кучер, стегал то и дело то того, то другого мальчика, и стегал два раза, если тот отвечал. Я даже не думаю, чтоб этот человек был особенно свиреп, он с тупым убеждением про-

## ==457

должал дело Петра I и вколачивал ремнем европейскую цивилизацию. «*Es ist ein Vieh — man muß der Bestie den Russen herausschlagen*» \*,— думал он с покойной совестью.

Я уверен, что Бирон, ужиная *en petit comite* \*\* с своими Левенвольденами, Менгденами, точно так относился о всей России и Остерман ему поддакивал, если не было никого из русских, и жаловался на глухоту, если кто-нибудь был налицо. И добрые немцы, как добрый щеточник, без усталости употребляли

ремни вроде Ушаковых, Бестужевых<sup>266</sup>, которые подымали Россию на дыбу, ломали ей руки и ноги и были вдвое мерзее своих немецких хозяев.

Об них-то именно мы и хотим поговорить.

Тип Бирона здесь бледнеет." Русский на манер немца далеко превзошел его; мы имеем в этом отношении предел, геркулесов столб, далее которого «от жены рожденный» не может идти,—это граф Алексей Андреевич Аракчеев. В нем совместились все роды бичей, которыми Русь воспитывалась, это был раболепный татарский баскак, наушник-дворецкий из крепостных и прусский вахмистр времен курфюрста Фридриха Вильгельма. Но что же было в нем русского! Какое-то национальное ensemble <sup>\*\*\*</sup>, какое-то национальное сочетание нагайки, розог и шпицрутена.

Аракчеев совсем не немец, он и по-немецки

Это — скотина, нужно выбить скота из русских (нем.)

\* в тесной компании (франц.) \*;!\* единство (франц.)

==458

не знал, он хвастался своим русопетством, он был, так сказать, по службе немец, и, не отдавая себе никогда отчета, выбивал из солдата и мужика не только русского, но и человека.

Так, как в Саксонии есть своя небольшая Швейцария, так у нас своя, и притом очень большая, Германия. Средоточие ее в Петербурге, но точки окружности везде, где есть стоячий воротник, секретарь и канцелярия, во всех администрациях: сухопутных, горных, соляных, военно-статских и статски-военных. Настоящие немцы составляют только ядро или закваску, но большинство состоит из всевозможных русских — православных, столбовых, с нашим жирным носом и монгольскими скулами, ученых невежд, эскадронных командиров, журналистов и начальников отделения. Они-то и занимают все первые места, когда нет под рукой настоящего немца, и все вторые — когда есть, или, вернее, все остальные, кроме поповских, и это оттого, что немец *ex officio* должен ходить понемецки, т. е. брить бороду, а поп из религиозных причин должен быть женат и с бородой.

Вступив однажды в немцы, выйти из них очень трудно, как свидетельствует весь петербургский период; какой-то угол отшибается, и в силу этого теряется всякая возможность понимать что-нибудь русское, по крайней мере то русское, что составляет народную особенность. Один из самых замечательных русских немцев, желавших обрусеть, был Николай. Чего он не делал, чтоб сделаться русским: и финнов крестил, и униат сек, и церкви велел строить опять

==459

в виде судка, и русское судопроизводство вводил там, где никто не понимал по-русски, и все иностранное гнал, и паспортов не давал за границу, а русским все не сделался, и это до такой степени справедливо, что народность у него являлась на манер немецкого тейчтума, православие проповедовалось на католический манер. Толкуя о народности, он даже не мог через русскую бороду перешагнуть<sup>267</sup>, помня, что скипетр ему был вручен на том условии, чтоб он «брил бороду и ходил по-

немецки». Этого мало: Николай при первом представившемся случае, когда враждебно встретились интересы России с немецкими интересами, предал Россию, так, как ее предал нареченный дед его Петр Федорович. Только что они нашли разных немцев: Петр Федорович изменил России в пользу прусского короля, потому что Фридрих был гений 268, Николай изменил всему славянскому миру в пользу австрийского императора, который был идиот 269.

Дело-то в том, что жизнь русскую, не установившуюся, задержанную и искаженную, вообще трудно понимать без особенного сочувствия, но во сто раз труднее в немецком переводе, а мы ее только в нем и читаем. Она ускользает от чужих определений, а сама не достигла того отстоявшегося полного сознания и отчета, которое является у старых народов вместе с сединою и печальным припевом: «Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait!» \*

«Кабы молодость знала, кабы старость могла!» (франц.)

## ==460

Вместо статистических, юридических, исторических торных дорог, по которым мы ездим во все стороны на Западе, у нас везде лес, проселки, дичь ... Стремления, способности, огромный рост, в ужас приводящее, молчание и какой-то народный быт, засыпанный мусором... вот и все. Есть признаки, приметы, звуки симпатии, по которым многое делается понятным для простого ума, т. е. непредупрежденного, для простого сердца, для кровной связи; это чутье совершенно притупляется немецкой дрессировкой.

Кто не видал в свою жизнь истого городского жителя, как он теряется в поле, в лесу, в горах? .. Ни будочника, чтоб спросить дорогу, ни номеров, ни фонарей; а крестьянский мальчик попевает песни, щелкает орехи и преспокойно идет домой.

Той ясности, той легкости, к которой нас приучает чтение духовных завещаний, надгробных надписей, оконченных процессов, мы не находим и, обращаясь к хаосу русской жизни, ломаем и гнем непонятные факты в чужую меру.

Это метода Петра, первого императора и первого русского немца. Петр был совершенно прав в стремлении выйти из неловких, тяжелых государственных форм Московского царства, но, разорвавшийся с народом и равно лишенный гениального чутья и гениального творчества, он поступил проще. Возле, рядом иные формы прочной немецкой работы, в них так могуче развилась западная жизнь—чего же лучше?..

## ==461

Herr Nachbar, eine kleine Copie! \* В самом деле, коли эти формы были хороши для таких аристократов, как французы, шведы, немцы, как же им не быть хорошими для русских мужиков; стоит сначала приневолить, обрить, посечь, и все пойдет как по маслу.

Так оно и пошло; ясно что для вколачивания русских в немецкие формы следовало взять немцев; в Германии была бездна праздношатающихся пасторских детей, егерей, офицеров, берейторов, фореиторов; им открывают дворцы, им вручают казну, их обвешивают крестами; так, как Кортес завоевывал Америку испанскому королю<sup>270</sup>, так немцы завоевывали шпицрутенами Россию немецкой идее.

Если Бирон ссылал сотнями, сек тысячами, это значит, что русские дурно учились.

Ведь за то-то и Аракчеев бил всю жизнь русского человека, чтоб лучше его пригнать в солдатскую меру, а ее Аракчеев унаследовал из чистейшего голштинского источника, предание которого хранилось свято и исправно в Гатчине<sup>271</sup>. Идеал вахтпарадного солдата, до которого Аракчеев доколачивал, был хорош, а скотина мужик этого не понимал... 1000 шпицрутен, 2000, 3000 — да чего жалеть прутьев, наш край дубравен— 10000!

Немцы из настоящих и из поддельных приняли русского человека за *tabula rasa*, за лист белой бумаги... и так как они не знали, что писать, то они положили на нем свое тавро и

.Господин сосед — маленькую копию! (нем.)

==462

сделали из простой бумаги гербовый лист и исписали его потом нелепыми формами, титулами, а главное — крепостными актами, которыми закабалляли больше и больше это живое "тесто, которое они были призваны выцивилизовать.

За работу они принялись усердно: что помещик—то Петр I, что немец—то Бирон. Помещик высекал из крестьянина лакея, Аракчеев солдата. Добросовестные из них были уверены, что они образуют их. «Посмотрите, — говорит помещик, указывая на Гришку, — три года тому назад за сохой ходил, а вот теперь служит в английском клубе не хуже всякого официанта; у меня есть секрет их учить. Тяжело было, нечего делать, не одну березовую припарку вынес; зато теперь сам чувствует мои благодеяния».

И действительно, Гришка чувствовал это и богу молил за барина, и отца с матерью в деревне презирал как сиволапых мужиков.

Так у нас шло тихо да келейно, посекая да постегивая, и долго бы прошло, да вдруг русская жизнь натолкнулась на русский вопрос, а по-немецки его разрешить нельзя.

Вопрос этот в освобождении крестьян с землею. .. и во всяких чудесах — в праве на землю, в общинном владении.

==463

## II. ДОКТРИНЕРСТВУЮЩИЕ НЕМЦЫ

То, что делалось грубо, хирургически в передней и казарме, повторялось с разными утонченными и нервными видоизменениями во всех других сферах.

Разрыв, которым для нас началась немецкая наука, невольно ставил все отторгаемое от прежнего единства в враждебное отношение ко всему оставшемуся по старине. Освобождаясь от целого мира нелепых предрассудков и тяжелых форм, новая Россия не делалась свободной, на это она еще не имела достаточной самостоятельности, а подчинялась другому нелепому порядку и принимала его предрассудки — второй степени, так сказать.

Допетровская жизнь была виновата в разрыве, она обусловила и вызвала его; в ее сонном прозябании нельзя было дольше оставаться не покрывшись плесенью, не расползаясь, не впадая в восточную летаргию. А на все на это недоставало азиатской лени и старческого покоя. Совсем напротив, в русской жизни бродила бездна сил неустоявшихся: с одной стороны— казачество, расколы, неоседлость крестьян, их бродяжничество, с другой — государственная пластичность, сильно обнаруживавшаяся в стремлениях раздаться, не теряя единства.

Каким путем эта стихийная жизнь, равнодушная к развитию своих собственных сил и даже к сознанию их, должна была выйти к совершеннолетию и измениться — это зависело от разных обстоятельств, но необходимость вы-

==464

хода вовсе не была случайностью. Оторвавшаяся часть немой и спящей горы представляла именно тот революционный фермент, то деятельное меньшинство, которое должно было волею или неволею увлечь за собою всю массу. Что меньшинство это было само увлечено подражанием чужеземному — и это естественно. Русская жизнь, таившая в себе зародыши будущего развития, вовсе не подозревая того, держалась за старину по капризу, не умея объяснить почему, а революция, напротив, указывала на блестящие идеалы, на широкую будущность и, наконец, на существующую

Европу с ее наукой и искусством, с ее государственным строем и общежитием.

Что европейские гражданские формы были несравненно выше не только старинных русских, но и теперешних, в этом нет сомнения. И вопрос не в том, догнали ли мы Запад или нет,, а в том, следует ли его догонять по длинному шоссе его, когда мы можем пуститься прямее. Нам кажется, что, пройдя западной дрессировкой, подкованные ею, мы можем стать на свои ноги и, вместо того чтоб твердить чужие зады и прилаживать стоптанные сапоги, нам следует подумать, нет ли в народном быту, в народном характере нашем, в нашей мысли, в нашем искусстве чего-нибудь такого, что может иметь притязание на общественное устройство несравненно высшее западного. Хорошие ученики часто переводятся через класс.

Представьте себе, что каким-нибудь колдовством кто-нибудь вдруг развил бы из куриного

==465

яйца ящерицу или лягушку. Без всякого сомнения, состояние ящерицы было бы для яйца прогрессом, но в сущности зародыш цыпленка мог иметь высшие притязания, именно сделаться птицей. Если бы мы теперь остановили развитие цыпленка, основываясь на том, что ящерица или лягушка, выведенная из птичьего яйца, потому не может еще сделаться птицей, что она не достигла всех лягушечьих

совершенство, и будем его заставлять прыгать на брюхе подтянувши ноги, в то время как он мог бы летать, — то мы все же сделаем avortement \* птицы и дальше лягушки ее не разовьем.

Наука, которую мы прошли, была трудна, помечена слезами, кровью и костями. Она пошла впрок, наша здоровая организация все вынесла. Сначала мы были у немца в учении, потом у француза в школе — пора брать диплом. А страшное было воспитание!

При Петре I дрессировка началась немецкая, т. е. наиболее противоположная славянскому характеру. Военный артикул и канцелярский стиль были первыми плодами немецкой науки. Тяжелые и неповоротливые бояры и князья наперерыв старались походить на капралов и берейторов, германский бюрократизм обогащался византийским раболепием, а татарская нагайка служила превосходным пополнением шпицрутенов. На троне были немцы, около трона—немцы, полководцами—немцы, министрами иностранных дел — немцы, булочниками —

Здесь: остановку в нормальном развитии (франц.) 30 А. И. Герцен

==466

немцы, аптекарями — немцы, везде немцы до противности. Немки занимали почти исключительные места императриц и повивальных бабок.

На добродушнейшем из всех немцев, на пьяненьком Петре III, как всегда бывает, оборвалось немецкое единодержавие. Немка, взбунтовавшаяся против него, была офранцужена<sup>272</sup>, выдавала себя за русскую и стремилась заменить немецкое иго — общеевропейским.

С тех пор в обществе немцы уступают французам; но если французы господствуют в гостиной и на кухне, то передняя и правительство остается за немцами \*.

Et par diverses raisons Gardens ces amis de la maison \*\*

Они любят правительство, правительство их любит, да и как не любить людей, которых отечество в канцелярии и казарме, которых совесть—в Зимнем дворце?

И не только правительство, мы сами так привыкли, что нельзя хорошо управлять Россией

С глубокой горестью читали мы, что самый почетный гость на празднике 8 сентября 1859 был немец с австрийским крестом, полученным за отличие при Солферино . . . именно Гессенский принц<sup>273</sup>. Рано узнает юноша, призванный когда-нибудь царить над Русью, что в его семье есть рейторы и кондотьеры к услугам каждого нуждающегося тиранства, вольнонаемные принцы, готовые своей шпагой, оскверненной кровью в неправом деле и в деле, чужом для них, — расчистить дорогу палачам! — Прим. А. И. Герцена.

\* И по разным причинам сохраним этих друзей дома (франц.)

==467

без немцев, что нам кажется просто странным, как быть русскому министерству, русской армии без Нессельроде, Канкрин, Дибича, Бенкендорфа, Адлерберга,—нельзя!—ну хоть какой-нибудь Балтазар Балтазарович фон Кампенгаузен или Фабиан Вильгельмович фон дер Остен-Сакен, а все нужно.

Пока немцы владели Русью как справедливой наградой за аккуратность и умеренность, общество продолжало спрягать французские глаголы и обогащать русский язык галлицизмами. Кафтаны и танцы, книги и прически — все шло из Франции, и это был большой шаг вперед. В конце XVIII столетия Франция действительно была страной великой пропаганды, дух будущего носился над Парижем, и наше молодое поколение незаметно переходило от французской грамматики к французским идеям... Одно правительство дальше языка не пошло и, щегольски говоря по-французски, руководствовалось чисто немецкими мерами, ограждая себя по-прежнему остзейскими лейб-опричниками от французских идей и русских притязаний. Но несмотря ни на это, ни на Аракчеева, ни на военные поселения, ни на винные откупа, александровская эпоха была великим временем. Это была эпоха Пестеля и Муравьева, университетов и лицеев, Пушкина и 1812 года, эпоха гражданского сознания и государственной мощи. Она служит лучшим ответом слепым порицателям петровского разрыва, ею он оправдан и заключен. Залп на Исаакиевской площади — был залпом на его похоронах.

==468

Юные, гордые силы были уже готовы выступить за гранитные берега, которыми образующий деспотизм стремился удержать образование. Грубый отпор осадил их, тяжелый гидравлический пресс налег на все, сгущая, сосредоточивая, и все выросло в молчании. Николай имел в виду одно стеснение; он не виноват в пользе, им сделанной, но она сделалась. Юношеская, самонадеянная мысль александровского времени смирилась, стала угрюмее и с тем вместе-серьезнее. Боясь светить ярко, светить вверх, она, таясь, жгла внутри и иной раз светила вниз. Громкие речи заменяются тихим шепотом, подземная работа идет в аудиториях, идет под носом у Николая в военных училищах, идет под благословением митрополитов в семинариях. Живая мысль облачается в схоластические одежды, чтоб ускользнуть от наушников, и надевает рабскую маску, чтоб дать знак глазами, — и каждый намек, каждое слово прорвавшееся понято, становится силой. Удивительное время наружного рабства и внутреннего освобождения; настоящая история этого времени не на Кавказе, не в убитой Варшаве, не в остроге Зимнего дворца, она в двух-трех бедных

профессорах, в нескольких студентах, в кучке журналистов.

Мысль растет, смех Пушкина заменяется смехом Гоголя. Скептическая потерянности Лермонтова составляет лиризм этой эпохи.

Печальны, но изящны были люди, вышедшие тогда на сцену, с сознанием правоты и бессилия, с сознанием разрыва с народом и обществом,

==469

без верной почвы под ногами; чуждые всему окружающему, не знавшие будущего, они не сложили рук, они проповедовали целую жизнь, как Грановский, как Белинский, оба сошедшие в могилу, рано изношенные в суровой и безотрадной борьбе.



Они по духу, по общему образованию принадлежали Западу, их идеалы были в нем... Русская жизнь их оскорбляла на всяком шагу, и между тем с какой святой непоследовательностью они любили Россию и как безумно надеялись на ее будущее... и если когда в минуты бесконечной боли они проклинали неблагодарный, суровый родительский дом, то ведь это одни крепкие на ум не слышали в их проклятиях — благословения!

Грановский и Белинский стоят на рубеже, далее в их направлении нельзя было идти. Последние благородные представители западной идеи, они не оставили ни учеников, ни школы. Молодое поколение выслушало результаты, до которых они домучились, и, предостереженное их примером, не впадало в их непоследовательность; спокойное и рассудительное, оно или примирилось с «разумной действительностью» русской гражданской жизни, или, как подсолнечник, склонило свой тяжелый цветок через острожный частокол русской тюрьмы к садящемуся на Западе солнцу. Из них-то составились наши доктринеры-бюрократы и западные доктринеры<sup>27^</sup>; последняя фаланга петровского войска, лучшие немцы из русских — умные, образованные, но не русские и именно

==470

потому способные с наилучшими намерениями наделать бездну вреда.

В первое десятилетие, следовавшее за 14 декабря 1825, поднялось рядом с тем движением, о котором мы говорили, совсем иное направление. Несколько деятельных умов, отворачиваясь от лунного, холодного просвещения, которым веяло из Петербурга, стали проситься домой из «немецкой науки» и, попав на мысль, что Русь русскую не уразумеешь из одних иностранных книг, отправились ее искать, ее живую, в летописях, так, как Мария Магдалина искала Иисуса в гробе, в котором его не было 275.

Над ними смеялись, и они действительно были смешны, юродствовали, переезжали за два века назад, наряжались по-старорусски, — так, как их предки наряжались по-немецки, отращивали бороду, которую полиция им брила, натягивали подогретое православие, сомневались, следует ли есть телятину, и не сомневались, что иконопись выше живописи. Мы смотрели на них с негодованием и были правы, мы искали свободы совести; они, исполненные раскольнической нетерпимости, проповедовали православное рабство. Мы не понимали (да и они сначала сознательно не понимали), что у них, как у староверов, под археологическими обрядами бился живой зародыш, что они, по видимому защищая один вздор, в сущности отстаивали в уродливо церковной форме веру в народную жизнь!

Пока продолжалась борьба свободной совести против рабской и партии не могли друг друга понять, грянула февральская гроза и переме-

==471

шала все карты в Европе<sup>276</sup>. Когда она улеглась, полюсы шара земного были переменены.

Западники, безземельные дома, теряли теперь шаг за шагом свои владения в обетованной земле. Славянофилы, думая отрывать трупы на кладбище, по дороге пахали поле. Западная партия была разбита на Западе; кирпичное, в один камень, здание политической экономии покривилось и оселось,

теория общественного прогресса падала в бесплодную риторику, Франция, как покорное стадо единого пастыря, и Германия, как покорное стадо множества пастырей, утратили, раз за раз, свободные учреждения, личную безопасность, право речи, утратили талант, серьезность; общее падение, как неотразимый рок, влекло всю Европу в хаос разложения; явились трогательные, печальные личности, упорно остающиеся верными всякому падению, надеющиеся, что храм западный, как храм Соломонов<sup>278</sup>, скоро воскреснет во всей славе и силе, лишь бы только отделаться от социализма и деспотизма, от католицизма и невежества масс...

И наши западные доктринеры вслед за ними не изменили своей вере, не уступили стен своей ученой крепости; они печально, но твердо ждут, когда уляжется дикое славянофильство, варварство социальных идей и французская централизация, на основаниях немецкой Schulwissenschaft<sup>279</sup>, будет царить от Таурогена до Амура.

Чем больше западная партия удалялась от реальной почвы и переносила шатры свои

## ==472

в абстрактную науку, тем тверже становились славяне на практический грунт. Вопрос об общинном владении, по счастью, вывел их из церкви и из летописей — на пашню.

И вот как, роковым колебанием исторических волн, люди прогресса стали в свою очередь консерваторами, старообрядцами реформы, стрельцами западной цивилизации, хвастающимися неподвижностью своих мнений!

Старая шутка софистов решилась обратно, черепаха опередила Ахилла... Ахилл забежал далеко, а путь переломился.

Как это делается, приведу один пример: спор, длившийся в русских журналах о народности в науке<sup>280</sup>. Западники были совершенно правы в том, что объективная истина не может зависеть ни от градуса широты, ни от градуса лицевого угла; но, говоря это, у них есть задняя мысль, что западная наука, как единая сущая, и есть эта объективная, католическая, безусловная наука. Конечно, другой науки нет, но разве быть одним значит быть безусловной? \* Западная наука с своим схоластическим языком и дуализмом в понятиях, в тысяче случаях не умеет не только разрешить, но поставить вопрос. Она слишком завалена грубым материалом, слишком избалована своими старыми приемами, чтоб просто относиться к предмету, \* Разве по той логике, по которой доказывают, что человек, сидящий один в лучшей комнате всего Парижа, есть лучший человек во всем мире!—Прим. А. И. Герцена.

## ==473

она слишком облегчила себе труд рубриками, словами, трафаретками и шаблонами, чтоб искать новых мехов для нового вина.

Славянофилы поняли, что их истина плохо выражается западной номенклатурой, они пытались науку сделать русской, православной, остриженной в скобку, так, как пытались архитектуру и живопись свести на византизм, а в сущности они достигают совсем другого — высвобождения мысли и истины от обязательных колодок немецкой работы, набитых на наш ум западным воззрением.

Вот почему мы, не хвастающиеся достоинством Симеона Столпника, стоявшего бесполезно и упорно шесть, десять ^ет на одном и том же месте<sup>281</sup>, оставаясь совершенно верными нравственным убеждениям нашим;.. живые, т. е. изменяющиеся —

Течением времени<sup>282</sup>, стали гораздо ближе к московским славянам, чем к западным старообрядцам и к русским немцам, во всех родах различных.

### III. SI VIEILLESSE POUVAIT, SI JEUNESSE SAVAIT! \*

Нам кажется, что западный мозг, так, как он выработался своей историей, своей односторонней цивилизацией, своей школьной наукой, \* Кабы старость могла, кабы молодость знала! (франц.)

#### ==474

не в состоянии уловить новые явления жизни ни у себя, ни вчуже.

Наука (исключая естествоведение) изменила прогрессивному характеру своему и перешла в доктринаризм, который расходится с живой средой, так, как некогда разошлась с нею церковь католическая, а потом и протестантская. .. Академическая кафедра и церковный напой остаются какими-то *venerabilia* \*, которым из уважения позволяют поучать, мешаться

в жизнь, но которым жизнь не позволяет управлять собой.

Западное мирозерцание, с его гражданским идеалом и философией права, с его политической экономией и дуализмом в понятиях, принадлежит к известному порядку исторических явлений и вне их несостоятельно.

Идеал его, как бывает с идеалами, тот же существующий исторический быт, но преображенный на горе Фаворе<sup>283</sup>. К этим идеалам шли, увлекая поколения, великие мыслители XVIII века, радостные люди 1789 и мрачные 1793, мещане 1830 и их сыновья 1848; к ним нейдут народы нашего времени, потому что они отслужили свою службу, они обойдены чутким инстинктом... и на этом растет разрыв.

Пока западный мир в мучениях и труде строил из своей действительности свои теории и стремился потом из теорий вывести свою „действительность"— истины его пережили свою истинность. Он не хочет этого знать... тут предел, \* почитаемыми (лат.)

#### ==475

и настоящая Европа представляет нам удивительное зрелище политического и научного консерватизма, соединенных не на взаимном доверии, а на страхе чего-то отрицающего их авторитет.

Страх не совместен ни с свободой, ни с прогрессом. Противозаконный союз науки с властью сделал из нее схоластический доктринаризм во всем относящемся к жизни.

Старая цивилизация истощила свои средства, она становится все больше и больше книжной; способность прямо, без письменных документов, относиться к предмету—теряется; заучившийся

человек меньше наблюдает, чем вспоминает; привычка все узнавать из книг делает его больше способным, для чтения и меньше способным для смотра. Ученый авторитет, седея, теряет терпимость, становится обязательным и принимает отрицание за обиду и крамолу. У него есть прочный запас давно решенных истин, начал, законов, к ним он не возвращается, оно и не было нужно, пока дело шло о приложении, о развитии прежнего, словом—о продолжении. Но тут, как нарочно, мир не может идти по-старому, а догматики не верят, чтобы мир мог шаг сделать вне форм и категорий, вперед ими признанных.

Я с ужасом слышу грозное негодование моих ученых друзей.

«Да он властей не признает! — говорят они. — Что же это, наконец, — кошунство в девичьей спальне Минервы, этого мы

==476

не потерпим. Дело теперь не о русских немцах и не о немецких русских, дело о достоинстве науки, за нее мы заступимся: *Moriamur pro regina nostra*» \*.

— Равви, если б вы выслушали меня...

— Да что вы можете сказать, вы софист, вы скептик, вы любите парадоксы!

— Во-первых, я бы вас успокоил насчет науки, она *assez grand garçon* \*\*, чтоб не нуждаться в защите дядек от нападков какого-нибудь поврежденного. Наука такой же сущий непреложный факт, как воздух, как луна; можно сказать, что воздух сегодня не чист и луна там-то не светит, но начать бранить воздух или луну может только сумасшедший. Представьте себе человека, который бы стал говорить, что ;воздух глуп, и другого, который с негодованием стал бы ему возражать, защищая благородный, хоть и несколько ветреный, характер его.

— Все это так, но вред от нападков ваших унижает цивилизацию и науку в глазах невежд и лентяев, а нам надобно учиться, много учиться.

— И будемте. Как же не учиться и где же лучше учиться, как не у старших братьев. Но скажите мне на милость, ваши похвалы наукам и искусствам подняли ли их, например, в глазах первых трех классов в России? Не проймешь их превосходительства велеречием; они могут только уважать по высочайшему повелению или по воле высшего Начальства.

Умрем за нашу царицу (лат.) \*\* достаточно взрослая (франц.)

==477

Но дело не в том, а в том, что, уважая науку всем сердцем и всем помышлением и отдавая ей все, что ей принадлежит, я не хочу создавать себе из нее кумира, а, совсем напротив, признав ее логическое благословение, скажу, что безусловной науки нет (как вообще нет ничего безусловного). Наука в действительности всегда обусловлена; отражаемый мир явлений—в человеческом сознании, — она делит его судьбы, с ним движется, растет и отступает, постоянно находясь в взаимодействии с

историей. Оттого в развитии ее тот же поглощающий, страстный интерес, та же поэзия и драма, те же страдания и увлечения, как в истории. Ее относительная истина всегда отклонена от прямой линии мозговым преломлением и подкрашена средой— и тем больше, чем предмет ближе к нам.

Западный мир, и это совершенно естественно, считал и считает свою науку абсолютной, свой путь — единым ведущим к спасению. Но так как магнитная стрелка его сильно отклонилась от прямого направления в продолжение долгого исторического плавания, то он наконец хватился об утес и, боясь потонуть, бросился на мель. Теперь все усилия, весь труд употребляется, чтоб неподвижному сидению на мели придать вид прогрессивного движения.

Для того чтоб в самом деле плыть дальше, надобно весь груз бросить в море, а его много и жаль. Жаль ученым не меньше банкиров, и они переходят на консервативную сторону. В самом деле, разве какому-нибудь юристу легко признаться, что все уголовное право—

### ==478

нелепая теория мести; что лучший уголовный суд—очищенная инквизиция; и что в лучшем кодексе — нет ни логики, ни психологии, ни даже здравого смысла?

К тому же теоретические убеждения упорнее всех на свете, упорнее религиозных верований, именно потому, что они имеют свое одностороннее логическое оправдание, свое диалектическое доказательство, основанное не на патологическом состоянии мозга, как в религии, а на относительной истинности. Средств переубедить человека, теоретически убежденного, никаких нет, это совершеннейший предрассудок. Логика не имеет такой силы над привычным складом ума, над застарелыми приемами его. Убедить вообще можно только того, кто или никакого мнения не имеет, или чувствует, что его мнение шатко. А западный ум, совсем напротив, убежден в непогрешительности своей методы и в истине своих истин.

Но будто нет исключения?

Есть. Но эти люди такие же иностранцы на Западе, как и мы. Старая Европа, ученая, юридическая, этико-политическая и политикоэкономическая, филологическая и либеральная, относится к ним с таким же непониманьем, как к нам, и с двойной ненавистью.

К тому же они побеждены!

С того дня, когда невозможность величайшей утопии, когда-либо волновавшей дух человеческий, обличилась, когда усталый народ и отки-

### ==479

певшие партии поняли, что из монархической Франции не легко создать, даже с помощью гильотины, демократическую республику, основанную на разуме, равенстве и братстве, и все стремилось взойти в покойное русло, т. е. найти себе господина, который бы снял на свои плечи бремя самоуправления, — с того самого дня поднялся голос протеста, говоривший, что революция не удалась не потому, что она

сбилась с своих начал, а что она сбилась с них потому, что из ее начал не выведешь нового общественного устройства, сообразного с потребностями разума.

Революция отвечала на дерзкий протест ржавым топором, уже выходящим из употребления. Человек был убит, голос остался, и иной раз его слышали издали, даже во времена нравственной прострации всеобщей бойни «периода славы», потом погромче во времена Лазарева воскресения Бурбонов и, наконец, очень громко, когда за прилавок Франции сел смысленный хозяин Людовик-Филипп 286.

В процессе улицы Menilmontant<sup>287</sup> люди увидели в первый раз, после Плиния и Тертуллиана, небольшую кучку сектаторов, отвергавших не то или другое учреждение, не ту или другую форму правительства, но все современное общественное устройство, и притом не одно австрийское, не одно папское, а с тем вместе и все либерально-конституционное короля-гражданина и хартии, «сделавшейся правдой». Государство должно было их преследовать, это был вопрос на жизнь и смерть, и не одно

==480

государство опрокинулось на них, но и общественное мнение, руководимое либеральной буржуазией. Тут не было места для взаимных уступок, не на чем было примириться; между католиком и кальвинистом, между легитимистом и якобинцем, при всей их противоположности, были общие данные, общие истины, были идолы, которым поклонялись те и другие, святыни, чтимые ими обоими. Между судьями и сенсимонистами ничего не было общего. Они отвергали весь существующий порядок. «Да как же это, — говорили не только судьи, но и либералы, — разве наша цивилизация рядом с своими недостатками ничего не выработала прочного, дельного, кроме ворот, которыми из нее выходят? .. Что же станется со всем этим миром богатства, просвещения, искусств, промышленности, свободных учреждений?» И борьба ассизов сделалась общественной борьбой. Либерализм, ополчаясь против социализма, с самого начала громко возвестил миру, что он идет на защиту цивилизации, против новых варваров.

Чего же так испугалось государство — этих блудных сынов образования, осмелившихся слабыми руками покачнуть столпы векового здания? Того, что все столпы и своды, дворцы и академии были построены на корабельной палубе, отделенные досками от бездонной, дремлющей пропасти, от пропасти пролетариата и голода, изнуряющей работы и недостаточного вознаграждения за нее.

Борьба продолжалась бы, вероятно, долго. Но после пятнадцатилетнего застоя дела пошли

==481

быстро. Прогнали воалюясного Людовика-Филиппа, провозгласили невозможную республику и невозможный suffrage universel<sup>289</sup>. Груша была зрела для гниения. Спор перешел из книг и журналов на площадь. «Варвары» были побеждены, «цивилизация» была спасена<sup>290</sup>; Сенар от ее имени благодарил Кавеньяка. Свобода, равенство и братство были обеспечены!

Но вот что странно, — с этой победой что-то убыло, какой-то нерв был перерезан. Республика стала бессмысленна, народ равнодушен к ней, и от падения до падения Франция упала по горло в Наполеона

и успокоилась в нем. Что же случилось? Варвары были побеждены, цивилизация торжествовала, а между тем— то будто Франции было стыдно, то будто на совести что-то неловко. Социальные идеи скрылись, взошли внутрь, и рядом с тем, как на смех, нелепость республики обличилась до того, что одной темной ночью президент ее послал квартального взять ее за шиворот и выбросить вон. Он ее и выбросил, при хохоте работников, которые думали, что выбрасывают Шангарнье и квесторов.

С тех пор ум, пониманье отступили на столетие во всей Европе. Одичалые правительства беспрепятственно давили и гнали, заключали конкордаты, преследовали мысль; что-то кроважидное снова развилось в европейских нравах, начались ненужные войны . И в третий раз подогретые мнения либерализма, снова гонимые, стали подымать голову в репейниковом венце

==482

и делать дальние намеки о парламентской трибуне, о свободном книгопечатании<sup>293</sup>.

Зачем было выгонять Людовика-Филиппа? Он отлично уравнивал своим безменом свободу и рабство, революцию и консерватизм. Я не говорю, чтоб формы Июльской монархии были особенно хороши, но они были лучшие формы, до которых Франция доросла. Людовик-Филипп служил фонтанелью, оттягивающей в себя четверную ненависть легитимистов, бонапартистов, республиканцев и социалистов. Как только мартингал королевской власти был снят, партии вцепились друг другу в волосы.

Монархическая власть вообще выражает меру народного несовершеннoлетия, меру народной неспособности к самоуправлению; к какой же подаче всеобщих голосов была готова Франция? Она была готова к деспотизму, он и явился под фирмой Бонапарта.

Но как бы то ни было, одна из главных побед — победа над социализмом — была сделана, об нем перестали говорить.

«Не далее!»—сказал западный ум и остановился, так, как некогда он уже останавливался по приказу Лютера и Кальвина. Может, предел был практически необходим, но он необыкновенно кастрировал вольный полет мысли, сузил взгляд и лишил способности понимать все выходящее из пределов старого порядка вещей. Один страх попасть в социальные идеи сам по себе заставляет теперь осматриваться, сжиматься, оговариваться, и это тем труднее, что социальные идеи, как неминуемый силлогизм

==483

либеральных посылок, стоят на каждом логическом шагу вперед.

Середь этого застоя, вызванного противодействием естественному развитию, середь конфузии, происходящей от постоянно поднимающихся выше и выше волн неотразимой реакции, вдруг представляется русский вопрос об освобождении крестьян с землей, об общинном владении. Страна, которую знали за безобразнейшее самовластье, за кнут и взятки, за ее штыки, направленные против

всякого прогресса, за ее секущее дворянство и мужиков, продаваемых чуть не на вес, — эта страна является с каким-то вопросом, сильно пахнущим социализмом. — Что за вздор!

— Явное дело, что все это нелепость, — говорят западные западники \*.

— Явное! — отвечают им восточные. ... Что касается до старой цивилизации, которая возвела свой быт в науку, обобщила его в закон и все в свете разрешает по аналогии с собой, мы очень хорошо понимаем не только ее непонятливость, но и ее озлобление... два полюса всех ее ненавистей, два пугала, употребляемые то властью, то народами, чтоб страшать

Из европейцев старого толка Гакстгаузен понял русскую сельскую общину. Но сам Гакстгаузен находится в каком-то исключительном положении, в семейной ссоре с современностью. Иезуит и патриархальный Freiherr (барон), он из рыцарских видов ненавидит бюрократию и централизацию, зато из католических — монархист. Он пленился в славянской общине возможностью self-government [самоуправления], допускающего

николаевский деспотизм<sup>294</sup>.

==484

друг друга, — Россия и Социализм являются в одном вопросе. Не разделяя этой ограниченности, мы можем себе объяснить ее; но, возвращаясь, как французы говорят, а nos moutons<sup>295</sup>, мы совершенно перестаем понимать непонимание русских немцев.

У нас что засорило ум?.. Какое великое воспоминание отклонило его? .. Этот почтенный вековой мох, эта седая плесень на наших мыслях что-то подозрительна и сильно сбивается на жженую хлопчатую бумагу, которой для новичков обвертывают бутылку молодого вина... мы прикидываемся тем, чем европейцы стали на старости лет, и — страстные актеры — оканчиваем добросовестно, но карикатурно, сживаясь с маской.

На берегах Средиземного моря есть раковины, в которых живут крабцы; это вещь очень смешная: креветка маленькая, найдя пустую раковину, помещается в ней, комнатка, отделанная перламутром, ей нравится, она растет себе в ней, выпуская клещи и ноги, и растет до того, что вылезть не может, и тогда креветка таскает на себе всю раковину, едва передвигая ноги, — наши русские западники ужасно похожи на этих креветок в маскарадном платье; они даже, как раки вообще, пьются назад, думая идти вперед!

3

Быт европейский, последнее слово тысячелетней исторической жизни, — это ее результат, ее предел, до этого она выработалась. Россия, на-

==485



против, еще складывается и ищет своего устройства; у нас все, кроме сельского быта, носит характер внешней необходимости, временной меры, чего-то переходного — стропил, лесов, карантина.

Это различие возрастов и положений поражает русского, переезжающего западную границу. Мы видим на каждом шагу следы старой, глубоко вкоренившейся цивилизации — личность независимее, образование шире, потребности развитее, нам становится завидно и стыдно, вспоминая страну помещичьих и полицейских розог, наглого произвола и безответного молчания.

Многие из русских, и, между прочим, Чаадаев в своем знаменитом письме, сетуют на отсутствие у нас того элементарного гражданского катехизиса, той политической и юридической азбуки, которую мы находим с разными изменениями у всех западных народов. Это правда— и если смотреть только на настоящее, то вред от этих неустоявшихся понятий об отношениях, обязанностях и правах делает из России то печальное царство беззакония, которое ставит ее во многих отношениях ниже восточных государств.

В самом деле, идея права у нас вовсе не существует, или очень смутно; она смешивается с признанием силы или совершившегося факта. Закон не имеет для нас другого смысла, кроме запрета, сделанного властью имущим; мы не его уважаем, а кварталного боимся... Нет у нас тех завершенных понятий, тех гражданских

==486

истин, которыми, как шитом, западный мир защищался от феодальной власти, от королевской, а теперь защищается от социальных идей; или они до того у нас спутаны, искажены, обезображены, что самый яростный западный консерватор от них шарахнет назад. Что, в самом деле, может сказать в пользу неприкосновенности своей русский помещик-людосек, смешивающий в своем понятии собственности огород, бабу, сапоги, старосту?

Все это так. Но тут-то мы сейчас и разойдемся. Петровская метода избаловала нас своей необычайной легкостью. Нет гражданского катехизиса — взять немецкий, переложить на наши нравы, как перекладывают французские водевили, переплести в юфть, вот и будет катехизис. Так думают девять десятых из наших просветителей in spe<sup>297</sup>. Так поступали англичане с индейцами: находя у них какие-то неразвившиеся зачатки патриархально-общинного управления, они его заменили английским. Которое из двух законодательств — индейского и английского — выше, кажется, нельзя спрашивать. Посмотрите, что в приложении к индейским земледельцам сделало это повышение в юридическом чине. Оно кретинизировало народ, местами убило его, местами развило ту ненависть к Англии, которую мы видели год тому назад<sup>298</sup>.

Князь Козловский, встретив на пароходе маркиза Кюстина, заметил ему, что в нашем обществе большой пробел от недостатка рыцарских понятий, с которыми связано уважение к себе и

==487

признание личного достоинства в других<sup>299</sup>. Князь Козловский совершенно прав... Только подумайте, что было бы *au jour d'aujourd'hui* \*, если б у нас вместо выслужившихся писарей и вахмистров, вместо царской дворни и разных Собакевичей и Ноздревых была, например, аристократия вроде польской? Для дворян это было бы лучше, нет сомнения; они были бы свободнее, они шире бы двигались, они бы не позволяли ни царям обращаться с собою, как с лакеями, ни лакеям на службе обращаться с ними по-царски — против этого спорить нельзя. Но как бы пошел вопрос об освобождении крестьян с землею? .. А потому вряд не лучше ли, что наши тамбовские Роганы и калужские Ноальи не прошли рыцарским закалом, а оделись только в рыцарские доспехи... вроде диких на Маркизских островах, приходивших к Дюмон-Дюрвилю на корабль в европейских мундирах с эполетами, но без штанов 300.

То же самое придется сказать об отсутствии уважения к законности с обеих сторон — со стороны народа и со стороны правительства.

На первый взгляд совершенно ясно, что уважение к закону и его формам ограничило бы произвол, остановило бы всеобщий грабёж, утерло бы много слез и тысячи вздохнули бы свободнее... но представьте себе то великое и то тупое уважение, которое англичане имеют к своей законности, обращенное на наш свод. Представьте, что чиновники не берут больше

на сегодняшний день (франц.)

==488

взяток и исполняют буквально законы, представьте, что народ верит, что это в самом деле законы, — из России надо было бы бежать без оглядки.

Стало быть, серьезный вопрос не в том, которое состояние лучше и выше — европейское, сложившееся, уравновешенное, правильное, или наше, хаотическое, где только одни рамы кое-как сколочены, а содержание вяло бродит или дремлет в каком-то допотопном растворе, в котором едва сделано различие света и тьмы, добра и зла. Тут не может быть двух решений.

Остановиться на этом хаосе мы не можем — это тоже ясно; но для того чтобы сознательно выйти из него, нам предстоит другой вопрос для разрешения: есть ли путь европейского развития единый возможный, необходимый, так что каждому народу, где бы он ни жил, какие бы antecedенты ни имел, должно пройти им, как младенцу прорезыванием зубов, срастанием черепных костей и пр.? Или оно само—частный случай развития, имеющий в себе общечеловеческую канву, которая сложилась и образовалась под влияниями частными, индивидуальными, вследствие известных событий, при известных элементах, при известных помехах и отклонениях. И в таком случае не странно ли нам повторять теперь всю длинную метаморфозу западной истории, зная вперед *le secret de la comedie* \*, т. е. что со всем этим развитием, рано или поздно, нас также причалит к той

в чем суть дела (франц.)

==489

меже, перед которой вся Европа свернула паруса, и, испугавшись, гребет назад...

Я могу понять русских помещиков тридцатых годов, возвращающихся из чужих краев корча буржуа и фабрикантов, с умилением смотревших на французский либерализм; я еще больше понимаю поклонение к Германии русских ученых, которые из Берлина привозили нам в сороковых годах живое слово науки и тайком передавали его нам. Это было время Людовика-Филиппа, конституционной свободы, свободы мысли и преподавания. Это было при Николае, Запад становился нам дорог как запрещенный плод, как средство оппозиции... То ли время теперь?

Мы столетием отделены от него.

И мы, и Европа совсем не те, и мы, и Европа стоим у какого-то предела, и мы, и она коснулись черты, которой оканчивается том истории.

Тогда западные люди не знали еще своей границы, они свой быт высокомерно принимали за идеал всех народов, они соглашались, что в нем надобно кое-что почистить, но в фонде никто не сомневался. Гегель видел в монархии на манер прусской, с ее потсдамской религией, абсолютную политическую и религиозную форму государства. А если с ним не были согласны Барбес и Гodefруа Кавеньяк, то это потому, что они наверное знали, что абсолютная форма государственная — это Французская республика на манер 1793 года, *avec un pouvoir fort\**.

с сильным правительством (франц.)

==490

Тогда, униженные, забытые Николаем, и мы верили в западный быт, и мы тянулись к нему.

Теперь — Запад пошатнулся; мы вышли из оцепенения; мы рвемся куда-то, он стремится удержаться на месте. Черта, до которой мы дошли, значит, что мы кончили ученическое подражание, что нам следует выходить из петровской школы, становиться на свои ноги и не твердить больше чужих задов. В идее, в меньшинстве мыслящих людей, в литературе, на Исаакиевской площади, в казематах мы прожили западную историю — и будто теперь нам надобно ее повторять оптом?

Европа перешла от скверных проселков к хорошим шоссе, а от них к железным дорогам. У нас и теперь прескверные пути сообщения — что же нам сперва делать шоссе, а потом железные дороги? Эта педагогика напоминает мне Гейне; он находит очень хорошим, что в немецких школах преподают римскую историю так, как ее преподавали до Нибура. Иначе, замечает он, трудно было бы молодому поколению оценить всю заслугу великого историка, доказавшего, что все то, что их заставляли учить, сущий вздор.

4

Наши отношения к Западу до сих пор' были очень похожи на отношения деревенского мальчика к городской ярмарке. Глаза мальчика разбегаются, он всем удивлен, всему завидует, всего хочет — от сбитня и пряничной лошадки С золотым пятном на гриве до отвратительного

## ==491

немецкого картуза и подлой гармонике, заменившей балалайку. И что за веселье, что за толпа, что за пестрота! Качели вертятся, разносчики кричат, паяцы кричат, а выставок-то винных, кабаков... и мальчик почти с ненавистью вспоминает бедные избышки своей деревни, тишину ее лугов и скуку темного, шумящего бора.

Вслушиваясь в толки наших «ученых друзей» 302, мне часто приходило в голову это сравнение. Один тоскует, отчего у нас не развилась такая муниципальная жизнь, как в Европе, отчего у нас нет средневековых городов, с узкими улицами, по которым ездить нельзя, с уродливыми домами, в которых жить скверно, с переулками, копотью и памятниками XIII, XIV столетия. .. Другой не может утешиться, что у нас нет среднего сословия в западном смысле — той настойчивой, трудолюбивой буржуазии, которая так упорно боролась с рыцарями и королями, так ловко защищала свои права и пр.

Мы не имеем ничего в защиту наших уездных сел, называемых городами, и сами жалеем, что Николай Павлович, который все мог, не велел в них построить древних памятников и узких улиц. Мы также ничего не имеем в защиту наших мещан, отданных в крепость квартальным, и наших купцов, пожалованных губернаторам. Тем не меньше остановимся на этом примере. Неужели «ученые друзья» наши, восхищаясь средневековыми зданиями, не замечают, что односторонне развитая муниципальная жизнь Европы сделала страшный разрыв

## ==492

между сельскими и городскими жителями и что этот антагонизм двух населений составляет теперь, вместе с постоянным войском и настойчивой, трудолюбивой буржуазией, твердейший оплот реакции? Между селом и городом—века; иные понятия, другая религия, другие нравы, часто другой язык. Сельское народонаселение Запада нам кажется его резервом, народом будущей Европы, по ту сторону городской цивилизации и городской черни, по ту сторону правительствующей буржуазии и по ту сторону утягивающих все силы страны столиц.

Бедные массы городов, безотраднейшие жертвы разрабатывания, лучшей жизни для других, вряд ли имеют будущность; они изнурены, они нервны, в их жилах больная кровь, унаследованная от поколений, выросших и умерших в нужде, духоте, сырости; у них развивается иногда звериная хитрость, но не ум; мир их узок, не идет далее прибыли нескольких копеек; они идут в лаццарони. Люди полей сменяют их. В этом отсталом, но крепком мышцами кряже осталась бездна родоначальных сил; оно в своей бедности и ограниченности не так истощало, не так обносилось, не так покрылось пылью, как городской пролетариат и мелкое мещанство; оно работало на чистом воздухе, на солнце и дожде. Гордая цивилизация пронеслась мимо деревень, не раскрывая тюков своих; но минуя сельского жителя, она спасла его от пошлого полуобразования и оставила при своей самобытной и простой поэзии в жизни и одежде, в речи и пляске, в то время как бедный горо-

## ==493

жанин утратил все, вытягиваясь для карикатурного подражания аристократам.

Житель полей был всем обойден — не для него строились театры и академии, не для него писались книги, на языке почти незнакомом ему, не для него издавались журналы, — ему была оставлена детская поэзия церкви, и вместо училища, кафедры, литературы он был покинутым на попа-невежду, страшавшего своим библейским колдовством. И действительно, сельское население словно замерло на тяжелой работе, около убогих очагов своих. Оно не брало страстного участия в политических партиях, раздиравших города; оно платило подать, давало солдат и вовсе не понимало вопросов, которые некогда казались так просты и в которых теперь все перестают что-нибудь понимать.

Той необходимости, которая вызвала города и обусловила их необходимость, больше нет; ту пользу, которую они могли принести, они принесли. Где теперь та трудность сообщений, которая заставляла людей не разъезжаться, найдя выгодное место? Где опасность феодальных набегов, против которых люди лепились как можно теснее, окружали свои дома оградами, строили заставы и крепости? Обстоятельства изменились, последний враг — пространство — побеждено. Города продолжают расти на том основании, на котором все живое растет; но все живое имеет свой предел, за которым смерть или страдание.

Мы живем в городе городов—s Лондоне. Неужели вы думаете, что такая нелепость имеет какую-нибудь будущность?

==494

Одна волна населения за другой прибывалась к этим докам вселенной и оседала, как саранча на падающие крупички... и вот скипелась трехмиллионная толпа, заражающая воздух, заражающая воду, теснящаяся, мешающая друг другу и сросшаяся в какие-то плотные колтуны своими самыми большими частями... Взгляните на темные, сырые переулочки, на население, вросшее на сажень в землю, отнимающее друг у друга свет и землю, кусок хлеба и грязное логовище, посмотрите на эту реку, текущую гноем и заразой, на эту шапку дыма и вони, покрывающую не только город, но и его окрестности. .. и вы думаете, что это останется, что это необходимые условия цивилизации?

Сначала эта бесконечность улиц, эта огромность движения, эти пять тысяч омнибусов, снующих взад и вперед, эта давка, этот оглушающий шум поражает нас удивлением, и мы, краснея, признаемся, что в Москве с небольшим триста тысяч жителей... но нельзя же остановиться на точке зрения нашего мальчика на ярмарке. Простой человеческий инстинкт шепчет вам: «Тут быть беде!»

Богатый Лондон, как будто чуя это, расплзается, выходит сам из себя по всем подгородным окрестностям, и заметьте, он не продолжает пристраиваться, как делал двадцать лет тому назад, а кладет между собой и этим гнилым морем две нитки железной дороги.

Ну а бедный Лондон что сделает? Что сделает это выгорелое топливо цивилизации, этот слой мокриц, кишачих в Бетналь-Грине и

==495

в Вейт-Чапеле, в ирландских кварталах и в Ламбете? Энергию искать другой судьбы они давно потеряли, силы пробовать новое счастье утрачены, они пошли назад, запуганные не людьми, а гнетущим роком, безжалостным и нелюбезным; они не верят в себя, не верят в лучшую судьбу, у

них явилось если не христианское смирение, то смирение и покорность отчаяния, иногда только нарушаемое таким диким взрывом страстей, таким страшным преступлением, что волос дыбом становится... куда же они денутся? .. разве Темза поможет смести их холерой и тифусом...

Я останавливаюсь на этом; моя цель не исследовать, что будет с Лондоном, мне хотелось только насторожить наших правоверных западников и заставить их остановиться перед вопросом.

— Стало быть, в России все очень хорошо и

лучше, чем в Европе?

— Нет, не стало.

Неужели вы в самом деле не видите, в чем дело. Исторические формы западной жизни в одно и то же время, будучи несравненно выше политического устройства России, не соответствуют больше современной нужде, современному пониманию. Это понимание развилось на Западе; но с той минуты как оно было создано и высказано, оно сделалось общечеловеческим достоянием всех понимающих. Запад носит в себе зародыш, но желает продолжать свою прежнюю жизнь и делает все, чтоб произвести аборт. Кто из них останется жив — мать ли,

==496

ребенок ли, или как они примирятся — этого мы не знаем. Но что мать представляет больше воспоминаний, а зародыш больше надежд — в этом нет сомнения.

В виду этой борьбы возникает страна, имеющая только маску, и то прескверную, западной гражданской жизни, только ее фасад и народный быт, неразвитый, полудикий, но несколько не похожий на народный быт европейских народов. Он в своей маске так же мало может идти, как Европа в своей коже. Что же ему делать? Следует ли ему пройти всеми фазами западной жизни для того, чтобы дойти в поте лица, с подгибающимися коленами через реки крови до того же выхода, до той же идеи будущего устройства и невозможности современных форм, до которых дошла Европа? И притом зная вперед, что все это не в самом деле, а только для какого-то искусства? Да разве вы не видите, что это безумно? Довольно, что мы постоянно играем в маневры и представляем мирную войну, зачем же еще представлять прошлую историю цивилизации?

А потому существенный вопрос в том — как относится наш народный быт не к обмирающим формам Европы, а к тому новому идеалу ее будущности, перед которым она побледнела, как перед головой Медузы!

В истории бывают чудеса мудренее всех сказочных чудес, в ней иногда спят крепче двенадцати спящих дев 303, в ней точно так же есть

==497

живая и мертвая вода, вода чрезвычайной памяти и удивительного забвения.

Не чудо ли, в самом деле, что в продолжение полутора веков мы не имели никакого понятия о русском народе. Все время пока нас вытягивали в колоссальную империю, пока нам прививали цивилизацию и мы с успехом учились тому и другому, у нас не было никакого сознания о нашем народе; были люди, знавшие русскую историю, но современного народа не знал ни один человек.

Возле, около, со всех сторон, на необозримом пространстве жило население, считаемое десятками миллионов, единоплеменное с нами, говорящее с нами одним языком, находившееся в непрерывном и самом тесном сношении с нами, уже по тому самому, что оно нам было отдано на кормление,— и мы об нем не больше знали, как в Англии знают об индейцах, т. е. что их легко обирать.

Употребляя его в пищу, тучнея от него, мы так же мало думали о нем, как о гречневой каше или буженине, — питательно и хорошо. Народ с своей стороны не напоминал о себе, а только кланялся в пояс при всяком заеденном поколении помещиками и чиновниками, приговаривая: «Дай бог на здоровье, мы на то ваши дети, вы на то наши отцы, чтоб нас кушать».

Ну в какой же сказке, в каком «Бове королевиче», в каком «Еруслане Лазаревиче» вы найдете что-нибудь удивительнее?

Между тем западное образование прививалось недаром, мы в нем дочитались до того, что

==498

ни антропофагия, ни раболепие не составляют высоких качеств человека, что человек, который сечет и насильничает, очень легко получает сам пинки; и мало-помалу началось у нас складываться либеральное мнение, сначала в небольшом круге образованных.

Как только у нас явилась мысль об обуздании правительственного произвола, рядом с нею явилась, как дополнение, мысль об освобождении народа. Но долгий разрыв высказался тут всего яснее тем, что развитое меньшинство, имея благородные, общечеловеческие стремления, не знало быта народного и, следовательно, его истинных потребностей.

Надо правду сказать, что либерализм нигде не отличался глубоким знанием народа, особенно сельского. Либерализм вообще явление переходное, развившееся в городской цивилизации, необходимая расчистка места между старой и новой постройкой. Он всегда довольствовался отвлеченным понятием о народе, риторическим образом его, в котором были совмещены простота Геснеровых патриархов, нравы дезульеровских пастушек<sup>304</sup> и свирепые добродетели римского плебея допунических времен.

У нас расстояние между народом и либеральным дворянством казалось тем страшнее, что между ними ничего не было, какая-то бесконечная пустота, в которой едва заметно плетутся купцы, плетутся мещане, фельдъегери скачут взад и вперед, помещики мелькают, чиновники мчатся на следствия— нисколько не сближая двух России, остающихся двумя враждебными станами,

И при всем том разрыв этот вовсе не был следствием всей исторической жизни, как распадение горожан с крестьянами, простолюдинов с феодалами в Европе. Разрыв был сделан у нас по указу, насильственно, с педагогической целью и был до того сначала чужд, ненатурален, что в предупреждение нового сближения правительство выдумало ставить тавро на лица, своего рода обрезание, и стало метить своих бритвой и ножницами, чтоб они не мешались с прочими. Однажды разрезанные части целого, намеренно поставленные в враждебное положение, по свойственной телам упругости, удалились друг от друга с каким-то отвращением. «Мужик!»—говорила с высокомерием обритая и одетая в ливрею Русь об народе. «Немцы!»— бормотал себе в бороду с затаенной злобой народ, глядя на дворян.

Так и устроились мы. С одной стороны народ в угрюмом *a parte* \*, задавленный работой, полицией/ помещиками, живущий никому не известной жизнью расколов и не имеющий ничего общего с просвещающим правительством; с другой стороны дворянство, нераздельное с правительством и потому само представляющее правительство. Русское поверие, что дворянин должен служить — иначе он теряет свое звание, самое слово «недоросль» доказывает, что у нас дворянство принято народом за коренную службу.

С развитием просвещения возникает удив-

отдалении (итал.)

тельное зрелище. Правительственная Россия делится сама в себе на правительство и оппозицию, так что одни чиновники представляют протест, либеральное начало, другие консерватизм, начало авторитета — и оба остаются на службе, получая чины и отличия. Это одна из причин, отчего не только русский народ ничего не понимает во всем этом, но и все европейские.

«У нас все делается наизнанку, — сказал умирающий Ростопчин, услышав весть о 14 декабря.—В 1789 году французская *gouture*\* хотела стать вровень с дворянством и боролась из-за этого, это я понимаю. А у нас дворяне вышли на площадь, чтоб потерять свои привилегии,—тут смысла нет!»305

Федор Васильевич был умный человек, умевший не хуже фан Амбурга обходиться с Павлом не обжигаясь и сжечь вовремя Москву, но и он с своей философией XVIII столетия не понял этого странного явления. Может, в раздвоении дворянского стана в противность собственной выгоды лежит лучшее доказательство, что порча его не глубока, и единственный путь искупления.

Не имея за собой балласта народного населения, разорвавшееся с ним образованное меньшинство понеслось, как порожня телега, быстро догоняя западное движение, подпрыгивая на тех кочках, на которых предшественники ломали себе шею.

чернь (франц.)



## ==501

Но сравниваясь с Европой, мы оставались в петровском отношении к народу, т. е. смотрели на него как на грубую массу, которую надобно очеловечить. Немецкого презрения Бирона с компанией у меньшинства, разумеется, не было, оно заменилось чувством более мягким сострадательного покровительства к неразумным детям.

На этом нас застают два события: падение Европы перед социальным вопросом, социальный вопрос, поставленный Александром II как призыв России к жизни.

Западные публицисты с тем несокрушимым упрямством, которое им дает ненависть к России и невежество, смеются, когда мы говорим о великом историческом значении нашего освобождения крестьян с землею. А нам кажется вопрос этот до того важным, что одно постановление его ставит нас совсем на другую ногу с Европой и дает Александру II место в числе величайших государственных деятелей нашего времени, какие бы, впрочем, он промахи и шалости ни делал.

Перед социальным вопросом начинается наше равенство с Европой, или, лучше, это действительная точка пересечения двух путей; встретившись, каждый пойдет своей дорогой.

Западный мир, дойдя до своего предела, сам указал, что ему мешает, и отрицательно определил свое искомое. Случайное распределение сил, богатств, орудий работы, оставленное ему в наследство, окаменело давностью и, укрепленное всеми новыми средствами, ставит стену, ко-

## ==502

торую до сих пор нельзя взять никаким приступом. Труд с одной стороны, капитал с другой, работа с одной стороны, машина с другой, голод с одной стороны, штыки с другой. Сколько социализм ни ходит около своего вопроса, у него нет другого разрешения, кроме лома и ружья. «Vivre en travaillant ou mourir en combattant!»— кричат работники<sup>306</sup>. «Qui a du plomb a du pain!»—отвечает им Бланки<sup>307</sup>.

Мирное решение у них было одно, но зато оно не было решение. Социальное меньшинство требовало у Законодательного собрания признания права на работу. Под ним крылось министерство работ, т. е. разрешение правительством борьбы между капиталом и работой, доходом и трудом, заведование государством всеми производительными силами, иначе — промышленный деспотизм, прибавленный ко всем остальным.

Сверх всего, такое решение могло только водвориться на полном устранении старого порядка вещей, на полном отречении его от всех прав своих. Но он вовсе не похож на качающийся зуб, который стоит тронуть, чтоб он выпал, а скорее на слоновый клык, почернелый, испорченный, но глубоко вросший в челюсть.

Единственная органическая попытка и была сделана рабочими артелями и товариществами. При том общественном устройстве, в котором капитал, сверх своей силы, гнетет всею силой правительства,

они не могли выдержать ни конкуренции, ни полицейского преследования — стало, и тут не было выхода.

### ==503

Либералы старого толка, политические экономеры старого исповедания решили, не без внутреннего удовольствия, что задача невозможная, что надобно все предоставить снова знаменитому *laissez faire*<sup>310</sup> и, улучшая вообще существующие формы, ждать благодетельных последствий от увеличения школ и уменьшения браков, от свободы торговли и технических усовершенствований. Пока они этого ждут, девять десятых континента сломались под грубым солдатским деспотизмом, народы разорены содержанием армии, тень политических прав исчезла, и последний остаток их Франция употребила на то, чтобы противодействовать Наполеону в его замыслах свободной торговли<sup>311</sup>.

Зато в Американских Штатах осуществилось все, о чем либералы мечтали, да, сверх того, такое развитие невольнического труда, его признания, его оправдания, о котором они и не мечтали. С двадцатых годов, когда американцы, еще краснея, говорили об этом наследственном зле, когда они проводили на своей карте резкую черту, чтоб отделить себя от рабовладельцев, до нашего времени понятия так изменились в пользу рабства, что оно теперь возводится в одно из краеугольных оснований союза, в одно из неотъемлемых прав республики — и сын американца Северных Штатов, которого отец убил бы всякого осмелившегося охотиться на его земле по черным, спокойно вяжет их теперь и отдает хозяевам на казнь. Рабство, только терпимое прежде, сделалось органическим законом, на котором покоится американская демо-

### ==504

кратия. В то время, как мы это пишем, может быть, палач вешает Джона Брауна<sup>312</sup>.

Итак, вот к чему пришел весь образованный мир! ..

Представьте же себе то удивление, которым было поражено наше образованное меньшинство, когда оно, обращая с отчаянием взгляд свой среди этого кораблекрушения, в эту темную ночь и не находя нигде ни совета, ни помощи, ни указания, ни маяка, увидело какой-то тусклый свет, и этот свет мерцал от лучины, зажженной в избе русского мужика!

... Этот дикий, этот пьяный в бараньем тулупе, в лаптях, ограбленный, безграмотный, этот пария, которого лучшие из нас хотели из милосердия оболванить, а худшие продавали на своз и покупали по счету голов, этот немой, который в сто лет не вымолвил ни слова и теперь молчит, — будто он может что-нибудь внести в тот великий спор, в тот нерешенный вопрос, перед которым остановилась Европа, политическая экономия, экстраординарные и ординарные профессора, камералисты и государственные люди?

В самом деле, что может он внести, кроме продымленного запаха черной избы и дегтя?

Вот подите тут и ищите справедливости в истории, мужик наш вносит не только запах дегтя, но еще какое-то допотопное понятие о праве каждого работника на даровую землю. Как вам нравится это? Положим, что еще можно допустить право на работу, но право на землю? ..

### ==505

А между тем оно у нас гораздо больше, чем право, оно факт; оно больше чем признано, оно существует. Крестьянин на нем стоит, он его мерит десятинами, и для него его право на землю — естественное последствие рождения и работы. Оно так же несомненно в народном сознании, так же логически вытекает из его понятия родины и необходимости существования возле отца, как право на воздух, приобретаемое дыханием вслед за отделением от матери.

Право каждого на пожизненное обладание землею до того вросло в понятия народа русского, что, переживая личную свободу крестьянина, закабаленного в крепость, оно выразилось по видимому бессмысленной поговоркой: Мы господские, а земля наша.

Само собою разумеется, что Русь дворянская, согласно с западным понятием права собственности, смотрела совсем иначе на вопрос о крестьянах и земле. Наиболее образованные, допуская, что рано или поздно крестьяне, когда они окончат их воспитание (барщиной и оброком), выйдут на волю, были уверены, что земля останется неприкосновенной собственностью воспитателей. Но Александр Николаевич не того мнения, он не любит слишком дорого платить за воспитание, он и Зиновьева отблагодарил табатеркой во время совершеннолетия наследника<sup>313</sup>—а тут дай пол-России!

Счастье, что мужик остался при своей нелепой поговорке. Она перешла в правительственную программу или, лучше сказать, в программу одного человека в правительстве, искренно же-

### ==506

лающего освобождения крестьян, т. е. государя. Это обстоятельство дало, так сказать, законную скрепу, государственную санкцию народному понятию.

И это не все. Сверх признания права каждого на землю, в народном быте нашем есть другое начало, необходимо пополняющее первое, без которого оно никогда не имело бы своего полного развития. Это начало состоит в том, что земля, на пользование которой каждый имеет право, с тем вместе не принадлежит никому лично и потомственно.

Далее право на землю и общинное владение ею предполагают сильное мирское устройство как родоначальную базу всего государственного здания, долженствующего развиваться на этих началах. Мирское управление уцелело под гнетом иностранного ^правительства и помещичьей власти, так, как в Море уцелели коммунальные и городские права под владычеством османлисов<sup>314</sup>. Этот характер мирского управления русских деревень поразил Гакстгаузена, потом разных американских путешественников и в том числе известного экономиста Кэри<sup>315</sup>, который мне сам говорил, возвратясь из России в нынешнем году, что в мирском начале наших коммун лежит великая основа самоуправления.

Итак, элементы, вносимые русским крестьянским миром, — элементы стародавние, но теперь приходящие к сознанию и встречающиеся с западным стремлением экономического переворота, — состоят из трех начал, из.

1) права каждого на землю,

==507

2) общинного владения ею, 3) мирского управления.

На этих началах, и только на них, может развиваться будущая Русь.

Не допетровская Русь должна быть воскрешенной, оставим ее в ее иконописном склепе. Не петербургский период должен продолжаться в своем немецком мундире; он не может идти далее, не изменив себе; его граница обозначена тем же забором, перед которым остановилась Европа. Он нам дал широкое поле, сильное государство, он привил нам внешнюю форму западного образования, как прививают оспу, а с формою перешла сама собою и внутренняя мысль его, и стремление к личной свободе, не выработавшееся ни в общинной жизни нашего народа, ни в служилом дворянстве нашем. Задача новой эпохи, в которую мы входим, состоит в том, чтоб на основаниях науки сознательно развить элемент нашего общинного самоуправления до полной свободы лица, минуя те промежуточные формы, которыми по необходимости шло, плукая по неизвестным путям, развитие Запада. Новая жизнь наша должна так заткать в одну ткань эти два наследства, чтоб у свободной личности земля осталась под ногами и чтобы общинник был совершенно свободное лицо.

Лучшего времени для внутреннего переворота нельзя найти. В начале нашего века мы были слишком под влиянием западно-либеральных

==508

идей, буржуазного гарантизма; ни мы, ни правительство не знали народа. Наверное, тогда были бы сделаны страшные ошибки, которых не поправили бы века, в то время как теперь, настороженные опытом соседей, мы должны иначе смотреть на свое и на чужое; сам Запад повернул угасающий фонарь свой на наш народный быт и бросил луч на клад, лежавший под ногами нашими. Недоставало счастливой случайности. Пришла и она.

С небольшим пять лет тому назад Россия лежала безмолвно у ног тупого деспотизма и Яков Ростовцев спрашивал в Петропавловской крепости у Петрашевского и его друзей, не было ли у них преступных разговоров об освобождении крестьян<sup>316</sup>. Теперь царь стал во главе освобождения и Иаков Ростовцев председателем в комитете освобождения.

Не воспользоваться этим временем, чтоб тихо, бескровно взойти в новый возраст, или сбиться с дороги, когда она так ясна, было бы великое несчастье и великое преступление. Но что же мешает?

Сверх невежества, окружающего государя, и чиновничества, основанного на плутовстве, один враг всего опаснее.

— Кто? Войско?

— Нет. Войско бессмысленно, как нож: в чьи руки он попадает, тот им и режет; войско имеет один постоянный характер — оно всегда делает вред и никогда не рассуждает. Наше войско, я думаю, скорее ближе к народу, чем другие.

— Итак, барство?

## ==509

— У нас барство не имеет ни нравственных, ни физических сил. Оно по своему положению слишком зависимо от трона, оно все служилое и выслужившееся, богатства его жалованные. У нас нет торизма, который бы сам в себе представлял и охраняющую партию, и реформу, упрямого лорда Дерби и родного сына его лорда Стенли. Большая часть наших аристократов люди совершенно неделовые и неполитические; они вносят в общество свое чванство, свои деньги, но никакой идеи. Те же из них, которые развились, те оставили за собой многих западных аристократов, но они не принадлежат больше ни к своей касте и ни к какой другой, они стали просто людьми. Сверх того, где почва гражданской деятельности нашего барства— в Английском клубе, в московских гостиных? .. даже домовая церковь князя Сергея Михайловича Голицына закрылась. Наши аристократы не умели никогда воспользоваться ни дворянскими собраниями, ни дворянскими выборами. Последнее политическое право, которым они пользовались *con amore\**,—право сечь себе подобных, и с ним они, бедные, расстаются теперь!

— Но тогда кто же мешает ринуться России вперед?

— Прислушайтесь.

... Entendez-vous dans les campagnes. Mugir ces feroces Allemands, Us viennent.. \*\*

— с любовью (итал.)

\* ... Вам слышны ли среди полей немцев свирепых крики, они сулят... (франц.)

## ==510

Вот кого мы боимся, опять-таки русских немцев и немецких русских; ученых друзей наших — западных доктринеров, донашивающих старое платье с плеч политической экономии, правоведения и пр., централизаторов по-французски и бюрократов по-прусски. Они дельнее барства, они честнее чиновничества, оттого-то мы и боимся их; они собьют с толку императора, который стоит беспомощно, и шаткое, едва складывающееся общественное мнение. Они могут их сбить, потому что их воззрение выше общего уровня нашего образования и очень доступно среднему пониманию. Их мнения либеральны, они в пользу разумной свободы и умеренного прогресса, они говорят против взяток,

против произвола, они хотят улучшить скверное само по себе и, пожалуй, заставят нас уважать приказных, полицию, земский суд, сделавши квартального Косьмой Бессребреником и обер-секретаря неподкупным Робеспьером. Они примирят нас со всем тем, что мы презираем и ненавидим, и, улучшивши, упрочат все, что следовало выбросить за окно, что, оставленное в своей гнусности, само собою выгнило бы, окруженное здоровыми силами народа русского.

К тому же, завися, как католическое духовенство, от чужой власти, они должны по стопам своих учителей питать зуб против всего социального, а тут, как нарочно, на самом пороге «право на землю, общинное владение». Вот почему мы думаем, что, если они одолеют, они помешают взойти тем всходам чисто на-

## ==511

родного устройства, которому стоит не мешать, чтоб урожай был хорош; а улучшения, которые они принесут нам, хотя и будут улучшения, но с ними разве можем надеяться века через полтора дойти до того состояния, из которого Пруссия стремится теперь выйти...

Знаем мы, что попы и монахи никогда не бывают свирепее, как накануне падения церкви. Иезуиты, эти зуавы св. Петра и все жарившие, вытягивавшие у гугенотов жилы инквизиторы, явились после Лютера и Кальвина. Но тем не меньше они упрочили и утвердили еще на целые века католический порядок. Трудно своротить русский народ с его родной дороги, он упрется, ляжет на ней, вращет в землю и притаится спящим, мертвым. Петровская эпоха—лучшее доказательство; но та же эпоха доказывает, как надолго можно приостановить его жизнь и какие страдания можно заставить его вынести одним материальным гнетом, зачем же подвергать его им а *propos delibere* \*.

Петр I, Конвент 1793 не несут на себе той ответственности за все ужасы, сделанные ими, которую хотят на них опрокинуть их враги. Они оба были увлечены, хотели великого, хотели добра, ломали что им мешало и, сверх того, верили, что это единственный путь. Но не такая ответственность падет на наше поколение, искушенное мыслию, когда оно примется ломать, исказить народный быт, зная вперед, что за всяким насилием такого рода следует оже-

предумышленно (франц.)

## ==512

Русские немцы и немецкие русские

сточенное противодействие, страшные взрывы, страшные усмирения, казни, разорение, кровь, голод.

Мы не западные люди, мы не верим, что народы не могут идти вперед иначе, как по колена в крови; мы преклоняемся с благоговением перед мучениками, но от всего сердца желаем, чтоб их не было.

Если б только наши доктринеры могли просто взглянуть на вопрос, отрешаясь от магистерского диплома, без самолюбия, без той самонадеянной гордости, которая дает сознание, что они хорошо учились 317; если б они, как Фауст, который тоже хорошо учился, и много, и назывался не только

«магистром, но даже доктором», умели останавливаться в добросовестном раздумье и от книги снова бы обращались к непосредственной<sup>1</sup>, жизни, они сейчас поняли бы, в чем дело.

Отчего у естествоиспытателя нет ничего заветного перед природой, к ней он постоянно обращается с сыновним повиновением, без лукавства, в ней он ищет проверки, ей он жертвует вековой теорией своих предшественников и собственной системой, как только она требует этого. Неужели смиренное самоотвержение натуралиста основано единственно на том, что у него под руками то камень, то трава, то зверь и потому с ними не может быть личностей? Природа в своей фактической бессознательности и безответственности так явно независима от человека, что он с ней не пикируется, в то время как мир людской ему кажется собственным

### ==513

домом и его самостоятельную волю он принимает за оппозицию и выходит из себя, особенно когда за него наука веков, ученая традиция.

Это помещичье чувство строптивости особенно развилось у нас в петербургский период, в эту классическую эпоху насильственных образователей и беспощадных цивилизаторов. И тут странная смесь жалкого и возмутительного. Цивилизаторы очень часто откровенно и благородно стремились к добру, лелеяли мысль, например, об освобождении крепостных крестьян, готовы были жертвовать частью достояния, говорили об этом в то время, когда это было опасно, изучали западное сельское устройство... и вдруг, когда освобождение очью совершается, у крестьян открывается готовый быт, который они вовсе не хотят менять, им кажется это неблагоприятной дерзостью, и натура русского немца берет верх... та натура, в которой так и веет сквозь австрийского писаря и русского капрала — татарским баскаком, которая, щуря безжизненные глаза и бледнея от бешенства, говорит без звука: «Да вы, кажется, рассуждаете, знаете ли вы, с кем вы говорите?» Или кричит раздавленным голосом, как псковский городничий путешественнику, «Молчать!»—только за то, что он в крестьянском армяке 318. Ведь и русский-то немец-цивилизатор за то и сердится на наш крестьянский быт, что он, в своем мужицком кафтане, не слушается его, одетого по-немецки.

Псковский частный пристав обижен тем, что человек, одетый по-русски, т. е. состоящий вне 33 А.

### ==514

закона, не подавлен его величием, властью, которую он представляет, воротником, который он носит. Доктринер скандализован тем, что его экономическая наука, наука Робертов Пилей и Гускисонов не находит беспрекословного повиновения, что ее, разработанную столетними усилиями, хотят обратить вспять к общинному владению, к коммунизму в лаптях<sup>319</sup>. «Помилуйте, — говорит он, — что вы суетесь с вашим общинным устройством, как с последней новостью, оно было у германов времен Тацита, общинное владение соответствует младенческому возрасту гражданских обществ и «рассеивается от лица просвещения, как тучи рассеиваются от лица солнца», уступая высшим гражданским формам. Народы дикие любят общинное владение, народы образованные порядок» — и голод, добавим мы, видя, как девять десятых населения не наедаются досыта, для того чтоб собственность развивалась правильно.

«Что же делать, таков закон общественного роста, народы должны пройти его фазами, каждая имеет свое неудобство, но зато и свой прогресс. Сначала дикие люди владеют сообща, посемейно, родами, потом развивается сильнее и сильнее право личной и наследственной собственности. .. Конечно было бы хорошо, если б каждому можно было дать клочок земли, но так как на право собственности не все приглашены природой, то...»

Вот тут-то в самом деле нам становятся пути провидения неисповедимы; для того, чтоб несколько государств имели правильно развитую

## ==515

собственность, огромное большинство должно остаться без кола и двора! Библейским языком эдакий закон прогресса по крайней мере называется проклятием в род и род. Тогда уже знаешь a quoi s'en tenir \* и не обижаешься, а чувствуешь, что это справедливая месть божия за какого-нибудь Эноха или Иафета, что-нибудь напакотившего шесть тысяч лет тому назад... А тут признай я разумом, своим собственным разумом, что есть такой нелепый закон!

Откуда экономическая наука вывела этот закон? Он порядком знает только одно экономическое развитие германо-романских народов. Нельзя же по биографии одного человека составлять антропологию, хотя в ней непременно есть общечеловеческие стороны, но рядом и в связи с совершенно частными."

К тому же разве гражданственность, разве собственность в самом деле в Европе развивалась нормально или по крайней мере беспрепятственно? Разве общинное владение и весь прежний порядок уступили внутреннему развитию, а не огню и мечу завоевателей? Или, может, феодальная система была крутой экономической мерой, эдаким цезаревым сечением, хирургически облегчившим нарождение правильной собственности? . .

Но ведь и цезарево сечение не делается из подражания над здоровой женщиной, а только по необходимости. Зачем же народ, который ни-

как к этому отнестись (франц.)

## ==516

когда не был побежден, у которого не враги отняли землю, а свои как-то отписали ее, должен непременно пройти теми же фазами? Если же подражать, то давайте строить крепости в городах, на которые никто, кроме полиции, не нападает, будемте на ночь улицы запираить цепями и рогатками, пусть градской голова не спит, а ходит рундом, гласному бердыш в руки — это будет по крайней мере забавнее; а коли кто спросит, что мы делаем, мы скажем, что проходим феодальную фазу развития городской жизни...



Лет тридцать тому назад И. А. Полевой заботился же о раскрытии в русской истории той борьбы двух начал, которая так ясно представлена Август. Тьери в письме его о французской истории .

Пора перестать ребячиться.

Не то важно, что у кельтов, германов, пожалуй, у кафров и готтентотов было общинное владение в диком состоянии, а то, что у нас сохранилось оно в государственный период.

А потому в настоящем положении дел серьезно можно поставить только два вопроса: Есть ли личное, наследственное, неограниченное владение землею единственно возможное для развития личной свободы — и, в таком случае, как спасти большинство населения, не имеющего собственности, от рабства собственников и капиталистов?

Есть ли, с другой стороны, поглощение лица в общине необходимое, неминуемое последствие общинного землевладения, или оно относится

[==517](#)

к неразвитому состоянию народа вообще, и в таком случае как соединить полное, правомерное развитие лица с общинным устройством?

Об этих вопросах мы просим наших читателей подумать.

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIV. М., 1958, стр. 148—189.

[==518](#)

[00.htm - глава 11](#)

## **РОССИЯ И ПОЛЬША [ОТРЫВКИ]**

[ОТРЫВОК I]

Европа после всех реформ и революций остановилась на горах трупов, по колена в крови перед страшным, неразрешимым сфинксом — поземельной собственности и пролетариата, капитала и работника. Ни французский дележ земли на атомы, ни паразитная жизнь английского фермерства ничего не устраняют, ничего не предупреждают. Земли становится меньше и меньше, владелец губит пахаря, капитал работника, и хор пролетариев из мастерских, из фабрик, с полей сильнее и сильнее поет лионский припев: «Свинец или хлеб! Смерть или работу!»<sup>321</sup>

Говорят, что возле есть народ, у которого совсем другое отношение к поземельной собственности, у которого на деле существуют веками уцелевшие разные виды коммунистического владения землею — от ежегодного дележа полей между общинниками до полной собственности; правда ли, нет ли, но согласитесь, что при настоящем положении экономического вопроса нельзя не исследовать такого важного факта. Изучение его может же дать столько же наблюдения, как микрометрические опыты Фаланги и Икарийцев?

[Отрывок II]

==519

[ОТРЫВОК II]

... Социализм — необходимое последствие; пока существуют посылки, — а они так глубоко вросли в современную жизнь или выросли из такой глубины ее, что их с корнем вырвать нельзя, — социализм будет ставиться их живым силлогизмом, по крайней мере до тех пор, пока мозг будет действовать нормально.

Силлогизм этот, последний логический вывод западного сознания, является у нас как естественная непосредственность. Мы общинный быт, право на землю нашли, как наши руки, т. е. они были тут, когда мы пришли в себя и в первый раз подумали об них. Так дикое, но резкое начало личных прав лежало в непосредственности доисторической природы германских племен.

Петр I задержал своим хлороформом народную жизнь на время императорских операций и перевязок, но он не разрушил ее элементов не только в податной Руси, но и в неподатной. По мере того как гений русский выходил из оцепенения и развивался наукой, он догнал теоретическую мысль Запада; но, догнавши, он разошелся с его практическим приложением, потому что был последователен, он в своей народной совести не находил тех граней и препятствий, о которые спотыкалась Европа. Бесправный раб помещика не мечтал об освобождении без земли, бесправный раб царя перестал восхищаться феодально-буржуазным представительством \*. Дер-

Есть в России каста отупевших от школьной политики педантов и доктринеров, которая с комическим

==520

зость замыслов наша дошла, например, до того, что правительство, дворянство и народ, споря о выкупе и переходном времени, толкуя о количестве земли и ее оценке, согласны в одном— что без земли нельзя освободить русского мужика, признавая таким образом безусловно его право на землю.

Подумайте теперь о результате, когда эта шестая доля земного шара, со всеми своими «туранскими и чудскими» примесями, с социальными инстинктами, освобожденная от немецких колодок и лишенная воспоминаний и наследства, перекликнется с пролетарием-работником и с пролетарием-батраком на Западе и они поймут, что собственно у них дело одно!

Кто может предвидеть все столкновения и всю борьбу, которые вызовутся в те дни. Но что они будут страшны—в этом нет сомнения.

sutfisanse (самодовольством) репетирует идеи пилевской реформы и либерализма времен Казимира Перье. Тяжелая ученость, схоластические занятия выели их слабые способности; а совершенное безучастие к живой жизни не вызвало их сойти с кафедры на рынок. Испуганные дикими, неустроенными элементами русского развития, они попадают то во французскую болезнь— централизации, то в английскую — буржуазного self-government'a [самоуправления]. Но это ничего не значит — люди эти и с целым мозгом не сделали бы ничего, — а скорее только доказывает крепость народного духа, который не переваривается «немецкими, гладенькими» умками! —Прим. А. И. Герцена.

==521

[00.htm - glava12](#)

### **ИСКОПАЕМЫЙ ЕПИСКОП, ДОПОТОПНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ОБМАНУТЫЙ НАРОД\***

Шесть часов до своей кончины, в декабре 1846, воронежский архиерей Антоний вспомнил, что за шестьдесят лет умер его предшественник Тихон, и «вменил себе в священный долг, по особому внушению, засвидетельствовать архиерейской совестью пред Николаем Павловичем о сладостном и претрепетном желании, да явлен будет пред очию всех сей светильник веры и добрых дел, лежащий теперь под спудом».

Затем все сделали свое дело: Антоний умер, Николай не обратил никакого внимания на предсмертный бред монаха — он же полагал, что Митрофаном отделался навсегда от мощей и воронежской епархии; покойник продолжал покоиться под спудом.

Настали другие времена—времена прогрессов, освобождений и облегчений. Шесть лет после воцарения Александра II и в шестой (кажется) день святительства адмирала Путятина<sup>323</sup>, корчемствующего судно светского про-

Событие это, представление синода и указа<sup>22</sup> до такой степени пошлы, нелепы, что ритор, защитник, хвалитель Зимнего дворца, «Le Nord», не нашел духу передать своим европейским читателям такую глупость, — Прим. А. И. Герцена,

==522

свещения к брегам вечной и нетленной Японии, синод и государь, Бажанов и государыня нашли ' благовременным приступить к необходимым распоряжениям для обличения 'нетленности тела святителя Тихона. Эта палеонтологическая работа была поручена Исидору-киевскому (ныне, петербургскому), какому-то Паисию и другим экспертам. Думать надобно, что известный читателям «Колокола» крепостник и во Христе сапер Игнатий<sup>324</sup> заведовал земляными работами. Следствие вполне удалось, и ископаемый епископ, «во благоухании святыни почивший», пожалован государем в святые, а тело его, за примерное нетление, произведено в мощи, с присвоением всех прав состояния, т. е. пользования серебряной ракой, лампадой, восковыми свечами и, главное, кружкой для сбора, коею

иноцы будут руководствоваться по особому внушению божию и по крайнему разумению человеческому.

Мы останавливаемся перед этой нелепостью и спрашиваем: для чего эта роскошь изуверства и невежества, эта невоздержность идолопоклонства и лицемерия?

Может, инок Тихон был честный, почтенный человек — но зачем же эта синодальная комедия, не сообразная с нашими понятиями, зачем же тело его употреблять как аптеку, на лекарство? Ведь в врачебные свойства Тихона, несмотря на «сорок восемь обследованных чудес» \*, никто не

Кто делал следствие, как? Хоть бы достать восемь — ужасно интересно было бы для характеристики наших шаманов.—Прим. А. И. Герцена,

### ==523

верит: ни Исидор, прежде киевский, а теперь петербургский, ни Паисий, ни Аскоченский, ни Путятин, ни камилавки, ни ленты через плечо. Да это и не для них делается — а ими!

Чудесам поверит своей детской душой крестьянин, бедный, обобранный дворянством, обворованный чиновничеством, обманутый освобождением, усталый от безвыходной работы, от безвыходной нищеты, — он поверит. Он слишком задавлен, слишком несчастен, чтоб не быть суеверным. Не зная, куда склонить голову в тяжелые минуты, в минуты человеческого стремления к покою, к надежде, окруженный стаями хищных врагов, он придет с горячей слезой к немой раке, к немому телу — и этим телом и этой ракой его обманут, его утешат, чтоб он не попал на иные утешения. И вы, развратители, ограбивши несчастного до рублища, не стыдитесь употреблять эти средства? Вы хотите сделать его духовным нищим, духовным слепцом, подталкивая его в тьму изуверства, — какие вы все черные люди, какие вы все злодеи народа!

А тут толкуют о старообрядцах, о раскольниках, об "их изуверстве, об их обманах, пишут побасенки в клевету и уничтожение гонимых, которые не могут ответ держать. Нет, ваша полицейская церковь не выше их образованием, она только ниже их жизнью. Их убогие священники, их иноки делили все страдания народа — но не делили награбленной добычи. Не они помазывали миром петербургских царей, не они проповедовали покорность помещикам, не они кропили войска, благословляя на неправые победы; они

### ==524

не стояли, в подлом уничтожении, в передней бироновских немцев, они не совокупляли насильственным браком крепостных, они не загоняли народ в свою молельню розгой капитан-исправника, их пеших иерархов не награждали цари кавалериями!

... О, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и страдалец земли русской, — до тебя, которого га Русь, Русь лакеев и швейцаров, презирает, которого ливрея зовет черным народом и, издеваясь над твоей одеждой, снимает с тебя кушак, как прежде снимала твою бороду, •— если б до тебя дошел мой

голос, как я научил бы тебя презирать твоих духовных пастырей, поставленных над тобой петербургским синодом и немецким царем. Ты их не знаешь, ты обманут их облачением, ты смущен их евангельским словом—пора их вывести на свежую воду!

Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подьячего, боишься их—и совершенно прав; но веришь еще в царя и в архиерея... не верь им. Царь с ними, и они его. Его ты видишь теперь, — ты, отец убитого юноши в Бездне, ты, сын убитого отца в Пензе 325. Он облыжным освобождением сам взялся раскрыть народу глаза и для ускорения послал во все четыре стороны Руси флигель-адъютантов, пули и розги.

А пастыри-то твои в стороне — по своим Вифаниям да Халкидонам. Вот оттуда-то мы и желали бы «претрепетно» явить перед очию всех добрые дела духовных светильников твоих.

После вековых страданий, — страданий, превзошедших всю меру человеческого долготерпе-

### ==525

ния, занялась заря крестьянской свободы. Путаясь перевязанными ногами, ринулась вперед, насколько веревка позволяла, наша литература; нашлись помещики, нашлись чиновники, отдавшие всем телом и духом великому делу; тысячи и тысячи людей ожидали с трепетом сердца появления указа: нашлись люди, которые, как М. П. Погодин, принесли наибольшую жертву, которую человек может принести, — пожертвовали здравым смыслом и до того обрадовались манифесту, что стали писать детский бред326.

Ну, а что сделала, в продолжение этого времени, всех скорбящая, сердобольная заступница наша, новообрядческая церковь наша со своими иерархи? С невозмущаемым покоем ела она свою семгу, грузди, визигу; она выказала каменное равнодушие к народному делу, то возмутительное, преступное бездушие, с которым она два века смотрела из-под клобуков своих, перебирая четки, на злодейства помещиков, на насилия, на прелюбодеяния их, на их убийства... не найдя в пустой душе своей ни одного слова негодования, ни одного слова проклятья!

Европа встрепенулась; в Англии, во Франции чужие приветствовали начало освобождения, показали участие. Укажите мне слово, письмо, проповедь, речь — Филарета, Исидора, Антония, Макридия, Мельхиседека, Агафатокла? Где молитва благодарности, где радостный привет народу, заступничество за него перед остервенелым дворянством, совет царю? Ничего подобного—то же афонское молчание, семга, ви-

### ==526

Ископаемый епископ, допотопное правительство

зига, похороны, освящение храма, купеческие кулебяки да вино—благо гроздия винолозы постные суть. А тут, лет через двадцать пять, «претрепетное желание», и они выставят «во благоухании почившего» какого-нибудь Трифона или Тихона, с кружечкой для благодатных дателей! Что у вас общего с народом? Да что у вас общего с людьми вообще? С народом разве борода, которой вы его обманываете. Вы не на шутку ангельского чина, в вас нет ничего человеческого \*.

Новообрядческая церковь отделалась, на первый случай, острым словцом московского Филарета; в одной из своих привратных речей, которыми он мешает своим помазанникам входить в Успенский собор, он отпустил цветословие о том, что другие властители покоряют народы пленением, а ты, мол, «покоряешь освобождением» .

Говорили, правда, речи архиереи после объявления манифеста, и то по губернаторскому наряду, т. е. так же добровольно являлись они за налогом, как жандармы являются к разъездам.

Да и что же замечательного было ими высказано?

Мы говорим о высшем духовенстве; вероятно, из священников нашлись многие, сочувствовавшие народу. Мы помним, сверх того, молодого архимандрита Казанской академии Иоанна, поместившего в январской книжке 1859 «Православного собеседника» «Слово об освобождении»; но статья его тотчас вызвала дикий и уродливый ответ во Христе сапера 327. — Прим. А. И. Герцена.

==527

Медаль перевернулась скоро. Михаил Петрович еще бредил и не входил в себя от радости, а уж из обнаженной и многострадальной груди России сочилась кровь из десяти ран, нанесенных русскими руками, и согбенная спина старика крестьянина и несложившаяся спина крестьянина-отрока покрывались свежими рубцами, темно-синими рубцами освобождения.

Крестьяне не поняли, что освобождение обман, они поверили слову царскому — царь велел их убивать, как собак; дела кровавые, гнусные совершились.

Что же, кто-нибудь из иерархов, из кавалерственных архиереев пошел к народу объяснить, растолковать, успокоить, посетовать с ним? Или бросился кто из них, как в 1848 католический архиерей Аффр329, перед одичалыми опричниками, заслоня крестом, мощами Тихона, своей грудью неповинного крестьянина, поверившего в простоте души царскому слову? Был ли хоть один? Кто? Где? Назовите, чтоб я в прахе у него просил прощения... Я жду!

А покамест еще раз скажу народу: нет, это не твои пастыри; под платьями, которые ты привык уважать по преданию, скрыты клеветы враждебного правительства, такие же генералы, такие же помещики; их зачерствелое, постное сердце не болеет о тебе. Твои пастыри — темные, как ты, бедные, как ты; они говорят твоим языком, верят твоим упованиям и плачут твоими слезами. -Таков был пострадавший за тебя в Казани иной Антоний330; мученической, святою кровью запечатлел он свое болезненное родство

==528

с тобою. Он верил в волю вольную, в волю истинную для русского земледельца—и, поднявши над головою ложную грамоту, пал за тебя.

Об открытии его мощей не попросит, за шесть часов, ни один архиерей и не дозволит ни один петербургский царь. Да оно и не нужно — он принадлежит к твоим святителям, а не к их. Тела твоих

святителей не сделают сорока восьми чудес, молитва к ним не вылечит от зубной боли; но живая память об них может совершить одно чудо— твое освобождение \*.

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XV. М., 1958, стр. 133—138.

Недавно нам рассказывали случай, бывший года полтора тому назад в Хвалынске. Полицейский поп, сговорившись с каким-то чиновником, напали на старообрядческого священника Осипа Федоровича Андреева, ехавшего с женой и детьми и снабженного паспортом, выданным из самарской конторы. Поп и исправник разбили ящики с кладью, отобрали паспорт и Андреева отправили скованного сначала к исправнику Серее, а потом в острог. Спустя девять месяцев тот же очевидец этого духовно-земского разбоя снова проезжал по Хвалынску и, вспомнив историю, спросил о священнике Андрееве и узнал следующее: жену и детей к нему не допускали целые полгода. Жена ездила в Саратов; там ее обругал и прогнал протопоп Поляковский и грозил ее самое посадить в тюрьму. Несчастная женщина, разоренная, без всякой помощи, написала письмо к государю. Государь не отвечал — он сам принадлежит к церкви исправника и попа!

В Орловской губернии, — пишут нам, — многие попы до тех пор отказывались от чтения манифеста об освобождении, пока крестьяне не делали складчину, ими самими назначенную.—Прим. А. И. Герцена,

[==529](#)

[00.htm - glava13](#)

## МОЛОДАЯ И СТАРАЯ РОССИЯ

В Петербурге террор, самый опасный и бессмысленный из всех, террор оторопелой трусости, террор не львиный, а телячий,—террор, в котором угорелому правительству, не знающему, откуда опасность, не знающему ни своей силы, ни своей слабости и потому готовому

драться зря, помогает общество, литература, народ, прогресс и регресс...

«День» запрещен<sup>331</sup>, «Современник» и «Русское слово» запрещены<sup>332</sup>, воскресные школы заперты<sup>333</sup>, шахматный клуб заперт<sup>334</sup>, читальные залы заперты, деньги, назначенные для бедных студентов, отобраны<sup>336</sup>, типографии отданы под двойной надзор, два министра и 111 отделение должны разрешать чтение публичных лекций<sup>338</sup>; беспрестанные аресты, офицеры, флигель-адъютанты в казематах, инквизитор Голицын (jun, прежних времен) призван на совет в Зимний дворец с Липранди<sup>339</sup>... которого с омерзением оттолкнул года три тому назад тот же Александр II<sup>340</sup>.

Где свободные учреждения сверху вниз, где революция кверху ногами, где демагоги-абсолютисты министерства? Видно, не удивим мы Европу в тысячелетие, видно, николаевщина

[==530](#)

была схоронена заживо и теперь встает из-под сырой земли в форменном саване, застегнутом на все пуговицы,—и Государственный совет, и протоиерей Панин, и Анненков-Тверской, и Павел Гагарин, и Филарет с розгой спеваются за углом, чтоб грянуть: «Николай воскрес!»

«Воистину воскрес!»—скажем и мы этим неумершим мертвым; праздник на вашей улице, только улица ваша идет не из гроба — а в гроб.

— Позвольте, позвольте, кто же виноват в этом? С одной стороны, горит Щукин двор, с другой — «Молодая Россия»...

— Да когда же в России что-нибудь не горело? Из этого петербургского удивления перед пожарами и поджогами только видно, что Петербург в самом деле иностранный город. Разве в 1834 году не горело Лефортово, Рогожская, Якиманская • часть? Разве прежде и после не выгорали губернские и уездные города, села и деревни? Поджоги у нас заразительны, как чума, и совершенно национальное выражение пустить красного петуха — чисто народное, крестьянское.

— Очень хорошо, мы знаем, что поджигательства были всегда, но «Молодая Россия»?

— Да что это за «Молодая Россия»?—спрашивали мы с беспокойством \*.

О, это ужасная Россия! Знаете, отрицание всего, ничего святого, так-таки ничего: ни власти, ни собственности, ни семьи, никакого авторитета; для нее «Великорус» недалеко

К сожалению, мы получили ее не прежде 1-го июля,— Прим. А. И. Герцена.

## ==531

ушел от «Северной пчелы» и вы отсталый публицист.

Наконец-то этот лист, ужаснувший правительство и литературу, прогрессистов и реактов, цивилизованных парламентаристов и цивилизующих бюрократов, дошел и до нас.

Мы прочли его раз, два, три раза... со многим очень не согласны (ив другой статье поговорим об этом) 341, но, по совести признаемся, не понимаем ни белую горячку правительства, ни хныканье добросовестных журналов, ни душесмятения платонических любовников прогресса... Маловерные, слабые люди! Как мало надобно вашим женским нервам, чтоб испугаться, бежать назад, схватиться за фалду квартального; как мало надобно, чтоб ваши парные чувства простыли и свернулись; как мало— чтоб и вы туда же пустили свой камень в преследуемых. И никому из вас не пришло в голову того, что сказали и «Daily News» и «Star»: неурядица в России и лихорадочное волнение идет от того, что правительство хватается за все и ничего не выполняет, что оно дразнит все святые стремленья человека и не удовлетворяет ни одному, что оно будит—и бьет по голове проснувшихся. Нет, господа, не попадете вы ни в ад, ни в рай, Харон вас отгонит веслом на пресный берег342.

Дело другое — открытое, энергическое положение, оно понятно. Для нас во всей этой оргии страха совершенно ясно и рельефно,—ясно, как на блюдечке, положение Липранди и литературных товарищей его в Москве343. Липранди 34\*



как-то нашел средство в самых доносах перейти Рубикон—и свернулся; Николай не вовремя умер. Липранди поторопился с своей академией шпионства, как бы предупреждая по ясновидению семейную переписку московского академического сената с флотским начальником своим<sup>344</sup>, — словом, Липранди попал не в тон, и, как таракан, упавший на спину, долго не мог справиться, и, само собою разумеется, с восторгом ухватился за «Молодую Россию», чтоб стать опять на свои шесть ног. Для него «Молодая Россия» — точка опоры, и он поплелся устраивать свою карьеру да поправлять свои дела. Карьеру он составит, дела поправит, Филарет даст ему неба, которое нужно для души, государь даст ему земли, которая нужна для крестьян, все это понятно, тут есть логика. Литераторы, идущие на пристяжке III отделения, тоже понятны: они имеют очень реальные виды, они пишут из денег, из мести, из зависти, из самосохранения и пр.; они готовы своей доктринерской риторикой натягивать круговую поруку (знаменитое *complicite morale!*\*) между неосторожными словами юноши и зажженным углем, подброшенным в сарай, между заревом революционных идей и заревом Щукина двора; из-за этого, может, кого-нибудь и повесят, но гражданская доблесть выше всего! Столько же понятна и третья категория, разрабатывающая пожары в свою пользу, — категория мошенников и воров, которые, пользуясь передрагой и

нравственное соучастие (франц.)

Молодая и старая Россия

общей бедой, обкрадывали погорелых. Эта отрасль практических эксплуататоров имеет, впрочем, перед своими товарищами одну огромную нравственную выгоду и не менее огромную практическую невыгоду в риске и опасности, сопровождающих воровство и несколько не угрожающих доносам и намекам.

Оставляя в сторону смирительную литературу и будущих жильцов смирительного дома, мы обращаемся к действительно честным, но слабым людям и спрашиваем их: они-то чего испугались «Молодой России»? Добро бы они верили, что русский народ так и схватился за топор по первому крику: «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!» Нет, они все хором говорят, что это невозможно, что народ этих слов не понимает, и, напротив, озлобленный за пожары, готов растерзать тех, которые их произносят. И все-таки каждый честный человек считает себя обязанным ругнуть молодых людей, осыпать упреками и проклятиями, — считает себя обязанным ужасаться, возводить глаза горе.

Разберите-ка, господа, построже ваше чувство, и вы со стыдом увидите, что вас поразила не опасность, не ложь, не вред, а продерзность вольного слова; чувство иерархической дисциплины обижено — не по летам и не по чину говорят...

Если молодые люди (а для нас не подлежит сомнению, что летучий лист этот писан очень молодыми людьми) в своей заносчивости наговорили пустяков — остановите их, вступите

с ними в спор, отвечайте им, но не кричите о помощи, не подталкивайте их в казематы, III отделение *fara da se \**, а шпионов не хватит — у него есть вспомогательная литература, которая только ждет конца русского, секретного, застеночного следствия, чтоб обвинить их в зажигательстве.

Итак, все это страшное дело, поставившее Российскую империю и Невский проспект на край социального катаклизма, разорвавшее последнюю связь между хроническим и острым прогрессом, сводится на юношеский порыв, неосторожный, несдержанный, но который не сделал никакого вреда и не мог сделать. Жаль, что молодые люди выдали эту прокламацию, но винить их мы не станем. Ну что упрекать молодости ее молодость, сама пройдет, как поживут. .. Горячая кровь, *il troppo giovanil' bollore \*\**, тоска ожидания, растущая не по дням, а по часам с приближением чего-то великого, чем воздух полон, чем земля колеблется и чего еще нет, а тут святое терпение, две-три неудачи — и страшные слова крови и страшные угрозы срываются с языка. Крови от них ни капли не пролилось, а если прольется, то это будет их кровь — юношей-фанатиков.

В чем же уголовщина?

Если б правительство умело понимать и не хранило бы важную серьезность швейцара с булавой, как бы оно громко расхохоталось те-

само справится (итал.) \*\* чрезмерный юношеский пыл (итал.)

==535

перь, глядя на испуг мужественных либералов, гранитных прогрессистов, отважных защитников прав и свободы книгопечатания, неустрашимых обличителей станowych приставов и квартальных надзирателей—глядя, как они, голубчики, побежали под крылышки той же полиции, того же правительства, требуя даже мощным органом рижской газеты примерного наказания 345. А вы знаете, что такое примерное наказание по образцовому своду нашему? Посмотрите-ка на уголовные законы, с особенной любовью отработанное кротким и добрым царем Николаем с еще более добрым и кротким рабом его и легистом Губе346... Стыдно вам! Вы всю жизнь молчали от страха перед дикой властью, помолчите же сколько-нибудь от страха будущих угрызений совести.

«Молодая Россия» нам кажется двойной ошибкой. Во-первых, она вовсе не русская; это одна из вариаций на тему западного социализма, метафизика французской революции, политическо-социальные *desiderata \**, которым придана форма вызова к оружию. Вторая ошибка — ее неуместность: случайность совпадения с пожарами — усугубила ее.

Ясно, что молодые люди, писавшие ее, больше жили в мире товарищей и книг, чем в мире фактов; больше в алгебре идей с ее легкими и всеобщими формулами и выводами, чем в мастерской, где трение и температура, дурной закал и раковина меняют простоту механического за-

мечты, погкелания (лат.)

==536

кона и тормозят его быстрый ход. Речь их такую и вышла, в ней нет той внутренней сдержанности, которую дает или свой опыт, или строй организованной партии.

Но, сказав это, мы прибавим, что неустрашимая последовательность их — одна из самых характеристических черт русского гения, — отрешенного от народа. История нам ничего не оставила заветного, у нас нет тех уважаемых почтенностей, которые мешают западному человеку, но которые ему дороги. За рабство, в котором мы жили, за чуждость с своими, за разрыв с народом, за бессилье действовать нам оставалось печальное утешение, но утешение — в наготе отрицания, в логической беспощадности, и мы с какой-то радостью произносили те последние, крайние слова, которые губы наших учителей едва шептали, бледнея и осматриваясь. Да, мы произносили их громко, и будто становилось легче в ожидании бури, которую вызовут они. Нам нечего было терять.

Обстоятельства переменились. Русское земское дело началось. Каждое дело идет не по законам отвлеченной логики, а сложным процессом эмбриогении. В помощь нашему делу нужна мысль Запада и нужен его опыт. Но нам столько же не нужна его революционная декламация, как французам была не нужна римско-спартанская риторика, которой они говорили в конце прошлого века. Говорить чужими образами, звать чужим кличем — это непонимание ни дела, ни народа, это неуважение ни к нему, ни к народу. Ну есть ли тень вероятия, чтоб

==537

народ русский восстал во имя социализма Бланки, оглашая воздух кликом из четырех слов, в числе которых три длинных для него непонятны?

Вы нас считаете отсталыми, мы не сердимся за это, и если отстали от вас в мнениях, то не отстали сердцем — а сердце дает такт. Не сердитесь же и вы, когда мы дружески оборотим ваше замечание и скажем, что ваш костюм Карла Мора\* и Гракха Бабёфа на русской площади не только стар, но сбивается на маскарадное платье. Французы — народ смешливый, но почтительный; их можно было озадачить римской латиклавой и языком Сенекиных героев; у нас... народ требовал головы несчастного Обручева<sup>348</sup>.

... И вот опять слышится хор — не подземный, а бельэтажный,—хор трусов, расслабленных, чающих легкого движения прогресса.

— Да, да, — кричат они, — посмотрите, что делает хваленый народ, это дикий зверь, вот что нас ждет. Подите объясните им, что мы теперь не помещики, а землевладельцы, что мы хотим

Действительно, в «Молодой России» столько же Шиллера, сколько Бабёфа. Благородные и несколько восторженные и метафизические порывы Шиллера облекались очень часто в кровавые сентенции Мора, Позы, Фердинанда, за которыми билось его любящее, вечно юное сердце. За один эпиграф его в «Разбойниках» московские сенаторы подвели бы его под первые два пункта, как уличенного зажигателя. «*Quae medicamentae поп sanant, ferrum sanat, quae ferrum поп sanat, ignis sanat*» 347.—Прим. А. И. Герцена.

не барщину — а думу, не оброка — а прав гражданина.

Тугонек народ на пониманье и не может так быстро сообразить, что вековой, кровный враг его, который его грабил, позорил его семью, морил его с голоду, унижал, вдруг впал в такое раскаяние—«брат,— говорит,—родной!» да и только...

Бывают страшные исторические несчастья, черные плоды черных дел; перед ними, как перед грозой, смолкает человеческая мудрость и покрывает своими руками свои глаза, полные горьких слез.

Наши жертвы искупления, как Михайлов, как Обручев, должны вынести двойное мученичество: они не станут народной легендой, как братья Бандьеры и Пизакане<sup>349</sup>, народ их не знает, нет—хуже, он знает их за дворян, за врагов. Он не жалеет их, он не хочет их жертвы.

Вот куда привел разрыв. Народ нам не верит и готов побить камнями тех, которые за него отдают жизнь. Темной ночью, в которой его воспитали, он готов, как великан в сказке, перебить своих детей, потому что на них чужое платье.

Не за себя несут наши мученики тяжкую кару народной ненависти, а за других. Эти другие слишком торопятся получить амнистию; с своей стороны они, кажется, не были так великодушны, и что же они сделали такого—потерявши устрицу, решаются бросить раковину! Разве шляхетная Магдалина своим собственным сердцем дошла до раскаяния? Разве слово

освобождения было сказано ею, разве она не упиралась, пока думала, что можно упираться? Так легко и с такой недовольной миной не делаются искупления и не прощаются вековые рубцы.

Очень печально, безгранично печально явление на петербургской площади, но вы, бедные страдальцы, не предавайтесь отчаянию. Довершите ваш подвиг преданности, исполните великую жертву любви и с высоты вашей Голгофы и из подземелий ваших рудников отпустите народу невольную обиду его и скажите тем. строгим-то, что он имеет право на это заблуждение, что вы благословляете его!

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVI. М., 1959, стр. 199—205.

Милостивый государь, вы не откажете мне в праве разъяснить то, что я взял на себя смелость высказать в рекомендательном письме<sup>350</sup>, которое мой молодой друг имел честь вам передать. Может быть, я плохо изъяснился. Итак, вот моя мысль и причина, по которой она мне особенно дорога.

Мы представляем собой почин иного отношения человека к почве, наша задача состоит в опыте развития личной свободы без потери права на землю, в опыте ограничения суверенного права недвижимой собственности суверенным правом каждого человека на поземельное владение, словом, в опыте сохранения общинной собственности рядом с личным пользованием. Мы поселыщики, сами разработавшие нашу землю, привычные к полевым переделам, не ощущаем бремени завоевателей на наших плечах, и нам легче других народов осуществить решение этой социальной задачи. Отношение человека к земле, так, как мы его понимаем, не новое изобретение в России, это исконный, так сказать, естественный факт, мы его нашли родившись, потом забросили, не оценили, и теперь хотим, с искренним раскаянием, развить

### ==541

его при помощи науки и опыта западного мира. Отнимите у нас эту задачу, и мы снова впадем в варварство, из которого выходим, останемся ордой завоевателей.

И вот причина, почему мы не променяем наш аграрный закон, находящийся в эмбриональном состоянии, ни на старое латинское право, ни на англосаксонское законодательство. Религия собственности по римскому закону, по французскому кодексу убила бы наше будущее так, как убила в союзе с церковью вашу великую революцию. Ясно, что с двумя такими абортивами — Республика не могла родить ничего живого.

Народ парижский понял это, когда, поднимая в первый раз голову после бурь террора, он обратился к Конвенту со зловещими криками: «Хлеба!» Его прогнали прочь—он больше не мешается в дела — и он прав.

Крайности Бабёфа, утопии почти всех социальных учений" несколько не опровергают сути дела. Напротив, сила бреда свидетельствует о силе болезни. Галлюцинации подтверждают заболевание — дают право на патологическое заключение. Если терапия не удалась, — из этого не следует, что вопрос следует обойти, — к тому же, как мы видим, это невозможно. Социальный, экономический вопрос — *Magnum ignotum*\* нашего времени. Потому-то мы всякий раз, когда представляется случай, и обращаем внимание наших «старших», наших

Великое неизвестное (лат.)

### ==542

«отцов сенаторов» в науке и в цивилизации, на то, что прорастает в наших степях. До сих пор на Россию смотрели как на лавину, угрожающую падением. А мы хотим показать, что под снегом есть земля и что этой землей владеют иначе, чем исторической землей старого мира.

Такова была причина, которая побудила меня в 1851 г. обратиться к знаменитому вашему другу (смею сказать теперь, и моему) Ж. Мишле с длинным письмом «о русском народе и социализме» 352. Вообще после неудачи Февральской революции я только об одном этом и проповедую. Вы, наверное, признаете это смягчающим обстоятельством? Восхищаясь созданной вами строгой, величавой, полной силы и отваги картиной самоубийства революции посредством католицизма; я невольно вспомнил о другом враге 353.

Позвольте мне предложить вам (как только я буду иметь экземпляр лондонского издания, вышедшего в 1862 г.) работу моего друга Огарева «О положении России» 354, — просмотрев ее, вы найдете in extenso \* то, что я сейчас затронул в своем письме.

Французское издание «Колокола» уже прекратилось 355. Господин Фонтен намерен редактировать журнал, составленный из перевода наших статей 856.

в подробностях (лат.)

==543

Примите, милостивый государь, искреннее выражение моего глубокого уважения.

Алекс. Герцен.

30 декабря 1865 г. Grande Voissiere. Женева.

P. S. Вы мне позволите, милостивый государь, привести общую часть письма в нашем журнале? 357

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XXVIII. М., 1963, стр. 130—131.

==544

[00.htm - glava15](#)

## **ПИСЬМА К БУДУЩЕМУ ДРУГУ [ОТРЫВКИ]**

### **ПИСЬМО ПЯТОЕ**

(Америка и Европа, Эдгар Кине и его последняя книга 358. — Письмо к нему)

Давно я не писал к вам, около двух лет... и каких... которые стоят двадцати самых скверных. ... а между тем опять накопилось на душе много горечей, и хочется о них говорить, только не с близкими знакомыми — они сами все знают и все решили, — а с близкими незнакомыми, которых я могу предположить не до такой степени герметически законченными. Вы так дружески исполняли два года тому назад эту роль, что, верно, не откажетесь теперь, тем больше, что вы мне этим сделаете большое облегчение.

Облегчение от чего? От устали, думаете вы, и ошибаетесь ... гораздо хуже... от невозможности устать. Это состояние очень похоже на тщетное усилие уснуть, когда не спится. Я от души завидую труженикам, честно прошедшим бразду свою и спокойно идущим, поставив плуг под навес, на полати погреть ломаные кости, распрямить сгорбленные члены и так иной раз потолковать о настоящем и еще больше о былом, вспоминая о нем в том примиренном, успокоенном и холодном виде, которое получает все лежащее в гробу.

Кажется, чего бы лучше... клубка, доставшегося нашему времени, теперь не распутаешь,—

### ==545

вихрь революции и реакции увлек и перепутал все старое и новое... старое не уцелеет, и новое не погибнет, но всему надобно отстояться, дойти до химического соединения, до покоя творчества. Все, что может прийти в ясность из этого хаотического, клокочущего, бродящего раствора, придет в ясность, но ее насильственно не заставишь родиться, прежде чем зародыш созреет и ясли будут готовы... до тех пор искомое останется путеводной звездой для волхвов, а не солнцем, освещающим всех. Может, в пользах новорожденного это и очень хорошо... да. . . да haben Sie warten gelernt? \*. .. Куда!

Какие удары нашему беспокойному самолюбию и нашей страсти спасти мир нанесли и астрономия, и геология, и физиология, а пуще всего новая история... все ничего. Знаем, что планеты не около земли вертятся, что земной шар и без людей жил очень хорошо, что наши дедушки и бабушки были ближе к обезьянам, чем мы к китайцам... а нам все кажется, что мы какие-то Зевсы или Иеговы и можем создавать миры по образу и подобию нашему; что вздумали выросший веками и сросшийся горем и кровью быт перестроить на фаланстеры — и тотчас брошены деревни и города, соборы и театры, рестораны и дворцы; попы и жандармы, офицеры и ростовщики, судьи и лоретки так и побегут в фалангу работать— каждый по своей страсти.

научились ли вы ждать? (нем.)

35 А. И. Герцен

### ==546

Тут обыкновенно разочарование... упреки роду человеческому и новые усилия грудных детей убеждением сделать в шесть месяцев взрослыми... и новые проклятия за их лень, тупость, глупость, за то, что они не умеют скоро расти.

Есть время острой работы, но есть время и труда выжидающего, наблюдающего. Секунды не может потерять хирург, и месяцы борется доктор с болезнью.

Один из умнейших людей нашего времени, Людвиг Фейербах, на вопрос, зачем он замолк и почти ничего не пишет, отвечал: «Главное, что у меня было на душе, я высказал, пусть читают». Не думая нисколько себя сравнивать с Фейербахом, я все же имею право ему завидовать.

... Мне, не раз приходило в голову греховное искушение, именно мысль языческого эпикуреизма: удалиться куда-нибудь в пустыню возле большого трактира немецких вод и устроить там какое-нибудь шале, с диваном, превращающимся в ванну, с аквариумом, в котором плавают стерляди и икра, с садом, в котором порхают бекасы. . . но исполнить ее недостает сил.

Недавно я совсем было изготовился на зимние квартиры, взял специальную карту Висбадена, Пирмонта и, как на смех, вместе с ней попались газеты — тут Message \* американского президента, ну и к черту шале и к черту аква-

Послание (франц.)

==547

риум с икрой... «Здесь великая земля свободного труда, в которой работа вознаграждается больше, чем где-нибудь, трудовой хлеб вкусен сознанием гражданского участия работника в делах отечества; здесь ум человеческий не знает цепей и может вольно ринуться во все четыре стороны... Очищенные горем, укрепленные борьбой, повторим обет наших отцов, возлагавших на нас победу республиканских начал на нашем материке. Мы не делали пропаганды в Европе, оставляя народы тамошние заниматься своими династическими интересами... но такое поведение с нашей стороны возлагает и на нее свои обязанности».

Вот и «Guaì chi la tosoa!..» \* Да, горе, каков портной? 359 А еще пьяница? ..

И как-то свежо поднялась "грудь — и не хочется думать о диване на кислых водах... Новый свет! Молодой свет! Уж лучше там шале... Все в нем не по-европейски, не по-людски. Восемьсот тысяч войска распущены<sup>360</sup> и тотчас поглощены работой, сотни генералов, которых отваге удивлялись несколько месяцев тому назад, которые были облечены диктаторской властью, были покрыты славой и лаврами, где они? Один пашет свои поля и продает хлеб, другой в главе торгового предприятия, третий просто трактирщиком ... ни мундиров, ни эполет, сабля в углу... пусть себе ржавеет. Война не ремесло, а несчастье, злая необходимость. Обе счороны дрались страшно, доказывая по до-

«Горе тому, кто тронет!.. » (итал.)

==548

роге, что для большой, для колоссальной войны вовсе не нужны постоянные армии, вечная опричина всякого деспотизма, вечно раскрытая артерия, которой истекает государство деньгами в мир, кровью в войну... «Нам скоро можно будет сговориться, — с той минуты, как сила оружия решила судьбу, нет ни победителей, ни побежденных». И велел свести войско на пятьдесят тысяч человек.

А наша-то Нинона Ланкло<sup>361</sup>, беззубая и седая, ей и в Бельгии мало пятидесяти тысяч, несмотря на то, что она ни с кем из соседей воевать не может... Зато ведь какие интересы... Бисмарк I, Меттерних II... Папа производит во святые каких-то изуверов и в свои защитники разбойников, дипломаты в затруднении, кому отдать Молдавию, кому Валахию, одни думают, нельзя ли выменять Венецию на



Бухарест, Мексику на Яссы, точно мы еще живем между Вестфальским миром и Венским конгрессом 362. И не странно ли, что вящие защитники, последние чичисбеи Ниноны все на Неве, так, как там же были и последние эмигранты и последние мальтийские кавалеры<sup>363</sup>—они слова не дают сказать об Европе, об общей матери, учительнице, наставительнице, как будто кто-нибудь виноват, что учительница устарела и наставительницу надобно водить под руки?

«Все это славянофильство!»... Тут Америка ужасно кстати является на выручку, уж ученъето Монро и Джонсона<sup>364</sup> вряд ли из «Дня» идет!

А впрочем, и славянофильством трудно испугать. .. правда, что оно как-то всегда противно

### ==549

припахивало ладаном И рясой, а теперъ еще противнее выпачкалось в крови... ну, да ведь и все остальное выпачкано в крови... остается попробовать славянофильство расстричь в светское звание и тогда посмотреть, что в нем приму играет — поп или быт народный. Нельзя же славянофильства с лица России гнать за то, что первые проповедники его через край хватили православной благодати.

Почему же нам не делать с ними того, что всякий мыслящий читатель делает, например, с каким-нибудь Яковом Бёмом, спокойно отыскивая в лесу мистических образов и видений его глубокое понимание, оправленное в средневековую резьбу? Бём не подозревал настоящей своей силы и если б кто-нибудь назвал его, положим, пантеистом, он точно так же обругал бы пантеизм, как Аксаков ругает социализм, всякий раз, когда он ему подвернется на язык.

Рьяность наших западников, в числе которых есть люди, стоящие с нами на одном берегу, объясняется исключительным положением нашего общества. Стоя за Запад, ему все еще кажется, что он уличает не Запад, а домашнюю неурядицу, забывая, 'что петербургское правительство, несмотря на все шалости последнего времени, архизападное. В Европе таких неистовых защитников ее, как у нас, вовсе нет, особенно между серьезными умами. Они часто молчат. .. как молчал тот знаменитый математик, который, вычислив и проверив свое вычисление о близости трещины земного шара, испугался

### ==550

и скрыл свои выкладки... но невыносимая тяжесть иной раз берет верх, и тогда являются такие книги, как Стюарта Милля «On Liberty», и французом пишутся такие строки: ... Мир видел уже в глубокой древности нечто подобное тому, что совершается теперъ. С одной стороны, — старая цивилизация, осевшая под окаменелыми преданиями, — Персия, Вавилон, Х,алдея, Египет, не способные оторваться от своего прошедшего, от храмов, мумий, лабиринтов, гробниц, мир многопроизводящий, богатый караванами, торговлей, пышный, сладострастный, покрытый жемчужными цепями... С другой стороны, — нарождающаяся Греция, брошенная в иную форму, грубая, но свободная... и такой свободой, которую мир до того времени не видывал... мир, начинающийся с дорийских пуритан, к великому негодованию Азии.

И он указывает на старую Европу, выковавшую на самое себя, с чрезвычайными усилиями, узорчатые и золоченые цепи, из которых она не может выйти, в то время как на противоположном берегу океана юная страна, не заботясь о старых распрях, «в героической молодости своей душист гидры, убивает немейских львов<sup>365</sup>... И оскорбляет своей отвагой, своей свободой, созданием своих городов и государства дряхлый мир, не смеющий ни подражать ей, ни вступить с ней в борьбу» \*.

...Эдгар Кине, около полустолетия следивший за всем, что делалось во Франции, пришел к одному заключению, к одному упованию — к упованию на другой мир, на Соединенные Штаты.

Edgar Quinet. «La Revolution». — Прим. А. И. Герцена.

## ==551

... Кине печален, угрюм, для него его взгляд безотраден, он им удручен. Француз не может переносить свои лары<sup>366</sup> в дальние страны, да еще за океан. Латинские народы принадлежат латинской земле — для Кине осталось после этого отречения, после этого нравственного Фонтенебло... своя Св. Елена <sup>367</sup>. Даже пустой культ человечества у него разбился: «Я слишком близко видел этот кумир человечества... и не склоню колена перед тем, кто сам стоит на обоих перед всякой торжествующей силой... Преклоняться перед этим пресмыкающимся зверем на своих миллионах ног?.. Нет, отдайте мне лучше ибисов и священных змей Нила».

И тот космополитический прогресс где-нибудь, который может утешить бойкую сангвиническую философию Бокля, не заживит раны, сосущей француза, утратившего Францию. Оставалась для него одна дверь<sup>368</sup>, он его и захлопнул с озлоблением.

Неужели легче умирать в разваливающемся доме, чем строить другой или идти вон? Горе обладателям наследственных каменных палат... то ли дело жить в собственноручной избе, старая плоха — взял, да и срубил новую... был бы топор да лес!

... Тут мы стучимся, опять головой в упрямое поп *possumus* \* отходящего мира.

Кине с необычайной отвагой для француза произвел следствие об отраве революции католицизмом. С искусством великого художника и

Не можем (лат.)

## ==552

### Письма к будущему другу

ясностью диалекта указывает он, как новая Вось изнемогает и не может переварить яда, данного в гостии, накрытой фригийской шапкой.

И тот же человек остановился испуганный, как перед Медузиной головой, перед юридической церковью, перед догматом римского права безграничной собственности. В посягательстве на ее

самовласть видит он гибель личной свободы, объявляет его чуждым гению латинских народов и указывает вдали на наши степи... «Коммунизм и рабство, казнитесь, мол, вот куда вы идете!»

Мне больно было за него и за нас, я не вытерпел и написал ему<sup>370</sup>: «Мы представляем почин иного отношения человека к почве, наша задача состоит в опыте развития личной свободы без Потери права на землю, в опыте ограничения самодержавия недвижимой собственности неотъемлемым правом на поземельное владение, словом, сохранения общинной собственности рядом с личным пользованием. Посельщики, сами разработавшие нашу землю, привычные к полевым переделам, без слоя завоевателей на наших плечах, нам легче других европейских народов осуществить одно из решений социальной задачи. Отношение Человека к земле, так, как мы его понимаем, не новое изобретение в России, это первобытный факт, естественный, прирожденный в нашем быте, мы его нашли родившись, потом забросили, не поняли, и теперь хотим, с искренним раскаянием, развить его при помощи науки и опыта западного мира.

### ==553

Отнимите у нас эту задачу, и мы снова впадем в варварство, из которого едва вышли, Или останемся ордой завоевателей.

И вот причина, почему мы не променяем наш аграрный закон в его неразвитии ни на старое латинское право, ни на англо-саксонское законодательство. Религия собственности по римскому закону, по французскому кодексу убила бы нам вперед наше будущее, так, как убила в союзе с церковью вашу великую революцию. Ясно, что с двумя такими абортивами республика девяностых годов не могла родить ничего живого.

Народ парижский понял это, когда, поднимая в первый раз голову после бурь террора, он заявил свою нужду в Конвенте мрачным криком: «Хлеба!» Его отпустили, ничего не сделавши для него. Он с тех пор перестал мешаться в дела, и был прав.

Безумие Бабёфа, утопии почти всех социальных учений нисколько не опровергают начал. Напротив, степень жара, бреда свидетельствует о силе болезни. Припадки соответствуют страданиям—дают право на патологическое заключение. Если терапия не удалась, из этого не следует, что вопрос лечения следует обойти. К тому же, как мы видим, это невозможно. Социальный, экономический вопрос—*Magnum Ignotum* \* нашего времени. А потому-то мы всякий раз обращаем, когда представляется случай, внимание наших старших, наших *patres con-*

Великое неизвестное (лат.)

### ==554

scrip̄t̄īж в науке и цивилизации на то, что прозябает в наших степях. До сих пор на Россию смотрят как на лавину, угрожающую падением. Мы хотим показать, что под снегом есть земля, владеемая иначе, чем историческая земля старого мира.

Такова была причина, которая заставила меня в 1851 г. написать длинное письмо к знаменитому другу вашему (теперь и моему, скажу я) Мишле<sup>371</sup>. Вообще после неудачи Февральской революции я только об одном этом и проповедую. .. Вы мне это, наверное, поставите в облегчающую причину. Восхищаясь строгой, величавой картиной, полной силы и отваги, которой вы изобразили самоубийство революции католицизмом, я невольно вспомнил о другом враге»<sup>372</sup>.

... Его-то' мертвыми руками из-за гроба попробовал схватить за горло. . . боец иного закала, Прудон... но в могилу себе не стащил. И так, как Кине все-таки оставил щель, захлопнувши дверь, так Прудон не настолько раскрыл ее, чтоб можно было пройти. . . — Cordon, s'il vous plait!

... Il faut done, messieurs, qu'une porte soit ouverte ou fermee \*\*!

10 января 1866 г. А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVIII. М., 1959, стр. 92—99.

Официальный титул при обращении к собранию сенаторов в Древнем Риме. \*\* — Откройте, пожалуйста!

... Нужно же, господа, чтобы дверь была открыта или закрыта! (франц.)

[==555](#)

[00.htm - glava16](#)

## ПИСЬМА К ПУТЕШЕСТВЕННИКУ [ОТРЫВКИ]

Вот какой случай случился со мной несколько лет тому назад. Один человек, игравший большую роль в своей родине и как революционер, и как администратор, спорил со мной о социализме<sup>373</sup>. Он,—и надобно признаться, что он не один в этом случае, а имеет даже таких товарищей, как Мадзини \*, — убедившись, что движение 1848 года погибло от примеси социализма к чисто политическому движению, опрокинулся на социализм с тем ожесточением, с которым он прежде гнал реакцию. Сколько я ни ораторствовал, мой противник стучал кулаком по столу, выходил из себя и говорил в заключение такого рода вещи: «Посмотрите, какие законы я провел, посмотрите, как ограждены работники, я сам всеми силами поддерживаю работничьи сходки, у нас нет ни одного нищего и на все на это мне не было нужно никакого социализма. ..»

— А только почти деспотическая диктатура. «...этого,—продолжал он, не слушая

Нельзя надивиться скудости знания и пониманья полицейско-консервативных органов; они постоянно называют Мадзини социалистом, несмотря на его брошюры, статьи и пр.<sup>374</sup>—Прим. А. И. Герцена.

[==556](#)

меня, — этого проклятого социализма, этой выдумки иезуитов, которой они затормозили революцию, разделили наш стан и сбили все понятия у слабых людей».

— Теперь я вижу, что, в сущности, мы с вами гораздо ближе, чем я думал. Вам, собственно, не нравится слово социализм. Попробуем то, что все называют социализмом, называть Клеопатрой, и дело пойдет как по маслу.

Уступку, которую я делал моему «Дионисию, тирану сиракузскому»<sup>375</sup>, я не сделал ни для вас, ни для кого из русских читателей.

В гонении на социализм, поднятом у нас в подражание Западу, есть что-то невероятно бессмысленное и тупоумное, трусливое и невежественное. Европа боялась социального переворота потому, что он был страшен для нее; встретив суровый отпор, он шел путем отчаяния и насилия на разрушение узкого, но веками слепленного и привычного государственного устройства... У нас этот быт непривычен, у нас он чужой; где же, в чем вред, причиненный России социализмом, или чем может он повредить ей? Разве освобождение крестьян с землею — не социальный переворот? Разве общинное владение и право на землю — не социализм (как там себе ни голоси наши славянофильские кликуши)? Ненависть к социализму крепостника, оплакивающего землю свою и барщину свою, понятна, так, как понятен был страх откупщика, боявшегося отмены откупа; но наших теоретических, литературных врагов социализма нельзя понять.

==557

Когда же для нас будет ясно то, что было ясно слишком пятьдесят лет тому назад для Бенгема, говорившего Александру I в Лондоне о «счастье, что России не мешает ни римское право, ни феодальный хлам, ни католическая церковь»?<sup>376</sup> Когда же у нас перестанет болеть голова с чужого похмелья?

В самой Европе преследование социализма безумно. Как будто какое-нибудь развитие на череду, какое-нибудь логическое последствие ряда осуществившихся посылок можно остановить кулаком и бранью, не убивая организма или не делая из него уroda. Нашли ли главные социальные вопросы решения или нет — все равно, ошибочны ли эти решения или односторонни — все равно, они не менее живы и не менее стучатся во все двери и бьются во все стороны, ломая и подмывая стены и заборы, мешающие им.

Вообще ни ошибочные решения, ни односторонние не влекут с собою в гибель вопрос или задачу. Каких чудовищностей не нагляделись мы в один наш век, например, в медицине — от кровопролитий Бруссе до наводнений Пристница<sup>377</sup>, от нигилизма гомеопатии до всевозможных лечений голодом, холодом, парами, молоком, гальванизмом, магнетизмом... тем не меньше и несмотря ни на мистический эмпиризм, ни на традиционную алхимию медицины, в возможности патологии и терапии никто не сомневается.

Социальные идеи не убиты и не отстранены, их побежденный авангард без знамени и шума

==558

занял множество неприятельских мест, и не один новый Дионисий Сиракузский делал социализм, как Мольеров Журден делал прозу, не зная того. Не только сенсимонизм и фурьеризм не прошли бесследно, но неопределенные стремления, нашедшие отголосок в поэзии Гюго, в романах Сю, в целой литературе 30-х годов, женский протест Ж. Санда, индийская триада Пьера Леру, полемика Прудона<sup>378</sup> — все это не только разбудило людей и направило их мысли в известную сторону, но все это принялось, прозябло и проросло старую почву. Вглядитесь внимательно, и вы найдете социальные оттенки в тюльерииских декретах и прусских министерских указах; следы проповедей Менильмонтанской улицы остались в оборотах Перейры, в ликвидациих недвижимой собственности<sup>380</sup>; добродушная голова старика Р. Оуэна просвечивает со дна всех английских кооперативных обществ. Каким образом Гладстон дошел до порицания безусловного права собственности и до государственной организации страховых обществ<sup>381</sup> ... и почему Стюарт Милль остановился в раздумье перед общинным владением, не рубя с плеча вопроса, как наши молинарьевские подмастерья<sup>382</sup>? О чем робко и не выступая из парламентских форм хлопочет Брум<sup>383</sup>? Все они пролагают, отнекиваясь и открещиваясь, дорогу социальному пересозданию государственного строя.

В тот день, когда несостоятельность юридических, административных и политических реформ оказалась очевидной, когда сама Фран-

==559

цузская революция погибла в крови и в теоретическом освобождении меньшинства, а реальные умы догадались, что в тех сферах, в которых искали разрешения вопроса, его нет, в тот день отрицательно была поставлена вся задача социализма. Ей недоставало имени, имя явилось как-то само собой <sup>384</sup>.

Разумеется, что социализм только в антитетическом смысле противопоставляется переворотам чисто политическим, в сущности он представляет их исход. Политический переворот делается внутри известных государственных учреждений, которые идут вперед как неоспоримые условия государственной жизни — будь это монархия или республика, централизация или федерализм. Там, где анализ, критика идут далее, там, где вовлекаются в спор и борьбу сами эти условия, т.е. где сними делается то же самое, что реформа делала с папской, а революция с королевской властью, — там мы переходим в социализм. Разграничение между политикой и социализмом условное: две разных станции одной и той же дороги.

Все государственные и политические вопросы, все фантастические и героические интересы по мере совершеннолетия народа стремятся перейти в вопросы народного благосостояния. Принимая существующий результат исторического развития за неизменный в своих основах, мы их не разрешим; исторический быт, так, как он посилено сложился, под влиянием совсем иных идей и целей, не совместен с общенародным благосостоянием. Это-то и хотел сказать аме-

==560

риканец Брейсбен, которого слова я уж не раз приводил парижским работникам в 1848 году<sup>385</sup>, говоря, что «в Америке республика дала все, что могла, что политическое устройство, основанное при самых благоприятных обстоятельствах, но на старых основаниях, дало все, что могло, но вопросов, занимающих работников, не разрешило и не может разрешить»,—тут ее предел, а разрешить необходимо.

Я так и жду обыкновенного возражения: что за разрешение ломать зря и устраивать общество насильно, на какой-то каторжный манер? .. а социализм только так и разрешал вопрос.

Он ошибался и горько пострадал за это. Но кто же сказал, что он только так хотел разрешать и только так и мог их разрешать? . .

Прудон упрекал в этом социализм, разумея под социализмом организацию работ Луи Блана, коммунизм Теста, отца Кабе, а не социализм вообще<sup>386</sup>. Не будьте ни Апеллесов, ни Павлов, и тогда вы не будете клясть церковь из-за Апеллеса или Павла.

Восставая против социализма под тем предлогом, что он хочет зря ломать и насильственно строить, люди со всеми своими прогрессивными стремлениями становятся на сторону закоснелого консерватизма и защищают падающие институты, составляющие главное препятствие развитию. Разве не на наших глазах в 1848 г. республиканцы сделались гонителями и дали тот впрок пошедший урок, который научил

всех царей и все власти, как надобно подавлять противников,

==561

Противников они подавили и с тем вместе их односторонность — идеи остались, вопросы остались. Выброшенные полицией за дверь, они за нею притаились и постоянно готовы взойти во всякую щель.

По несчастию, их останавливает не одна грубая рука насилия, их останавливает столько же, если не больше, роковое несчастье масс — их невежество и роковое просвещение других сословий, ученых, не желающих переучиваться, монополистов, не желающих поступиться ни одной привилегией и оттого могущих потерять все, и совершенно справедливо; они отстаивают свои права без веры; наивное понимание, исключаящее вину и ответственность, давно возмущено и перервано выстрелами на площади и спорами везде — в книгах и сходках, в камерах и журналах. Неведением социализма в наше время отговариваться нельзя.

И это не все: социализм был не меньше задержан в развитии внутренними причинами, как и внешними. Чувство боли от общественной неправды было очень ясно, желание выйти из сознано скверного положения очень справедливо, но от этого до лечения далеко. Социализм, страстно увлеченный, с желанием кары и мести, бросил свою перчатку старому миру, прежде чем узнал силу свою и определил мысль свою. Седой боец поднял ее — и не Голиаф, а Давид пал. С тех пор ему было много досуга обдуматься в горькой школе изгнания и ссылки. Додумался ли он до того, чтоб не бросать пер-

чатки, не имея силы, не зная, что будет после битвы, кроме казни врага? Не знаю.

Не воином, не судьей должен он явиться ... суд он держал, пусть же он явится исполнителем судеб в ином смысле слова, пусть он «увенчает здание» и завершит революцию. Ему следует столкнуть последнюю глыбу, мешающую идти вперед своей неподсудимостью, в рвущийся поток мысли и водрузить на ее месте знамя разумных отношений людских и действительных, трезвых, логических законов общежития. Не уничтожить и разбить должен он политическую экономию, а превратить ее из эмпирического свода рассуждений и наблюдений, не смеющего касаться до святых твердынь существующего, в экономическую науку, посягающую на все.

Но для того нужен огромный внутренний труд и огромный нравственный подвиг. Для водружения нового знамени надобно отбросить старое, знамя непримиримого раздора, исключительно враждебного антагонизма. Военные крики его до того сбили понятия самых передовых бойцов, что они, как Квзимодо, бросают камни и льют свинец на truanderie, пришедшую спасти цыганку, которую они защищают<sup>387</sup>.

Поймет ли, наконец, звонарь, что враг сзади, что он не ее спасает, а помогает ему, и бросит ли он его черную фигуру с колокольни? . . . это покажет будущее. Но во всяком случае тем, которые стоят со стороны социализма, надобно яснее и покойнее высказаться, а для этого необходимо яснее и проще понять задачу.

Лихорадочный, острый период зарождения для социализма прошел.

Страстная, вдохновенная форма, в которой является новое учение, глубоко захватывающее жизнь от очага до площади, его церковные ризы, его фантазия, не знающая пределов, его фанатизм, не знающий сомнений, его юная нетерпимость, его ревность прозелитизма — все это на месте вначале. Без идеалов, без поэзии люди не оставляют одр свой, чтоб идти за учителем; но за яркими цветами зари настает дневная работа, с помехами и ошибками, с дождем и ведрами, с каменистой почвой и болотами, с отклонениями и уступками, с компромиссами и диагоналями. Для этой работы нужны не кадилы и не рипиды<sup>388</sup>, а простые орудия труда и простые формулы разума.

Фразы, от которых билось сердце, текли слезы и кровь, все эти молитвы гражданской литургии в начале революции, с которыми массы шли на бой, сгубили ее потом. У всякого возраста свой язык и свой смысл слов. Псалмы Давида были марсельезой гугенотов. Порицать язык другого времени так же нелепо, как говорить им. Социальные идеи пережили свою героическую интродукцию; ни бархатный жилет верховного отца Анфантена, ни фаланстер Фурье, ни государственная барщина, ни соттина bonogum<sup>389</sup>, ни разрушение семьи, ни отрицанье собственности — ничего не сделают теперь сверх того, что они сделали для вызова на сцену и постановки вопросов.

Поле, по-видимому, стало беднее, но замеча-



тельно очистилось, много выяснилось в том, где искать ответы и где их не может быть.

Люди недовольны экономическими условиями труда, упроченным неравновесием сил, их потерей, рабством работы, злоупотреблением накопленных богатств — но они

не хотят переезжать в рабочие казармы, не хотят, чтоб правительство гоняло их на барщину, не хотят разрушать семьи и очага, не хотят поступиться частной собственностью, т. е. они хотят при обновлении, при перерождении сохранить, насколько возможно, свою привычную жизнь, согласуя ее с новыми условиями. На каких же разумных основаниях можно сделать, согласить такие сложные и противоречащие потребности? В этом-то и задача, весь социальный вопрос так и становится, освобожденный от громовых туч своих и молний.

Есть ли решенья?

В прошлом письме я взял на себя смелость, j'ai hasarde \* сказать, что одно из действительных решений представляет русский народный быт в его современном развитии. Бедное село наше, с своей скромной общинной жизнью, с своим общинным землевладением, наша черная Русь и крестьянская изба невольно вырезаются на сцене, с которой больше и больше исчезают в тумане фаланстеры, Икарии, национальные рабочие, государственные подряды и пр.390

рискнул (франц.)

==565

Возражения, которые я слышал на эту стародавнюю мысль мою, все без исключения, не только не переубедили меня, но вообще были несерьезными и походили на богословские доказательства текстом, имеющие вес только для тех, кто сам принимает текст за критериум истины.

Женева, 1 июня 1865.

#### ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Прежде чем мы будем продолжать яш аргумент, как говорят здешние школьники, я должен вам рассказать о разговоре, который был у меня с одним из ваших друзей по поводу моих писем к вам. Он. прямо из Москвы, и тут-то я увидел, как был прав, что поздравлял вас с долгим отсутствием из России. Разговор, о котором идет речь, близок к нашему предмету, и мы им, как маленьким проселочным объездом, незаметно выедем на нашу большую дорогу. «Вы престранный человек, — говорил он, — и я не могу вам надивиться, в вашей мысли два потока, я думаю, что вы пишете двумя разными перьями, из двух разных чернилниц. С одной стороны, вы болезненно ясно понимаете все страшное положение наше и беспощадно клеймите его; с другой — вы полны прежних надежд и верований. Как будто ничего не было, как будто правительство не резало Польши и общество не плескалось с диким упоением в ее крови, как будто литература не превратилась —

консерваторская в донос, прогрессивная в извозчичью брань, как будто вы не знаете, какая сонная, сытая, ко всему безучастная апатия овладела обществом, которое бесновалось, года три-четыре тому назад, в «восторге некоем пламенном», говоря о своем либерализме, гуманизме, прогрессизме...»

Затем, так как это не, в первый раз, я уж и ждал: «...если б вы только могли провести месяц или два в Петербурге или в Москве, как бы вы отрезвились...»

— Не думаю...

— Хорошо говорить издали, а посмотрели б, что делается, поближе. Люди, рвавшие на деятельность, люди, которые были готовы идти на каторгу с Михайловым и Обручевым, стояли сложа руки, когда Чернышевский был у позорного столба; люди, находившие вас отсталым, люди, шедшие на площадь, социалисты, демократы — теперь...

— Вольно же вам было пыль, поднявшуюся перед грозой, принять за самую грозу... все легкое и пустое прежде всего уносится ветром, кружится в воздухе, а потом опять падает на мостовую, в канаву, это явление не новое, но ново то, что у нас приходят в отчаяние от того, что сухие листья и бумажные змеи приняли за небесных герольдов и архангелов. Мы проходим скверной полосой, но мы не сядем в ней, и наш ропот, исполненный безнадежностью, происходит от непривычки к борьбе с ее капризными приливами и отливами. В этом отношении есть чему поучиться нам у западных лю-

дей, особенно у англичан. Мы ужасно скоро бросаемся на все и ужасно скоро все бросаем. Ни выдержки, ни терпенья. Выбиваемся из сил от всякой неудачи, непредвиденное препятствие конфузит нас, ошибка заставляет теряться, поражение — опускать руки. Веры мало, дыхание коротко. От того ли это, что мы не находим все еще своего настоящего дела, или от чего Другого — все это очень печально, — тем не меньше в настоящем случае в этой невыдержке лежит залог, что и беснующийся патриотизм так же скоро пройдет, износится, как прошел галопирующий либерализм. Перестрадав весь позор этой печальной эпохи, мы предвидим ее конец. Неужели вы думаете, что судьбы России изменятся от этой катковско-муравьевской грязи по ступицу. Лапти по ней кой-как пройдут, а если увязнут кой-какие сапоги, особенно немецкой работы, беда, право, не велика.

— Да ведь и мы с вами их носим...

— Я и не вижу особой необходимости ни в вас, ни во мне; но в этом случае вы ошибаетесь: мы выйдем, может, босыми, может, потонем, но с чистой совестью, с чистыми ногами.

— А если не потонем, то куда же пойдем? Я не спорю, мало ли чего может быть «лет через пятьсот», по пушкинскому выражению<sup>391</sup>; но теперь-то, когда все молодое состарилось за ночь, когда потухли таланты, в университетах пьют тосты за Муравьева, когда журналы...

— Опять старая история. Прежде чем требовать и негодовать, следовало бы определить себе, в чем состояла общественная задача евро-

пеизма в общей экономии русского развития, — не та задача, которую сами себе ставили люди или которую мы за них ставили, а та, которая досталась им на часть по самому течению жизни. Вы их клянете и браните, а мне кажется, что они свое дело сделали и теперь сходят со сцены по миновании надобности. И это в то же время, как по другой лестнице спускается другая Россия, — Россия Английского клуба, мертвых и ревизских душ, гумна и конюшни.

— Ну эти пьесу свою сыграли до конца, а какая же пьеса была у наших?

— Пьесу-то вы и проглядели... Она преинтересная и называется «Знакомство двух незнакомцев, или Новая смесь французского с нижегородским».

— Ничего не понимаю.

—Что ж мне с вами делать? Общественная задача западной цивилизации в России состояла в объяснении социальных начал русского быта и в усвоении социальных идей Запада... Двадцать лет тому назад едва осмеливались намекать на это славянофилы, Гакстагаузен, мы и потом то новое поколение, на которое вы нападаете, — оно-то и заявило свои социальные стремления и вместе с тем стремления чисто русские, это факт, и его из сознания топором не вырубешь. Люди, участвовавшие в этом, могут цвести или завянуть, писать романы или и не читать их, жить долго или скоро умереть — все равно, свою службу они отправили. Очень вероятно, что им мерещилось гораздо больше, а именно что они будут призваны на осуществ-

ление своих идеалов... это не удалось. До полного приложения много еще пройдет случаев и ужасов, ужасы почти всегда пропорциональны силе власти, неразвитости масс и количеству войска; а тут еще наткнемся на какую-нибудь глупую войну, на какую-нибудь глупую дворянскую конституцию, на какую-нибудь «счастливую случайность», как выражался Александр I, или на какую-нибудь «несчастную»... Все может быть, но лишь бы продолжалось то социальное развитие, которое прозябает на наших полях. Наша сила тут, как Самсонова, была в волосах.

— Все это хорошо... да где же взять столько голландской флегмы или философского спокойствия?

— Хотите, я вам открою секрет моей философии? Он может равно пригодиться для частной и для общей жизни, вся тайна заключается в тексте: «Марфа, Марфа, печешися о мнозе, едино же есть на потребу»<sup>392</sup>. Узнать, определить для себя это единое и оставить все, отца, мать и прилепиться к нему; за ним следить со всей настойчивостью, страстью, ревностью, к которой человек способен, допуская всему остальному меняться, изменять, уклоняться, совсем лопать. Человек, глубоко сосредоточенный на одном, должен быть легкомысленным, во всем другом, иначе он растеряется и ни во что не принесет полной силы. Отчего Ротшильды богаты и богатеют? Оттого, что все их существование постоянно подчинено главной цели. Основной тон жизни Кобдена была свобода тор-

## ==570

говли, и он во всех событиях, во всех вопросах смотрел прежде всего и после всего на free trade. Перед всякой войной и после всякой войны Кобден обсуживал могущие быть от них стеснения или расширения международных торговых отношений. Во Франции революция — Кобден рассчитывает шансы трактата, во Франции другая — Кобден посылает проект. А там Пам ли министром в Лондоне, Персиньи ли в Париже, ограбили ли немцы белым днем Данию или нет<sup>393</sup> — это не то чтоб было все равно, но не на первом плане. Равнодушны ли мы к кровавым путям, по которым идет правительство наше, поддерживаемое обществом, — это вы знаете... два года из нашей груди не вырвалось светлого звука, два года мы постоянно были на похоронах, - униженные, словно и мы участвовали в убийстве, и при всем том живой о живом и думает, и пока Россия не своротила с главного тракта, пока она туда идет, какая бы скорбь ни была на душе, мы не впадем в отчаяние и ^не поступимся нашей верой. В 1862 году я говорил\*: «Только тот, кто, призванный к деятельности, поймет быт народа, не утратив того, что ему дала наука, кто затронет народные стремления и на осуществлении их оснует свое участие в общем земском деле, тот только и будет женихом грядущим. Кто же будет этот суженый?»

«Полярная звезда», VII кн. II вып. «В. Н. Каразин»зм.—Прим. А. И, Герцена.

## ==571

Император ли, который, отрекаясь от петровщины, совместит в себе царя и Стеньку Разина? Новый ли Пестель? Опять ли Емельян Пугачев, казак, царь и раскольник, или крестьянин и пророк, как Антон Безднинский?

Трудно сказать.

Но кто б он ни был, наше дело — идти к нему навстречу с хлебом и солью».

Вот вся тайна моей философии, весь мой макиавеллизм. Многие догадываются о ней, но никто не рискует прямо сказать, так еще мало свободен наш разум и наш язык от разных картонных драконов и отставных святынь. К тому же мы мало привыкли избирать единое на потребу и идти постоянно к нему. Есть люди, которые постоянно в жизни видят ее изнанку, ее шероховатую сторону, ее случайные недостатки, и из-за них теряют всю гармонию, всю картину светлой, лицевой стороны ее. Организации желчно-раздражительные и нетерпеливые специалисты, неловкие в обобщении, затерявшиеся в мелочах, они делают в общественной жизни тем, что на языке Французской революции называлось алармистами<sup>395</sup>; они охлаждают каждый порыв, бросают сомнения там, где нужна вера, они стягивают в подробности там, где их надобно забыть, и всего больше во лжи, тогда когда правы, потому что лестница от частного к общему у них потеряна, потому что правда их плоска и их взаимное отношение утрачено. Если оптимизм большая глупость, то пессимизм большое несчастье, и как ни жаль их, но удивляться мудро тому, что Комитет

==572

общественного спасения рубил головы алармистам.

— Сила крестная с нами, — сказал ваш приятель расхохотавшись, — да это вы меня просто прочтите на гильотину.

— Непременно, если вы воротитесь с вашими привычками в 1794 год.

Вы, мой милый путешественник, я знаю, не делите нетерпеливого и капризного взгляда этого, но его делят многие, и это дурной признак. Старцы Сибири возвратились через тридцать лет каторги с молодыми надеждами, с горячей верой! Мы сами вынесли длинное путешествие через николаевскую Сахару, и чего, чего не было на пути. Разбуженные 1825 годом, мы росли, имея за собой страшную судьбу предшественников, возле страшное безучастие среды и впереди страшное ничего. Грубые факты, глупые факты гнали слово, мысль с лица земли, а умственная деятельность росла в тиши, в ту меру, в которую беднела общественная жизнь. Люди спасались от погрома, от дикой силы, удаляясь в отвлеченную науку или отыскивая между полусгнившими костями отгадку новых бед и наталкиваясь именно на те тайники русской жизни, о которых мы говорили... Седые волосы показались на нашей голове... перешли и мы за тридцать... за сорок лет. Сильнейшие бойцы, с крепкими мышцами, гибли один за другим, Белинский умер, Гоголь шел в сумасшедший дом, Петрашевский с друзьями шли на каторгу — еще тише,.. один грустный голос

==573

Грановского раздавался, как псалтырь у похороненного тела, и пророчил сквозь слезы жизнь будущего века и веру в судьбы человечества... Молча смотрело новое поколение, зачатое в плаче и скорби, изуродованное до хилости, оскорбленное до юродства, сознававшее свое бессилие, свое бесправие. Я жил тогда вдали — что было в этой дали, вы знаете по преданиям. Все, все изменило; потерянный в лондонском тумане, свидетель голодной смерти единого свободного народа и мученичества эмиграции, я проповедовал о будущности России, а Николай, медуза Николай был еще жив. Теперь есть борьба, есть работа.

Будучи в меньшинстве собирающегося войска, материальная сила не с нашей стороны, зато у противной громады, кроме ее" и привычки, ничего нет — ни ума, ни образования, ни единства цели, ни плана. Правительство беспрестанно отталкивает напор, кричит «смирно!», ловит забежавших вперед — это дело полицейское, но что ж оно хочет сказать в этом смирно, что сделать на расчищенном плац-параде?—Как что? Известно что. А в сущности вовсе не известно, и всего меньше правительству. Оно не злее и не хуже прежнего, но оно больше мечется, кидается, тербит, оно больше боится. Разве этот страх — не наша победа? Рядом с «пороньем горячки» оно делает бездну несправедливостей, глупостей, ошибок—к этому пора привыкнуть. Да и кто же ждал от него ума, гуманности, справедливости? Ведь это все же продолжение Николая, Павла и пр.

Вот когда оно по немецкому совету и по наговору помещичьих журналистов подталкивает всякими распоряжениями и искушениями крестьян на замену общинного пользования землей наследственным разделом ее в собственность 397, тогда действительно мороз дерет по коже. Мало ли что можно напортить, имея в своих руках такую бесконтрольную власть, такой приманчивой вещью, как буржуазная собственность, покупаемая со льготами. Правительство, умевшее поддержать двести лет крепостное состояние и ввести его в XVIII веке там, где его не было, имеет слишком богатые средства и слишком широкую совесть, чтоб его не бояться. Буржуазная оспа теперь на череду в России, пройдет и она, как дворянски-конституционная, но для этого не надобно дразнить болезнь и '«высочайше» способствовать ей.

Если мы вынесем эти посягательства не протестуя, мы не будем иметь даже того извинения, которое имели наши цивилизаторы; они или вовсе не понимали или верили в пользу вколачиваемого образования, скроенного по иностранным шаблонам. Тут место борьбе и обличению, место энергии и страсти, тут мы должны преследовать, клеймить без усталости и остановки. А вести войну с частными промахами и гнусностями правительства хотя и должно, но это не может стоять на первом плане.

То же приходится сказать о нашем благородном обществе, о том, которое называло увлекавшихся юношей зажигателями, которое рукоплескало ссылке Чернышевского, казням поляков и посылало телеграммы Муравьеву и его литера-

турному дрягилю<sup>398</sup>... Кто же составляет основу и ядро этого общества, этой России, которой Зимний дворец— в двух Английских клубах, а крепости и будки во всех помещичьих домах? Та же прежняя матушка Россия — Россия «Недоросля» и «Мертвых душ», «Горя от ума» и «рассказов охотника». Пеночкин стал либеральным государственным человеком, но все же остался Пеночкиным, Ноздрев стал красным патриотом, муравьевским якобинцем, оставшись Ноздревым... Разве мы этой России, идущей от петровских заводов, от разных Салтычих и Биронов, не знали прежде? Разве не пели мы ей на все голоса «De profundis»<sup>3</sup> и «Со святыми упокой»? Чему же дивимся мы, что она не изящно умирает; она не римский гладиатор, а просто русский помещик, отдающий богу душу, делающий до конца глупости и заботящийся, как Николай в последнюю минуту, можно ли или нет причащаться, не выбривши бороды .

Как сословие дворянство имеет меньше жизненной силы, чем правительство, — последняя, материальная сила его улетучилась — оно обнищало.

И перед этими-то врагами наша молодежь хочет сложить руки — в унынии... Полноте, это мимолетные минуты отчаяния и досады, в которых мешается гнев и любовь, плач о падших и чувство материального бессилия. Они должны пройти.

1 июля 1865.

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVIII. М., 1959, стр. 358—372.

## К КОНЦУ ГОДА

Переживаем мы и 1865 год, как пережили 1863 и 1864.

После двухлетней белой горячки наступает утомительное выздоровление, медленное, неоткровенное, с продолжением горячечных явлений, с возвращением бреда. Яркого перелома, в который верили старые доктора, не было, но припадки бешенства видимо ослабли и, взяв все в соображение, дела идут не хуже.

Для нас даже положительно лучше.

С нынешней весны звон наш опять стал проникать в Россию, опять стал будить одних, беспокоить других, нас больше бранят, к нам больше пишут, у нас больше корреспонденции и читателей... А мы идем все тем же, своим путем и вовсе не намерены его менять, т. е. самого пути, за тон и освещение мы не отвечаем, они зависят от событий, а не от нас; это мы говорили много раз \*.

Идти своим путем при обстоятельствах, при которых мы шли последние три года, было трудно, и .мы никогда не скажем, чтоб при ца-

«Мал ли, велик ли ручей, путь его зависит не от него, а от общих склонов и скатов материка» («Колок.», 1864).—Прим. А. И. Герцена.

рившей путанице идеи, страстей, при противоположно несущихся потоках нас не уносило иной раз в сторону, — но с главной линии мы не сбились ни под неистовым ругательством своекоштных и казеннокоштных врагов, ни под советами строптивых друзей.

«Колокол» остался тем, чем был, остался самим собой, он представлял ту же мысль и не представлял никакой котерии. Брошенный почти всеми, он не бросился ни в патриотическую реакцию, ни в демагогический алармизм.

Стоять на одном месте и говорить одно и то же — еще не находка. Может, мы потому-то и неправы, что твердим, как Платон Михайлович Горич, седьмой год тот же дуэта потный<sup>401</sup>. Упираясь на одном месте, мы дали опередить себя, упорствуя идти по одной дороге, мы не заметили, что Россия пошла по другой. Все это для журналиста, для публициста — смертный грех, и стойкая добродетель Симеона Столпника всего меньше идет ему.

Что враги наши пошли по другой дороге и захватили с собой девять десятых друзей, это мы знаем и видим. Но долго ли за ними пойдет читающий русский люд — этого мы не знаем и не видим, а ведь мы пишем только для него. Не говоря о том, что мы не могли следовать на путях кровавого и дикого патриотизма за нашими врагами, нам кажется, что по мере того как он будет стынуть, по мере того как опротивят «Моск. ведомости» и муравьевские меры, по той мере будут возвращаться наши читатели.

Что лично сильные люди, бойкие таланты, 37 А. И. Герцен

полные юной свежести, могли опередить нас, должны были опередить, мы это не только знаем, но радуемся этому, как всякий человек, расчистивший путь, радуется, что по нем идут далее<sup>402</sup>; но опередило ли нашу пропаганду общественное мнение в России, этого мы не знаем и сильно сомневаемся.

Теоретическое преподавание *ex cathedra* \* идет по другим законам, чем журнальная речь. Круг чистой науки шире, выше и отвлеченнее; лекция уже потому независимее от аудитории, чем журнал от общественного настроения, что она говорит с юношами. Тут поневоле надобно вспомнить разделение труда и различие средств, сообразных разным целям. Первое условие успеха практической пропаганды — быть по плечу своему хору, всего шагом вперед и никогда двумя. Мы должны хору уяснить его собственные стремления, его смутные мысли, ставить силлогизмы его посылок, ставить точки на его *i*. Если мы уйдем от него далеко — он не пойдет за нами, если уклонимся — он оставит, если отстанем — он задавит или обойдет нас. Интересов его нельзя выдумывать или «конструировать», как делали немцы, их надобно брать у него и развивать. Мало ли в мире интересного и хорошего, но если оно не на череду, оно так же мало пойдет в ход, как квакерская агитация *Peace Society* во время Крымской войны<sup>403</sup>. Апостол Павел говорит своим пропагандистам: «Будьте все со всеми, с подзаконными

с кафедры (лат.)

будьте подзаконными и с свободными — свободны».

Ни отвлеченное мышление, ни дальние идеалы, ни логическая строгость, ни резкая последовательность сами по себе не помогут делу житейской пропаганды, если в ней не будут уловлены ближние идеалы, сегодняшние стремления, сомнения масс. Площадь и клуб, зала и всякий сход людей тем и отличается от замкнутого круга школьных друзей, что одни слушают, другие учатся или должны бы были учиться.

Следить из дали за меняющимся потоком мнения, особенно такого молодого, необузданного и только наполовину раскованного, как наше, было не легко, и мы, только доверяясь своему чутью, пролапировали, кой-как, темной и бурной ночью, между противоположными маяками, да и то потеряли весь балласт.

В этом, впрочем, мы себя не виним. Соответствие с направлением общества имеет предел, далее которого оно становится изменой. Звуки «Колокола» терялись, возбуждали гнев и негодование по той мере, по которой росла популярность Муравьева и «Моск. ведомостей». Муравьева откинули, «Моск. ведомости» перешли свою апогею и наверно будут бледнеть, худшее время мы пережили, и скоро на наш звон снова явятся блудные дети наши с седыми волосами и совсем без волос из патриотического стада, в котором не они пасли, а в котором их пасли.

По счастью, время, которое они провели Навуходносорами, не прошло даром, в нем выработались силы, которых никто не знал и ко-



торые могут быть иначе употреблены, чем на поддержку и защиту «скотного двора» и его пастухов, — но об этом потом.

Теперь возвращаемся к нашей *via mala* \* с ее двумя противоположными пропастями. Ни один схимник в пустыне не был так преследуем, так искушаем — с правой и с левой стороны.

Это началось не со вчерашнего дня. Когда в 1858 году напал на нас Червь с своим доктринерски-административным актом<sup>405</sup>, мы уже имели несколько пурпурно-красных писем, упрекавших нас в модерантизме, и пук брани за социализм, якобинизм, разные неуважения, продерзости и пр.

С тех пор одни постоянно считали нас анархистами, другие — губерменталистами, одни — гебертистами, другие — маркизами Поза, одни — кровожадными террористами, другие — постепеновскими прогрессистами, одни — говорили с ужасом: «Они зовут к топорам и пишут воззвания!»

другие—с скрежетом зубов: «Они не зовут к топорам и пишут не только к государю, но и к государыне»<sup>406</sup>.

На днях мы получили два письма. Одно от стародавнего друга, другое от стародавнего противника<sup>407</sup>. «Вы выбиваетесь из сил, — пишет друг, — вы гибнете, вы садитесь на мель оттого, что не имеете храбрости плыть на всех парусах, вы воображаете, что развитие пойдет \* тяжелой дороге (итал.)

мирным путем, а оно мирным путем не пойдет; пожалуй, вы еще надеетесь в этот несчастный одиннадцатый час на правительство, а оно может только делать вред; вы запнулись за русскую избу, которая сама запнулась да и стоит века в китайской неподвижности, с своим правом на землю; зовите людей, собирайте их, кликните клич, великое настает время, оно близко...»

«Вы тонете, — пишет противник, — в какой-то тине, и мне вас жаль. По временам у вас вырываются прометеевские вопли, но все-таки вы погружаетесь глубже и глубже в свою бездну. Вы должны переменить атмосферу, забыть прошедшее, обновиться, освежиться, приобрести другой язык. Теперь вашу речь нам, русским, читать тяжело, ни одного доброго слова мы от вас не слышим. Вы не встречаете в отечестве ни малейшей хорошей черты, точно как будто русские составляют какой-нибудь отверженный народ... Двадцать пять миллионов крепостных крестьян и двадцать пять миллионов казенных получают свободу и землю. Дворянское сословие переносит свою нужду с терпением и покоем, раздаются свободные голоса в думах, земских собраниях, в печати. Войска узнать нельзя. Духовенство обновляется... неужели все это не находит отзыва в душе, любящей истинно отечество? Нет, ваш Колокол треснул, благовестить вы не можете, а зловестить есть преступление... Прозвоните же *De Profundis*, напишите эпилог...»

Так и хочется, читая, посыпать голову пеплом и идти в Соловецкий монастырь, а потом

привести себя в распоряжение светского начальства.

Новое обвинение, прибавившееся к прежним, одно: то, что мы «доброго слова не говорим о России», то, что мы «равнодушны к великим событиям, совершившимся там», словом, что мы ненавидим Россию и народ русский. Этого, помнится, ни Червь, и вообще ни один человек из нападавших на нас до патриотической проказы 1863 и 1864 408 никогда не говорил.

Трещина, о которой упоминает наш уважаемый противник, — оптический обман, это черная полоса, пролагаемая с берега виселицами, позорными столбами и столбами, к которым привязывают расстреливаемых..

Но при постоянстве этих обвинений, напоминающих спор о кафтане Недоросля<sup>409</sup>, не надобно выпускать из виду и третьего постоянства—именно нас, занимающих роль Тришки; мы не гибнем, не тонем, не вязнем, не грузнем, слушаем гласы сиреньи справа и слева и идем своей дорогой. За туманом и черными волнами нас не было видно, теперь становится посветлее — челнок опять на горизонте, с тем же знаменем...

Какое же это знамя у нас? Мы, не нарушая законов скромности, думаем, что его пора бы знать. Знают же цвет «Дня», цвет «Вести»...

«Мы глубоко убеждены, что нынешние государственные формы России никуда не годны, и от души предпочитаем путь мирного человеческого развития — пути развития кровавого, но с тем вместе так же искренно предпочитаем са-

мое бурное и необузданное развитие — застою николаевского *statu quo*».

В этих словах, сказанных нами во втором листе «Колокола» (1 августа 1857), не символ нашей веры, его знали все прежде, а так сказать, практический артикул наш, *notre gouverne* \*, объяснение наших путей. Мы с них не сбились и так же последовательно говорили: «Ты победил, Галилеянин!», когда государь стал открыто со стороны освобождения крестьян, как последовательно спрашивали его: «Куда вы?» и прибавляли: «Прощайте, нам с вами не по дороге», когда он, шаткий и колеблющийся, склонялся больше и больше в реакцию и подогрел в 1860 г. нелепый Священный союз.

Союз не удался — опять Александр мог двинуться вперед во всех внутренних вопросах и опять, освобождая крестьян, он пятился и упирался во всем.

Нас мучило сознание, что великое пересоздание «так близко, так возможно»<sup>410</sup>, и так беспричинно упускается из рук, долгое время гнались мы за императором, хватали его за шинель, становились с «Колоколом» за пуговицей на его дороге<sup>411</sup> (он тогда еще читал нас) и указывали ему кротко и дерзко,

прося и раздражая, что он сворачивает с дороги. Но куды, державный кучер заломил себе Мономахову шапку — и несся по воле лошаков, запряженных в придворный рыдван.

наше правило поведения (франц.)

==584

Нам было жаль его. У нас не было ни систематической оппозиции, ни демагогической, натянутой ненависти; мы первые приветствовали его свободным русским словом при его восшествии на престол, мы хотели с изгнанниками старого мира, с главами европейской революции пить за освободителя крестьян и непременно сделали бы это, если б страшная весть из Варшавы 10 апреля 1861 г. не залила наши бокалы и плошки польской кровью .

Над этой кровью мы призадумались и печально спрашивали себя: «Наконец, кто же он такой и куда идет?» Конечно, польский вопрос наболел у них, Польшу он боится, тем не меньше дразнить надеждами и стрелять в безоружных. .. это слишком!

Вдруг выстрел с другой стороны — Антон Петров пал расстрелянный на груди убитых крестьян...

Неужели ошибка, страх могут идти до того?.. Он обманут — это клевета крепостников, их месть.

Еще блеск молнии — Арнгольдт, Сливицкий, Ростковский... Это уж не ошибка, это преступление. ..

А тут и пошло — одно дело за другим... дело Михайлова, Обручева, студентское дело, гонение на журналы, аресты, ссылки, выдумка политических пожаров, поощрение растленной литературы. ". Нет, все это не ошибка, а какой-то нелепый и безнравственный заговор.

— «Да, но 1862 год!»

— Ну что же было в этом пресловутом 1793 году на Неве<sup>413</sup>? Ведь четвертый год по-

==585

шел с тех пор, пора людям, закрывшим глаза от страха, их раскрыть и покраснеть до ушей. Надобно было всю гадкую злобу педанта, над которым смеялись юноши, всю мстительность вздутой ничтожности, поднятой несчастными событиями на высоту полицейского, бесконтрольного обвинителя, чтоб уверять, что правительство и общество ходят по подкопам, сделанным «Молодой Россией», и что два дня позже — и кучка студентов с двумя-тремя офицерами провозгласит на Адмиралтейской площади республику, окруженную нигилизмом и пугачевщиной <sup>414</sup>.

Правительство представило испуганный вид, хотело испугаться. Его начали беспокоить свободные речи, оно шутило в либерализм, шутка эта начала ему надоедать, и оно, придравшись к пожару, не имевшему ничего общего с тайно напечатанными листами, подняло общее преследование.

.. Если так, то, без сомнения, было бы лучше, чтоб кровь лилась за дело и люди гибли бы, сделав больше тайно напечатанных прокламаций и шиллеровских professions de foi...

Без сомнения, — но имела ли она силу литься за дело — мученичество 'не вовремя всегда остается великим примером, но не есть дело.

В этом-то состоял главный вопрос. Не знаем, как его решали те и другие, мы сомневались в положительном решении его. Сколько мы ни смотрели и ни разглядывали, мы не видели в России 1862 года ни одного элемента достаточно крепкого и зрелого, ни одного вопроса

==586

достаточно разработанного и общего, чтоб во имя его могла собраться мощь, и мощь достаточная, чтоб бросить перчатку правительству — с уверенностью, что ее поддержат в борьбе.

Разве мог удался какой-нибудь лейб-гвардейский переворот. Такие перевороты делают и холера, и тиф, и воспаление с Мандтом.

Ни одна задача из возбужденных задач не была ни так разработана, ни так обща, ни так ясна, чтоб сделаться хоругвью. Чисто политический вопрос не занимал. Вопрос крестьянский с поземельным наделом и общиной не совпадал с экзотическим социализмом литературы, дворянский либерализм — шел вразрез тому и другому. Правительство неуловимо шаткое, от отсутствия всякой определенности, было сильно этой шаткостью и всякими отрицательными силами, — сильно ожиданием народа, нескончаемостью крестьянского вопроса, боязнью дворянства, упованиями литературы... Тут не могло быть ни прочности, ни взрыва. Элементы росли, и казенное платье поролось по швам. С пожара в Петербурге начиная, правительство было готово разить, и, глядя кругом, оно, как библейская Гофолия, находило одного врага — отрока 415, отроков, не боящихся говорить слова истины. Оно набросилось на молодое поколение и непременно срезалось бы, если б ему на помощь не явился его злейший, его законнейший и стародавний враг — Польское восстание.

Польское восстание, опирающееся на Европу, разом остановило брожение и рост стихий, разъедавших обветшалый организм русского

==587

императорского государства, и дало правительству точку опоры и оправдание.

Мнение «Колокола» о Польше и польском деле было высказано в ряде писем (1859—60), мы его никогда не меняли ни на йоту; что Польша имеет полное право на независимое государственное положение, в этом не может сомневаться ни один добросовестный человек. Польшу можно подавить, убить, вывести в Сибирь, вытолкать в Европу — все это зависит от силы, это может сделать Россия, так, как мог прежде сделать Чингис-хан, Тамерлан и не знаю кто, — это будет факт, как кораблекрушение, и будет иметь свое физическое объяснение, но не больше. На зарезанном человеке ставится крест — немим протестом против злодейства, над убитым народом носится его история, и кто знает, что она, переселяясь из поколения в поколение, не воскреснет снова в одном из них.

Греция воскресла меньше полувека тому назад.

Ирландия не сделалась Англией. Венеция молчит, как молчал Милан<sup>416</sup>. Мы знаем, что значит это безмолвие.

Но признавая право Польши, остается вопрос — вовремя ли она его предъявила. Мы думаем и думали, что несчастнее минуты нельзя было избрать. Все, даже длинный трагический пролог, все было против восстания. Войска после Крымской кампании отдохнули, Европа и не думала поднимать крестовый поход из-за чужого права.

==588

Мы знали, какого зверя будили и дразнили поляки своими демонстрациями и выстрелами, и трепетали за них и за Россию и до конца умоляли их остановиться; мы говорили им, что в России все готовится и ничего не готово, что движение, которое они видят, истинно и глубоко, но далеко от той «организации», о которой они мечтали, мы повторяли сто раз, что Европа пальцем не тронет, чтоб их спасти, что все ее симпатии и разглагольствования — «упражнения в стиле». Мы говорили им, что самое участие русских офицеров было больше отрицательное, что они не хотели быть палачами... Мы это знали и вместе с ними умоляли и правительство и Константина Николаевича пощадить русскую кровь, русскую честь и не искушать офицеров противоречием долга и совести. Такова была; наша речь накануне Велепольского набора — и на другой день после того, как кровь уж лилась в Царстве<sup>417</sup>.

И после этого нас обвинили, что мы подстрекали поляков ложными уверениями о том, что Россия готова восстать на Волге и Доне, в Украине и Сибири.

Слабые слова наши, которыми мы старались удержать трепетавших от негодования бойцов, ничего не могли сделать и исчезли каким-то дальним, непризнанным, сторожевым криком.

Беда распахнулась во всей силе... горели деревни и местечки, солдаты грабили и убивали, начальники грабили и вешали, поляки начинали мстить, русский народ подымали слухами о новом 1812 годе; ненавидимый всей Россией Му-

==589

равьев ехал в Вильну — общество рукоплескало его назначению.

Положение наше было невыносимо тяжело. Броситься на сторону победителя, свирепого и сильного, встретиться с Муравьевым и Катковым, подтянуть хору палачей и придворных Евменид<sup>418</sup> ...этого от нас никто не ждал, ни даже враги наши. С Западом, обманувшим Польшу, не оставалось ни одной теплой искренней связи. В польском деле мы все же были посторонними. Общественное настроение в России наводило ужас и отвращение... Наша журналистика превзошла все виденное в самые печальные эпохи политических распрей и клевет. Давая себе вид демократически-верноподданный, она довела свой самодержавный якобизм и православное санкюлотство до барковского сквернословия «Московских ведомостей»<sup>11У</sup>, до бесстыдства образов и просвирок Муравьеву.

Мы протестовали \*, т. е. сделали все, что может сделать лично человек перед дикой силой, мы заявили наш голос, для того чтоб он в будущем свидетельствовал, что такой разврат общественного мнения и публичной речи не мог пройти без отпора, без слабого, отдельного, затерянного, но неизгладимого veto.

Были минуты, в которые нам хотелось замолчать, но нас уже не оставляли в покое ни клевета, ни беспрерывно повторявшиеся преступления. Наглость росла, уступить ей место было сверх сил.

«Колокол», 1 августа 1863.—Прим. А. И. Герцена.

==590

В эту темную ночь были написаны следующие строки: «Ни вблизи, ни вдали нет ни успокоения, ни отрады («Колокол», октябрь 1863, письмо из Неаполя), такое положение редко встречалось в истории. Разве в первые века христианства испытывали подобную скорбь чуждости в обе стороны монахи германского происхождения, развившиеся в римских монастырях. Спасать языческий мир не их было дело, его падение они предвидели, но не могли же они сочувствовать диким ордам единоплеменников, бессмысленно шедшим на кровавую работу совершающихся судеб. Им оставалось одно — идти с крестом в руках и с словом братского увещания к рассвирепевшим толпам, стараясь добраться до чего-нибудь человеческого в их загрубелых сердцах. Креста у нас нет... слово осталось, но до человеческого чувства мы еще не договорились» 420.

И при всем этом замолчать было решительно невозможно. Другой мощный голос, рядом с отчаянием, громко говорил, что наше будущее выбьется из этой грязи и крови...

II

«... Но замолчать было невозможно. Другой мощный голос громко говорил, что наше будущее выбьется из этой грязи и крови...» Этими словами заключили мы прошлую статью и ими начинаем ее второй отдел.

Совершившееся зло было велико, обличившееся нравственное растление безмерно. Петер-

==591

бургское правительство, вышедшее из школы Бирона и Аракчеева, отстало, общественное мнение толкало его дальше и дальше в кровавую пропасть. «Мы втеснили Петербургу Муравьева»,—говорил мне один из «свирепых» в 1864 году в Лондоне. Общество поощряло доносы «Моск. ведомостей». Помраченье совести дошло до того, что честный и независимый от светских властей орган — «День» — помещал статьи ничем не лучше катковских. Люди, которых мы знали лет двадцать кряду врагами всякого насилия, не краснея толковали о государственной необходимости всех нечеловеческих мер и полицейских неистовств в Литве и Польше.

Что же значил голос, поддерживавший нас в самые тяжелые минуты?

... Голос вечной надежды и утешенья, который вместе с предсмертным бредом раздаётся в ушах умирающего, суля ему выздоровление или обещая рай? .. Голос, который из века в век пророчит иудеям славу Иерусалима и восстановление храма Соломонова?

Нет — это был голос здоровой, сильной груди, голос, по-видимому, непоследовательно отрекавшийся среди преступлений и злодейств от ответственности за них, во имя каких-то иных начал и какой-то грядущей жизни... Как будто нам вместо казни и каторги следовали венки и плоды!

Нашей людской нравственности и справедливости не надо искать ни в природе, ни в истории: евангельское «имущему дастся» одно исполняется в мире стихий и их развития. Исто-

==592

рия — быль, а не басня, она имеет часто в конце периода урок, но никогда не имеет нравоучения. Право сильного, крепкого, право первого захватившего место, право дерзкого, сунувшегося вперед, одно признано безусловно. Тот, кто раньше вышел на работу и трудился, пока другие спали... тому наименьшая жатва и самый тяжелый труд. Тот, кто первый отправился в путь, плетется себе каким-нибудь проселком в телеге, а тот, кто опоздал, обгоняет его в вагоне, да еще посмеивается из окошка, как другой вязнет в грязи. Но обыкновенно трубить победу не приходится ни тому, ни другому... по большей части оба остаются в дураках и кто-нибудь третий, который вовсе не ездил и не работал, воспользуется и трудом и вагоном — и это потому только, что он, не зная опасности, не боится е<sup>л</sup>ать за протянутую цепь или за торную дорогу, не боится искать на свой страх брод, или, еще проще, потому, что стоит по ту сторону оврага.

Один народ за другим, выбиваясь из сил, идет к свету и свободе, ноги скользят, теряется грунт, течет кровь... они подаются назад... начинают снова свой путь, кто тихо, кто быстро и далеко не доходя ни до свободы ни до света, натываются на границу, на опущенный шлагбаум и на громовое Halte\*! У них подкашиваются ноги, опускаются руки, они пятятся и строятся перед какой-то неизвестной бедой, упираясь на одном месте. Смелчаки, стыдя их, \* Стойте! (нем.)

==593

идут за кордон, их побивают камнями как дезертиров в будущее.

Halte! И французская республика отступает в империю, строится в империю, потеряны дальние горизонты, брошены трубы, которыми «великий народ» трубил всему миру последнюю великую повестку в 1848 году, забыты смелые идеи, везде благочинный порядок, словно ждут неприятеля, и сам народ чувствует, что остановиться было пора, что еще шаг — и он упал бы в зияющую пропасть...

Может, это самое худшее, самое печальное в современной драме.

Бывало, наши солдаты на постое у крестьян проводили черту мелом по полу и все, что попадалось за нее, отбирали. Жаловаться тому, кому не хотелось иметь вместо одной черты на полу — сотню на спине, было невозможно. Таким образом вся изба, вместо того чтоб делать дело, занималась караулом и обращением вспять неугомонных кур и цыплят, переходивших линию. Но самый замечательный факт во всем этом состоял в том, что ни солдат, проводивший мелом черту, ни крестьянин, не смевавший ее стереть, не верили в нее. Один, не веря в свое право, насильствовал, благо власть в руках; другой, не веря в его право, повиновался — это очень дурно, очень скверно, очень безнравственно, но легче проходит, чем то, когда теснят с верой и повинуются с религией.

Следы нашего рабства позорны и бросаются в глаза, как следы розог, и, как следы розог, остаются на поверхности.

==594

Ни правительство, ни барство, ни крепостные, ни духовенство, ни сенат, ни синод — никто в сущности не верит в истину своей власти или своего безвластия. Оттого-то все и боятся всего, а иные всего надеются, оттого-то все и порют беспрестанно горячку. С одной стороны, они видят, как распускается, тает этот государственный быт, с другой — они чувствуют, что не на чем стоять, а поддерживать надо выгодный для них механизм, они и поддерживают его — чем попало, вздувая наше парное православие в какой-то иконописный иезуитизм, разделяя Россию на военные уделы и предоставляя удельным генералам право на жизнь и смерть их подданных и пр. И при всем этом печатный листок в тайной типографии, странно вспыхнувший лабаз приводит их в ужас, всякий юноша, выходящий вперед свободным человеком, заставляет трепетать. Они боятся Михайлова, боятся Чернышевского. Орлов-Давыдов просит конституцию, чтоб отражать Бокля и Бунцена, Безобразов благодарит публично Каткова за спасение отечества и поправление «Колокола».

Правительство, словно обрадовавшись польскому восстанию и пожарам, пошло с конца 1862 года прямее осаживать на всех путях, на всех точках... С тех пор оно беспрерывно шумит, давит, кричит, ставит барьеры, дерется, убивает, прет народ назад своей грудью и лошадиным задом, т. е. тайной полицией и «Московскими ведомостями». Никто явно не препятствует ему и ничего не идет назад, все только жметя и подается то вправо, то влево.

==595



Не будь каждый шаг этого сумбура полит кровью, сопровождаем казнями, казематами, каторжной работой, то зрелище, представляемое теперь Россией, было бы исполнено всемирно-исторического комизма и иронии, до которой не доходила ни одна ни божественная, ни дьявольская комедия. Это какое-то столпотворение вавилонское, шабаш, геологический переворот, приложенный к пластам гражданской жизни. Все странно, громадно и спутано. Правительство насильственно ломает, либеральное дворянство делается болезненной обструкцией на дороге к выходу, консервативен собственно один аграрный коммунизм, — и весь этот раствор под надзором полиции, которая ни во что не мешается, а спрашивает «кого бить?» и бьет.

Страшная путаница.

Да, господа, и да здравствует она! Благословите жмурки, в которые мы играем. В этом хаосе, в этом брожении, в этом твориле устоятся новые нормы, скристаллизуются иные основания, те, которые близки душе нашей и которым было бы труднее пробиться при готовых понятиях, принятых порядках, при вере, что солдат по праву протягивает мелом черту.

На Западе реакция имеет единство и смысл. Ее ломаные линии представляют уклонения и изгибы, приспособления и уступки одного пути, в ее выступающих и входящих частях, в ее острых и тупых углах есть план. Западная реакция вовсе не есть дело одного правительства, одного плана, а дело всех существующих властей и сил — академии и церкви, литературы и биржи,

==596

исполнительной власти и парламента. Есть одни и те же слова, предметы, точки, которые неминуемо, когда вы их коснетесь, вызовут во всей Европе грозно постукивающих духов. По их появлению можно верно начертить пограничную линию, за которую европейская жизнь не идет, за которой она окапывается на долгие зимние квартиры...

Говорите о всеобщей подаче голоса, об уничтожении смертной казни, о свободе книгопечатания, вероисповеданий, митингов, у вас будут сторонники, будут противники, пожалуй, явятся постукивающие жандармы, но постукивающих духов вы не вызовете. Но рядом есть вопросы, от которых равно встрепенутся и отпрянут папа и Мадзини, архиерей Дюпанлу и Эдгар Кине, вчерашний бернский консилиум социальных, врачей и завтрашний туринский, Sacre College в Риме и европейский комитет в Лондоне.

В России пограничная линия эта местами, так, как и снежная, теряется. Мы за ней, мы по ту сторону.

Отсюда ясно, что правильной реакции у нас быть не может, в ней нет действительной необходимости. .. А как скоро реакция бессмысленна, то она и должна носить тот бессмысленный характер, в котором она является у нас. Случайные поводы, случайные меры, капризы, непонимания, власть, не обузданная разумом и не боящаяся ответственности, азиатские привычки и казарменное воспитание, никакого плана и никакой системы. Главный отпор всегда был

==597

устремлен на наружное, на слово, а не на дело. К половине гонений примешана трусость беспокойной совести и правительственная обидчивость. Тип петербургских мер остается бритье бород, стрижка волос, возвращение дельной бумаги из канцелярии потому, что она не по форме написана. Сам Николай, тридцать лет оборонявший Россию от всякого прогресса, от всякого переворота, ограничивался только фасадом строя, не порядком, а видом порядка. Ссылая Полежаева, Соколовского за смелые стихи, вымарывая слова «вольность», «гражданственность» в печати — он пропустил сквозь пальцы Белинского, Грановского, Гоголя и, сажая на гауптвахту цензора за пустые намеки, не заметил, что литература с двух сторон, быстро неслась в социализм.

Снова вступая в пути отпора и реакции, правительство «освобождений и реформ» показало, что и оно не поумнело.

Лиц оно сгубило бездну с бездушием и жестокостью, которые ужаснули бы всякого Бенкендорфа и Дубельта, вот и все. Движения оно не остановило, даже не вогнало его внутрь, как это было при Николае.

А между тем правительство никогда не было сильнее. Хорошее и дурное, Севастополь и Парижский мир, освобождение крестьян и восстание Польши, пустые угрозы Европы и реформы *in spe* \* — все было ему на руку. Литература изменила, журналы сделались каланчами III от-

ождаемые (лат.)

==598

деления, университетские кафедры полицейскими будками, дворянство парализовало себя тоской по крепостному праву, крестьяне продолжали ждать воли от царя.

Правительство, так поставленное, могло сделать чудеса по плюсу и по минусу. Что же оно сделало?

Постоянно испуганное и настороже, оно казнило и казнит направо и налево, чего никогда не делают правительства, чувствующие твердую почву под собой. Оно казнило поляков, победивши их оружием. Оно казнило поджигателей, объявляя потом, что тех поджогов, о которых кричали его литературные шпионы, вовсе нет; оно ссылало за воззвания, за перехваченные письма, за чтение «Колокола» и било сплеча и без разбора каждого человека, выдававшегося вперед не, по начальству, не по форме. Идет с чужбины домой крестьянин Мартьянов, с поэтической верой в земского царя, с доверием, которое тронуло бы любого не только помазанного, но и разрисованного африканского самодержца, — хватить и Мартьянова дубиной по голове да на каторгу.

И в то же время растут другие силы возле, вдали, вблизи и перерастают официальную силу, живущую в Зимнем дворце. Даже те силы, которые сам Зимний дворец вызвал, купил, воспитал и наградил, оказываются змеями, отогретыми на груди его.

Правительство разнуздало дикие заявления патриотизма, поддразнило народную ненависть и религиозную нетерпимость клеветой своих

журналов, оно призвало народ в судьи. Как в 1812 году перед занятием Москвы французами граф Ростопчин вывел на площадь Верещагина и отдал его расвирепевшей толпе, так наше гласное правительство отдавало своих противников стае грязных борзописцев, останавливая прикладом цензуры всякое оправдание и всякую защиту. Народные сходки, открытое обсуживание земского дела, заявление своих сочувствий к правительственным лицам и мерам, политические банкеты, демагогические тосты, террористические иконы — все было разрешено. Государственные мудрецы потирали себе руки и не могли нарадоваться, как «славно подождли» общественное мнение и как злы, кровоохочи спущенные ими агенты литературно-полицейской своры. Глубокие психологи с портфелем воображали, что, привыкнувши к людскому стону и людской крови, звери их, как крыловские дворняжки, полают и перестанут, как только хозяева свистнут, — не тут-то было.

Двух с половиною лет не прошло, как перейденное в своем собственном смысле правительство захотело заарканить свою свору—и не могло. У одного министра искусана рука, у других исподнее в ключьях. Да и что министры, особенно из штатских! Сам Константин Николаевич не нашел спуска. «Моск. ведом.» затеребили его, он и на кислые воды от них и в немое председательство — нет отбоя, и теперь, только покажется из Совета, в котором притаился, так они и зальются опять, так и норовят изорвать адмиралтейскую шинель ...

Правительство с каким-то тупым остоленением видит перед собой до сих пор неизвестную ему власть, которую хочет по миновании надобности прогнать — и которая упирается. .. Зачем было замешивать в семейный концерт посторонних музыкантов?

Комическое единоборство министра просвещения с казенным листом, издающимся против него под фирмой одного из подведомственных ему мест<sup>423</sup>, пройдет; пройдет и то гнусное настроение общественного мнения, на которое опирается гнусная газета, но сознание того, что может сделать журнал, когда общественное мнение за него, останется.

То же самое мы видим в другой сфере, больше близкой к самому делу.

Патриотические банкеты замолкли, никто не пьет больше Муравьеву, ни просто, ни по телеграфу, никто не шлет больше любовных адресов государю, и время, в которое будут краснеть, вспоминая эту роскошь раболепия, — не за горами. А привычка сходки, коллективного обсуживания и челобитья останется. Адрес московского дворянства, в котором они хотят не только любить государя, но и говорить с ним без свидетелей, без опричников, и говорить именно о чиновничьем безобразии, станет началом конституционной агитации, которая обойдет всю Россию и в свою очередь разбудит иную агитацию, чем ту, о которой мечтают Безобразовы и Давыдовы-Орловы. Если б Александр II, руководствуясь примером родителя, молча душил поляков и молча посылал бы на каторгу своих,

вопрос о взятии под опеку самодержавия не поднялся бы так скоро...

Ne reveillez pas le chat qui dort\*!.. Только, на беду, будить кошку или нет — не так зависит от личной воли, как кажется. И в этом нет никакого фатализма, а одна эмбриогения, одни фазы органического развития. Вчера плод не был зрел и кошка спала мертвым сном, сегодня он зреее... и кошка спит сном девичьим и как нарочно ее все будят.

Дело в том, что наша груша зреет не по дням, а по часам, и потому все будит нас — император Александр и «Молодая Россия», московские дворяне и петербургские нигилисты, льготы и каторги, вёдра и ненастья. Пора нам твердо убедиться в этом и действовать сообразно убеждению.

Дойдем мы, конечно, куда идем без компаса и секстанта, если сила — новая и неожиданная — не остановит; но сознание осветит путь и предупредит пустое шатание из стороны в сторону, смутные шаги назад и грубые ошибки. Нам надобно вперед знать, в какой зодиакальный знак мы вступаем.

Мы как будто робеем ставить некоторые вопросы. Робость эта почтенна, это тот страх вместе с верой, с которым христиане звали к приобщению телом и кровью, к участию в «тайне», — но и его необходимо победить. Не все же иностранцам указывать нам, что у нас под ногами, как это сделал Гакстгаузен<sup>424</sup>. Досадно видеть, что

Не будите спящего кота! .. (франц.)

они ненавистью больше понимают, чем мы любовью, а действительно понимают.

Оставляя в стороне враждебные голоса, завывающие в ежедневной прессе, мы сошлемся на старого мыслителя, у которого кровь обращается покойно, который много жил в прошедшем, много видел в настоящем и много думал об обоих. Речь идет об Эдгаре Кине. Он до сих пор мало говорил об России, он ею не занимался. Но пораженный теперь «аграрным характером» освобождения крестьян и взглядевшись в него, он, несколько испуганный, принялся упрочивать мнение, что Конвент, что революция, что 1793 год, что Робеспьер и его товарищи, разрушая все общественное зданье, касаясь до всего, до головы живого человека, до церковных колоколен, до верховной власти, никогда не касались до «собственности» и всего больше до «поземельной собственности», до этой животворящей, единоспасающей основы общества, образования, семьи, личности, свободы. Гражданский кодекс — величайший памятник Конвента — освятил и упрочил ее. Для Кине бабунизм (социализм) — чуждый элемент, не совместный с гением народов франко-галльских, который сбивает революцию с величавых путей ее, переходит пределы, ей назначенные, и теряет из-за своих аграрных грабежей и чечевичной похлебки то, из-за чего она сама лила столько крови и пота, — Свободу.

И вот он указывает вдали на какие-то необозримые степи рабства и коммунизма, в которых едва заметно и почти молча рухнула колос-

==603

сальная поземельная собственность двух дворянств, прибавляя как будто с иронией, что «террор Конвента никогда так далеко не ходил — он только убивал!»

... Оно и немудрено, то так мало от него осталось...

Перед такого рода суждениями пора и нам громко и подняв голову сказать нашим судиям: «Да, вы правы, мы народ, иначе понимающий поземельную собственность, для вас социализм был заходящим солнцем, для нас восходящим... Мы шли за вами, пути наши пересеклись, и мы снова пойдём не по одной дороге — вы пролетариатом к социализму, мы социализмом к свободе».

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVIII. М., 1959, стр. 451—469.

==604

[00.htm - glava18](#)

## **ПОРЯДОК ТОРЖЕСТВУЕТ [ОТРЫВОК]**

Мы русским социализмом называем тот социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владенья и общинного управления,— и идет вместе с работничьей артелью навстречу той экономической справедливости, к которой стремится социализм вообще и которую подтверждает наука.

Название это тем необходимее, что рядом с нашим учением развивались, с огромным талантом и пониманием, теории чисто западного социализма, и именно в Петербурге. Это раздвоение, совершенно естественное, лежащее в самом понятии, вовсе не представляло антагонизма. Мы служили взаимным дополнением друг друга.

Первые представители социальных идей в Петербурге были петрашевцы. Их даже судили как «фурьеристов» \*. За ними является сильная личность Чернышевского. Он не принадлежал исключительно ни к одной социальной доктрине, но имел глубокий социальный смысл и глубокую критику современно существующих порядков. Стоя один, выше всех головой, среди петербургского брожения вопросов и сил, среди

Нас в 1834 году правительство обвиняло в сенсимонизме.—Прим. А. И. Герцена.

==605

застарелых пороков и начинающих угрызении совести, среди молодого желания иначе жить, вырваться из обычной грязи и неправды, Чернышевский решился схватиться за руль, пытаясь указать

жаждавшим и стремившимся, что им делать. Его среда была городская, университетская, — среда развитой скорби, сознательного недовольства и негодованья; она состояла исключительно из работников умственного движения, из пролетариата, интеллигенции, из «способностей». Чернышевский, Михайлов и их друзья первые в России звали не только труженика, съедаемого капиталом, но и труженицу, съедаемую семьей, к иной жизни. Они звали женщину к освобождению работой от вечной опеки, от унижительного несовершеннолетия, от жизни на содержании, и в этом — одна из величайших заслуг их.

Пропаганда Чернышевского была ответом на настоящие страдания, слово утешения и надежды гибнувшим в суровых тисках жизни. Она им указывала выход. Она дала тон литературе и провела черту между в самом деле юной Россией и прикидывавшейся такою Россией, немного либеральной, слегка бюрократической и слегка крепостнической. Идеалы ее были в совокупном труде, в устройстве мастерской, а не в тощей палате, в которой бы Собакевичи и Ноздревы разыгрывали «дворян в мещанстве» и помещиков в оппозиции.

Огромный успех социальных учений между молодым поколением, школа, вызванная ими, нашедшая себе не только литературные отго-

==606

лоски и органы, но начала практического приложения и исполнения, имеют историческое значение. Освобождение крестьян с признанием их права на землю, с сохранением общины и обращение к социализму молодых и деятельных умов, не закупленных жизнью, не сбитых с толку доктринаризмом, служили неопровержимым доказательством в пользу нашей всегдашней веры в характер русского развития.

В то время как мы, следуя шаг за шагом за прениями редакционной комиссии, за введением Постановлений 19 февраля и разбирая самые Постановления, старались ввести в сельский переворот, в самые учреждения наиболее своего взгляда, в Петербурге, Москве и даже в провинциях готовились фаланги молодых людей, проповедовавших словом и делом общую теорию социализма, которой частным случаем являлся сельский вопрос.

Но в этом-то частном случае и была архимедова точка, почин русского государственного пересоздания. Однажды — земля, уступленная крестьянам, право на землю, признанное и введенное в законодательство. Однажды — выборное начало сельской общины, утвержденное, и общинное землевладение, оставленное на свои собственные силы, как бы для последнего искуса... остальное должно было идти неминуемо с быстротой развивающейся спирали, у которой вынут с одной стороны сдерживавший шкворень.

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIX. М., 1960, стр. 193—195.

==607

[00.htm - glava19](#)

## К СТАРОМУ ТОВАРИЦУ

### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Одни мотивы, как бы они ни были достаточны, не могут быть действительны без достаточных средств, Иеремия Бентам (Письмо к Александру I)425

Нас занимает один и тот же. вопрос. Впрочем, один серьезный вопрос и существует на историческом череду. Все остальное — или его растущие силы... или болезни, сопровождающие его развитие, т. е. страдания, которыми новый и более совершенный организм вырабатывается из отживших и тесных форм — прилаживая их к высшим потребностям. Конечное разрешение у нас обоих одно. Дело между нами вовсе не в разных началах и теориях, а в разных методах и практике, в оценке сил, средств, времени, в оценке исторического материала. Тяжелые испытания с 1848 разнотозвались на нас. Ты больше остался, как был, тебя жизнь сильно помучила — меня только помяла, но ты был вдали — я стоял возле. Но если я изменился — то вспомни—что изменилось все.

Экономически-социальный вопрос становится теперь иначе, чем он был двадцать лет тому назад. Он пережил свой религиозный и идеальный юношеский возраст — так же, как возраст натянутых опытов и экспериментаций в малом виде, самый период жалоб, протеста, исключительной критики и обличенья приближается к концу. В этом великое знамение его совершеннолетия.

==608

Оно достигается наглядно, но не достигнуто — не от одних внешних препятствий, не от одного отпора, но и от внутренних причин. Меньшинство, идущее вперед, не доработалось до ясных истин, до практических путей, до полных формул будущего экономического быта. Большинство — наиболее страдающее—стремится одною частью (городских работников) выйти из него, но удержано старым, традиционным мирозерцанием другой и самой многочисленной части. Знание и понимание не возьмешь никаким *сoup d'Etat* и никаким *сoup de tete* 426.

Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душит, она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других. Хорошо ли это или нет? В этом весь вопрос.

Следует ли толчками возмущать с целью ускорения внутреннюю работу, которая очевидна? Сомнения нет, что акушер должен ускорять, облегчать, устранять препятствия, но в известных пределах — их трудно установить и страшно переступать. На это, сверх логического самоотвержения, надобен такт и вдохновенная импровизация. Сверх того, не везде одинаковая работа — и одни пределы.

Петр I, Конвент научили нас шагать семимильными сапогами—шагать из первого месяца беременности в девятый и ломать без разбора все, что попадется на дороге. *Die zerstorende Lust ist eine schaffende Lust*427 — и вперед за неизвестным богом-истребителем, спотыкаясь на разби-

тые сокровища—вместе с всяким мусором и хламом.

... Мы видели грозный пример кровавого восстания 428, в минуту отчаяния и гнева сошедшего на площадь и спохватившегося на баррикадах, что у него нет знамени. Сплоченный в одну дружину, мир консервативный побил его — и следствие этого было то ретроградное движение, которого следовало ожидать, — но что было бы, если б победа стала на сторону баррикад? — в двадцать лет грозные бойцы высказали все, что у них было за душой? .. Ни одной построющей, органической мысли мы не находим в их завете, а экономические промахи не косвенно, как политические, а прямо и глубже ведут к разорению, к застою, к голодной смерти.

Наше время — именно время окончательного изучения, того изучения, которое должно предшествовать работе осуществления, так, как теория паров предшествовала железным дорогам. Прежде дело хотели взять грудью, усердием, отвагой и шли зря, на авось—мы на авось не пойдем.

Ясно видим мы, что дальше дела не могут идти так, как шли, что конец исключительному царству капитала и безусловному праву собственности так же пришел, как некогда пришел конец царству феодальному и аристократическому. Как перед 1789 обмирание мира средневекового началось с сознания несправедливого соподчинения среднего сословия, так и теперь переворот экономический начался сознанием общественной неправды относительно работников. 39 а. и. Гсрвее

К старому товарищу

Как тогда упрямство и вырождение дворянства помогло собственной гибели, так и теперь упрямая и выродившаяся буржуазия тянет сама себя в могилу.

Но общее постановление задачи не дает ни путей, ни средств, ни даже достаточной среды. Насильем их не завоюешь. Подорванный порохом, весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчистятся развалины, снова начнет с разными изменениями какой-нибудь буржуазный мир. Потому что он внутри не кончен, и потому еще, что ни мир построющий, ни новая организация не настолько готовы, чтоб пополниться, осуществляясь. Ни одна основа из тех, на которых покоится современный порядок, из тех, которые должны рухнуть и пересоздаться, не настолько почата и расшатана, чтоб ее достаточно было вырвать силой, чтоб исключить из жизни. Государство, церковь, войско отрицаются точно так же логически, как богословие, метафизика и пр. В известной научной сфере они осуждены, но вне ее академических стен они владеют всеми нравственными силами.

Пусть каждый добросовестный человек сам себя спросит, готов ли он. Так ли ясна для него новая организация, к которой мы идем, как общие идеалы — коллективной собственности, солидарности, — и знает ли он процесс (кроме Простого ломанья), которым должно совершиться превращение в нее старых форм? И пусть, если он лично доволен собой, пусть скажет, готова ли та среда, которая по положению должна первая ринуться в дело.



## ==611

Знание неотразимо—но оно не имеет принудительных средств—излечение от предрассудков медленно, имеет свои фазы и кризисы. Насильем и террором распространяются религии и политика, учреждаются самодержавные империи и нераздельные республики, насильем можно разрушать и расчищать место— не больше. Петроградизмом социальный переворот дальше каторжного равенства Гракха Бабёфа и коммунистической барщины Кабе не пойдет 429. Новые формы должны все обнять и вместить в себе все элементы современной деятельности и всех человеческих стремлений. Из нашего мира не сделаешь ни Спарту, ни бенедиктинский монастырь. Не душить одни стихии в пользу других следует грядущему перевороту, а уметь все согласовать — к общему благу (как мечтали о страстях фуриеристы) 430.

Экономический переворот имеет необъятное преимущество перед всеми религиозными и политическими революциями — в трезвости своей основы. Таковы должны быть и пути его — таково обращение с данным. По мере того как он вырастает из состояния неопределенного страдания и недовольства, он невольно становится на реальную почву. Тогда как все другие перевороты постоянно оставались одной ногой в фантазиях, мистицизмах, верованиях и неоправданных предрассудках патриотических, юридических и пр.

Экономические вопросы подлежат математическим законам. Конечно, математический, как и всякий научный, закон носит доказательства

## ==612

в самом себе и не нуждается ни в эмпирическом оправдании, ни в большинстве голосов. Но для приложения—эмпирическая сторона и все внешние условия осуществления выступают на первый план. «Мотивы могут быть истинны, но без достаточных средств они не осуществляются». Все это принято во всех делах человеческих и обходится слишком сангвиническими людьми в деле такого значения, как общественное пересоздание. Какой механик не знает, что его выкладка, формула не перейдет в действительность, пока в ряду явлений, захватываемых ими, будут элементы, неподчиняющиеся, посторонние или подлежащие другим законам. Большей частью в физическом мире эти возмущающие элементы несложны и легко вводятся в нее, как вес линии маятника, упругость среды, в которой делаются его размахи, и пр. В мире исторического развития это не так просто. Процессы общественного роста, их отклонения и уклонения, их последние результаты до того переплелись, до того неразымчато взошли в глубочайшую глубь народного сознания, что приступ [к] ним вовсе не легок, что с ними надобно очень считаться, — и одним реестром отрицаемого, отданным, как в «приказе по социальной армии», ничего, кроме путаницы, не сделаешь.

Против ложных догматов, против верований, как бы они ни были безумны, одним отрицаньем, как бы оно ни было умно, бороться нельзя,—сказать «не верь!» так же авторитетно и, в сущности, нелепо, как сказать «верь!»

Старый порядок вещей крепче признанием. его, чем материальной силой, его поддерживающей. Это всего яснее там, где у него нет ни карательной, ни принудительной силы, где он твердо покоится на невольной совести, на неразвитости ума и на незрелости новых воззрений \*, как в Швейцарии и Англии.

Народное сознание так, как оно выработалось, представляет естественное, само собой сложившееся, безответственное, сырое произведение разных усилий, попыток, событий, удач и неудач людского сожития, разных инстинктов и столкновений — его надобно принимать за естественный факт и бороться с ним, как мы боремся со всем бессознательным,—изучая его, овладевая им и направляя его же средства—сообразно нашей цели.

В социальных нелепостях современного быта никто не виноват и никто не может быть казнен — с большей справедливостью, чем море, которое сек персидский царь, или вечевой колокол, наказанный Иоанном Грозным<sup>432</sup>. Вообще винить, наказывать, отдавать на копыя — все

Что говорить о папских силлабусах и индексах, о полицейских наказаниях за такие-то и такие-то мнения, о сенатских решениях философских вопросов, когда неясность, сбивчивость самых элементарных понятий поражают в мире свободного мышления, в высших сферах оппозиций и революции.. . Вспомни старый спор

Мадзини против Прудона<sup>431</sup> и новое препирательство о вменении, о воле, об идеализме, о позитивизме—

Жирардена, Луи Бда.на, Жюля Симона, — Прим. А. И. Герцена,

это становится ниже нашего пониманья, Надобно проще смотреть, физиологичнее и окончательно пожертвовать уголовной точкой зрения, а она, по несчастью, прорывается и мешает понятия, вводя личные страсти в общее дело и превратную перестановку невольных событий в преднамеренный заговор. Собственность, семья, церковь, государство были огромными воспитательными формами человеческого освобождения и развития — мы выходим из них по миновании надобности.

Обрушивать ответственность за былое и современное на последних представителей «прежней правды», делающейся «настоящей неправдой», так же нелепо, как было нелепо и несправедливо казнить французских маркизов за то, что они не якобинцы, и еще хуже—потому что. мы за себя не имеем якобинского оправдания — наивной веры в свою правоту и в свое право. Мы изменяем основным началам нашего воззрения, осуждая целые сословия и в то же время отвергая уголовную ответственность отдельного лица. Это мимоходом—для того, чтоб не возвращаться.

Прежние перевороты делались в сумерках, сбивались с пути, шли назад, спотыкались... и, в силу внутренней неясности, требовали бездну всякой всячины, разных вер и геройств, множество

выспренных добродетелей, патриотизмов, пиетизмов. Социальному перевороту ничего не нужно, кроме понимания и силы, знания — и средств.

## ==615

Но понимание страшно обязывает. Оно имеет свои неотступные угрызения разума и неумолимые упреки логики.

Пока социальная мысль была неопределенна, ее проповедники — сами верующие и фанатики — обращались к страстям и фантазии столько, сколько к уму. Они грозили собственникам карой и разорением, позорили, стыдили их богатством, склоняли их на добровольную бедность страшной картиной ее страданий. (Странное *captatio benevolentiae* 433—согласись.) Из этих средств социализм вырос. Не то надобно доказать собственникам и капиталистам, что их обладание грешно, безнравственно, незаконно (понятия, взятые из совсем иного мирозерцания, чем наше), а то, что [современная монополия их—вредная" и обличенная] нелепость, [нуждающаяся в огромных] контрфорсах, чтоб не рухнуть, что эта нелепость пришла к сознанию, неимущих, в силу чего оно становится невозможным. Им надобно показать, что борьба против неотвратимого — бессмысленное истощение сил и что чем она упорнее и длиннее, тем к большим потерям и гибели она приведет. Твердыню собственности и капитала надобно потрясти расчетом, двойной бухгалтерией, ясным балансом дебета и кредита. Самый отчаянный скряга не предпочтет утонуть со всем товаром, если может спасти часть его и самого себя, бросая другую за борт. Для этого необходимо только, чтоб опасность была так же очевидна для него, как возможность спасения.

## ==616

Новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной. Нанося удар старому миру, он не только должен спасти все, что в нем достойно спасения, но оставить на свою судьбу все немешающее, разнообразное, своеобразное. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего бывшего и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании.

Но этого и не будет. Человечество во все времена, самые худшие, показывало, что у него в *potentialiter* — больше потребностей и больше сил, чем надобно на одно завоевание жизни,— развитие не может их заглушить. Есть для людей драгоценности, которыми оно не поступится и которые у него из рук может вырвать одно деспотическое насилие, и то на минуту горячки и катаклизма.

И кто же скажет без вопиющей несправедливости, чтоб и в былом и отходящем не было много прекрасного и что оно должно погибнуть вместе с старым кораблем.

Ницца, 15 января 1869.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Международные рабочие съезды становятся ассизами, перед которыми вызывается один социальный вопрос за другим<sup>434</sup>, они получают больше и больше организующий

## ==617

склад, их члены — эксперты и следопродуцители. Они самую стачку и остановку работ допускают как тяжелую необходимость, как *ris aller \**, как средство сосчитать свою силу как боевую организацию. Серьезный характер их поразил врагов. Сильное их покоя испугало фабрикантов и заводчиков. Было бы огромное несчастье, если б они преждевременно вышли из этого строя.

Работники, соединяясь между собой, выделяясь в особое «государство в государстве», достигающее своего устройства и своих прав помимо капиталистов и собственников, помимо политических границ и границ церковных, составляют первую сеть и первый всход будущего экономического устройства. Международный союз может вырасти в Авентинскую гору а *l'interieur*<sup>435</sup> — отступая на нее, мир рабочий, сплоченный между собой, покинет мир, пользующийся без работы, на свою доходную непроизводительность. .. и он, отлученный, *volens nolens*, пойдет на сделки. А не пойдет — тем хуже для него, он сам себя поставит вне закона — и тогда гибель его отсрочится только настолько, насколько у нового мира нет сил. А пока их нет — надобно в тиши собирать полки и не грозить. Угроза при бессилии вредна. Подавленный взрыв двинет назад. Досуг нужен для двойной работы — серьезного изучения и вербованья пониманьем, — а настороженный враг, имеющий силу в руках, схватится

крайнее средство (франц.)

## ==618

за оружие для своей обороны, прежде чем противный стан успеет построиться. Уничтожать и топтать всходы легче, чем торопить их рост. Тот, кто не хочет ждать и работать, тот идет по старой колее пророков и прорицателей, иересиархов, фанатиков и цеховых революционеров. .. А всякое дело, совершающееся при пособии элементов безумных, мистических, фантастических, в последних выводах своих непременно будет иметь и безумные результаты рядом с дельными. Сверх того, пути эти все больше и больше зарастают для нас травой, пониманье и обсуживание — наше единственное оружие. Теократические и политические догматы не требуют пониманья, они даже тверже и крепче покоятся на вере, без духа критики и анализа. «Папу надобно считать непогрешимым и уважать, царя слушаться, отечество защищать, писания и предписания исполнять. ..» Все прошлое, из которого мы хотим выйти, так и шло. Менялись формы, образы, обряды—сущность оставалась та же. Человек, склонявший голову перед капуцином, идущим с крестом, делал то же, что человек, склоняющий голову перед решением суда, как бы оно нелепо ни было. Из этого-то мира нравственной неволи и подавотритетности, повторяю, мы и бьемся выйти в ширь пониманья, в мир свободы в разуме.

Всякая попытка обойти, перескочить сразу— от нетерпенья, увлечь авторитетом или страстью — приведет к страшнейшим столкновениям и, что хуже, к почти неминуемым поражениям. Обойти процесс пониманья так же невозможно,

==619

как обойти вопрос о силе. Навязываемое предрешение всего, что составляет вопрос, поступает очень бесцеремонно с освобожденным веществом. Взять вдруг человека, умственно дремавшего, и огоршить его в первую минуту, спросонья, рядом мыслей, сбивающих все его нравственные понятия и к которым ему не поставлено лестницы, — вряд ли много послужит развитию!—а скорее смутит, собьет с толку оглашенного или, обратным действием, оттолкнет его в свирепый консерватизм.

Я несколько не боюсь слова «постепенность», опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей. Постепенность так, как непрерывность, неотъемлема всякому процессу разумения. Математика передается постепенно, отчего же конечные выводы мысли и социологии могут прививаться, как оспа, или вливаться в мозг так, как вливают лошадям сразу лекарства в рот?

Между конечными выводами и современным состоянием есть практические облегчения, компромиссы, диагонали, пути. Понять, которые из них короче, удобнее, возможнее, — дело практического такта, дело революционной стратегии. Идя без оглядки вперед, можно затесаться, как Наполеон в Москву, — и погибнуть, отступая от нее... не доходя даже до Березины.

Международное соединение работников, всевозможные соединения их, их органы и представители должны всеми силами достигать того невмешательства власти в работу, которое она не делает в управлении собствен-

==620

костью, должны становиться вольным парламентом четвертого состояния и вырабатывать, вырабатывать свою внутреннюю организацию, будущую канву, без всяких вперед идущих теодицей и космологии.

Формы, сдерживающие людей в полунасильственных и в полудобровольных ковах, а *la longue* \* не вынесут напора логики и развития общественного понимания. Одни из них до того' внутри сгнили, что им стоит дать толчок ногой; другие, как рак, держатся корнями в дурной: крови. Ломая одинаким образом те и другие, можно убить организм и наверное заставить огромное большинство отпрянуть. Всего яростнее восстанут за «рака» ... наиболее страждущие от него... Это очень глупо, но пора с глупостью считаться как с громадной силой.

Во всей Европе подымется за старые порядки сплошь все крестьянское население. А разве мы не знаем, что такое сельское население? Какова его упорная сила и упорная косность? Отобрав из рук революции земли эмигрантов, оно-то и подсидело республику и революцию. Конечно, оно отпрянет и накинется по неразумью и невежеству... но в этом-то вся важность.

На неразумье и невежестве зиждется вся прочность существующего порядка, на них покоятся старые, устарелые воспитательные формы, в которых люди выросли из несовершеннолетия и которые жмут теперь мень-

в конце концов (франц.)

## ==621

шинство — но которых вредную ненужность большинство не понимает. Мы знаем, что значит ошибиться в возрасте и в степени понимания. Всеобщая подача голосов, навязанная неприготовленному народу, послужила для него бритвой, которой он чуть не зарезался.

Но если понятия государства, суда сильны и крепки, то еще крепче укоренены понятия о семье, о собственности, о наследстве... Отрицание собственности—само по себе бессмыслица. «Собственность не погибнет», скажу, парафразируя известную фразу Людовика-Филиппа, видоизменение ее, вроде перехода из личной в коллективную, неясно и неопределенно 436. Крестьянину на Западе так же необходимо привилась его любовь к своей земле, как в России легко понимается крестьянством общинное владение. Нелепого тут ничего нет. Собственность, и особенно поземельная, для западного человека представлялась освобождением, его самобытностью, его достоинством и величайшим гражданским значением. Может быть, он убедится в невыгоде беспрерывно крошащихся и дробимых участков и в выгоде сводного хозяйства, общинных запасок полей... но как же его «без пристрастия» уломать, чтоб он спервоначала отказался от веками взлелеянной мечты, которой он жил и тешился и которая действительно поставила его на ноги — прикрепила к нему землю — к которой он был прежде крепок?

Вопрос, прямо идущий за тем — вопрос о наследстве, — еще труднее437. Кроме холостых

## ==622

фанатиков вроде монахов, раскольников, икариан и пр., никакая масса не согласится на безусловное отречение от права завещать какую-нибудь часть своего достояния своим наследникам. Я не знаю довода, по которому было бы можно противодействовать против этой формы любви избирательной или кровной, против передачи вместе с жизнью, с чертами, даже с болезнями — вещей, служивших мне орудием. Разве во имя обязательного братства и любви ко всем. В худшем человеческом положении у дворовых крепостных людей были кое-какие тряпки, которые они оставляли своим и которые почти никогда не отбирались помещиками. Отними у самого бедного мужика право завещать — и он возьмет кол в руки и пойдет защищать «своих, свою семью и свою волю», т. е. непременно станет за попа, квартального и чиновника, т. е. за трех своих злейших опекунов, обирающих его, предупреждающих, чтоб он ничего не оставил своим... но не оскорбляющих его человеческое чувство к семье, как он его понимает.

Что же тогда? . . Или свернуть свое знамя и отступить, потому что сила, очевидно, будет с их стороны, или ринуться в бой и в случае местной, •временной победы начать водворение нового порядка—нового освобождения... избиением!

Аракчееву было сполгоря вводить свои военно-экономические утопии, имея за себя секущее войско, секущую полицию, императора, Сенат и Синод, да и то ничего не сделал. А за упразднением государства — откуда брать

==623

«экзакуцию», палачей и пуще всего фискалов— в них будет огромная потребность? Не начать ли новую жизнь с сохранения социального корпуса жандармов?

Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляет вечную необходимость всякого шага вперед? . .

... Дальше я не пойду теперь. А скажу в заключение вот что. Стоя возле трупов, возле ядрами разрушенных домов, слушая в лихорадке, как расстреливали пленных, я всем сердцем и всем помышлением звал дикие силы на месть и разрушение старой, преступной веси, — звал, даже не очень думая, чем она заменится 438.

С тех пор прошло двадцать лет.

Мечь пришла с другой стороны, мечь пришла сверху... Народы все вынесли, потому что ничего не понимали ни тогда, ни после; середина вся растоптана и втоптана в грязь... Долгое, тяжелое время дало досуг страстям успокоиться и мыслям отстояться, дало досуг на обдумание и наблюдение.

Ни ты, ни я, мы не изменили наших убеждений, но разное стали к вопросу. Ты рвешься вперед по-прежнему с страстью разрушения, которую принимаешь за творческую страсть... ломая препятствия и уважая историю только в будущем. Я не верю -в прежние революционные пути и стараюсь понять шаг людской в былом и настоящем, для того чтоб знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной—не могут идти.

==624

И еще слово. Высказывать это в том кругу, в котором мы живем, требует если не больше, то, конечно, не меньше мужества и самостоятельности, как брать во всех вопросах самую крайнюю крайность. Я думаю, ты со мной согласишься в этом.

25 января 1869. Nizza.

### ТРЕТЬЕ ПИСЬМО

Нет, любезные друзья, мозг мой отказывается понимать многое из того, что вам кажется ясным... из того, что вы допускаете — и против чего я имею тысячи возражений.

Мозг стареет, может быть—и я беру в свою

защиту то, что один из наших друзей писал обо мне или Против меня.

«Человеку очень мудрено втолковать что-нибудь, о чем этот человек думает иначе. Тут действительно физиологический процесс, о котором столько говорят общими местами — и которого никто не хочет принять в расчет, как скоро дело доходит до дела. Мозг ничего не вырабатывает произвольно, а всегда вырабатывает результат соотношения принятых им впечатлений. Следственно, если впечатления у одного разнятся от впечатлений у другого на какой-нибудь дифференциал, то дальнейшее развитие соотношения впечатлений и результата, из них выводимого, т. е. постановка и дальнейшее развитие уравнения (которое есть единственная форма мозговых действий), может

==625

разойтись у одного от другого на расстояние, не возможное к совпадению.

В этом вся мудрость доказательства, доходящая почти до тщетных усилий».

Эти строки, собственно писанные против меня, совершенно справедливы, печально справедливы \*.

Мои возражения, так, как и вообще возражения, нетерпеливым людям начинают надоедать. «Время слова, — говорят они, — прошло, время дела наступило». Как будто слово не есть дело<sup>440</sup>? Как будто время слова может пройти? Враги наши никогда не отделяли слова и дела и казнили за слова не только одинаким образом, но часто свирепее, чем за дело. Да и действительно, какое-нибудь «Allez dire a votre maitre» Мирабо<sup>441</sup> не уступит по влиянию никакому *coup de main* \*\*.

Отрывок этот, приведенный из ответа Огарева на мое письмо к Бакунину, оканчивается так: «Каждый отдельный мозг, вследствие наращивания в себе своих впечатлений, встречает от них уклоняющиеся новые впечатления — или вовсе мимоходом, или не с достоюльной емкостью, или совсем отрицательно (т. е. враждебно). Отсюда каждый человек убежден или предубежден, что он прав, что положительно не может быть доказано даже в таких абстрактных специальностях, как математические построения (теория Тихо де Браге так же была построена на математических построениях, как и теория Галилея), и потому действительное признание истины требует новых мозгов, не увлеченных предыдущими впечатлениями. На этом даже зиждется знаменитое историческое развитие, или прогресс».—Прим. А. И. Герцена, \*\* внезапному удару (франц.)

==626

Расчленение слова с делом и их натянутое противоположение не вынесет критики, но имеет печальный смысл как признание, что все уяснено и понято, что толковать не о чем, а нужно исполнять. Боевой порядок не терпит рассуждений и колебаний. Но кто же, кроме наших врагов, готов на бой и силен на дело? Наша сила — в силе мысли, в силе правды, в силе слова, в исторической попутности.. .



Международные сходы только сильны проповедью, материально дальше отрицательной силы гревы \* они не могут идти.

— Стало быть, остается по-прежнему сидеть сложа руки весь век, довольствуясь прекрасными речами.

— Не знаю, весь ли век или часть его, но наверное до тех пор не сходить в рукопашную, пока нет ни единства убеждений, ни сосредоточенных сил... Быть правым в бою немного значит, правота давала победу только в суде божиим — у нас на небесное вмешательство надежды мало.

Чем кончилось польское восстание — правое в требовании, мужественное в исполнении, но невозможное по несоизмерности сил? ..

Каково теперь на совести тем, которые подталкивали поляков<sup>442</sup>?

На это говорят наши противники с каким-то философским фатализмом: «Избрание путей истории не в личной власти; не события зависят от лиц — а лица от событий. Мы только мнимо

гревы — забастовки (от франц. greves).

==627

заправляем движением, но, в сущности, плывем куда волна несет, не зная, до чего доплывем».

Пути вовсе не неизменимы. Напротив, они-то и изменяются с обстоятельствами, с пониманьем, с личной энергией. Личность создается средой и событиями, но и события осуществляются личностями и носят на себе их печать — тут взаимодействие. Быть страдательным орудием каких-то не зависимых от нас сил—как дева, бог весть с чего зачавшая, нам не по росту. Чтоб стать слепым орудием судеб, бичом, палачом божиим—надобно наивную веру, простоту неведения, дикий фанатизм и своего рода непечатое младенчество мысли. Честно мы не можем брать на себя роль Аттилы, ни даже роль Антона Петрова. Принимая их, мы должны будем обманывать других или самих себя. За эту ложь нам придется отвечать перед своей совестью и перед судом близких нам по духу.

То, что мыслящие люди прощали Аттиле, Комитету общественного спасения и даже Петру I, не простят нам. Мы не слышали голоса, призывавшего нас свыше к исполнению судеб, и не слышим подземного голоса снизу, который указывал бы путь. Для нас существует один голос и одна власть—власть разума и пониманья.

Отвергая их, мы становимся расстригами науки и ренегатами цивилизации.

Самые массы, на которых лежит вся тяжесть быта, с своей македонской фалангой работников, ищут слова и пониманья — и с недоверием смот-

==628

рят на людей, проповедующих аристократию науки и призывающих к оружию.

И заметьте, проповедники не из народа, а из школы, из книги, из литературы. Старые студенты, жившие в отвлеченьях, они ушли от народа дальше, чем его заклятые враги. Поп и аристократ, полицейский и купец, хозяин и солдат имеют больше прямых связей с массами, чем они. Оттого-то они и полагают возможным начать экономический переворот с *tabula rasa*, с выжиганья дотла всего исторического поля, не догадываясь, что поле это с своими колосьями и плевелами составляет всю непосредственную почву народа, всю его нравственную жизнь, всю его привычку и все его утешенье. С консерватизмом народа труднее бороться, чем с консерватизмом трона и амвона. Правительство и церковь сами початы духом отрицания, борьба мысли не даром шла под их ударами — она заразила разящую руку; самозащитное правительство — корыстно и гонения церкви — лицемерны.

Народ—консерватор по инстинкту, и потому, что он не знает ничего другого, у него нет идеалов вне существующих условий; его идеал— буржуазное довольство, так, как идеал Атта Тролля у Гейне был абсолютный белый медведь 443. Он держится за удручающий его быт, за тесные рамы, в которые он вколочен, — он 'верит' в их прочность и обеспечение. Не понимая, что эту прочность он-то им и дает. Чем народ дальше от движения истории, тем он упорнее держится за усвоенное, за знакомое. Он даже

==629

новое понимает только в старых одеждах. Пророки, провозглашавшие социальный переворот анабаптизма, облачились в архиерейские ризы. Пугачев для низложения немецкого дела Петра сам назвался Петром, да еще самым немецким, и окружил себя андреевскими кавалерами из казаков и разными псевдо-Воронцовыми и Чернышевыми.

Государственные формы, церковь и суд выполняют овраг между непониманием масс и односторонней цивилизацией вершин. Их сила и размер — в прямом отношении с неразвитием их. Взять неразвитие силой невозможно. Ни республика Робеспьера, ни республика Анахарсиса Клоотса, оставленные на себя, не удержались, а вандейство надобно было годы вырубать из жизни. Террор так же мало уничтожает предрассудки, как завоевания — народности. Страх вообще вгоняет внутрь, бьет формы, приостанавливает их отправление и не касается содержания. Иудеев гнали века — одни гибли, другие прятались... и после грозы являлись и богаче, и сильнее, и тверже в своей вере.

Нельзя людей освободить в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы.

В сущности, все формы исторические—*volens nolens* — ведут от одного освобождения к Другому. Гегель в самом рабстве находит (и очень верно) шаг к свободе 444. То же—явным образом—должно сказать о государстве: и оно,

==630

как рабство, идет к самоуничтожению... и его нельзя сбросить с себя, как грязное рубище, до известного возраста.

Государство — форма, через которую проходит всякое человеческое сожитие, принимающее значительные размеры. Оно постоянно изменяется с обстоятельствами и прилаживается к потребностям. Государство везде начинается с полного порабощения лица — и везде стремится, перейдя известное развитие, к полному освобождению его. Сословность — огромный шаг вперед как расчленение и выход из животного однообразия, как раздел труда. Уничтожение сословности—шаг еще больший. Каждый восходящий или воплощающийся принцип в исторической жизни представляет высшую правду своего времени — и тогда он поглощает лучших людей; за него льется кровь и ведутся войны — потом он делается ложью и, наконец, воспоминанием... Государство не имеет собственного определенного содержания—оно служит одинаково реакции и революции—тому, с чьей стороны сила; это—сочетание колес около общей оси, их удобно направлять туда или сюда—потому что единство движения дано, потому что оно примкнуто к одному центру. Комитет общественного спасения представлял сильнейшую государственную власть, направленную на разрушение монархии. Министр юстиции Дантон был министр революции. Инициатива освобождения крестьян принадлежит самодержавному царю. Этой государственной силой хотел воспользоваться Лассаль для введе-

==631

ния социального устройства<sup>445</sup>. Для чего же— думалось ему — ломать мельницу, когда ее жернова могут молотить и нашу муку?

На том же самом основании и я не вижу разумной применимости—в отречении.

Между мнением Лассаля и проповедью о неминуемом распущении государства в федераль" но-коммунную жизнь лежит вся разница обыкновенного рождения и выкидывания. Из того, что женщина беременна, никак не следует, что ей завтра следует родить. Из того, что государство — форма преходящая, не следует, что это форма уже прешедшая... С какого народа, в самом деле, может быть снята государственная опека, как лишняя перевязка, без раскрытия таких артерий и внутренностей, которые теперь наделают страшных бедствий, а потолок( спадут сами?

Да и будто какой-нибудь народ может безнаказанно начать такой опыт, окруженный другими народами, страстно держащимися за государство, как Франция и Пруссия и пр. Можно ли говорить о скорой неминуемости безгосударственного устройства, когда уничтожение постоянных войск и разоружение составляют дальние идеалы? И что значит отрицать государство, когда главное условие выхода из него — совершеннолетие большинства. Посмотрели бы вы, что делается теперь в просыпающемся Париже. Как тесны грани, в которые бьется движение, и как они никем не построены, а сами выросли как из под земли,

==632

Post scriptum.

Маленькие города, тесные круги страшно портят глазомер. Ежедневно повторяя с своими одно и то же, естественно дойдешь до убеждения, что везде говорят одно и то же. Долгое время убеждая в своей силе других... можно убедиться в ней самому — и остаться при этом убеждении... до первого поражения.

Bruxelles—Paris. Август 1869.

#### ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Иконоборцы наши не останавливаются на обыденном отрицании государства и разрушении церкви, их усердие идет до гонения науки. Тут ум оставляет их окончательно<sup>446</sup>.

Робеспьеровской нелепости, что атеизм аристократичен<sup>447</sup>, только и недоставало объявления науки аристократией.

Никто не спрашивает, насколько вообще подобные определения идут или нет к предмету, — вообще, весь спор «науки для науки» и науки только как пользы — вопросы, чрезвычайно дурно поставленные.

Без науки научной — не было бы науки прикладной.

Наука—сила, она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия, и ей до употребления нет дела. Если наука в руках правительства и капитала—так, как в их руках войска, суд, управление. Но это не ее вина. Механика равно служит для постройки железных дорог и всяких пушек и мониторов.

Нельзя же остановить ум, основываясь на.

==633

#### Письмо четвертое

том, что большинство не понимает, а меньшинство злоупотребляет пониманьем.

Дикие призывы к тому, чтоб закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной. За ними так и следует разнуздание диких страстей— *le dechainement des mauvaises passions*<sup>448</sup>. Этими страшными словами мы шутим, нисколько не считая, вредны [ли] они для дела и для слушающих.

Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей. Христианство проповедовалось чистыми и строгими в жизни апостолами и их последователями, аскетами и постниками, людьми, заморившими все страсти — кроме одной. Таковы были гугеноты и реформаторы. Таковы были якобинцы 93 года. Бойцы за свободу в серьезных подвиганиях оружия всегда были святы, как воины Кромвеля, — и оттого сильны.

Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Проповедь нужна людям, — проповедь неустанная, ежеминутная, — проповедь, равно обращенная к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину. Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушения, — апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам.

Проповедь к врагу — великое дело любви. Они не виноваты, что живут вне современного потока, какими-то просроченными векселями

==634

прежней нравственности. Я их жалею, как больных, как поврежденных, стоящих на краю пропасти с грузом богатств, который их стянет в нее, — им надобно раскрыть глаза, а не вырвать их—чтоб и они спаслись, если хотят.

Я не только жалею людей, но жалею и вещи, и иные вещи больше иных людей.

Дико необузданный взрыв, вынужденный упорством, ничего не пощадит; он за личные лишения отомстит самому безличному достоянию. С капиталом, собранным ростовщиками, погибнет другой капитал, идущий от поколения в поколение и от народа к народу. Капитал, в котором оседала личность и творчество разных времен, в котором сама собой наслоилась летопись людской жизни и кристаллизовалась история... Разгулявшаяся сила истребления уничтожит вместе с межевыми знаками и те пределы сил человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях... с начала цивилизации.

Довольно христианство и исламизм наломали древнего мира, довольно Французская революция наказала статуи, картин, памятников, — нам не приходится играть в иконоборцев.

Я это так живо чувствовал, стоя с тупою грустью и чуть не со стыдом... перед каким-нибудь кустодом, указывающим на пустую стену, на разбитое изваяние, на выброшенный гроб, повторяя: «Все это истреблено во время революции»...

Bruxelles. Июль 1869.

А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XX, кн. 2. М., 1960, стр. 575—593.